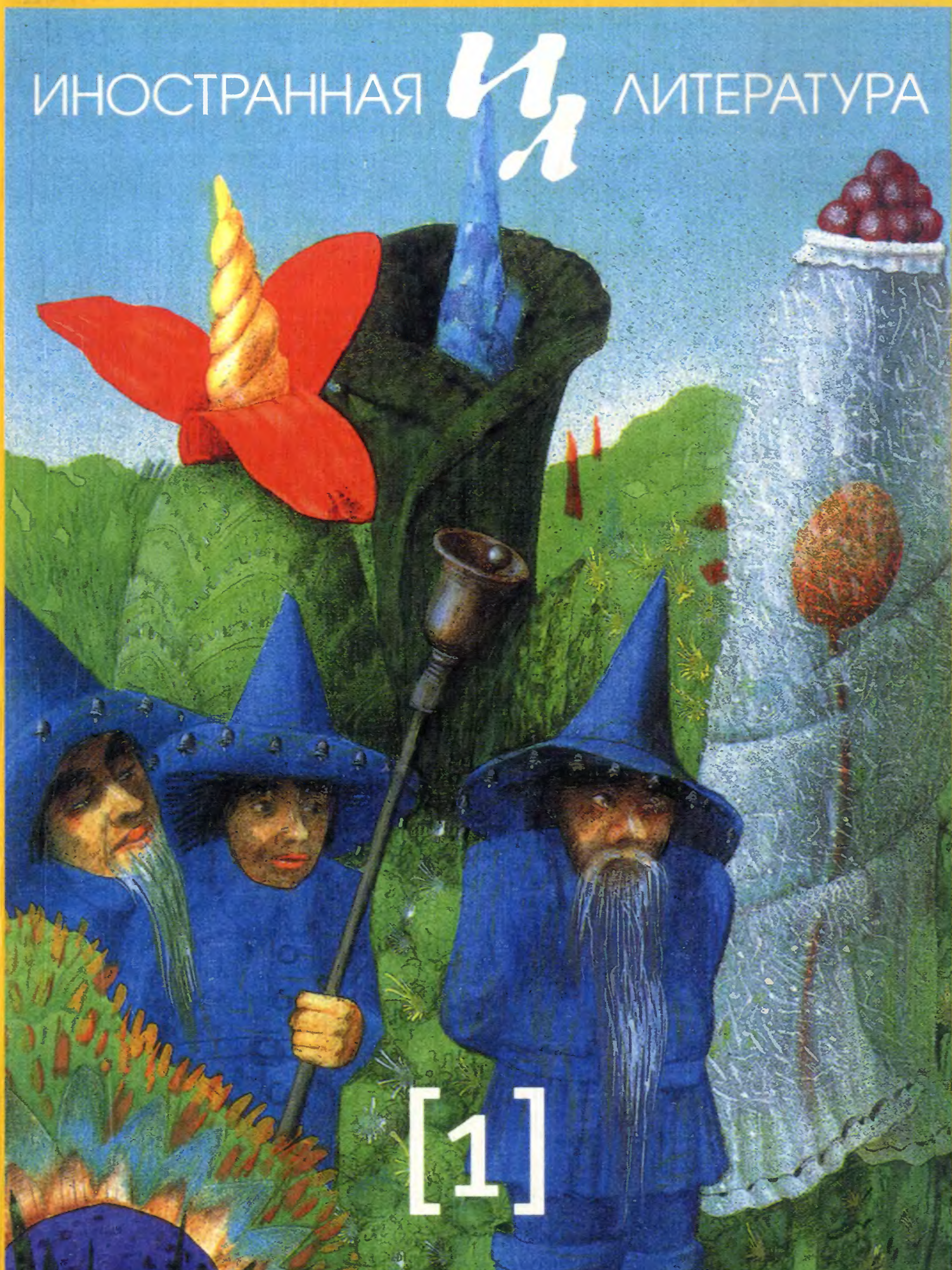
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[1]

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ СКАЗКИ: РОМАН ПАОЛЫ КАПРИОЛО “СОН О ЯГНЕНКЕ” / “ПЕСТРЫЙ ДУДОЧНИК” РОБЕРТА БРАУНИНГА В РУБРИКЕ “ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ” / ПОВЕСТЬ “КОРОЛЬ СРЕДИ ВЕТВЕЙ” СТИВЕНА МИЛЛХАУЗЕРА / ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД: БЕАТРИКС ПОТТЕР / ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ В РУБРИКЕ “CARTE BLANCHE” / ЭССЕ ДЖОНА АПДАЙКА, ДЖ. Б. ПРИСТЛИ И ДР.

Основан в 1891 году

Новогодние праздники отшумели, и сезон волшебства, казалось бы, завершен. Но на наших страницах именно в этот момент сказка только начинается.

"Взрослая жизнь сказки" – название на первый взгляд парадоксальное; ведь сказка – жанр прежде всего детский. Не будем, конечно, забывать о сказках Гофмана, Вольтера или Салтыкова-Щедрина, рассчитанных на взрослых. Но сегодня все чаще именно детская сказка становится популярной у любой аудитории независимо от возраста. И никого уже не удивляет, что книги Джоан Ролинг о Гарри Поттере выпускаются в двух вариантах оформления – чтобы читатель не испытывал неловкости оттого, что он читает роман в "детской" обложке. А уж сказочный жанр "фэнтези" и вовсе стал вполне взрослым.

Уместно вспомнить, что литература как таковая корнями уходит в мифы и легенды еще дописьменной эпохи. Или что "передача красивых небылиц – подлинная цель искусства", как считал Оскар Уайльд. Да и современные массовые жанры (например, "любовный роман") откровенно копируют структуру волшебной сказки, описанную еще в 20-е годы прошлого века Владимиром Проппом. И вопрос не в том, правомерно ли говорить о "взрослой сказке", а в том, что именно подразумевается под таким словосочетанием в каждом конкретном случае.

В первом номере "ИЛ" вы встретите самые разные произведения: апокалиптическую притчу-антиутопию итальянки Паолы Каприоло, необычное переложение легенды о Тристане и Изольде американца Стивена Миллхаузера, собственно сказочные истории в стихах и прозе, эссе о знаменитых сказочных книгах и размышления о месте сказки в современной прагматичной реальности.

Добро пожаловать в Волшебный Мир!

[1]
2006

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ СКАЗКИ

3 Паола Каприоло *Сон о ягненке.* Роман. Перевод с итальянского Э. Двин

82 Стивен Миллхаузер *Король среди ветвей.* Повесть. Перевод с английского Сергея Ильина

140 Збигнев Бжозовский *Две волшебные истории.* Перевод с польского К. Старосельской

157 Карл Херман Рёрихт *Нелицеприятные сказки.* Перевод с немецкого А. Кукес

164 Викрам Сет *Крокодил и павиан.* Зверская сказка. Перевод с английского Марины Бородицкой

169 Никита Данилов *Жена Ганса.* Рассказ. Перевод с румынского Светланы Негру

181 Петер Себерг *Крошка песик.* Рассказ. Перевод с датского Е. Суриц

Литературное наследие

185 Роберт Браунинг *Пестрый дудочник.* Баллада. Перевод с английского Марины Бородицкой

Литературный гид: Беатрикс Поттер

195 Нина Демурова *Ускользающее своеобразие Беатрикс Поттер*

198 Беатрикс Поттер *Четыре сказки.* Перевод с английского И. Бернштейн, Н. Демуровой

213 Джуди Тейлор *Жизнь Беатрикс Поттер.* Перевод с английского В. Кулагиной-Ярцевой

220 Хамфри Карпентер *"Джейн Остин детской": Беатрикс Поттер как мастер стиля.* Перевод с английского А. Борисенко и В. Сонькина

229 Грэм Грин *Беатрикс Поттер: критический очерк.* Перевод с английского А. Борисенко

Carte blanche

235 Л. Петрушевская *Тили-Бом, или Сказка о сказке*

Статьи, эссе

242 Антония С. Байетт *Два эссе.* Перевод с английского Ольги Новицкой, О. Исаевой

256 Урсула К. Ле Гуин *Ребенок и Тень.* Перевод с английского О. Исаевой

264 Джон Апдайк *Оз – это о нас.* Перевод с английского Ю. Жуковой

273 Дж. Б. Пристли *Заметки о Шалтае-Болтае.* Перевод с английского Н. Демуровой

Среди книг

276 Дмитрий Веденяпин *Разговор с идеальным читателем.* Александр Генис *Чудеса в решете.* "Гарри Поттер" для взрослых

Курьер

280

Авторы номера

282

© "Иностранная литература", 2006

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. В. Михеев

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделóм критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
А. Н. Словесный
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

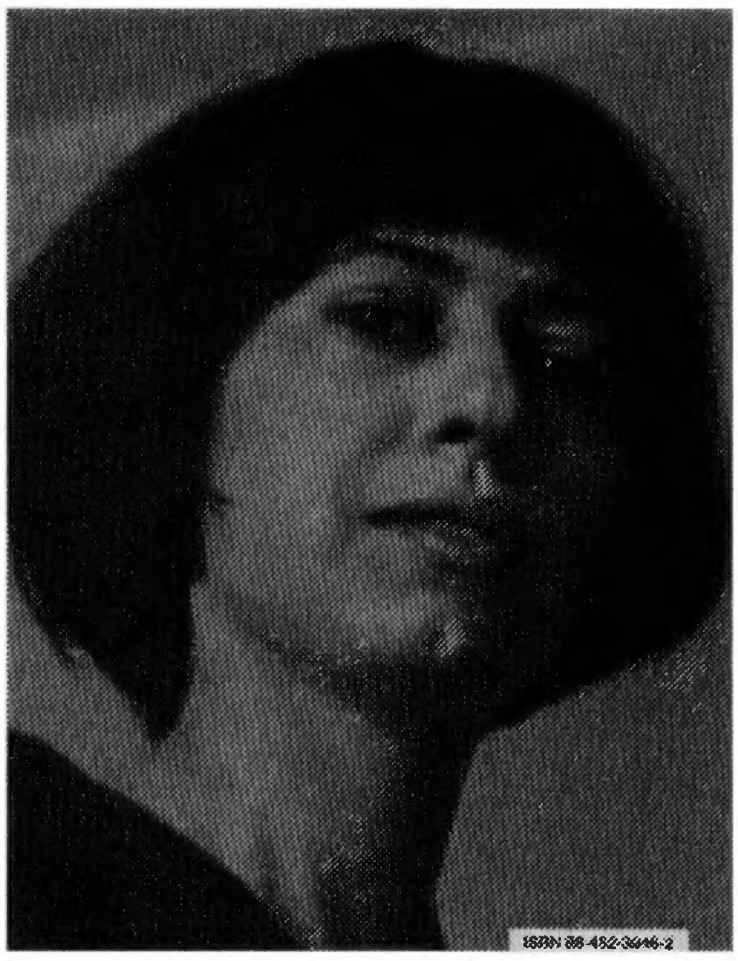
Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
А. В. Нестеров
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Е. В. Тарасова
Л. Г. Харлап

Паола Каприоло



Сон о ягненке

Роман

Перевод с итальянского Э. Двин

Тем, кто не тепл

I

СНАЧАЛА синьора никак не может понять, что за большое темное пятно уродует центральный газон ее сада. Она раздвигает белые занавески, отводя их от окна к белой стене (при этом белый рукав пеньюара соскальзывает, обнажая руку), и, стараясь получше разглядеть это пятно, так приближает лицо к стеклу, что едва не прилипает к нему кончиком носа.

Как ни невероятно — а на ее взгляд это совершенно невероятно, — пятно на траве обретает очертания человеческой фигуры. Теперь она видит все совершенно отчетливо, но еще не верит своим глазам, поскольку доводы рассудка напрочь исключают возможность появления чего-то подобного у нее в саду. Ни у кого из жителей их городка не может быть такой серой одежды, судя по всему не очень новой и чистой, и никто не вторгся бы на чужую территорию, чтобы спать, растянувшись на траве. К тому же на виду у всех, как какой-нибудь бродяга или нищий (или как их там еще называют, кажется, клошары — не без гордости вспоминает она трудное слово), о существовании которых синьора знает по старым фильмам.

©1999 Bompiani
© Э. Двин. Перевод, 2006

У нее вдруг сжимается сердце. “Клошар, бродяга”, — шепчет она и оглядывается на экран телевизора, включенного, но ничего не показывающего — просто черный прямоугольник, издающий тихие звуки арфы.

“Клошар, бродяга”. Странное существо, а все же есть в нем что-то поэтическое и взывающее к милосердию; синьора чувствует даже, как на глаза у нее навертываются слезы, вот-вот готовые пролиться. “Жалкий узел тряпья”, — мысленно добавляет она, пересиливая свое сочувствие к незнакомцу из любви к точным определениям, ибо сходство несомненное и метафора очень удачна.

Но как этому “узлу тряпья” удалось сюда попасть, думает синьора, вот в чем следует разобраться, и надо бы написать заявление в службу охраны. А между тем...

Между тем звуки арфы смолкают, экран телевизора освещается, расцвечиваясь яркими красками мультфильма “Медвежонок-лакомка”, а бродяга, вернее клошар, начинает потягиваться на траве, словно давая понять хозяйке дома, что время не терпит (“О господи, он просыпается!”), что пора принимать решение (“Как же быть?”): глупее всего, столкнувшись со столь невероятным явлением, без толку топтаться перед окном и растерянно теребить белый муслин занавесок.

Она нерешительно покидает кухню, в однообразной белизне которой кувшин с апельсиновым соком поражает как резкий звук трубы в тишине, проходит через просторную гостиную, тоже выдержанную в очень светлых тонах — от белого до самых нежных пастельных, которым явно отдают предпочтение все без исключения жители городка. Краем глаза она все же следит за бродягой, хорошо видным за стеклами: после первых, вызвавших ее тревогу потягиваний он больше не двигается и, похоже, опять погрузился в безмятежный сон, словно находится не в чужом саду, а в собственной кровати, прав на которую его не может лишить никто.

Исполнившись решимости, синьора открывает стеклянную дверь на террасу и выходит в сад, не без труда передвигая ноги в белоснежных шлепанцах по усыпанной гравием дорожке. Подходит ближе, еще ближе, но “узел тряпья” не обнаруживает ни малейших признаков жизни. Вот она уже в двух шагах от него, расстояние совсем малое и все же достаточное, чтобы гарантировать ей необходимое чувство безопасности. Иными словами, достаточное, чтобы незнакомец не смог вдруг схватить ее за щиколотку, укусить (“кто знает, ведь там, за пределами городка, могут быть и сумасшедшие”) и чтобы паразиты, если ими кишит оборванная одежда, не прыгнули на нее.

Так она и стоит, глядя на него сверху вниз. Да, это действительно бродяга, нищий или, мягко говоря, клошар. Он спит на боку, спрятав лицо в сгиб руки, чтобы защититься от солнца, и выставив на обозрение остолбеневшей женщине розовый череп, покрытый кустиками седых волос. В данный момент этот череп — единственная видимая часть его тела, если не считать большого уха, двух костистых запястий и таких же щиколоток, выглядывающих из заплатанных штанов. Чтобы было удобнее, человек этот подложил под голову что-то вроде котомки, сквозь полинявшую ткань которой проступают острые углы предметов, так и норовящих ее прорвать (предметов загадочных, о природе которых синьора старается не думать, определив их общим

термином "личные вещи"). Вот так, возлежа на своей импровизированной подушке, человек этот спит глубоким сном, и плечи его приподнимаются в такт дыханию.

Теперь уже не одна синьора в белом пеньюаре наблюдает за незнакомцем: вокруг него, но тоже на подобающем расстоянии, собралась кучка соседей, которых любопытство к столь необычному зрелищу побудило покинуть свои жилища: мужчины в удобных тренировочных костюмах, женщины в элегантных пеньюарах или не менее элегантных домашних платьях, мальчики и девочки разного возраста и роста, одетые во все светлое, – все они, словно сверкающий венок, окружают темную фигуру бродяги. Разделяя удивление и интерес своих хозяев, вертятся вокруг даже домашние животные – совершенно белые коты, собаки с пышной шерстью цвета сливок или жженого сахара. Первые – с розовыми или голубыми бантами, вторые – в изящных ошейниках. Все – и хозяева, и животные – не спускают пристальных взглядов с непрошеного гостя, который продолжает спать, явно не подозревая, что стал предметом столь горячего интереса.

Похоже, особенно смущены дети.

– Что это такое? – спрашивает у матери один малыш.

– Надо говорить не "что это", а "кто это". Он все-таки человек.

– Человек? Но у него же серые волосы. Я никогда не видел людей с такими волосами.

Двое других ребятишек – брат и сестра – шепотом решают вопрос, не ведьма ли это, а если ведьма, то где ее метла?

– Нет, это не ведьма, – вступает в разговор третий ребенок. – Ведьмы же носят юбку.

– Если они женщины, – уточняет четвертый, – а если мужчины – нет.

– Вообще никаких ведьм не бывает, – замечает пятый.

– Конечно, ведьм не бывает, – авторитетно подтверждает шестой.

– Но людей с серыми волосами тоже не бывает, – торжествующе заявляет первый, словно желая подчеркнуть, что он раньше всех это заметил.

Есть тут и седьмая – девочка лет десяти с черными длинными волосами. Она молчит. Стоит в сторонке и сосредоточенно разглядывает непонятного человека. Но остальные шестеро и взрослые, хотя они обмениваются мнениями тихо, совсем как консилиум врачей у постели больного, все же производят достаточно шума, чтобы разбудить бродягу. Он пробуждается ото сна постепенно, зевая и потягиваясь, что заставляет присутствующих отступить еще на несколько шагов; затем садится и спокойно оглядывается по сторонам.

Если бы первый мальчик заговорил в наступившей внезапно тишине, он, конечно, сказал бы: "Ну, кто был прав?" Впрочем, говорить это совершенно ни к чему, все и так написано у него на лице: если не существует людей с серыми волосами, то уж и подавно не могут существовать люди с такой бородой – тоже какого-то невероятного пепельного цвета и с широкими белыми прядями; не говоря уже о других странностях незнакомца, и даже не странностях, а совершенно невозможных вещах, таких, как эти мельчайшие черточки, делающие его лицо похожим на треснувшую фарфоровую чашку, осколки которой пока еще чудом держатся вместе, или как эта тонкая металлическая штука, пребываю-

щая в шатком равновесии посреди его носа и кое-как удерживающая два маленьких стеклянных диска. Нельзя сказать, что ребенок никогда не видел ничего подобного: иногда в мультиках показывают таких типов — более молодые действующие лица называют их "дедушками", — и он всегда задумывался, почему его собственные дедушки и бабушки, так же как дедушки и бабушки его друзей, выглядят совершенно по-иному: нет у них никаких черточек на лице, и сероватых пучков волос, и странных штуковин на носу. Те "дедушки" так же не вписываются в реальную действительность, как динозавры, и зелененькие инопланетяне с короткими антеннами, и, конечно же, ведьмы, которые по ночам бороздят воображаемые небеса верхом на метлах; к тому же у тех "дедушек" бороды куда белее и длиннее — этакие приятные, безупречно чистые волнистые бороды, и, когда "дедушки" покачиваются в своих креслах перед горящим камином, на них, конечно же, никакое не тряпье, а красивые халаты с бархатной отделкой.

Не отдавая себе отчета в том, какую сумятицу он вызвал в сознании маленького наблюдателя (очень похожие мысли тревожили умы и всех остальных детей и взрослых), бродяга пальцем подправил сползающие на нос очки: подтолкнул их повыше, туда, где им и надлежит быть, и спокойно огляделся вокруг. Его взгляд встретился со взглядом синьоры — не той, что в белом, а другой, не очень от нее отличающейся, одетой, допустим, в канареечно-желтый пеньюар, — и он тотчас поднялся и при всеобщем замешательстве очень учтиво ей поклонился. Если бы на нем была шляпа, он, несомненно, ее снял бы. Столь же почтительно поклонился он и остальным женщинам, потом снова сел на траву, повернувшись ко всем спиной.

Прошло несколько минут, прежде чем кто-то, оправившись от изумления, смог заговорить. Это мужчина в тренировочном костюме. Он любезно, но твердо обращается к незнакомцу:

— Послушайте!

Бродяга, обернувшись, смотрит на него.

— Слушаю вас. Вы ко мне обращаетесь?

— Да, к вам.

— Я весь внимание.

Мужчина не без труда пытается что-то сказать: он еще собирается с мыслями, чтобы подыскать подходящие слова, но тут на помощь ему приходит другой мужчина — тоже в тренировочном костюме:

— Можно узнать, откуда вы явились?

Бродяга неопределенным жестом указывает на горизонт.

— Да, об этом нетрудно догадаться: по вашему виду не скажешь, что вы здешний. Но как вам удалось проникнуть сюда?

Незнакомец пожимает плечами.

— Удалось. Как вы сами можете убедиться. С вашего позволения, замечу, что ваша система охраны, сколь бы эффективной она ни была, все же далека от совершенства.

— Да... Пожалуй... Надо будет принять меры.

— На этот счет, поверьте, у меня нет никаких сомнений, — серьезно поддерживает его бродяга и всем своим видом дает понять, что вопрос исчерпан. Он снова поднимается, разглаживает складки на одежде — старательно, но тщетно. — Окажите любезность, — обращается он затем

к зрителям, — не порекомендуете ли вы мне такое место, где не располагающий средствами джентльмен мог бы заказать себе завтрак?

— Что? Как вы сказали?

Незнакомец терпеливо повторяет свой вопрос; наконец, кто-то (другая женщина, не та, что в белом пеньюаре, и не та, что в канареечно-желтом, на этой какая-то другая светлая и удобная одежда — тут мы полагаемся на вкус читателя) отвечает:

— Подождите здесь; я принесу вам немного еды и кофе.

При этих словах у нее начинает пощипывать глаза, совсем как у той синьоры в белом пеньюаре, обнаружившей этот "узел тряпья"; она догадывается, что — впервые в жизни — услышала и готова выполнить просьбу нищего. Просьбу, надо сказать, неожиданную, к тому же высказанную сдержанно, чуть ли не свысока, но, несмотря на форму, смысл ее остается вполне ясным, даже трогательным, и женщина, побуждаемая самыми благородными чувствами, спешит к своему дому, чтобы принести несчастному ощутимое (и съедобное) доказательство своей щедрости.

Через несколько минут она уже возвращается с дымящейся чашкой кофе и тарелочкой, на которую положила несколько печеньиц. Круг любопытных, пропуская ее, размыкается и тут же смыкается вновь.

— Синьора, вы балуете меня, — говорит бродяга, беря чашку и тарелочку. — Ваше гостеприимство поистине изумительно, как, полагаю, и ваше печенье.

— Оно домашнее, — говорит женщина слегка растерянно, — я пеку его сама, своими руками.

— Поверьте, синьора, я ничуть в этом не сомневаюсь. Позвольте мне сейчас же попробовать одну штучку, — он макает печенье в кофе и быстро его проглатывает. — А теперь позвольте мне выразить вам самое искреннее восхищение.

— Спасибо, — отвечает женщина не без колебания. У нее нет никакого опыта в таких делах, но все же она подозревает, что диалог между благодетелем и облагодетельствованным должен был бы развиваться по-иному: ни в коем случае первому не следует благодарить второго. Она досадливо покусывает губы, а бродяга, отбросив всякие церемонии, с удовольствием принимается за завтрак. Ест он жадно, торопливо прихлебывая кофе на глазах у внимательно следящих за ним женщин в светлых одеждах, мужчин в тренировочных костюмах, шести болтливых ребятишек, молчаливой девочки, белых котов и собак палевого цвета.

II

Как читатель, должно быть, догадался, жители городка — прекрасные люди. Охранять свои границы они поручили вооруженным гвардейцам, но, если, несмотря на такую предосторожность, кто-то все же сумеет преодолеть заслон, горожане, конечно, не откажут такому смельчаку в печенье и в чашке дымящегося кофе. Они, разумеется, не пустят первого встречного в собственный дом — из элементарной осторожности, которую вряд ли уместно осуждать; но сейчас стоит теплое июньское утро, и на открытом воздухе так хорошо, что владельцы симпатичных белых особнячков чуть ли не завидуют бродяге: им и самим хотелось бы оказаться на его месте, чтобы так вот привольно позавтракать, сидя на траве.

Поскольку люди они прекрасные, им не хочется сразу после того, как бродяга утолил голод, прогонять его, что вообще-то следовало бы сделать, поскольку территория городка — этой маленькой вселенной с такими ухоженными газонами и озерцами, — конечно, не место, куда каждый может явиться по собственному желанию: в противном случае это была бы уже не маленькая вселенная с абсолютной самодостаточностью и почти столь же абсолютной неприкосновенностью, которыми так гордятся все проживающие здесь счастливцы.

Какое-то время они еще надеются, что у бродяги достанет такта и он уйдет сам, но, похоже, незнакомец вовсе не намерен уходить: этот странный человек бродит среди домов, вопиюще контрастируя с окружающим пейзажем. На него постоянно можно наткнуться и на площадках для гольфа, и в аллеях, по которым бесшумно скользят электромобили, и в павильонах торгового центра, и возле бассейнов. Можно видеть, как он бродит по городку, оглядывая все словно любопытный турист, или очень учтиво справляется о том, где ему, джентльмену без средств, раздобыть себе обед, ужин, наконец, найти пристанище на ночь.

Понятно, что подобное положение не стали бы терпеть долго, если бы жители городка, такие прекрасные люди, не выяснили тем временем, что незнакомец обладает рядом ценных качеств, делающих его присутствие в известной мере полезным. Несмотря на слишком изысканную манеру изъясняться, он человек совсем простой, в некотором смысле чужак, явившийся из мира, о котором здесь сохранились лишь смутные воспоминания, — из мира, где существует бедность, а для тех, кому довелось стать живым образчиком той чуждой действительности, вполне естественно махать метлой, прочищать раковины или выдирать голыми руками сорняки, которые все же продолжают появляться в садах, несмотря на химическую обработку.

Никто из жителей городка не согласился бы выполнять такие обязанности. Даже обслуживающий персонал — а это чаще всего жены рабочих, каждое утро подъезжающие к виллам руководителей на сверкающих электромобилях, — строжайшим образом ограничивается нажатием на пультах определенных кнопок, приводящих в действие домашние электроприборы, и, если бы кто-нибудь (чего, правда, никогда не бывало) попросил их выйти за рамки этих функций, они, безусловно, возмутились бы.

Но бродяга — какое приятное открытие! — нисколько не обижается, когда ему предлагают подмести дорожку или подстричь зеленую изгородь за обычный ужин; больше того, он даже считает такую полюбовную сделку справедливой, так что все вдруг осознают, как удобно за умеренную плату получать от него помощь по хозяйству. Такая возможность особенно ценится средним слоем населения, не располагающим элегантными пультами со множеством кнопок.

Не прошло и недели, как бродяга уже занял в городке довольно прочное положение. Он оказывает услуги то одной, то другой семье, которые дают ему за это еду или немного денег, а ночью позволяют поставить в их гараже раскладушку, какими обычно пользуются в летних лагерях.

Итак, рано утром он выходит из гаража и направляется, скажем, к дому доктора Х — чтобы смазать маслом петли входной двери, которые с некоторых пор начали скрипеть, — или наводит порядок в гостиной

инженера Y после бурного праздника в честь дня рождения младшего сына. Совершенно безразлично, какую из этих работ он выполняет, потому что ни смазывание дверных петель, ни уборка для дальнейшего нашего рассказа никакого значения не имеют, да и доктор X и инженер Y ничем особенным не отличаются, чтобы так уж обращать на них внимание.

Но возьмем, к примеру, хотя бы одного из двоих: как и все взрослые в городке, он работает на Центр – предприятие, где производится очень мудреная продукция с помощью не менее мудреной техники. Крайняя сложность операций, выполняемых исследователями и учеными самых разных специальностей, абсолютно заслоняет собой значимость производимого продукта. Неважно, о чем идет речь – об электронных ланцетах, ядерных ракетах, компьютеризированных кастрюльках для безукоризненной варки яиц "в мешочек"... Главное – это атмосфера, царящая на предприятии: бесшумном, словно окутанном ватой, даже элегантном, и очень далеком от каких бы то ни было представлений о материальном мире. Всё здесь – сплошные изящные диаграммы на постоянно светящихся терминалах, всё – бесконечные абстрактные линии, вытекающие одна из другой, как рисунок бесконечной арабески. Многие из тех, кто управляет производственным процессом, даже не понимают его смысла, а если кто и понимает, то все равно его знания играют весьма незначительную роль в том, как проходит рабочий день. Красивые, украшенные растениями помещения, просторные, сверкающие белизной лаборатории, похоже, самодостаточны, живут собственной, приятной, изолированной от всего прочего жизнью, не вступая в контакт с внешним миром, совсем как городок, находящийся неподалеку: можно сказать, что Центр распространяет на него свои основные особенности и качества.

Это не значит, что обитатели городка ведут жизнь затворников; точнее, они не стали бы ее вести, если бы она не соответствовала их желаниям. Еще несколько лет назад довольно часто устраивались вылазки вовне – как правило, это были путешествия, выезды на каникулы, посещения театров в ближайшем большом городе, и если сегодня такая привычка совсем утрачена, то ее исчезновение надо ставить в укор не горожанам, а самому внешнему миру, который все больше изменяется – судя по малопонятным сообщениям, еще достигающим слуха отдельных обитателей этого маленького рая, – превращаясь в какое-то ужасное место, где безраздельно господствуют насилие и хаос.

Сообщения эти, повторяем, малопонятны, просто какие-то досужие сплетни. Потому что жители городка, с полным основанием пекущиеся о своем благосостоянии и душевном покое, вовсе не желают знать во всех подробностях, что происходит по другую сторону границ. Разумеется, внешний мир тоже производит кое-что, заслуживающее внимания, например, мультипликационный фильм "Медвежонок-обжора", который обожают все дети, или игровое шоу "И тебе повезет", как и тысячи других телепрограмм, позволяющих самым приятным образом проводить время, не выходя из дома. Вот почему семья доктора X – так же как и семья инженера Y и все остальные семьи городка – обычно собирается несколько раз в день перед телеэкраном, заменяющим им домашний очаг, и безмятежно наслаждается любимыми передачами. Тут уместно заметить, что такая безмятежность достигается благодаря мудрому решению Дирекции, позаботившейся об установке специального

устройства, которое прерывает передачу на всей территории городка, как только на экране упоминается или, что еще хуже, показывается какой-нибудь неприятный сюжет. Благодаря этой мере предосторожности сведения о войне и голоде, об эпидемиях и террористических актах не транслируются по здешнему телевидению: экран в таких случаях просто чернеет, и начинают звучать мягкие аккорды арфы, о которых мы уже говорили в самом начале.

Именно то обстоятельство, что в последнее время экраны чернеют все чаще, а звуки арфы раздаются почти с самого начала и до конца новостных передач, наводит жителей городка на мысль, что где-то там, за его пределами, все рушится, и это еще больше утверждает их в желании избегать каких-либо, пусть даже воображаемых, контактов с той малоприятной действительностью.

Вот и сейчас, когда бродяга звонит в дверь синьора X или синьора Y, доктор или инженер – все равно, – вглядываясь в черный прямоугольник экрана, неодобрительно качает головой. "Чем только все это кончится?" – думает он, торопливо проглатывая последнюю ложку кукурузных или овсяных хлопьев, залитых молоком, и идет открывать. Но, дойдя до двери, он уже об этом забыл, и ему даже в голову не приходит, что странный тип, которому он указывает рукой в направлении кухни, располагает, по-видимому, гораздо более определенной информацией на сей счет.

– Вероятно, вы еще не завтракали.

– Спасибо, от чашки кофе не откажусь. Впрочем, если не ошибаюсь, она входит в условия нашего договора.

Синьор X или Y берет кофейник и наливает кофе для бродяги, все еще стоящего перед ним. Между тем новостной блок благополучно заканчивается, и экран вновь оживает, предоставляя место сериалу "Голос сердца".

– Да, скажите-ка, – любезно-покровительственным тоном говорит синьор X или Y, протягивая бродяге чашку кофе, – как ваше имя?

– Мое имя? По какой же причине вам надобно его знать?

– Ну, – удивленно замечает спросивший, – никакой такой причины, естественно, нет, – надо заметить, что "естественно" относится к числу любимейших слов жителей городка, – но должен же я как-то к вам обращаться.

– А, если так, – отвечает старик, сделав большой глоток, – можете звать меня князем.

– Князем?

– Да, если вам так удобнее. Князь Валламброзы, Калабрии и Магдебурга, граф де Бержерак, рыцарь Святой Усыпальницы...

Синьор X прерывает его смешком и не может оторвать взгляда от правого рукава незнакомца, который поднимает руку, чтобы сделать глоток, и откровенно демонстрирует большую заплату на локте.

– Сложновато, вы не находите? К тому же у нас не признаются дворянские титулы.

– В таком случае, пожалуй, можете называть меня профессором, а если точнее, то почетным профессором.

– Почетным?.. – неуверенно переспрашивает синьор X.

– Да. Звание у меня есть, чего нельзя сказать о жалованье. Сейчас в мире полно почетных профессоров.

Синьор Х пожатием плеч выражает полное отсутствие интереса и к почетным профессорам, и к миру, который ими кишит.

— Ладно, пусть будет "князь". В конце концов, тут нет ничего плохого, скорее это даже забавно.

— В высшей степени забавно, — говорит бродяга, ставя чашку. — Теперь не будете ли вы так любезны указать мне место, где у вас хранятся метлы...

— Естественно, князь, сию минуту покажу.

III

Прошло несколько недель, прежде чем жители городка впервые заметили туман. Даже не туман, а легчайшую, чуть розоватую дымку. Она сгущалась исподволь, почти незаметно, никто не мог бы сказать, когда именно это началось: то ли все еще спали, то ли были очень заняты работой, а может, так увлеклись отдыхом, что им некогда было взглянуть вверх. Во всяком случае, с тех пор дымка так и не рассеялась. Она постепенно распространяется во всех направлениях, достигает места, где равнина смыкается с небом, и производит впечатление необычного заката, длящегося весь день.

Обитателям городка такое постоянство кажется странным: даже по ночам группы подростков, поздно возвращающихся домой из своих развлекательных комплексов, могут заметить на горизонте легкие мазки, отливающие розовым, — этакое светящееся, заметное в темноте марево, и с явным удовольствием указывают на них друг другу, думая, что это светятся далекие теннисные корты или бары, где в любое время суток посетителям предлагают сотни разных бутербродов, только все это придумано не их городской, а какой-то неизвестной, но столь же эффективно действующей космической Дирекцией.

Да и взрослые, похоже, разделяют их мнение. Конечно, ведь тумана в этих местах в разгар лета отродясь не бывало, да еще такого неотступного, не рассеивающегося на протяжении многих дней; с другой стороны, невозможно смотреть без восхищения на этот далекий пастельно-розовый отсвет, так гармонирующий с окружающим пейзажем и к тому же не вызывающий никакого беспокойства, поскольку над самим городком продолжает сиять ясное небо. После ужина влюбленные и супружеские пары, предающиеся сентиментальным воспоминаниям, подолгу сидят на диванах-качелях в саду или на скамейках, поставленных заботами Дирекции в аллеях, держась за руки и восторгаясь этой идиллической подсветкой, на фоне которой особенно приятно говорить друг другу приятные вещи.

В общем, это хорошая новость, тем более, что другая недавняя новость — появление бродяги — давно перестала вызывать интерес. Теперь его жалкий вид никого уже не может растрогать, и никто даже не забавляется, называя пришельца князем. Все пользуются этим титулом механически, не придавая ему значения, не задумываясь, насколько он контрастирует с жалким видом бродяги, и их не интересует, действительно ли титул принадлежит пришельцу по праву или это просто шутка, насмешка над ними, придуманная самим бродягой, которого вообще трудно понять. Слово "князь" стало для них своего рода именем соб-

ственным, совершенно лишенным смысла, поэтому они могут пользоваться им спокойно, как любым другим именем.

Ослабло и удивление, которое поначалу вызывали у них некоторые странности чужака, хотя у приютившего князя великодушного владельца гаража еще жив в памяти день, когда бродяга в его присутствии раскрыл котомку, которую всегда таскает с собой, и стал вынимать оттуда непонятные предметы: почерневшую серебряную флягу, пустую пачку от сигарет, набитую бог весть где подобранными окурками, какие-то остатки ветхого постельного белья с вышитыми инициалами, старые карманные часы, упорно отказывающиеся показывать точное время, и пять или шесть книг с истертыми и распадающимися страницами — явным свидетельством тому, что к ним обращаются очень часто...

— Зачем они вам нужны? — спросил хозяин дома, указывая на книги.

— Да так: я читаю их, чтобы убить время.

— Чтобы убить время? Вы — *читаете?*

— Да, вернее, перечитываю. Это мои любимые — единственное, что мне удалось сохранить.

— Простите, я, вероятно, недостаточно хорошо вас понял. Выходит, вы не только уже один раз прочитали их целиком, но, несмотря на это, испытываете потребность читать их снова и снова?

— А что, это запрещено?

— Нет-нет, читайте себе. Раз вам нравится...

Естественно, новость эта немедленно распространилась по всему городку, вызвав смех и сострадание. Какой-то доброхот из сочувствия к бедному князю, вынужденному довольствоваться таким жалким развлечением, вздумал даже подарить ему собственный старый телевизор, технически устаревший, но еще работающий; при таком положении вещей и он смог бы принести пользу: извлеченный из кладовки, он как-то оживил бы унылую атмосферу гаража. И каково же было удивление доброхота, когда князь вежливо отказался от его предложения! Он, похоже, и правда испытывал удовольствие, перелистывая свои пожелтевшие книги и погружаясь в тишину, которую любой другой человек счел бы невыносимо удручающей.

Впрочем, это была не единственная его экстравагантная особенность. Однажды синьора, та, что носила белый пеньюар, а теперь сменила его на голубой, укладывая себе волосы, попросила его сходить в торговый центр, чтобы кое-что для нее купить, — и просто оторопела, увидев, как он вытащил из обтрепанного кармана пиджака авторучку.

— Что вы собираетесь с этим делать? — спросила она встревоженно.

— Записать, что мне следует купить, если вы будете так любезны и дадите листок бумаги.

— Вы что же, действительно сможете это сделать... вот так, ручкой?..

Князь ответил ей сдержанным утвердительным кивком.

— Невероятно! Хотела бы я на это посмотреть. Погодите, где-то здесь у меня была бумага.

Бумага — вещь очень редкая в домах горожан, но наконец какой-то клочок был найден, и под зачарованным взглядом синьоры князь изобразил на нем ручкой названия товаров, которые она ему перечислила, причем так быстро и ловко, что было ясно — да, не в первый раз и даже не во второй он выполняет эту работу: она ему явно не в новинку.

— Браво! Какой молодчина! Скажите, вы можете проделать это еще раз? Пусть посмотрит моя невестка.

Так в тот день и в последующие дни князь повторял свои упражнения к удовольствию все ширившегося кружка наблюдателей, плативших ему кто мелкой монетой, кто "натурой", пока любопытство к его необыкновенной способности не стало угасать и публика не пришла к выводу, что писать рукой, должно быть, не так уж и трудно, нужно только запастись терпением и потренироваться.

Однако спустя какое-то время у бродяги обнаружилась еще одна удивительная способность: князь умел считать, как он сам смешно сказал, "в уме", то есть без помощи калькулятора. Честно признаться, мы не можем гарантировать, что это открытие было случайным: не исключено, что князь сам искусственно спровоцировал интерес публики — в надежде опять обеспечить себе щедрые дополнительные подачки, которые по окончании "спектакля" попадали к нему либо в карманы, либо, как говорится, "на зуб". Как бы там ни было, но несколько дней дело шло. Жители городка собирались вокруг него и в упор спрашивали, сколько будет семью девять или сколько останется, если от восьмидесяти двух отнять пять. Выслушав с открытым от удивления ртом ответ, они тут же проверяли его на своих карманных калькуляторах. Но и на этот раз, к огорчению князя, рты вскоре позакрывались, удивление уступило место безразличию, а он научился не выставлять напоказ свои таланты и ограничиваться выполнением тех скромных обязанностей, которые ему поручали.

Обитателей городка новое быстро утомляет, они стараются сделать его элементом своей привычной жизни. Даже розоватой пелене тумана, размывающей линию горизонта, они довольно скоро перестали придавать значение; лишь изредка кто-нибудь удостаивает ее торопливого взгляда, просто для того, чтобы с рассеянным видом убедиться, что она все еще на месте, и перейти к более важным делам — соревнованиям по гольфу, например, или организации очередного праздника в парке.

Больше всего их внимание сейчас занято подготовкой грандиозного бала по случаю летнего солнцестояния — коллективного мероприятия, весьма поощряемого Дирекцией и призванного крепить всеобщую гармонию. Как и всегда, праздник будет справляться с вечера и до утра возле одного из трех небольших искусственных озер, наиболее подходящего для этой цели, так как перед ним раскинулась обширная поляна, словно специально созданная Матерью-Природой танцевальная площадка. Уже за несколько дней гирлянды разноцветных лампочек украсили ветки деревьев, высаженных вдоль берегов, а музыканты-любители, удостоившиеся чести войти в состав праздничного оркестра, все свободное время репетируют, играют на своих инструментах. К тому же каждую семью обязали выставить несколько бутылок фруктового сока (вред, причиняемый алкоголем, слишком хорошо известен, чтобы здравомыслящие обитатели городка могли позволить себе выпить хоть каплю вина), а также торт — либо купленный в торговом центре, либо изготовленный собственноручно хозяйкой дома.

Второй вариант, разумеется, предпочтительнее, так что почти все дамы размышляют о том, что бы им такое испечь; каждая, как и в прежние годы, собирается, не отступая от уже проверенного рецепта и не

боясь однообразия, воспроизвести свой прошлогодний опыт, приведший к таким хорошим результатам. Нередко, прежде чем принять окончательное решение, подруги или соседки советуются друг с дружкой: еще жив в памяти у всех случай, когда на буфетной стойке одновременно появились пятнадцать песочных тортов с киви, в результате чего у гостей навсегда пропала охота к такому лакомству.

Неудивительно, что из-за всех этих забот никто не придает значения ни туману, ни бродяге. Что касается этого последнего, то он мог бы почувствовать себя и вовсе заброшенным, если бы, занимаясь уборкой территории, не ловил на себе время от времени чей-то пристальный взгляд. Взгляд той девочки с длинными черными волосами, которая в первой главе этой книги молча наблюдала за спящим незнакомцем, сама держась в стороне. Взгляд внимательный, очень серьезный и испытующий, на который князь, замечая его, в свою очередь отвечает вопросительным взглядом. И тогда девочка сразу отходит от окна, за которым стояла, или быстро прячется за ближним углом...

IV

Наконец наступил день праздника. К вечеру на аллеях, ведущих к небольшому озерцу, появляются дамы в цветастых шелковых платьях и господа, временно сменившие свои тренировочные костюмы или удобные рабочие комбинезоны на пиджаки и галстуки. Все шагают уверенно и по мере приближения к цели соединяются во все более внушительные группы. Туман на горизонте в свете закатного солнца разгорается ярче, становится чуть ли не пурпурным, и кажется, будто всполохи пожара окружают городок, придавая празднику дополнительный налет пышного великолепия.

Но восторги, вызванные этим зрелищем, не идут ни в какое сравнение с восхищением, которое охватывает людей, когда они подходят к озеру. Здесь все переливается зелеными, красными, желтыми и синими огнями, полностью затмевающими последние лучи солнца; разноцветные отблески этих огней пляшут и на воде. Поскольку жители городка, сами предпочитающие спокойные светлые тона, не могут помешать вечерним теням удлиняться, а деревьям и кустам — превращаться в мрачные черные силуэты, они сделали все возможное, чтобы создать искусственный жизнерадостный островок света, и на этом островке находят прибежище, когда сумерки сгущаются еще больше. Все толкутся вокруг накрытых столов, где сверкают кувшины с освежающими напитками, а торты затмевают друг друга обилием вишенок, завитков крема и заманчивых глазированных фруктов. Каждый выныривает из толпы с тарелочкой и стаканом в руках.

Князь тоже пытается добраться до тортов. Нельзя сказать, что его появление не вызывает у присутствующих некоторого неудовольствия. Да, на нем сейчас не та потрепанная и грязная одежда, в которой он впервые появился в городке: ее давно сменил более приличный, пусть и старый, рабочий костюм — благодаря щедрости какого-то горожанина, отдавшего его князю; и все же горожан раздражает само присутствие здесь бродяги, напоминающее им о существовании нищеты, а

главное — то, что он резко выделяется на фоне столь элегантной толпы. Словно мало ему бороды и седых волос, выдающих его абсолютную чужеродность, так он еще вздумал выставить напоказ большие карманные часы, которые мы уже видели, когда он вынимал их из котомки, — этакую массивную луковицу, может даже и серебряную, но настолько истершуюся и почерневшую, что выглядит она уже не как дорогая вещь, а так, будто ее только что извлекли из мусорной кучи.

Несмотря на все это, некоторые, скрывая свое замешательство, предлагают бродяге — "естественно" — угоститься тортом и фруктовым соком. Князь вежливо принимает торт, но от сока отказывается — с решительностью, которая местным амфитрионам кажется и вовсе чудовищной, когда странный гость объясняет им, что с куда большим удовольствием выпил бы бокал шампанского.

— Шампанское, князь, здесь не пьют, — замечает кто-то, строго нахмурив брови.

— Ах, нет? Вот жалость. Но я сказал "шампанское" просто по привычке, а вообще меня устроило бы любое шипучее вино.

— По привычке? — изумляется его собеседник.

— Должен признаться, привычка эта очень давняя. Уже много лет, как я от нее отказался — но, разумеется, не по своей воле.

— Надо думать... Я хочу сказать: хорошо, что вы от нее избавились. Зато сколько здоровья сохранили!

Князь ограничивается вежливым кивком, не выражающим ни согласия, ни недовольства.

— Полагаю, сегодня мое здоровье будет надежно защищено и от неприятностей, таящихся в стаканчике виски или в рюмке коньяка...

— Естественно. Ведь мы собрались здесь на праздник, а не для коллективного самоубийства.

Эти слова произнесены таким категоричным тоном, что князь смиряется и, получив свой стаканчик фруктового сока, выскальзывает из толпы. О сигарете он даже не спрашивает, так как уверен: сегодня ему откажут и в этом удовольствии; а потому лишь вздыхает. Окурки, хранившиеся в пачке, давно закончились — такова судьба всех сигарет, — но тем печальнее замаячившая перед ним перспектива длительного вынужденного воздержания.

Как-то князь по наивности поинтересовался у симпатичной продавщицы здешнего торгового центра, не может ли она оказать такую любезность лишенному средств джентльмену — угостить его парой сигарет. Женщина подняла на него недоверчивый хмурый взгляд, и на лице ее не осталось ни следа приветливости.

— А почему бы вам не попробовать вместо этого заняться гимнастикой? — сказала она. Князю ее совет показался абсурдным, особенно из-за слов "вместо этого", смысла которых он при всем желании не мог уловить.

После того разговора наступил период строгой экономии, которая помогла на некоторое время оттянуть неизбежное, но совсем предотвратить опустошение пачки князь не мог. Каждый вечер, сидя у себя в гараже, он медленно выкуривал один бычок, наслаждаясь им, смакуя, всеми фибрами души отдаваясь этому удовольствию. Потом, опасаясь, как бы его не попрекнули или, того хуже, не принудили вести более здоровый образ жизни, он сметал пепел с пола, открывал дверь, чтобы вы-

пустить дым, и возвращал крошечный окурок в пачку – и для того, чтобы спрятать улику и чтобы сохранить прекрасное воспоминание. Но это еще были счастливые времена по сравнению с теми, что наступили потом, когда последняя – докуренная до конца – сигарета пыхнула в последний раз, пропитав воздух безысходной тоской...

Сейчас, когда князь в стороне от толпы предается своим невеселым мыслям, на городок наконец опустилась ночь: иллюминация еще ярче сверкает на фоне чернейшего неба, чуть подсвеченного на горизонте далекими пурпурными бликами. На поляну перед озером выходят пары, и, когда оркестр начинает играть вальс, каждый кавалер правой рукой обхватывает свою даму за талию и осторожно вращает ее, старательно избегая столкновений с другими танцующими. Вот так и вертятся пары, словно шестеренки часов, и этот совершенный ритм не нарушается ни единым неуместным па. "Вот оно, – думают многие, – точное отражение единодушия, царящего в городке, где жизнь одного не мешает жизни остальных и все в равной мере способствуют правильному ходу вещей". Пары на танцевальной площадке кружатся с весьма умеренным пылом. Это так же напоминает опьянение танцем, как фруктовый сок – шампанское; такие танцы вполне гармонируют с общим духом городка. Одному лишь князю не хватает и того и другого – шампанского и опьянения вообще, – и он с отчаянием смотрит на кувшины с безалкогольными напитками и на церемонных танцоров, увы, отнюдь не охваченных вакхическим пылом.

Праздник продолжается, классические танцы чередуются с более современными, в которых участвуют и подростки, старательно копирующие поведение взрослых. Одинаковые улыбки сияют на всех лицах, улыбки, которые князь, наблюдая за танцующими и публикой, толпящейся на площадке, мысленно называет "дантистскими", ибо, как ему кажется, они вовсе не выражают радость, а демонстрируют достоинства разных гигиенических паст.

Его так и тянет показать, что такое настоящий танец, и, услышав первые такты своего любимого венского вальса, он, поддавшись искушению, подходит к какой-то синьоре, с галантным поклоном – прежде чем она успевает прореагировать – решительно берет ее за талию и ведет в центр круга. Другие пары, заметив это, отходят в сторону и наблюдают за ними с замороженными улыбками, которые ничто не может стереть с их губ.

А бродяга, ну кто бы подумал, оказывается отличным танцором: это понимает даже его партнерша, неохотно подчиняющаяся ему и бросающая по сторонам растерянные взгляды. Невозможно не восхищаться непринужденностью, раскованностью князя, но его повороты порой слишком резки, а манера вести даму – поистине чересчур смела. По мере того как танец набирает скорость, пара начинает кружиться все стремительнее, и зрители удивляются, как им вообще удается сохранять равновесие. Конечно, эти бешеные пируэты, эта необузданность очень далеки от их собственных представлений о танце. Похоже, что того же мнения придерживается и дама: растерянность на ее лице уступает место самому настоящему ужасу. Чтобы не упасть, она вынуждена все крепче цепляться за шею князя, хотя ей хотелось бы держаться от кавалера на подобающей дистанции. Она старается справиться с овладевающим

ею головокружением: не таким уж неприятным, готова она признать, но тем более тревожным.

Дама жеманно смеется, желая показать всем, что понимает, в какую комичную ситуацию она попала, да и стоящие вокруг зрители тихонько отпускают по ее адресу всякие шуточки. Однако князь слишком захвачен танцем, чтобы заметить реакцию наблюдателей. Лицо крепко прижимаемой — прямо нос к носу — женщины во время слишком уж смелых пируэтов расплывается у него в глазах, смешиваясь в его сознании с образами других женщин, которые память услужливо и поспешно черпает из своих архивов, словно подстегиваемая лихорадочными движениями тела. Другие пространства, другие времена беспорядочно наслаиваются в сознании князя на "настоящее" — так явственно, что даже публике передается ощущение нереальности происходящего. "Да, есть в этой манере танцевать что-то яркое, почти экзотическое", — думают присутствующие, сохраняя чувство этакого насмешливого превосходства, — однако и оторвать взгляд от танцующего князя не могут.

Они все зачарованно следят за ним — пока их не заставляет очнуться крик, донесшийся с берега. После минутной растерянности все головы одновременно поворачиваются в ту сторону, а князь прерывает танец и озирается по сторонам с видом человека, внезапно пробудившегося ото сна. Лишь через пару мгновений он догадывается отпустить свою пошатывающуюся партнершу.

Теперь и князь смотрит на озеро: какая-то женщина, стоя у кромки воды, указывает на что-то рукой. Музыканты перестали играть, так что хорошо слышно, как она кричит:

— Смотрите! Идите сюда, смотрите!

Повинуясь призыву женщины, все покидают танцплощадку и спешат к берегу, все смотрят в одну точку — туда, где посередине озера колышется бездыханное тело лебедя. Видны бессильно распластанные широкие белые крылья, слегка покачивающиеся на волнах, и длинная шея, которая то показывается на поверхности, то опять уходит под воду.

— Какая жалость, — тихо говорит кто-то, — какая была красивая птица!

Остальные молчат, но обмениваются тревожными взглядами; они охвачены ужасом и даже возмущены тем, что смерть посмела столь грубо заявить о себе в самый разгар праздника.

Вот лебедь уже совсем близко, лишь несколько метров отделяют его от застывших в безмолвии зрителей. А князь быстро снимает башмаки и носки, закатывает брюки до колен и входит в воду. Остальные наблюдают за ним так же пристально, как они следили за его пируэтами на танцплощадке.

В этом месте неглубоко, так что ему удается дойти до лебедя по дну. Падающий с берега свет позволяет князю без труда различить длинные белые крылья и тело птицы, все ближе подгоняемой к нему течением. Когда лебедь оказывается совсем близко, он наклоняется, хватает его и при всеобщем молчании медленно — по поверхности воды — подтягивает к берегу, потом очень бережно поднимает птицу, словно у него в руках существо, еще способное чувствовать, и так же осторожно кладет ее на землю.

Толпа отступает на несколько шагов. Какое-то время никто не нарушает тишины; все взгляды обращены на лебедя, и в них читается сострадание, смешанное со смутным страхом.

— Что могло с ним случиться? — наконец спрашивает кто-то. — Может быть, он ранен?

Князь склоняется над птицей, долго разглядывает ее и потом, неуверенно перевернув лебедя на спину, продолжает осмотр.

— Нет, он не ранен и, насколько я в этом разбираюсь, еще довольно молод.

— Во всяком случае, — высказывается кто-то, — у всех *наших* лебедей отличное здоровье.

— Очевидно, не такое уж отличное, — замечает князь с грустной улыбкой.

Он уже поднялся и отжимает обшлага брюк, вода с которых стекает на безупречно чистую площадку. Покончив с этим, надевает носки и башмаки. Князю хочется сказать еще что-то — но, подняв глаза, он убеждается, что все уже отошли, сгруппировались на другом конце танцплощадки, стараясь держаться подальше от мрачного зрелища, и теперь тихо переговариваются, отвернувшись от озера.

— Так я и думал, — бормочет князь, — хоронить его придется мне самому.

Сняв пиджак, он укутывает им лебедя, оставив снаружи шею и окоченевшие лапки, берет его на руки и решительным шагом выходит из освещенного лампионами круга.

V

На следующее утро весь городок так и гудит от взволнованных разговоров и встревоженных перешептываний: горожане встречаются на границах своих владений, причем каждый убежден, что именно он может просветить соседа, сообщив ему поразительную новость; мужья и жены совещаются, стараясь говорить совсем тихо, чтобы их не услышали дети, а телефонистки Дирекции отчаянно пытаются своевременно и вежливо отвечать на тысячи звонков при небывалой перегрузке всех линий.

Такое волнение более чем оправданно: за последние часы произошел целый ряд совершенно необъяснимых событий. После того как нашли мертвого лебедя, все тщетно пытались восстановить праздничную атмосферу, но в конце концов отказались от этой мысли — а танцплощадка, по мере того как толпа рассеивалась, приобретала все более унылый вид. Веселый свет фонариков будто померк, лишь выделялась неприятным светлым пятном лужа, оставшаяся в том месте, где лежал лебедь. Гости один за другим покидали поляну и небольшими группами расходились по домам, с удовольствием созерцая звездное небо и всячески стараясь оживленными разговорами восстановить нормальную обстановку. И нельзя сказать, чтобы они в этом не преуспели — едва переступив порог своего дома, каждый успокаивался, а печальное зрелище, при котором он недавно присутствовал, почти полностью улетучивалось из его памяти.

Многим удалось вернуть себе хорошее расположение духа, но были и такие, которым повезло меньше. Дома их ждал новый сюрприз, вновь резко ухудшивший настроение. Так случилось со всеми теми — многочисленными — обитателями городка, которые увлекались аквариумами и заселяли их сверкающими тропическими рыбками. Каждая рыбка, как и способ размещения имитирующих морское дно камешков и водорослей, были в глазах их владельцев предметом особой гордости.

Представим себе, как все тот же синьор X или Y заходит с женой в дом, ступая осторожно, чтобы не разбудить детей, спящих на верхнем этаже. Прежде чем лечь в постель, он должен наполнить посудинку для корма или просто бросить последний взгляд на свое сокровище. В общем, он задерживается на пороге гостиной и, еще ощупывая стену в поисках выключателя, смотрит на свой аквариум, распространяющий в темноте мягкое и такое приятное свечение.

Но, присмотревшись получше, замечает что-то необычное. Сперва он не понимает, в чем дело, просто у него появляется какое-то странное ощущение: тут что-то не так. Потом со все возрастающим удивлением он начинает осознавать, что в аквариуме нет никаких признаков жизни: в стеклянном сосуде царит зловещая неподвижность, нарушаемая лишь равномерно бегущими вверх пузырьками воздуха и медленным, очень медленным, шевелением водорослей.

Встревоженный синьор X включает свет и бросается к аквариуму. Теперь наконец он увидит своих рыбок: но какое тягостное зрелище — они, бездыханные, плавают на поверхности воды, совсем как тот мертвый лебедь на озере... Глубоко потрясенный, он долго смотрит на них, потом приходит в себя. “Всему виной, — думает он, — какая-то техническая неполадка...” — и проверяет электронные датчики, от которых зависит жизнь аквариума. Аэрация, регулирование температуры — все вроде бы в порядке, ни один из индикаторов не показывает отклонения от нормы. Маленькая посудинка для корма еще наполовину заполнена, значит, и в этом отношении грешить не на что...

Синьор X очень расстроен и не сразу замечает, что рядом стоит жена и так же горестно смотрит на аквариум.

— Как это случилось? — спрашивает она, но муж может лишь повторить свою первоначальную мысль: что-то — непонятно что — не сработало.

— Ну, я им покажу... — добавляет он, испытывая от своих невразумительных слов некоторое облегчение. — Этот аквариум, между прочим, не задарма мне достался.

Так, вынашивая в душе жажду мести — продавцу и фирме-производителю, — наша чета поднимается в свою спальню, где засыпает неспокойным сном и очень поздно.

На следующее утро дети, спустившись к завтраку, видят сидящих за кухонным столом мрачных родителей и запертую на ключ дверь в гостиную.

— Туда нельзя? — удивленно спрашивает один из малышей.

— Нет, дорогой, нельзя, — говорит мать.

— А почему? Что-то случилось?

— Ну, что может случиться, — отвечает она уклончиво. — Давай лучше ешь, уже четверть восьмого.

Сегодня, как и многие их приятели, дети четы X накормлены, одеты и отправлены в школу с необычайной поспешностью. Электрический автобусик, развозящий учеников, еще не появился, а родители уже выставили их из дома и закрыли дверь.

Не надо думать о них плохо, они вовсе не плохие родители. Но один из законов, негласно действующих в городке, предполагает, что необходимо тщательно оберегать детей от зрелища смерти и вообще от мыслей о ней. Никто в городке не умирает — ни люди, ни животные. Белые кошки и палевые собаки, дожив до определенного возраста, просто "убегают" — глубокой ночью или когда дети в школе, — чтобы попасть в какие-то, неизвестно какие места, где они, конечно же, найдут себе новых хозяев и замечательный корм. Моложавые дедушки и бабушки, само собой, не убегают, но зато у них есть привычка отправляться в далекие странствия, из которых им совсем не хочется возвращаться. Эвфемистическая фраза "Он в путешествии", относящаяся к усопшим, обычно используется взрослыми вместо других, более точных определений, не подходящих, однако, для чувствительных детских ушей...

Итак, синьор и синьора X ждут, когда вызванная ими спецбригада прибудет за мертвыми рыбками, и готовятся рассказывать своим детям, когда те вернутся из школы, о том, как эти миленькие существа уплыли куда-то в поисках нового аквариума. Между тем они узнают, что не их одних постигло такое бедствие: во всех аквариумах городка хозяева, возвратившись после праздника, нашли мертвыми всех рыбок до единой, и та же напасть обрушилась на все фонтаны, садовые бассейны и искусственные озерца, погубив все живое, что в них было, без исключения. Отсюда и встревоженные требования — что-то объяснить и как-то вмешаться, — все утро передаваемые телефонистками.

Если объяснения запаздывают, то административные действия не заставляют себя ждать. Одетые в белую форму и прибывшие в белом фургоне специалисты тщательно обследуют каждое водное кладбище, и всякий раз вокруг них собирается маленькая толпа. Специалисты подходят к чашам фонтанов или к аквариумам, погружают в них сети, извлекают одну за другой всех рыбок и, не прикасаясь к ним, бросают в специальные контейнеры, которые тут же герметически закупоривают. Более трудоемкой оказывается очистка маленьких озер, но и эта операция производится в разумные сроки, и публика может наконец вернуться домой в уверенности, что вскоре, после необходимых исследований, странная история разъяснится. Между тем в гостиных, из которых вдруг исчезли самые любимые украшения, аквариумисты дают себе торжественное обещание: "Больше такое не повторится" — и намереваются в будущем посвятить себя коллекционированию марок или монет — занятию не менее увлекательному, но не чреватому подобными огорчительными зрелищами, слишком уж убедительно напоминающими о том, что следует во что бы то ни стало выбросить из головы.

VI

Пока люди терпеливо и с надеждой ожидают результатов научной экспертизы, в городке продолжается обычная размеренная жизнь. Волнение, вызванное внезапной гибелью рыбок, почти не оставило следа в

душах горожан, которые, как всегда, поглощены своей работой, а в свободное время с интересом смотрят любимые телепрограммы, спокойно относясь к частым затемнениям экрана, и, пользуясь хорошей погодой, занимаются разными видами спорта.

Лето стоит жаркое, но не душное: очень приятно отдыхать на открытом воздухе, особенно ближе к вечеру, когда солнечные лучи уже не так обжигают и налетающий откуда-то легкий ветерок приносит приятную прохладу. Вот и князь, если ему удается вовремя выполнить все поручения, тоже любит поблаженствовать в такие часы. Не занимаясь изнурительными спортивными упражнениями, которые он считает нелепой традицией горожан, князь удобно устраивается в тени плакучей ивы, клонящей свои ветви над одним из маленьких озер. Растянувшись на траве и опершись головой о ствол, он предается созерцанию пейзажа, любуется тем, как играют на воде блики нежаркого солнца. Теперь можно почитать одну из своих еще сохранившихся книг или постараться вспомнить те, которых у него больше нет...

Сегодня, например, стрекотание цикад приводит ему на память нескладную фигуру Сократа, однажды так же, как и он, растянувшегося на траве[1], но — в отличие от него — рядом с молодым другом, с которым он мог блуждать по самым опасным и заманчивым тропинкам познания. Вот это, думает князь, действительно занятие, которому стоит предаваться, которому можно предаваться, не шевельнув даже пальцем. "Подумай, дорогой Федр, и постарайся вспомнить вместе со мной то, что когда-то видела наша душа, летая за Богом, взирая с высот на вещи, которые сейчас мы именуем сущими, и поднимая голову к тому, что есть истина..."

Убаюканный этими древними словами, князь, наконец, погружается в дремоту. Он проваливается в блаженную круговерть забвения, все больше овладевающую им и отделяющую от окружающей действительности; проваливается в сон без сновидений, в котором стрекотание цикад претерпевает странные превращения: становится голосом, потом музыкой, потом непрерывным громом, словно вбирающим в себя все возможные звуки. Во сне князь вслушивается в него — зачарованный и в то же время потрясенный, ему даже кажется — нет, он просто уверен, что в этом громе кроется какой-то смысл, но смысл, выходящий за пределы человеческого разумения; такими бывают только божественные откровения или безмолвные откровения природы. Он не знает, опустить ли ему взгляд или поднять голову — и то и другое кажется одинаково бесполезным, так как все равно он не сможет ничего разглядеть в окружающей его абсолютной тьме. И в этой непроглядности ему остается лишь слушать гром, идущий и сверху и снизу, отовсюду, а может и ниоткуда — пока беспокойство не одолевает его и он не пробуждается...

Перед ним, буквально в нескольких шагах от него, кто-то стоит; поначалу князю кажется, что это продолжение сна. Потом, приглядевшись получше, он узнает девочку с длинными черными волосами: ту,

1. В диалоге Платона "Федр" Сократ говорит своему другу: "Да, если хочешь, ветерок здесь прохладный и очень приятный; по-летнему звонко вторит он хору цикад. А самое удачное это то, что здесь на пологом склоне столько травы — можно прилечь, и голове будет очень удобно". Цит. по кн.: Платон. Федон. Пир. Федр / Перев. А.Н. Егунова. — СПб.: Амфора, 1978. — С. 183.

чей мимолетный — робкий и внимательный — взгляд он уже не раз ловил на себе.

— Ты тоже слышала? — спрашивает он.

— Что?

— Цикад, наверное, — отвечает князь, немного поколебавшись. — Но скажи, почему ты так пристально на меня смотришь? И не в первый раз, как я замечал...

Не говоря ни слова, девочка подходит и садится рядом на траву. Странная девочка, совсем не пышущая отменным здоровьем, свойственным всем детям в городке. По сравнению с ними она кажется очень хрупкой, а ее лицо в черной рамке волос, пожалуй, бледновато.

— Тебя случайно не Федром зовут? Да нет, конечно нет — это ведь не женское имя, к тому же ты еще слишком мала, чтобы взять на себя роль такого ученика, — говорит князь, с интересом разглядывая ее.

— Я действительно не Федр. Надеюсь, вас это не огорчает?

— Как сказать, дорогая. Главное, чтобы ты не нацепляла на себя одно из тех приторных словечек, которыми обычно называют детей в вашем городке...

— Меня зовут Сара. Это приторное словечко?

— Вовсе нет. Передай своим родителям, что я поздравляю их с таким выбором.

— Мои родители давно уехали в путешествие, и думаю, они не вернутся. Тетя говорит, что вернутся, но она уже строит разные планы на будущее, и по ним выходит, что я останусь жить с ней...

Князь смотрит ей прямо в глаза — темные, блестящие.

— Ты умная девочка, Сара, однако сомневаюсь, что здесь это такое уж преимущество...

— Я не умная. В школе мне ставят плохие отметки, потому что я задаю много ненужных вопросов.

— Ненужных?

— Да, мне всегда кажется, что я чего-то не понимаю, а другие прекрасно знают, что тут и понимать нечего, поэтому вопросов не задают, и им ставят хорошие отметки. Я знаю, что поступаю неправильно, но не могу ничего с собой поделать. Вот и сейчас, например, мне хочется задать вам вопрос, он так и вертится у меня на языке...

— Так задай, о чем речь?

— Не знаю, мне бы не хотелось...

— Смелее! Если уж он вертится у тебя на языке, не так уж трудно позволить ему с него соскочить.

— Ну тогда скажите, почему вам хотелось назвать меня Федром?

— Федр был юношей, который слушал, что говорит старик. Много веков назад.

— И только?

— И только. Но слова старика были важны.

— И вы тоже их слышали?

— Дорогая моя, я не настолько стар, как ты думаешь.

— Но вы, наверное, много знаете?

— Не сказал бы. Просто я сам тоже задаю себе много вопросов.

— Глупых?

— Может, и глупых.

— И это приносит мало радости, верно? Даже вам?

— Ты так мала, а уже научилась многому, — отвечает князь, с жалостью разглядывая ее тонкие пальчики, теребящие травинку.

Вдруг Сара отбрасывает травинку и, глядя ему прямо в глаза, спрашивает:

— Вы можете мне объяснить, что там, за темнотой?

— За темнотой?

— Да, когда экран телевизора чернеет и начинает играть музыка... Мне кажется, что это... такая ширма. Что за ней продолжают что-то показывать, но мы не можем этого видеть.

— Не хотите видеть, Сара. Или, по крайней мере, не хотят видеть твоя тетя, твоя учительница и все им подобные.

Какое-то время князь молчит, словно не зная, стоит ли продолжать.

— Сейчас, когда я спал, — говорит он наконец, — мне тоже снилась темнота, а в темноте звучал странный звук.

— Это был голос?

— Нет, это был не голос, и все же я думаю, что он как-то обращался ко мне.

— А что он говорил?

— Не знаю. Не знаю даже, зачем я все это тебе рассказываю.

— Может, потому, что ваш вопрос похож на мой. Вы тоже спрашиваете себя, что там, за темнотой.

— А ты и впрямь умная девочка. За темнотой, Сара, если ты действительно хочешь знать, бывает что-то очень плохое.

— Где? В телевизоре или в вашем сне?

— Боюсь, что и там и там. Но я имел в виду телевизор. Видишь ли, окружающий мир совсем не похож на ваш городок.

— Вы его знаете, да? Вы оттуда пришли?

Князь молча кивает, а потом говорит:

— Если сравнивать, может показаться, что вы здесь живете в раю. В раю неведения, а может, и в раю безразличия... Ты же, дорогая моя, вытягиваешь из меня, старика, всякие ответы, вместо того чтобы наслаждаться преимуществами, которые даны здесь всем.

— А мне, князь, — почти резко возражает Сара, — этот рай не нравится.

— И все же боюсь, что тебе придется смириться и остаться здесь. По крайней мере — пока. А вот когда вырастешь, и если там, снаружи, еще что-нибудь останется...

— Если еще что-нибудь останется? Это как?

Князь улыбается:

— Тетя не объяснила тебе, какие опасности подстерегают снаружи того, кто обладает привилегией жить здесь? Она не сказала тебе, что там, снаружи, люди буйствуют, как дикие звери, не ставя перед собой никакой другой цели, кроме взаимоуничтожения?

— Она говорит, что я каждый день должна благодарить небо за то, что родилась здесь, в этом городе.

— И ты благодаришь?

Сара качает головой.

— Я же сказала вам, этот рай мне не нравится. Я не уверена, что он действительно рай.

— Ну как же? Тут есть даже целый отряд архангелов Михаилов со сверкающими мечами: они охраняют границы городка.

При этих словах задумавшаяся было девочка смеется.

– В школе я тоже проходила историю про Адама и Еву, Змея и Архангела Михаила...

– А все же тебе так и хочется сорвать плод с древа познания – и тут же целиком его сжевать. Позволь заметить, что ты неосторожная девочка – пожалуй, даже строптивая.

– Строптивая? А что это значит? Ваши слова иногда так трудно понять...

– Ты меня удивляешь: такой ученый теолог, как ты, должен бы обладать более богатым лексиконом... Строптивая – значит упорная или, если угодно, упрямая как осел.

– Тогда вы правы, – виновато признается Сара, – я действительно упрямая. Вам не кажется, что когда-нибудь вы станете моим другом?

– А я и так уже друг, – отвечает князь, поднимаясь, – и в доказательство позволь мне предложить тебе свою руку, а также скромную защиту – и проводить тебя до дома твоей тетушки. Как ты понимаешь, уже поздно, время ужинать.

Идти "под ручку" легче на словах, чем в действительности, – слишком велика разница в росте у девочки и этого долговязого старика. Поэтому князь соглашается на компромисс: кладет свою руку на плечо Сары и шагает рядом по позолоченным заходящим солнцем лужайкам, старательно помогая ей преодолевать всякие мелкие препятствия. В аллее бдительность князя ослабевает: теперь они просто идут рядом, мирно беседуя, и сторонний наблюдатель немало удивился бы, увидав, как уверенно согласовывает свои шаги эта странная пара.

VII

С того дня их все чаще стали видеть вместе. Когда князь работает на открытом воздухе – в парке или в саду какой-нибудь небольшой виллы, – почти всегда можно заметить и маленькую фигурку Сары, сидящей на траве в нескольких метрах от него. Она следит за каждым его движением так, словно выполняет роль наблюдателя, а иногда настойчиво предлагает ему свою помощь, уверяя, что лишняя пара рук, пусть маленьких и неумелых, все-таки может принести пользу. Князь всячески старается не протестовать против этой максимы и, чтобы удовлетворить желание маленькой подружки, поручает ей какое-нибудь не очень трудное дело, скорее имеющее символическое значение, чем приносящее реальную пользу: собирать, например, сухие листья, проскочившие сквозь зубья грабель, или носить за ним ведерко, когда он красит ограду. Сара вполне серьезно относится к таким поручениям и даже, проникшись важностью своей роли, слегка морщит лоб. "Как хорошо, что я могу взять на себя часть его забот", – думает она, бросая на старика покровительственные взгляды. Конечно же девочка и представить себе не может, что единственная цель такого разделения труда – занять ее хоть чем-нибудь, но так, чтобы она себе не навредила.

И все же он вряд ли захотел бы отказаться от ее компании. Раньше князь смотрел на детей как на неизбежное зло, причиняемое человечеству Провидением, которое почему-то совсем не намерено охранять покой божьих тварей; но теперь он прямо-таки покорен Сарой, очарован смесью ума и чистоты, сквозящих в каждом ее слове, и тем совсем уже

странным обстоятельством, что эта девочка одаривает своим доверием именно его, старого мизантропа, который явился сюда неизвестно откуда и к которому все прочие горожане относятся со снисходительной отчужденностью.

Сара – не маленький варвар, как многие ее сверстники: в ней нет и следа свойственной им инстинктивной жестокости, часто обрушивающейся на тех, кто слабее их или чем-то от них отличается; нет в ней и той неодолимой тяги к стадности, которая побуждает многих здешних детей сбиваться в группы, все члены которых отличаются одинаковым поведением, языком и даже мыслями. Сара в такие группы не вписывается и решительно их избегает. Ее, так сказать, окружает ореол одиночества. Робкая гордость побуждает ее, держась в стороне от забав других детей, погружаться в собственные фантазии или с отважностью следопыта исследовать – без учителя или товарищей – окружающий мир.

Эти ее склонности, конечно же, всегда вызывали беспокойство у тех, кто должен был о ней заботиться – начиная с тетушки и кончая педагогами, которые пытались внедрить в эту "черную овцу" дух здорового оптимизма, похвальное неприятие каких бы то ни было сомнений, присущее всем "белым овечкам" здешнего стада. Что до родителей, то их позиция нам неизвестна, поскольку они уже слишком давно "уехали в путешествие", и даже у самой Сары остались о них лишь смутные воспоминания. Во всяком случае, педагоги давно поняли, что эта девочка непослушна и что любая попытка исправить ее разбивается о ее молчаливое упрямство. Такое их убеждение привело к тому, что они избавили ее, неблагодарную, от своей опеки, так что теперь эта "черная овца" пользуется полной свободой.

Никто не вмешивается, видя, как она вертится вокруг бродяги, никто и не думает вмешиваться, хотя такая компания вряд ли может считаться для девочки подходящей. Учителя полагают, что об этом должна заботиться тетушка, тетушка же считает, что, уж если учителям не удалось привить маленькой бунтарке хоть каплю здравого смысла, ей этого не добиться и подавно. Кроме того, она достаточно хорошо знает характер своей племянницы, чтобы понять: запрет не только не ослабит, а еще больше укрепит привязанность девочки к бродяге. Поэтому тетушка ограничивается тем, что следит за князем и Сарой из окна – когда эти двое оказываются поблизости, а домашние дела ей это позволяют, – и знает, по крайней мере, что племянница своевременно делает уроки и в положенное время является к столу.

Сара с радостью пользуется таким безразличным отношением к ней. Больше того, как мы уже видели, она по мере сил помогает князю в его работе и даже проводит с ним долгие летние вечера – такие долгие, будто сумерки никогда и не наступят. Как прекрасно, сидя на траве или на скамейке, вместе наслаждаться окружающим пейзажем и обмениваться мыслями! Иногда они укрываются под пышной кроной ивы, а бывает, спускаются к самому озерцу и разговаривают, болтая ногами в воде, или избирают для своих бесед какой-нибудь дальний уголок площадки для гольфа, совершенно не реагируя на возмущенные взгляды игроков.

Теперь девочка уже много чего знает о Федре и о других знаменитых людях. Князь берет ее с собой не только в надзвездные края, где

крылатые души созерцают истину во всем ее блеске, но и к укреплениям древней Трои, и на стены северного замка – того, где принцу Гамлету некогда явился гневный призрак, требовавший возмездия. Во всех этих странствиях Сара следует за ним с жадным интересом: она же не представляла себе, что на небе и земле есть так много всего – гораздо больше, чем укладывается в философию Горацио, друга Гамлета, или в замкнутую систему знаний ее учителей.

Конечно, князь нередко заводит речь о вещах, слишком тревожащих душу, слишком мрачных для девочки, которая привыкла к пастельным тонам городка, к этому приятному отсутствию теней и контрастов; и самые мрачные рассказы относятся к явлению, именуемому "смертью" – о ее существовании Сара узнает только сейчас, улавливая здесь связь с "путешествием родителей", внезапным отключением экранов, с уклончивыми ответами взрослых. Смерть – это она кроется за темнотой, она всесильна, сильнее самой Дирекции, которая так безупречно и осмотрительно управляет повседневной жизнью городка... Гамлет и Иов, Ахилл и Приам говорят о смерти так, словно хорошо ее знают, да и сам старик, наделяющий их своим голосом, похоже, знает ее так же хорошо – не только потому, что прочитал о ней в книгах. Но что больше всего потрясает Сару, побуждая ее к сложным умозаключениям (так бывает, когда человек силится превзойти самого себя, чтобы, например, дотянуться до слишком высокой полки шкафа), – это пугающая и таинственная связь между смертью и движением крылатых колесниц за небесным кругом, с картинами, открывающимися перед ослепленным взором возничего.

Нельзя сказать, что она все сразу понимает, однако, как мы уже говорили, у девочки характер бесстрашного следопыта, и чем труднее кажется путь, тем больше ей нравится идти по нему вместе с другом. А тот, в свою очередь, старается учитывать ее возможности, но делает это незаметно: ведь если Сара что-нибудь заподозрит, то наверняка обидится. Она не хочет, чтобы с ней обращались как с ребенком, и все же в каком-то смысле Сара больше ребенок, чем те ее сверстники, которые на спортивных площадках городка прилежно предаются предписанным им занятиям. В отличие от них она еще не утратила способности удивляться, не считает, что все и так понятно, а следовательно, бесполезно задавать вопросы, – уж это-то отпрыски горожан осознают не позднее чем на третьем году жизни.

Вот так, связанные своей отстраненностью от всего, что их окружает, они продолжают встречаться – ежедневно в послеполуденные часы, – и каждый раз, очнувшись от своих воображаемых странствий, замечают, что солнце стало садиться чуть раньше, а лето, хотя оно еще в полном расцвете, уже обнаруживает признаки увядания. Но это – не единственные изменения, происходящие в городке: вот уже несколько недель Сара и князь не могут отделаться от впечатления, что нежная туманная дымка как-то незаметно приблизилась и даже стала темнее и гуще. Она теперь светится ярко-розовым цветом и, как стена, заслоняет собой горизонт.

Другие тоже почуяли неладное, однако пока не придают этому значения. Их главная забота (кроме тех, что связаны с работой и домашними делами, с праздниками и соревнованиями по гольфу) – узнать окончательные результаты расследования причин гибели рыбок: они хотят

наказать виновных, а потом навсегда забыть о столь неприятном инциденте.

Желание законное, но вряд ли осуществимое. Произведя все необходимые анализы, лаборатория, перед которой поставили эту задачу, была вынуждена — прибегнув к сугубо научным терминам — признаться в своей несостоятельности. Дело в том, что не было обнаружено никаких подозрительных вирусов или бактерий в самих рыбках, ни малейших изменений в воде, составе корма или в сложной аппаратуре, регулирующей жизнедеятельность аквариумов. Читая между строк, так и чувствуешь, что лаборанты готовы признать гибель рыбок фактом абсурдным, в который люди, мыслящие логически, просто не могут поверить. А поскольку, как известно, ничего не происходит без причины, напрашивается вывод, что нечто, происшедшее без причины, не произошло вовсе; отделавшись, наконец, от "чешуйчатых аргументов" в пользу противоположного мнения, лаборанты все больше склоняются именно к этой мысли — хотя бы просто из уважения к самим себе...

Такой подход к делу заразителен, и в последующие недели в головах горожан, в том числе и владельцев аквариумов, все мало-помалу "переворачивается". Никто, конечно, не ставит под сомнение сам факт гибели рыбок, но это событие уже считается малозначимым — как и все, чему невозможно найти объяснение. "Хватит об этом" — кажется, написано на лбу даже у тех, кто еще пару недель назад с жаром составлял всякого рода петиции и грозил судом каждому, кого в своем гневе считал ответственным за катастрофу. "Хватит об этом!" — торжественно заявляют многие горожане, после чего уносят сухой аквариум в подвал и стараются засунуть его в самый темный угол. "Хватит об этом", — спешат предупредить любого неделикатного человека, неосторожно коснувшегося этой темы; не отдавая себе отчета в том, что точно такими же словами отделываются от вопросов о своих родных, якобы уехавших в путешествие.

VIII

Сара беспокойно ворочается в постели. Уже глубокая ночь, но лунный свет проникает в комнату через открытое окно и один луч падает прямо на лицо девочки, медленно пробуждая ее ото сна. Вот она уже совсем проснулась, но ей лень встать; она лежит и вспоминает историю, которую князь сегодня начал рассказывать. Интересно, чем она кончится. Неужели старый ученый, разочаровавшись в собственных знаниях, скрепит кровью договор, предложенный ему Мефистофелем, и продаст душу за молодость? И что это такое — душа, о которой часто упоминается в книгах ее друга? Перевесит ли она, такая бестелесная и невидимая, если положить ее на одну чашу весов, а на другую — все блага, и богатства, и везение? Как это возможно, если она такая легкая? А все же Мефистофель, похоже, всерьез относится к подобным сделкам, иначе он не предложил бы такого обмена, да и Фауст принимает все всерьез, хоть и делает вид, что не верит... Так кто же из них кого обманывает? — спрашивает себя девочка, и под ее закрытыми веками вырисовываются

большие — блестящие в полумраке — серебряные весы, чаши которых как бы в сомнении колеблются, не находя точки равновесия...

Едва она открывает глаза, весы исчезают, но не исчезает серебряный блеск: разбудивший ее луч продолжает блуждать по комнате, снова добирается до постели, укладывается теперь на подушку. Саре это надоедает, она натягивает простыню на голову, однако быстро убеждается, что ее уловка бесполезна, так как свет проникает и сквозь ткань — слегка смягченный, но все же достаточно яркий, чтобы не дать ей уснуть. Ничего не поделаешь, придется встать и закрыть ставни. Сара садится в кровати, сует ноги в шлепанцы и идет к окну. Она не хочет зажигать лампу, чтобы не привлечь ночных насекомых, но благодаря заливающему комнату холодному сиянию все и так видно.

Вот она уже у окна. Белый диск луны висит высоко в небе, прямо перед ней: лужайки и соседние дома сверкают в его свете. Все видно очень хорошо, как будто сейчас день, но — странно тихий и какой-то безжизненный: каждый предмет обрел каменную неподвижность, кажется скованным чересчур четкими контурами. Сара с удивлением смотрит, не решаясь закрыть ставни. Она и представить себе не могла, что привычный городок может превратиться в колдовскую картину, в незнакомый мир, в каждом уголке которого ей чудится скрытая тайна.

"Ни разу в жизни, — думает она, словно прожила уже очень долго и накопила богатый жизненный опыт, — ни разу в жизни не видела я такой ночи..."

Девочка все еще предается созерцанию, но вдруг замечает в этой замершей картине какую-то движущуюся деталь — белое животное, похожее на большую собаку. Оно медленно ступает по асфальтированной дороге между домами. Нет, не ступает, а скорее даже скользит, так легки его движения. Девочка не отрывает зачарованного взгляда от непонятного существа. "Это точно не собака, — думает она, — но и не кошка, конечно: слишком оно большое. Никогда в жизни не видала я такого животного..."

Девочка смотрит, как оно бесшумно скользит между погруженными в сон домами, слегка задевая их боком — словно обозначая так свою власть над ними. Затаив дыхание, Сара ждет, когда животное приблизится и к ее дому, однако оно вдруг сворачивает в переулок и удаляется все той же равномерной грациозной поступью.

Решение надо принять немедленно, в этом Сара уверена. Недолго думая, она взбирается на подоконник и легко спрыгивает на землю.

"Нужно спешить, нельзя потерять его из виду", — думает Сара, поднимаясь с земли. Она и сама не могла бы объяснить, почему так важно следовать за животным, но все же уверена — это важно: порукой тому и охватившая ее дрожь, и смешанное со страхом чувство облегчения, которое она испытывает, глядя на удаляющееся белое существо.

"Если побежать быстро, его еще можно догнать". И она бежит по траве — на цыпочках, стараясь не шуметь. Ей кажется, что расстояние между ними не сокращается, хотя она напрягает все силы, а животное будто бы движется так медленно и спокойно... Вот уже и последние дома позади, перед ней расстилаются поля, но стена тумана, серебристая и фосфоресцирующая, замыкает пейзаж как рама. Если бы у захваченной погоней Сары было время подумать, ей бы, конечно, пришло в голову, что никогда еще в своей жизни не видела она горизонта так близ-

ко; в этой близости есть что-то гнетущее — словно небо, необычайно тяжелое, нависло над землей и вот-вот ее раздавит. Но девочка ни о чем не думает, а продолжает бежать, не спуская глаз с животного, которое спокойно движется впереди, то ли не понимая, то ли не придавая значения тому, что за спиной у него такая упорная преследовательница.

Наконец девочка вынуждена остановиться. Запыхавшись, она хватается рукой за левый бок: острая боль напоминает ей, что нельзя бежать так долго, что рано или поздно силы иссякают, даже если их очень много — как у всех здешних детей. Но, переведя дух и взглянув вперед, Сара с удивлением убеждается, что животное тоже остановилось. Стоит себе неподвижно на фоне серебристого тумана и даже обернулось к ней, Саре, словно поджидая ее. Их еще разделяет слишком большое расстояние, чтобы Сара могла понять, что же это за животное. Морда — овальное пятно, на котором различимы лишь поблескивающие глаза, их необычайно выразительный взгляд. А на белоснежной шкуре прямо под горлом выделяется красная полоска — то ли ленточка, то ли узкий ошейник.

Сара медленно приближается к нему, идет очень осторожно, чтобы животное не испугалось и не убежало. Но нет, оно смотрит на девочку спокойным, глубоким, удивительно притягивающим взглядом.

Девочка тоже уже успокоилась, сердце перестало колотиться, и тревога, до сих пор не отпускавшая ее, мало-помалу улеглась. Каким бы абсурдным это ни казалось (а по правде говоря, в настоящий момент ничего абсурдного она в этом не видит), впечатление такое, будто животное смотрит на нее понимающим, родственным, добрым взглядом, и она вдруг узнает его: это же ягненок — ну конечно, ягненок — с белой волнистой шерстью, с длинной и такой кроткой мордочкой...

До сих пор Сара никогда не видела ягненка, по крайней мере в реальной жизни; однако у нее сложилось довольно точное представление о нем — по фотографиям и фильмам. Она знает его, как знает коров, кур и других полезных животных, о существовании которых им, детям, рассказывают заботливые учителя. Ягненок, вспоминает девочка, вырастает в овцу, а та дает шерсть для мягких свитеров, без которых не обойтись в зимние холода. Конечно же, такое щедрое животное не может быть злым, а наоборот, должно быть очень добрым. У нее есть все основания довериться его взгляду и без страха подойти поближе. Вот она и подходит, так что теперь их разделяют всего несколько шагов, но вдруг закрывает лицо руками и издает крик — очень громкий в темноте ночи. Поборов страх, девочка чуть раздвигает пальцы, чтобы убедиться, что не ошиблась, но тут же опять их сдвигает. Да, она хорошо видит, сомнений быть не может: красная полоска на шерсти ягненка, прямо под горлом, — это не лента и не ошейник, а длинная кровоточащая рана.

Девочка не открывает глаз, с силой прижимает пальцы к лицу, словно хочет стереть саму память об увиденном. Надо бежать, но она не в силах: сначала кажется, будто ноги не слушаются, потом ее охватывает какое-то смутное чувство, постепенно выкристаллизовывающееся в ясную мысль: “Если он ранен, ему нужно помочь...” Вот такую форму приобретает эта мысль, когда Саре удается наконец выразить ее словами.

Усилием воли Сара отнимает руки от лица и смотрит прямо перед собой. Но видит лишь стену тумана, заволакивающего горизонт и серебрящегося в свете луны.

IX

Князь просыпается, услышав легкий, но настойчивый стук в железную дверь гаража. Встав с раскладушки, он проклинает в душе нежданного гостя и нажимает на кнопку, открывающую дверь. Дверь медленно поднимается: за ней стоит Сара в одной ночной рубашке, очень взволнованная.

— Что случилось? — спрашивает удивленный князь, но девочка не отвечает, а только смотрит на него распахнутыми глазами и, похоже, не может даже сдвинуться с места. Князь мягко берет ее за руку и, потянув за собой, подводит к раскладушке, на которую Сара тут же падает. Разглядев девочку при свете, князь замечает, что она бледна, еще бледней, чем обычно, с трудом переводит дыхание, словно долго бежала, а руки и ноги у нее слегка дрожат.

— Успокойся, — говорит ей князь тихо, но, судя по всему, Сара и не думает успокаиваться. Сложная ситуация — особенно для него, человека, совершенно не знающего, как надо обращаться с детьми. Первое, что ему приходит в голову, — поделиться с подружкой содержимым своей фляги с коньяком, уже наполовину пустой (на протяжении последних нескольких месяцев ее содержимое является предметом строжайшей экономии). Однако князь сразу вспоминает, что в таком возрасте спиртное не пьют — во всяком случае, его не следует пить, — и опять не знает, что делать.

— Хочешь воды? Ты голодна? Может, полежишь? — спрашивает он, не упуская ни единой пришедшей ему в голову возможности как-то помочь девочке. Но та только качает головой и по-прежнему молчит.

Говорят, что в подобных случаях прекрасной терапией служит пара пощечин, вспоминает князь. Но он, разумеется, не может ударить ребенка. Вздохнув, князь присаживается рядом и обнимает девочку за плечи: похоже, что, сам того не желая, он нашел верное средство, так как немота Сары разряжается отчаянными рыданиями и с губ ее наконец срываются какие-то слова.

Всхлипывая, она рассказывает о событиях этой ночи: о появлении ягненка, ее погоне за ним и о кровоточащей ране у него на шее. Она говорит, а выражение лица князя становится все более серьезным и встревоженным.

— Я закрыла глаза только на секунду, — говорит девочка в заключение, — а когда открыла, его уже не было. Он не ушел, понимаешь, а именно исчез. Убежать бы он не успел, и места, где бы он мог спрятаться, тоже не было.

— Довольно странно, — замечает князь, утирая ей слезы мятым платком, — даже если это был сон. Но ты уверена, что видела его не во сне?

— Говорю же тебе, я видела его взаправду, — обижается Сара. — К тому же, — добавляет она (и ей не откажешь в железной логике), — если бы он мне только снился, я осталась бы в своей постели.

Князь согласно кивает. Теперь и он побледнел, но Сара не замечает этого — она занята собственными воспоминаниями о случившемся.

— Вот видишь, — уговаривает она князя, показывая ему свои босые грязные ноги. — Я так бежала, что потеряла шлепанцы. Да если бы ты видел все сам, тебе бы и в голову не пришло, что это сон!

— Ты права, это не могло быть просто сном. Поверь, я убежден, что так оно и было, хотя сам не видел...

— Потому что веришь мне?

— И поэтому, и по другим причинам.

— По другим? По каким же?

Князь долго смотрит на нее. Он колеблется.

— Я скажу тебе в другой раз, — наконец отвечает он. — А может, — добавляет, понизив голос, — если буду вполне уверен, то и вовсе не скажу. Да, может быть, очень может быть... Не следует маленькой девочке знать о таких вещах, и меня удивляет, меня поистине удивляет, что это не было принято во внимание...

— Могу я узнать, о чем ты?

Услышав Сару, князь тут же приходит в себя.

— Ничего, извини, пожалуйста. Чистый бред. Впрочем, кто бы не стал бредить в таких обстоятельствах?

Услышав эту невнятицу, Сара зевает. Похоже, сон и усталость уже сморили девочку, несмотря на ее волнение.

— Должно быть, сейчас очень поздно, — говорит князь. — Ты случайно не знаешь, который час?

— Мои часы остались на тумбочке.

Князь поспешно достает из-под раскладушки свои часы-луковицу, смотрит на них, но — без особого доверия. Он долго прислушивается, держа луковицу возле уха, потом, покачав головой, возвращает ее на место.

— Все равно — должно быть, уже очень поздно. Я провожу тебя домой.

— Не надо пока, пожалуйста, я еще не хочу спать.

— Но у тебя же глаза слипаются...

— Ну и пусть. А спать я не хочу, — отвечает Сара, устраиваясь поудобнее на раскладушке. — Может, расскажешь, чем закончилась история Фауста?

— Завтра расскажу, Сара. Сейчас не время.

— А мне интересно. Лучше думать о персонажах твоих книг, чем о ягнятах с перерезанным горлом.

— Может, оно и так, — отвечает князь в задумчивости. — Но этот ягненок — тоже персонаж одной книги.

— Я же говорю тебе, что видела его своими глазами.

— Я знаю, знаю, не волнуйся... И смотри, не засни на моей койке, не то поставишь меня в очень неловкое положение.

— Мне ни волноваться нельзя, ни заснуть... Может, объяснишь, что мне можно?

— Давай я провожу тебя домой. А завтра, если захочешь, расскажу, чем кончились переговоры Фауста с Мефистофелем.

— Спорим, он откажется.

— На твоем месте я бы не спорил.

Князь нажимает на кнопку и поднимает железную дверь гаража, тем самым поставив девочку перед свершившимся фактом.

– Смотри, уже солнце восходит. Колебания сейчас неуместны, если мы хотим, чтобы ты вернулась раньше, чем проснется тетушка.

Сара, улыбаясь, выходит вместе с ним.

– Иногда ты говоришь такие смешные вещи.

– Чрезвычайно рад, синьорина, что это тебя забавляет: я в твоем полном распоряжении...

Они шагают рядом. Аккуратно подстриженные газоны, живописные рощицы, удачно продуманная вязь аллей и тропинок – все выглядит таким безмятежным в свете раннего утра, что Сара не может понять, каким образом ночное событие вообще могло произойти – среди такой красоты. Она бы даже засомневалась в том, что сама видела, если бы воспоминание не было настолько ярким и тягостным: от него просто невозможно избавиться.

– Хочешь, князь, посмотреть, где все это случилось? Где остановился ягненок, где я потом подошла к нему и заметила рану?

– Покажешь в другой раз, а сейчас надо торопиться.

– Но тетя никогда не встает так рано, а это совсем близко.

– Словом, ты никак не желаешь возвращаться в постель?

– На моем месте ты тоже не захотел бы ложиться.

– На моем месте мне и без того хватает забот, – вздыхает князь, задумываясь над тем, почему природа наделила детей такой выносливостью и таким неодолимым упрямством. Что до него, то он охотно вернулся бы к прерванному сну – хотя бы на несколько часов. И все же он должен признать, что совсем не в этом кроется причина его колебаний. Какая-то глухая тоска охватывает его при мысли, что можно увидеть место, где остановился ягненок, и привести туда Сару.

– Не думаешь ли ты, подружка моя дорогая, что было бы разумнее все забыть?

– Забыть? – откликается девочка, поднимая удивленный взгляд на своего друга. – Да даже если бы я могла, то не захотела бы.

– И все же так оно было бы лучше... Не смотри на меня с укором, не возмущайся: мне важно... защитить тебя.

– Как защищают все остальные? Которые не желают знать, что там, за темнотой?

Девочка произносит эти слова таким суровым тоном, что князь не решается что-либо возразить.

– Обещай мне хотя бы никому не рассказывать об этом. Пойми, тебе не поверят, будут говорить, что ты странная...

– Они и так уже говорят, – Сара пожимает плечами. – Но все равно, обещаю, что ни с кем это обсуждать не буду. Только с тобой.

Они уже дошли до границы жилой зоны, за которой начинаются луга, и стена тумана оказалась так близко, что почти нависла над ними. Сара умолкла и теперь сосредоточенно ищет что-то в траве.

– Это было здесь? – спрашивает князь.

– Может, и здесь, но я не уверена.

Она наклоняется и разглядывает землю, видимо, надеясь увидеть либо следы ягненка, либо свои собственные, но ничего такого в траве, конечно, не разглядеть.

— Может, это было не здесь, — говорит девочка, распрямляясь. — Давай побродим еще немного.

И они "бродят еще немного" по широкому луговому кольцу, окружающему городок. Один раз встречают охранника, обходящего окрестности: он окидывает их подозрительным взглядом, но, ничего не сказав, продолжает свой путь: князя уже все узнают, даже охранники, бдительность которых он однажды обманул; всем известна и его привычка повсюду таскать за собой эту девочку. Саре хочется окликнуть охранника и спросить, не заметил ли он чего-нибудь необычного, но, едва она замедляет шаг, князь дергает ее за руку.

— Как странно, — говорит она, когда охранник уже не может ее услышать, — этой ночью никаких гвардейцев здесь не было, по крайней мере я их не видела. И вообще, все здесь опять... такое нормальное... Не думаю, что удастся найти то место.

— Я тоже не думаю, — подхватывает ее слова князь, с трудом скрывая чувство облегчения. — Лучше вернуться домой, ты так не считаешь?

— Походим еще немного. Совсем-совсем немножко.

— Мы и так уже зашли далеко: ты вряд ли была здесь.

— Тогда давай вернемся обратно и будем смотреть внимательнее. Какой-то след все-таки должен найтись...

Они возвращаются назад, тщательно осматривая каждую пядь земли, но видят только густую траву и все тот же неизменный пейзаж. Аллеи и дорожки, маленькие холмики, искусно посаженные деревья и кусты, до того похожие друг на друга, что у наших следопытов складывается впечатление, будто они все время ходят по кругу.

Наконец Сара сдается.

— Что ж, проводи меня домой, — говорит разочарованно, — искать дальше нет смысла.

Теперь, прибавив шагу, они направляются к жилым кварталам, где пока нет ни малейших признаков жизни. Проходят мимо безлюдных садов, мимо домов с закрытыми ставнями, мимо гаражей, где электромобили ждут пробуждения своих хозяев. Все будто оцепенело, и оцепенение это, кажется, будет продолжаться вечно, но князя не обманешь: он знает, что скоро, стоит только солнцу в его медленном восхождении подняться еще на одну ступеньку, в каждом доме раздастся дребезжанье будильника, ставни распахнутся, из окон выглянут заспанные лица, приветствуя наступление нового дня. Поэтому князь ускоряет шаг, почти насильно волоча за собой девочку, которая теперь, вместе с надеждой найти место исчезновения ягненка, похоже, утратила и последние силы.

— Я так устала, князь, давай немножко передохнем.

— Ты будешь отдыхать сколько хочешь в своей постели...

Девочка теперь цепляется за руку старика, чуть ли не виснет на нем. Они одолевают последний отрезок аллеи, поворачивают направо, потом налево и наконец оказываются у дома тетушки: невысокого особняка с закрытыми окнами, в ряду которых зияет одно распахнутое — окно Сариной комнаты. Девочка отпускает руку друга и, пошатываясь, направляется к крыльцу.

— Позволь узнать, куда это ты? — спрашивает князь, хватая ее за плечо.

— Как куда? Домой, конечно.

– Но только не через дверь, бестолковая девчонка! Будешь ждать, когда тетя тебе откроет, и потом скажешь ей "здрасьте"? Иди сюда, я тебе помогу.

Он подводит ее к окну и, пыхтя, подсаживает на подоконник. Девочка мгновение смотрит на него, потом спрыгивает в комнату. Прежде чем закрыть ставни, она высовывается из окна и шепчет князю:

– Не забудь, завтра ты должен досказать мне историю Фауста, ты же обещал. И еще не забудь, что завтра уже наступило.

– Ладно, но пока полезай под одеяло. Хотя поспать тебе уже вряд ли удастся...

– Неважно. Значит, отосплюсь в школе.

– Тогда отдыхай.

Попрощавшись с девочкой, князь быстро уходит. Она смотрит ему вслед, пока он не скрывается за углом ближайшего дома, потом опускает шторы и на ощупь ищет свою кровать.

X

В доме у тетушки жизнь уже бьет ключом. То же самое происходит в других домах, больших и поменьше, белыми прямоугольниками разбросанных среди зелени. Семьи собираются к завтраку: на каждом столе выставлены графин с апельсиновым соком, разложенные по пиалам хлопья, бутылка молока и большой кувшин с чаем либо кофе – это единственный пункт, по которому обитатели городка не проявляют единодушия, а делятся на два разных лагеря, в зависимости от того, какой они предпочитают напиток. Но будь то чай или кофе, заботливая хозяйка любого дома сейчас разливает его по чашкам для взрослых, детям же положено есть хлопья с молоком. Дети уже вовсю жуют свои мюсли, когда отец, поднеся чашку к губам, сразу же ставит ее на блюдце с гримасой отвращения.

– Что-то не так с этим кофе (или чаем), – восклицает он, подозрительно разглядывая жидкость в чашке.

– Все как обычно, – отвечает жена. – Твой любимый сорт.

Но, едва начав пить, она тоже ощущает незнакомый и неприятный привкус – и ставит чашку на стол, не сделав больше ни глотка.

– Какая горечь! Ужасно! – восклицает она и выливает содержимое кувшина в раковину. Потом засыпает в кофеварку свежий кофе или ставит на огонь чайник, но тут вмешивается муж.

– Если сорт прежний, может, дело в воде?

– В воде? Это невероятно. Из наших кранов течет чистейшая вода, ее так тщательно проверяют...

– И все же другого объяснения я не нахожу.

С этими словами он подходит к раковине, наполняет стакан водой и пробует ее кончиком языка.

– Да, это действительно вода, – лицо его перекашивается, – попробуй, если не веришь, сама.

Жена в свою очередь берет стакан и, осторожно попробовав его содержимое, тоже морщится.

– Ты прав, дело в воде. Нужно заявить в Дирекцию.

Та же мудрая мысль в то же самое время приходит в голову *всем* жителям городка: попробовав воду, они кидаются к телефонам, из-за чего возникает перегрузка линии и нарушается ее нормальная работа. Между тем, пока в каждом доме кто-то упорно добивается связи с Дирекцией, князь стучится к тем, кто сегодня должен накормить его завтраком.

На лице открывшей ему женщины — все признаки растерянности.

— А, это вы? Не знаю, что вам и сказать... сегодня...

— Правда, синьора? Я ужасно огорчен. Но, с вашего позволения, в соответствии с заключенной ранее договоренностью, речь идет не о том, чтобы вы мне что-то сказали, а о том, чтобы накормили...

— Об этом я и толкую: вам придется довольствоваться бисквитами, ну... и еще чашкой молока. Больше, поверьте, мы вам ничего дать не можем...

— Вы хотите сказать, что кофе уже не входит в меню?

— Видимо, так — по крайней мере сегодня. Кофе сварить невозможно, потому что из кранов течет горькая вода.

— Горькая?

— Ужасно горькая. Отвратительного вкуса, вкуса...

— Полыни?[1] — подсказывает князь, словно его осенила внезапная догадка.

Женщина удивленно смотрит на него. Потом пренебрежительно отвечает:

— Не знаю, никто из нас, естественно, никогда не пробовал полынной настойки или другой подобной гадости.

— Да, естественно.

— Может, хотите сами попробовать?..

— Спасибо, лучше не надо. Но вот если вы освободите меня от работы, я мог бы обратиться к соседям: может, они угостят меня чашечкой кофе...

Синьора безучастно машет рукой, удовлетворяя его просьбу, и бродяга уходит, чтобы позвонить в другую дверь. Однако и там его встречает расстроенная хозяйка, готовая дать ему сколько угодно апельсинового сока, молока и бисквитов, но ни капли чая или кофе, поскольку из всех кранов течет такая горькая вода, что пить ее невозможно. Услышав это, первая синьора выходит из своего дома, намереваясь поговорить со второй синьорой, и тут начинается бурный обмен мнениями и сомнениями, подробными рассказами и робкими догадками относительно возможных причин странного явления...

Не дослушав их, князь уходит. Может, думает он, надо поделиться с кем-нибудь моими соображениями? Только кто мне поверит, если я и сам не смею верить себе? Но из кранов ведь течет горькая, ужасно горькая вода, и я все больше — да, все больше убеждаюсь, каким бы абсурдным это ни казалось...

Такие размышления теснятся в голове князя, который переходит от одного дома к другому — уже не за вожделенной чашкой кофе, а чтобы лишний раз убедиться в том, в чем в глубине души он и так уверен: да, горькая вода течет во всех без исключения домах городка.

1. Откр. 8:10–11: "Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде "полынь"; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки".

Может, и надо было бы рассказать кому-нибудь о ягненке, думает он. Но кто мне поверит, если я сам, услышав о нем от Сары, поначалу решил, что это просто сон?

И он продолжает ходить от одной симпатичной виллы к другой, звонить в двери, задавать вопросы, на которые ему отвечают не очень охотно: не могут же хозяева терять время с этим чудаковатым стариком, когда надо попытаться исправить положение единственным возможным способом — позвонив, как и положено, в Дирекцию. За последние недели это уже второй чрезвычайный случай: история с рыбками, хотя о ней больше не говорят, еще не совсем забыта, и кое-кто из горожан начинает подозревать, что некая таинственная бацилла беспорядка, несмотря на все предосторожности, проникла в жизнь городка.

Предосторожности, конечно, были тщательно продуманы, но все же оказались недостаточными, о чем свидетельствует, к примеру, плохая работа охраны, не сумевшей предотвратить появление в городке бродяг. То, что бродяги "представлены" в единственном числе, горожане объясняют случайностью или особым поворотом фортуны; главное — вопрос принципа: принцип абсолютной неприкосновенности границ был грубо нарушен князем. Когда князь впервые появился в городке, почти никто не протестовал, но теперь, после гибели рыбок, после превращения воды в горькую как желчь жидкость, люди начинают задумываться — а не была ли ошибкой их тогдашняя уступчивость.

Пока, однако, все ограничивается глухим недовольством, осторожными высказываниями, носящими сугубо гипотетический характер и тотчас же отвергаемыми, как слишком обостренная реакция на странную и неприятную ситуацию, которая, "естественно", не может — в самое ближайшее время — не измениться...

Вера во всемогущество Дирекции пошатнулась, но еще не вовсе утрачена: если допущена халатность, виновные будут выявлены и наказаны, чтобы научились впредь лучше выполнять свои обязанности. Если же обнаружатся неполадки в каком-нибудь из бесчисленных механизмов, от которых зависит благополучие всего городка, то что может быть проще, чем устранить эти неполадки и восстановить правильное функционирование приборов?

От внимания наиболее рассудительных горожан (а таких очень мало) не ускользнуло главное обстоятельство, ставящее под сомнение эти утешительные доводы, а именно: невозможность объяснить какой-то одной причиной (такой, например, как технические неполадки или ошибка обслуживающего персонала) все негативные явления или факты, на первый взгляд не имеющие между собой ничего общего. И в самом деле, какое отношение имеет служба охраны к воде или вода — к охранникам? Вода, правда, имеет отношение к рыбам, но не к их гибели: исследования, произведенные в лабораториях Центра, показали это со всей убедительностью, что же до связи между рыбами и службой охраны или гибелью рыб и появлением князя...

Тут любой умник спотыкается, начинает испытывать сильнейшее головокружение. "Все это казуистика, — решает он, — чистая казуистика. Зачем я буду ломать себе голову над подобными проблемами, если есть люди, которым за это платят?.." Логически рассуждая, следует признать, что да, в самом деле некоторым людям платят за то, чтобы они ломали себе голову, но только наш разочарованный умник имеет в виду

другое: те, кому платят, обязаны выкорчевывать малейшие признаки хаоса в городке — хранить в неприкосновенности его безоблачную и совершенную жизнь.

Действительно ли существуют некие лица, способные за соответствующую плату посостязаться с Атлантом, который, как известно, держит на своих плечах земной шар и обеспечивает ему равновесие? Приходится признать, что да, поскольку в противном случае жизнь городка давно подверглась бы куда более страшным потрясениям. Надо думать, что в строго оберегаемой тишине лабораторий и в залах заседаний до сих пор работают и совещаются компетентные специалисты, старательно выполняющие возложенные на них свыше функции — конечно, при разумном распределении обязанностей; и что горожанам остается лишь немного потерпеть: специалисты эти и на сей раз предложат — с безупречной точностью живых компьютеров — необходимые эффективные решения...

XI

Увы, иногда даже самые законные ожидания оказываются обманутыми: именно так случилось и с жителями городка, которые ждали от Дирекции ясных инструкций, а вместо этого через несколько дней получили многословное и невнятное сообщение, весь смысл которого можно выразить кратким восклицанием: "М-да!", или: "Кто ж его знает..."

Между тем из кранов по-прежнему течет горькая вода, пить ее невозможно, она вроде бы не ядовитая, по крайней мере не совсем ядовитая, но все же Дирекция утверждает это без особой уверенности, ее декларации выглядят неубедительными, не внушают доверия — и в результате горожане почти совсем перестают потреблять воду. Они не только ее не пьют, но даже не варят в ней овощи и не полощут ею рот, предпочитая пользоваться минеральной водой, которую ежедневно подвозит к каждому дому фургон торгового центра — в двойном количестве и, разумеется, за двойную плату.

Впрочем, лучше уж так, чем чистить зубы "полынной настойкой" — как теперь называют воду те немногие, кто помнит странные слова князя; а поскольку Дирекция — то ли из-за необъяснимой нерадивости, то ли не желая подвергать сомнению свои же заверения — пока еще не позаботилась о том, чтобы слить из бассейнов горькую воду и наполнить их покупной минералкой, в этих местах отдыха, раньше кишевших народом, уже не встретишь ни единого купальщика. Отчаяние берет, когда смотришь на опустевшие пляжи, на дорожки, мощенные керамической плиткой, и на водную гладь, по которой плавают лишь сухие листья: царящая здесь мертвенная тишина — точный индикатор изменившегося настроения горожан.

Дирекция, почувствовав это, решается наконец предпринять какие-то меры. Этот находящийся неизвестно где административный орган в силу обстоятельств представлен в городке небольшой группой функционеров, которые в последнее время начали обходить дом за домом — с целью развеять страхи, закравшиеся в души горожан. В определенный час (обычно во время вечерних выпусков теленовостей, ибо, когда экран слишком долго остается черным, люди начинают скучать и радуют-

ся любому развлечению) — так вот, в определенный час к дверям подходит чиновник и просит пригласить для разговора всех членов семьи. Когда все собираются, он спрашивает, где тут у них раковина, просит кого-нибудь дать ему стакан и, открыв кран, наполняет его "полынной настойкой" — то есть, как он уверяет, прекрасной питьевой водой, разве что чуть-чуть изменившей свой вкус. А то, что эту воду действительно можно пить, он сейчас всем докажет: чиновник на глазах у внимательных зрителей подносит стакан к губам и глоток за глотком опустошает его. Потом ставит стакан, вытирает платком губы и благодарит хозяев. Он, мол, навестит их еще раз по прошествии суток: пусть они убедятся, что с ним все в порядке.

Горожане покорно присутствуют при этих манипуляциях, но убедить их не так-то просто. Ими овладело тупое недоверие, и никакие меры, предпринимаемые Дирекцией, похоже, не способны его развеять. Так что в соревнованиях по плаванию, назначенных на последнее воскресенье августа, не пожелал участвовать никто, за исключением, разумеется, все тех же чиновников, которые по долгу службы стали прилежно посещать бассейны. Они на глазах у всех демонстрируют свое мужество: плавают, погружая голову в воду, — что, однако, не побуждает других следовать их примеру.

Атмосфера подозрительности и подспудного страха уже упрочилась в городке. Кто в большей, кто в меньшей степени, но все ведут себя так, словно чудом остались в живых после попытки их отравить; раз почувствовав в воде этот странный привкус, они уже не могут притронуться ни к еде, ни к питью, не попробовав сначала очень осторожно, чтобы выплюнуть при малейшем признаке опасности.

Взаимоотношения горожан постепенно становятся менее сердечными; во всяком случае, их сердечность кажется несколько принужденной. Вряд ли кто-нибудь примет теперь приглашение к ужину вне своего семейного круга: всегда находится какой-нибудь повод отказаться, какая-то неожиданная причина, вынуждающая перенести встречу на более удобное время — а оно постоянно отодвигается, отодвигается и наконец теряется где-то в тумане отдаленного будущего.

Мысль о яде неминуемо тянет за собой мысль об отравителе, и мало найдется таких, кто не связывал бы две эти мысли воедино. И все же спроси их, так ли это, они отвергнут как абсурдную даже саму гипотезу, будто в их единодушном и мирном сообществе может скрываться кто-то с такими зловещими намерениями, и не захотят ничего слушать о яде; пусть вода горькая, да, но она безусловно безвредна, а не пьют они ее только потому, что им не нравится ее вкус, и уж, конечно, не из-за глупого недоверия к Дирекции. И отравителей, и отравы, вероятно, сколько угодно там, снаружи, в страшном мире, катящемся к пропасти, в мире, где люди относятся друг к другу как дикие звери, а не как добрые соседи. Но в городке все обстоит по-другому, совсем по-другому. И если праздник в саду по причинам, не зависящим от их желания, невозможно провести на этой неделе, он все же обязательно состоится на следующей — или немного позже.

На первый взгляд все идет своим чередом, но исподволь страх продолжает разрастаться. И первой его жертвой становится бродяга: не то чтобы ему отказывали в работе и пище, не то чтобы с ним стали плохо обращаться, просто в отношении к нему приветливость постепенно ус-

тупает место отчужденности, граничащей с холодностью. Теперь уже его редко впускают в дом, разве что именно в доме ему предстоит выполнить какую-то работу, но в таких случаях он, бывает, ловит на себе недоверчивые, подозрительные взгляды. Когда он звонит в дверь и просит свой обед или ужин, хозяйка дома не всегда впускает его в кухню, а чаще просит подождать снаружи и через несколько минут торопливо сует ему еду через порог. Если же князь просит разрешения поесть в саду, случается, что хозяйка, выглянув из окна, предлагает ему уйти в другое место, чтобы не сорить крошками на принадлежащей ей территории.

Любовь к чистоте, так свойственная жителям городка, теперь приобрела характер навязчивой идеи: плотно сжав губы, они по нескольку раз в день обливаются водой, словно надеясь, что чистое тело поможет им возродить и привычный порядок жизни. В общем, ясно, что они хотят таким образом поддерживать дистанцию между собой и опустившимся бродягой, который, как его ни убеждай, не желает перенимать их доведенные до абсурда гигиенические нормы и считает более чем достаточным раз или два в неделю облиться "полынной водой" под душем в спортивном зале. Не менее непреклонным остается он и в вопросе о бороде, которую, по мнению большинства, ему необходимо ликвидировать, так как все считают ее опасным рассадником микробов. Никто, конечно, не собирается навязывать ему что бы то ни было, но между опрятнейшими жителями городка и этим индивидом, упорно не желающим пользоваться минеральной водой и бритвой, назревает конфликт, которому рано или поздно предстоит разразиться.

Взрыв происходит, разумеется, не в драматической форме: в городке не привыкли повышать голос, давать волю гневу или прибегать к некорректным действиям, и даже сейчас эти мудрые правила поведения не нарушаются. Просто в один прекрасный день владелец гаража очень спокойно сообщает своему постояльцу, что решил отказать ему в пристанище.

— Понимаете, — говорит он, ничуть не сомневаясь, что собеседник его действительно поймет, — я уже в третий раз замечаю грязь на полу: так дальше продолжаться не может.

— Отдаю должное вашей наблюдательности и благим намерениям, облеченным в столь ясную и категоричную форму. Что касается меня, то я по своей наивности всегда полагал, будто полы настилаются именно для того, чтобы по ним ходили...

— Да, но перед этим надо вытереть ноги. Чего вы не делаете.

— Я не собираюсь, синьор, противоречить вам, но боюсь, что ввиду отсутствия специального коврика вытирать ноги здесь довольно затруднительно.

— При желании всегда можно найти выход из положения, а вам просто не хватает доброй воли. Но, как бы то ни было, мое решение уже принято. Я понимаю, что причиняю вам некоторые неудобства, но поступить по-иному не могу: вы же знаете — гигиена превыше всего.

— Разумеется, — отвечает князь, — гигиена превыше всего, гигиена à tout prix[1], возложим же жертвы на алтарь гигиены...

Похоже, хозяина гаража раздражает этот сарказм.

1. Любой ценой (*франц.*).

— Мне жаль, — говорит он, — если вы считаете себя жертвой, вероятно, мы не поняли друг друга. Но грязь в своем гараже я более терпеть не намерен.

Князь отвечает ему сдержанным кивком.

— Раз так, — говорит он, — то с вашего позволения я тотчас пойду и соберу свой багаж, чтобы как можно скорее освободить вас от моего нечистого присутствия.

Багаж, о котором идет речь, — это все та же котомка, в которую князь под ледяным взглядом своего бывшего благодетеля старательно укладывает книги, часы, уже совсем пустую флягу и другие личные вещи. Потом он оглядывается по сторонам, желая убедиться, что ничего не забыл, — словно его богатства очень велики и он мог чего-нибудь не заметить, — а убедившись, что все на месте, крепко увязывает свой узел.

— Всего хорошего, — говорит бывший благодетель, выпроваживая его, а князь отвечает ему еще более холодным и вызывающим поклоном, словно намекая, что скоро пришлет своих секундантов.

Старый джентльмен возмущен таким вопиющим отсутствием чувства гостеприимства.

— Да будет принесена жертва, — бормочет он про себя, направляясь к другой вилле, в гараже которой надеется обрести для себя новое пристанище.

Надежда эта нам кажется немного наивной: пора бы князю понять, что позицию его прежнего покровителя разделяют все те, кто на него похож, — а в городке все похожи друг на друга как капли воды (или, скажем так, "полынной воды"), все одинаково одержимы страстью к чистоте и не желают пускать, пусть даже в гараж, человека, такой страсти не разделяющего. Да что там, князю это прекрасно известно, просто ему не остается ничего другого: до наступления ночи он продолжает стучаться — в одну дверь, в другую, в третью, — и всякий раз получает отказ.

— У нас нет места, — говорят ему в одном из домов, — попробуйте обратиться к моему соседу.

Но места нет и у соседа; впечатление такое, что либо все гаражи вдруг сделались необыкновенно малогабаритными, либо сам князь — необыкновенно громоздким.

Вот так, со своей котомкой под мышкой, он бродит от дома к дому, а солнце тем временем медленно опускается за стеной тумана, заливая ее нестерпимо ярким светом. Князь уже почти отчаялся, но вдруг чувствует, как кто-то осторожно тянет его за рукав. Опустив глаза, он встречает серьезный взгляд Сары.

— Чрезвычайно рад тебя видеть, — говорит князь, хотя никакой радости сейчас не испытывает. — Прости, дорогая, что не могу задержаться, но именно сегодня я решил переехать. Понимаешь, прежнее жилье было не совсем в моем вкусе, да и вообще — время от времени желательны перемены, они как-то поднимают дух...

— И где же ты собираешься поселиться?

— Сказать по правде, я еще и сам не решил: сейчас как раз обдумываю разные варианты.

— Ты это серьезно?

— Совершенно серьезно.

Сара с грустным укором смотрит ему прямо в глаза.

— Но честного слова, что это так, ты мне не дашь, я уверена.

— Ну, знаешь, — отвечает князь растерянно, — подтверждать каждую малость своим честным словом...

Девочка перебивает его:

— Я, князь, уже давно иду за тобой и видела, что никто не предлагал тебе никаких вариантов. Люди только качали головами, двери, на минутку приоткрывшись, захлопывались, а ты оставался снаружи.

— Ну и что? Если даже все так, как ты говоришь? И вообще — нехорошо ходить и подглядывать за другими, крадучись, как кошка...

— А еще нехорошо говорить неправду, особенно друзьям.

Князь пожимает плечами:

— Это, дорогая моя, глупый предрассудок, от которого тебе следовало бы избавиться. В некоторых случаях ложь обретает эстетическую и даже моральную ценность. Подумаешь, смелость — всегда без разбора говорить правду, просто в силу привычки... Я, будет тебе известно, правду говорю только после тщательного обдумывания.

— Правда в том, что ты не знаешь, куда тебе идти.

— Ну, если ты предпочитаешь выражаться так резко, то да, это действительно правда. Но теперь, когда мы все расставили по местам, скажи мне, что от этого изменилось?

Сара удрученно опускает голову.

— Тетя тебя ни за что не пустит, она и так недовольна тем, что мы дружим, а в последнее время злится еще больше, чем всегда... Ты думаешь, она злая?

Князь мгновенье колеблется.

— Я бы сказал, она теплая[1]. Все в этом городке — теплые.

— То есть не холодные и не горячие?

— Да, не холодные и не горячие.

— Я бы могла впустить тебя потихоньку, после того как тетя уляжется.

— Спасибо, но спать я люблю в покое, ни о чем не тревожась. Пусть хоть под открытым небом, но — ни о чем не тревожась, не опасаясь, что тебя вдруг разбудит и невежливо выставит за дверь какая-нибудь разъяренная тетушка.

— Да кто об этом говорит? Я не позволю тебе спать под открытым небом. Должно же для тебя найтись какое-то место, дай только подумать...

— Думай, дорогая, и постарайся сосредоточиться. Признаюсь, как ни приятно мне смотреть на звездное небо, я тоже считаю, что куда приятнее иметь крышу над головой.

— Можешь на это рассчитывать. И как я раньше не сообразила! Если хочешь, я сейчас же покажу тебе такое место.

— Что ж, дорогая моя подружка, иди вперед, а я как тень последую за тобой!

Явно довольная своей способностью справляться с трудными ситуациями, Сара быстро ведет князя к центральному озерцу. Здесь, неподалеку от берега, виднеется полускрытый деревьями дощатый павильон, где хранят свой инвентарь садовники, ухаживающие за этой частью парка. Девочка с гордостью указывает на него, словно перед ними — ро-

1. Откр. 3:15–16: "Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих".

скошный особняк, который она великодушно предоставляет в распоряжение гостя.

Князь толкает дверь, к счастью не запертую на ключ, и останавливается, разглядывая, что там внутри, в полутьме. Между прислоненными к стенам лопатами и граблями достаточно пространства, чтобы устроить спальное место. А в одном из углов даже стоит стул; правда, когда князь пробует на него сесть, стул шатается, но все же выдерживает его вес. И еще тут много джутовых мешков, из которых нетрудно сделать подобие матраса, а на полке сбоку от двери стоит фонарь: он может както компенсировать отсутствие электропроводки.

Старик выражает самое горячее одобрение находчивости своей подруги.

— Это и впрямь очень удобное прибежище. Мне здесь будет хорошо, я уверен.

— Да, я тоже так думаю, — радостно соглашается Сара. — Знал бы ты, сколько вечеров я здесь провела, когда тебя еще не было... Понимаешь, это место замечательно тем, что может стать чем угодно — пещерой, корабельным трюмом...

— Лично я страдаю морской болезнью; боюсь, что и пещерная сырость мне при моем ревматизме не пойдет на пользу... Но тайная комната в самой высокой башне замка — это будет как раз то, что надо.

— Или космический корабль, затерявшийся, как скорлупка, среди звезд...

— Или маленький храм, украшенный акантовыми листьями, или келья с семью золотыми канделябрами... Нет, лучше без канделябров...

— Почему, князь? Тебе не нравятся канделябры? Кстати, здесь же почти ничего не видно. Я раздобуду тебе другой фонарь, электрический.

— Спасибо, но будет лучше, если ты принесешь его завтра. Скоро покажутся звезды, и мне ужасно хочется затвориться в моем космическом корабле...

XII

Итак, князь проводит свою первую ночь в этом космическом корабле — или пещере, или коринфском храме. Сознание, что вокруг нет ни единой живой души, наполняет его удивительным покоем и даже блаженством. “На сотни метров вокруг, — с удовольствием думает он в редкие минуты бодрствования, — нет ни гаража, ни хозяина гаража, ни двери с пресловутым ковриком перед ней, которая не желает впускать стучащегося путника; нет ни единой виллы из тех, что так похожи друг на друга и населены такими же похожими друг на друга людьми...” Действительно, ничего этого нет. Одни лишь луга и деревья, и гладкое зеркало озера, и глубокая тишина, нарушаемая лишь пением птиц, проснувшихся при первых лучах солнца. Они сразу начинают петь во все горло — и, пожалуй, рановато: по мнению тех, кто, как князь, любит подолгу блуждать в лабиринтах сна. Но он охотно прощает им это утреннее чрезмерное рвение, эту безудержную и безотчетную радость. “Да, — думает он, — я и мечтать не мог о лучших соседях: по крайней мере, птицы не принадлежат к сонму теплых: они с таким трогательным пылом встречают новый день!”

Вдумавшись в эту тему, он решает, что, пожалуй, ему пора вставать — но тут кто-то стучится в дверь, и вот уже перед ним стоит Сара, с самого раннего утра щебечущая, как птицы, и не менее заботливая, чем эти существа, вечно занятые выковыриванием червяков или сбором травинок для своего гнездышка. Сегодня она решила выйти из дома пораньше и сделать небольшой крюк по дороге в школу, чтобы занести своему другу несколько странный завтрак, состоящий из банана, большого куска пирога, незаметно утащенного со стола и тщательно завернутого в фольгу, и самых разных конфет, которые наверняка пришлись бы князю по вкусу, будь он лет на пятьдесят моложе.

Впрочем, ее забота о нем не ограничивается только этим. В последующие дни она ведет себя, как хорошая хозяйка пансиона, делающая все возможное, чтобы удовлетворить запросы своего жильца. Павильон начинает обрастать новыми удобствами — от обещанного электрического фонаря до целого набора подушек и одеял, выкраденных из шкафов тетушки. Друзья тайком приносят сюда даже случайно найденный в подвале ветхий матрас, чтобы у обитателя павильона было что-то вроде настоящей кровати.

Благодаря заботам маленькой благодетельницы князь с каждым днем все больше привязывается к своему новому убежищу, которое он покидает лишь для того, чтобы раздобыть немного еды или выполнить какую-нибудь работу. Время от времени его уединение нарушают садовники, приходящие за своим "инструментом", но старик очень быстро убеждается, что никто не думает его прогонять. Правда, садовники иногда поглядывают на него искоса, но, похоже, они с самого начала смирились с его присутствием как с фатальной неизбежностью (так мирятся с явлениями природы) и даже, прежде чем войти, стучат в дверь. Это не может не радовать князя; он, как уже говорилось, с каждым днем все больше привязывается к новому дому, право на владение которым теперь, как он думает, признают за ним все — даже сама администрация, пусть и представленная своими низшими звеньями.

С Сарой он теперь встречается неподалеку от павильона — где-нибудь у озера или на одном из ближних холмов, с которых открывается такой приятный вид на его владение. В ненастные же вечера (с приближением осени выпадающие все чаще), когда в небе сгущаются грозовые облака, а раскаты грома нарастают, как грохот сапог марширующих солдат, князь приглашает девочку в свое жилище, церемонно предлагает ей сесть на матрас или в кресло, сооруженное специально для нее из подушек, которые сама же она и принесла, а сам устраивается напротив, на своем шатком стуле.

Сара боится грозы до такой степени, что не может сосредоточиться на историях, которые рассказывает ей князь, и едва прикасается к сладостям — неохотно, с видом человека, делающего это только по долгу вежливости. В темном помещении без окон она не видит раскалывающих небо ярких молний, зато гром обрушивается на нее неожиданно, и порой, когда он раздается совсем близко, девочке кажется, будто стены павильона дрожат; тогда она чуть ли не вплотную придвигает свои подушки к стулу друга и заглядывает ему в лицо, словно желая прочесть там, пора ли уже готовиться к худшему.

— Не беспокойся, — говорит князь в один из таких моментов, сжимая ее ладони в своих. — Скоро гроза уйдет.

— А откуда ты знаешь?

— Рано или поздно она всегда уходит.

— Да, рано или поздно... Но пока-то она здесь, прямо у нас над головой, и я должна терпеть этот свой глупый страх.

— Глупый? Почему глупый?

— Потому что молнии не падают. Не думай, что я не знаю этого. Мне в школе объяснили, что к чему, да и тетя все время так говорит.

— Тебе объяснили, что молнии не падают?

— Естественно, — отвечает Сара, не понимая, как это слово режет слух князю. — Вернее, падать-то они падают, но только на громоотводы. Так что бояться их глупо, очень глупо.

— Понятно, громоотводы... — задумчиво произносит князь. — А что происходит там, где громоотводов нет, как ты думаешь?

— По правде говоря, этого мне не объясняли. Но все равно — так не бывает. Громоотводы есть везде.

— Ты в этом уверена?

Гроза уже действительно уходит, но взгляд Сары остается напряженным и беспокойным.

— Не хочу пугать тебя, дорогая, — продолжает князь, — и допускаю, что ваш городок защищен очень густой сетью громоотводов, такой густой, что через нее не проскочит даже самая маленькая молния. Да, это вполне возможно; я бы даже удивился, если бы дело обстояло иначе. Однако, Сара, ты должна знать, что мир — такое место, где молнии могут ударять в землю, невзирая ни на какую защиту. Пойми, тебе это нужно знать: не для того, чтобы ты боялась, а потому, что нехорошо жить, ничего не зная.

— Нехорошо... — повторяет девочка. — А ты видел, как они падают?

— В известном смысле — да, видел. И много раз.

— Но не здесь?

— Может, и не здесь. Но если это случится, если этому суждено случиться, то здесь все будет хуже, чем где бы то ни было...

— Почему хуже?

— Трудно объяснить. Может, потому, что здесь слишком много громоотводов.

— Ты так странно говоришь сегодня.

— А когда, Сара, я говорил не странно? Ведь это, по твоим же словам, — моя привычка.

— Ты действительно часто говоришь странные и смешные вещи. Но то, что ты мне сказал сегодня, по-моему, вовсе не смешно.

— Значит, я пренебрег своей первейшей обязанностью и покорнейше прошу меня извинить. Как видишь, ни одна молния в нас пока не попала, так что советую тебе приободриться и отдать должное этим отменным конфетам.

— Да, так я и сделаю. Но обещай, что предупредишь меня, если гроза начнется опять.

XIII

Обитатели городка всегда в глубине души разделяли убеждение Сары, что молнии, как правило, не падают, а если и падают, то где-то очень далеко от них. Возможно, они обрушиваются на те чужие, погрязшие в

преступлениях страны, что тщетно пытаются посылать сюда свои телесообщения, на мир, который простирается где-то там, вовне, и уже давно стал незримым — не только из-за стены тумана, но и из-за нежелания горожан помнить, думать о нем...

А все же в этом году не одной только маленькой Саре — другим горожанам тоже — не удается спокойно спать, когда предосенние грозы бушуют над их уютными виллами. Непривычное беспокойство заставляет их подниматься и подходить к окнам, чтобы взглянуть на небо, словно в раскалывающих его голубоватых разрядах кроется какая-то опасность.

Они, конечно, по-прежнему полагаются на громоотводы — так же, как продолжают верить в мудрую опеку Дирекции; но на эту веру, как ни горячо они убеждают в ней и себя, и других, все чаще падает тень сомнения; показное спокойствие не спасает их от страха, когда гром вдруг раздается совсем близко...

Эта ночь как раз из таких — очень страшная. Что-то не припоминается им другая подобная. На протяжении нескольких часов какая-то неодолимая могучая сила вновь и вновь обрушивается на городок и цепко держит его в своих объятиях: яростно раскачивает деревья, нарушает четкую геометрию зеленых изгородей, заставляет горожан сидеть по своим домам, не высовывая носа. А раскаты грома, то и дело вспыхивающие молнии кажутся еще более жуткими по контрасту с покоем, царившим перед заходом солнца: когда воздух застыл в неподвижности, листья замерли и повисла мертвенная тишина, будто весь мир затаился в ожидании.

Наши синьоры X и Y тоже чего-то напряженно ждали, и их жены в светлых пеньюарах, и пышущие здоровьем дети — все, все чего-то ждали, поглядывая на небо с необычной для них тревогой. На всякий случай горожане рано покинули свои садовые шезлонги и диваны-качели, не стали пить на свежем воздухе безалкогольные коктейли, готовить барбекю — и закрылись в домах, изредка выскакивая оттуда, чтобы убрать стул, вазу с цветами, забытую на траве игрушку; даже домашние животные поспешили вернуться домой и забились под кровати и диваны.

Потом, вскоре после ужина, тишину внезапно нарушил долгий рокочущий звук — первый из бесконечной цепи таких же. Гром не приближался издалека, постепенно: гроза разразилась в полную силу именно над самим городком, и раскаты ее сразу же стали столь оглушительными, что многие горожане зажали уши. Маленькие дети кричали, матери пытались их успокоить, хотя и сами с трудом удерживались от крика.

— Да это же просто гроза, ну немного посильнее обычных. Не будь смешным, лучше телевизор посмотри.

— Не могу, мамочка, телевизор выключился.

— Наверно, что-нибудь с антенной... Такое случается при плохой погоде. Может, тебе лучше поиграть во что-нибудь? Если хочешь, можешь полчасика поиграть, спать еще рано.

Послушный ребенок уходит к себе в комнату, но не играет, а сгребает кукол, плюшевых тюленей, сверкающих роботов и прижимает их к себе: может, хоть они его утешат. Потом рассаживает их на полу вокруг себя — это своего рода оборонительное сооружение, магическое кольцо, которое должно оградить его от любой опасности, если громоотвода окажется недостаточно...

Взрослые в гостиной прибегают к магии другого рода: беседуют, играют в карты, придумывают любые отвлекающие занятия, лишь бы оттянуть тот момент, когда им придется лечь в постель и погасить свет. Потому что ночь приближается, а конца урагану не видно. Если выглянешь наружу, то увидишь не луну и не далекое сияние звезд, а зловещие мерцающие вспышки, на миг освещающие небо и тут же гаснущие — после чего опять воцаряется беспросветная мгла.

В общем, каждый старается подольше не ложиться спать, не признаваясь, однако, ни родным, ни даже самому себе, чем объясняется такая задержка. Проходит еще какое-то время, прежде чем окна первых этажей начинают одно за другим меркнуть, а на верхних этажах, наоборот, зажигаются люстры. Снаружи гром, молнии и завывания ветра, но приготовления ко сну, как всегда, отличаются тщательностью, каждый находит облегчение в том, что не отказывается от своих привычек. Не хватало еще из-за какой-то грозы не принять душ, не намазать лицо кремом или, хуже того, — позволить детям почистить зубы кое-как, что они непременно сделают, если за ними не проследить... Эти повседневные, старательно выполняемые действия связываются в сознании горожан с мыслью о громоотводах и тоже (подобно защитной оболочке) предохраняют — причем очень надежно — от всевозможных негативных воздействий извне.

Правда, этой ночью раскаты грома настолько сильны, что даже струя воды в душе их не заглушает, а лампочки вокруг зеркала светят то ярче, то тусклее, как бы подчиняясь ритму вспышек молний; и на лбу у многих женщин залегает тревожная морщинка — ее не замажешь никаким кремом — при мысли, что свет может вовсе погаснуть, оставив их в полной темноте...

Но благодаря небесам или тому особому провидению, которое покровительствует городку, ничего подобного не происходит. Свет мигает, однако же не гаснет, и когда окна верхних этажей одно за другим меркнут, отчего сами дома превращаются в зловещие черные кубы, то происходит это лишь потому, что горожане решились наконец лечь спать — назло упорствующей в своей ярости стихии.

Постепенно, очень постепенно, сон, сначала притворный, сменяется настоящим, и мягкий плед тишины окутывает людей: то ли гроза уже прекратилась, то ли ее грохот не может воздействовать на спящих, которые в своем сонном оцепенении обрели самое надежное прибежище, самый прочный барьер, отгораживающий их от всего, что происходит снаружи. Как бы там ни было, но отдыхают они спокойно, лишь изредка вздрагивая и меняя положение, после чего опять застывают в неподвижности.

Но глубокой ночью, уже перед самым рассветом, мужчины и женщины в пестрых пижамах и кружевных рубашках начинают вздрагивать чаще, ворочаются с боку на бок, словно стараясь избавиться от внезапной боли, судорожно вцепляются в простыни или, наоборот, отбрасывают их в сторону. У некоторых из полуоткрытых ртов вырываются звуки, похожие на стон или придушенный крик.

Потом — почти одновременно — во всех домах зажигается свет, люди, внезапно проснувшись, садятся в кроватях. Мужья и жены удивленно переглядываются, не понимая, отчего они проснулись в одно и то же мгновение, но никто не осмеливается заговорить первым. Малыши

молча залезают под одеяла к старшим братьям и сестрам, которые на сей раз охотно берут их к себе: так они и лежат, обнявшись, но снова заснуть не могут. Лишь немногие — одинокие — взрослые торопливо включают свет на полную мощность.

Проходит какое-то время, пока жена решается наконец спросить мужа, что именно его разбудило. Муж спрашивает ее о том же, и, выслушивая ответы, они придвигаются ближе друг к другу, словно оба боятся остаться в одиночестве. В детской маленький мальчик тихонько рассказывает брату свой сон, нагоняя на него такой страх, что тот вскакивает и бежит к родителям, которые, не находя привычных утешительных слов, в ужасе восклицают:

— Ты тоже?

— Что? Значит, и вы?..

— Как же так?

Все жители городка в этот момент задаются одним и тем же вопросом: возможно ли, чтобы под смеженными веками мужчин и женщин, взрослых и детей одновременно возникло одно и то же видение. Возможно ли, чтобы каждый из них в одну и ту же ночь, в одни и те же минуты увидел во сне белоснежного ягненка с серьезными глазами и длинной кровоточащей раной на шее.

XIV

На следующее утро спокойные лица — только у Сары и князя: ни ей, ни ему ягненок не снился. Похоже, что во всем городке это видение обошло лишь детскую в доме тетушки да еще павильон на берегу озера, где хранятся садовые инструменты.

Для всех остальных начинающийся день — сумрачный, из-за тяжелых туч, обложивших все небо... И стена тумана приобрела более темный, почти черный цвет (с редкими белесыми проблесками), и никто больше не вспоминает о розоватой дымке, которая в июне так приятно светилась на горизонте... Многим даже в голову не приходит, что черная стена вокруг города — все тот же туман: они думают, это низко плывущие тучи, странным образом расположившиеся по кругу; но, даже истолкованное таким образом, непонятное явление не становится менее тревожным. Горожане, конечно, и встревожились бы, если бы их внимание не было поглощено сном, который привиделся всем прошлой ночью. Кто знает, почему они переговариваются шепотом, словно речь идет о какой-то тайне, а не о всем известном происшествии, которое сейчас обсуждается в каждом доме? "Обсуждается" — возможно, не точное слово: привычка таких людей сразу же находить разумное объяснение, быстро "заделывающее" любую прореху, которая может возникнуть в их упорядоченном повседневном житье, в этом случае не срабатывает; лишь очень немногие предпринимают робкие попытки как-то объяснить приснившийся всем сон о ягненке, но быстро отказываются от своего намерения. А в основном они не столько ищут объяснения, сколько вновь и вновь пережевывают случившееся — всякий раз заново испытывая тот страх, который охватил их за минуту до пробуждения. Слушая их, Сара и князь узнают о странном происшествии, сна-

чала только в общих чертах, поскольку остальные, поняв, что эти двое не причастны к загадке, замыкаются в себе, ограничиваясь туманными намеками.

Особенно все стараются держаться подальше от князя.

— Не беспокойтесь, вас это совершенно не касается. Занимайтесь своей работой.

— Вы уж извините, но как-то трудно не беспокоиться. Может быть, вы не понимаете...

— Мы не понимаем? Скажете тоже! Если уж на то пошло, мы понимаем гораздо больше вас!

— И все-таки понимать можно по-разному...

— Выпалывать сорняки — тоже: вы это делаете, уж поверьте, не лучшим образом...

Так отчитывает князя, должно быть, какая-то женщина, ибо все мужчины сейчас собрались в Центре и растерянно смотрят на дисплеи компьютеров. Возможно, это даже та самая женщина в белом пеньюаре, которую однажды растрогал вид человека, похожего на узел тряпья; а может, и другая — та, что так щедро угостила беспризорного старика чашечкой кофе и бисквитами. Однако сегодня она вовсе не склонна к сочувствию: ее мысли после ночного кошмара заняты совсем другим, да и вообще, пора поставить князя на место. Его назойливость, его важничанье и так уже перешли все допустимые границы, и вот теперь он еще лезет в историю с ягненком, хотя совершенно очевидно, что она касается исключительно жителей городка. *Настоящих* жителей, разумеется, а не втируш, которые явились сюда невесть откуда и которых терпят только из милосердия...

Конечно, ничего такого женщина вслух не говорит, но князь достаточно опытен, чтобы прочесть это по ее лицу. Неодобрительно покачав головой, он вновь принимается выпалывать сорняки. Синьора некоторое время наблюдает за ним: надо же убедиться, что он работает как следует; потом возвращается в дом и запирает дверь на три оборота.

— "Но Я, — тихо бормочет князь, — ожесточу сердце фараоново... Ожесточу сердце фараоново, и явлю множество знамений Моих и чудес Моих..."[1]

Вздохнув, князь наклоняется и выдирает очередной сорняк. Даже не глядя он знает, что хозяйка продолжает следить за ним из окна, — но не теряет душевного равновесия. Работу, говорит он себе, надо выполнять в спокойном и четком ритме, иначе она превратится в каторжный труд. Жаль, что синьора не понимает такой простой истины.

Князь неспешно осматривает бордюр очередной клумбы. Углядев какую-то колючую травку, он вырывает ее, потом выпрямляется и снова вздыхает.

— Знамения и чудеса... Может, горожане тоже начинают их видеть.

Поборов внутреннее сопротивление, он выдергивает из земли очередное дикое растеньице, так безуспешно пытавшееся смешаться с остальными. "Оно не такое уж уродливое, — думает князь, — хотя и не принадлежит ни к какому культурному виду". Князь даже хочет пересадить его в другое место, ну хотя бы к своему павильону. Может, оно и прижи-

1. Исх. 7:3.

вется там: как правило, менее ценные виды оказываются более жизнестойкими.

— Да, более жизнестойкими, — бормочет он, бросая сердитый взгляд на окна дома. — Сожалею, любезная синьора, если вам это неприятно, но я уверен, что так оно и есть.

Между тем, пока князь продолжает подстраивать ритм работы под медленное течение своих мыслей, время от времени вплетая в них путаные отступления, Сара — в школе — внимательно слушает рассказы, которыми на переменках обмениваются ее одноклассники. Утратив вдруг всякий интерес к горкам и качелям, они — по-взрослому сосредоточенные — собираются в отдаленном уголке школьного двора, чтобы вместе подумать о случившемся, — и потому даже Сара сегодня кажется им менее чужой. Девочка, чувствуя это, тоже тянется к ним, а не остается как всегда в стороне, и когда до нее доходит, о чем идет речь, она не выдерживает — вступает в разговор.

— Знаете, я ведь тоже видела ягненка! — громко говорит она, и товарищи, неприятно удивленные таким вмешательством, все как один поворачивают головы к ней.

— Тоже мне открытие! — бросает один из них, выражая реакцию всей группы. — Это естественно: тебе снился сон, как и всем нам.

— Нет, я не во сне его видела, — отвечает Сара. И не без гордости начинает рассказывать: — Я его видела живого, настоящего...

Но тут же вспоминает, что обещала князю никому не говорить о своем ночном приключении.

К счастью, товарищи не придали значения ее словам и никаких объяснений не требуют. Они возвращаются к прерванному разговору, добавляя все новые страшные подробности и уделяя особое внимание описанию раны.

— Почем знать, настоящая была кровь или нет, — говорит один.

— Конечно, настоящая. По крайней мере — в том смысле, что и сам ягненок.

— А ягненок, по-твоему, был настоящий?

Ответа ни у кого не находится, а поскольку здешние дети (точно так же как взрослые) не любят признаваться, что чего-то не поняли, они спешат — не особо церемонясь — заткнуть рот тому, кто задал неуместный вопрос:

— Да перестанешь ты спрашивать всякие глупости? Он нам приснился, вот и весь разговор; как снятся любые другие вещи.

— А значит, это неправда, — подводит итог другой. — Сны никогда не сбываются. Мне, например, в субботу ночью привиделось, что мама испекла огромный клубничный торт, а когда я проснулся, его и в помине не было.

— Ты, наверное, съел его во сне, — хихикает третий мальчик.

Тут Сара, стараясь говорить твердо, опять вмешивается в разговор:

— А ягненок был настоящий, я знаю.

— Опять она за свое! — фыркает одна из девочек. — Ты просто видела его во сне, как и мы все.

— Нет, он мне не приснился!

— Не приснился? Тогда чего тебе здесь надо? Иди, играй с малышней, а нас оставь в покое.

Но Сара не двигается с места. Впрочем, сегодня даже самым маленьким детям не до игр, они сидят группками на скамейках или на бортиках газонов и молча жуют свои бутерброды, испуганно поглядывая по сторонам.

Хорошему наблюдателю нетрудно подметить такой же страх и на лицах учителей, которые, как обычно, прохаживаются по школьному двору, ненавязчиво, но бдительно присматривая за учениками. Каждый раз, встретившись взглядом с ребенком, они натужно ему улыбаются: мол, все хорошо, и сегодняшний день ничуть не хуже других, разве что немного темнее из-за плохой погоды. Но круги у них под глазами свидетельствуют о бессонной ночи, и как только они чувствуют, что дети на них не смотрят, на их загорелых лицах появляется выражение растерянности, а наморщенные лбы выдают напряженную работу мысли. Одна учительница в спортивном костюме, старательно демонстрируя показную бодрость духа, упругим шагом подходит к той группе школьников, к которой примкнула Сара:

– Ну, что вы тут сидите такие серьезные? Вы уже съели свои завтраки?

– Да, синьора учительница, – хором отвечают дети, – съели.

– Так... – комментирует она; и, поскольку разговор явно затухает, решается спросить, довольны ли они.

– Да, синьора учительница, завтраки были полезными и питательными, – хором отвечают ей ученики, а один – солирующий – голос уточняет, что его завтрак содержал около восьмидесяти калорий и отличался полным отсутствием животных жиров.

– Молодец. Рада за тебя. Здоровая еда, дети, – один из важнейших факторов в жизни человека.

– Мы знаем, синьора учительница, – подтверждает эту истину хор, но от внимания учительницы не ускользает, что, похоже, их мало интересует затронутая тема. И учительница опять силится оживить разговор, казалось бы, уже исчерпавшийся.

– Ну, раз вы поели, почему бы вам не поиграть?

Дети быстро переглядываются. Инициативу учительницы никто не поддерживает.

– По правде говоря, играть сегодня не очень хочется. Этой ночью нам всем было нехорошо...

– Нехорошо? Что такое? Если хотите знать, мне тоже было нехорошо, но это не значит, что надо отказываться от игр. Еще чего! Нет таких болезней, которые не вылечиваются благодаря физическим упражнениям на свежем воздухе. И даже... да, даже плохие мысли уходят, когда мы двигаемся.

– Это верно, синьора учительница.

– Так, может, устроим хоровод? Ну же – позовите других ребят!

Школьники, умелым вмешательством учительницы выведенные из состояния опасной апатии, отовсюду стекаются к центральной площадке и, следуя указаниям взрослых, располагаются на ней двумя концентрическими кругами (один – из детишек постарше, другой – из малышей): при строгом чередовании девочек и мальчиков и соблюдении хроматической гармонии – голубые халатики чередуются с розовыми. Потом по сигналу учительницы все дети берутся за руки и начинают ходить по кругу: внешний круг движется по часовой стрелке, внутрен-

ний – против, так что возникает образ гармонии небесных сфер. Кружатся они молча, сохраняя на лицах серьезное и отсутствующее выражение – даже тогда, когда учительница подает новый знак и ритм движения убыстряется.

– Но дети, вы же должны петь! Что за хоровод без песни?!

И дети послушно заводят простенькую детскую песенку. Поют они во весь голос, однако голоса их сегодня необычно тусклы, и учительница наверняка бы это заметила, если бы и ее в это время не одолевали тяжелые мысли. Дети поют и все быстрее кружатся, отчего на газоне образуется веселый розово-голубой вихрь. Однако самим детям совсем не весело, и они, какие бы движения ни выполняли, упорно смотрят в центр хороводного круга – смотрят так, словно там стоит не учительница, а белый ягненок...

XV

Похоже, теперь жители городка совершенно утратили способность к доверчивости, ранее столь характерной для их общественной жизни. Двери домов, прежде остававшиеся открытыми весь день, сейчас всегда заперты на ключ, и никто уже не пускает князя к себе на кухню. В пище ему не отказывают, но предпочитают оставлять ее за дверью, чтобы бродяга даже на несколько мгновений не нарушил тщательно охраняемую интимность семейной жизни; поэтому старику приходится являться в указанное ему место, ни на минуту не опаздывая, чтобы успеть съесть свой завтрак или ужин, пока он не остыл – или пока какое-нибудь домашнее животное не сунуло в приготовленный пакет свой любопытный нос и не разворошило его.

Так – в силу обстоятельств – князь с каждым днем все больше становится приверженцем пунктуальности, прежде ему чуждой и даже ненавистной; каждый вечер он аккуратно заводит свои часы и привыкает соблюдать навязанное ему расписание – хотя раньше, с присущей ему беспечностью, считал отсутствие такового одной из немногих, но очень важных привилегий бедняков.

Да и в пакетах он ежедневно обнаруживает все новые признаки убывания милосердия: порции сокращаются – сначала почти незаметно, потом вполне очевидно; что же касается фруктов, то, похоже, очередной благодетель теперь старательно отбирает для него совсем плохие, наполовину сгнившие или побитые градом. А от домашних пирогов и бисквитов, всегда так радовавших старика, ему уже давно не достается ни крошки; их заменили убогие школьные завтраки, те самые, которыми хвастались детишки на школьном дворе и единственное – малопривлекательное для князя – достоинство которых состоит в минимальном содержании калорий.

Однако пожилой джентльмен не придает большого значения подобным вещам: он слишком погружен в свои невеселые мысли, слишком занят анализом происходящего. Старик примечает все большую напряженность в отношениях между обитателями городка, угадывает по их лицам возрастающую тревогу, однако в не меньшей степени его волнует и внешний пейзаж. После ненастного конца лета – когда непогода с особой силой заявила о себе той страшной грозовой ночью, когда всем горожанам одновременно приснился ягненок – вновь наступили ясные

дни, солнце исправно несет свою службу, разгоняя облака, а все же стена окружающего городок тумана по-прежнему остается угрожающе густой, почти черной, и совершенно не позволяет разглядеть горизонт, так что людям кажется, будто они оказались в замкнутом пространстве, в помещении без потолка, но с высокими стенами, или даже в одном из тех ящиков, в которых дети по указанию учителя биологии держат маленьких животных, специально отловленных для всяких экспериментов.

Странно, думает князь, что никому и в голову не приходит вовремя убраться отсюда, вырваться за стену тумана на одном из тех мощных автомобилей, что загромождают их гаражи. Нет, все они предпочитают жить, окопавшись в своих "ящиках" и думая, что пребывают под надежной защитой... Впрочем, сам князь тоже все никак не решится покинуть городок, но остается в нем не только ради ежедневного трехразового питания, которое здесь ему как-никак гарантировано. Кое-что другое удерживает князя в городке: прежде всего — Сара, с которой ему теперь было бы мучительно тяжело расстаться, но также неспокойное, смешанное со смутными предчувствиями любопытство... И еще — одно странное опасение, такое странное, что старик не смеет признаться в нем даже самому себе: он сомневается, что городок действительно можно покинуть, что стена тумана и в самом деле — одолима.

Может быть, именно поэтому он вглядывается в нее с такой тревогой и не разделяет того чувства облегчения, которое испытывают другие горожане при виде солнца и синего неба. Только когда к нему приходит Сара, князь заставляет себя держаться уверенно, но девочка уже слишком хорошо его знает, чтобы поддаться обману. Да и сама она не так уж спокойна, и потому оба приглядываются друг к другу, пытаясь по выражениям лиц угадать то, о чем не осмеливаются говорить вслух. Часто они подолгу молчат, сидя рядом и не отрывая взгляда от той черной стены, которая кажется им границей, отделяющей день от вечной ночи.

— Наверно, очень неприятно, — говорит однажды девочка, преодолев свое нежелание касаться этой темы, — жить там, в тумане, и никогда не видеть солнечного света.

— Да, наверно, неприятно, — отвечает князь.

— Интересно, докуда доходит этот туман? Может, он покрывает всю землю? Всю землю, кроме нашего городка?

— Возможно. Твоя тетушка, вероятно, именно так и думает.

— Моя тетя об этом вовсе не думает — или, по крайней мере, не говорит.

— Мы тоже, по-моему, редко об этом говорим, и наверное, так-то оно лучше.

— Лучше?

— Ну, раз нет никакого выхода...

— Но именно о таких безвыходных ситуациях и нужно говорить: они же самые важные.

— Правда? А ты откуда знаешь?

— Ты сам меня этому учил.

Князь улыбается.

— Да, возможно, ты права, возможно, они и есть самые важные. Итак, тебе бы хотелось знать, докуда доходит туман, окутывает ли он весь мир или только полоску земли... Тогда пошли. Ну же, пойдем!

— Пойдем? — встревоженно повторяет Сара. — Но куда?

— Конечно — туда, за пределы городка. Или тебе известен другой способ выяснить правду?

Сара не в силах сдержать охватившей ее дрожи.

— Какие глупые мысли приходят тебе в голову! Я только сказала... что нужно об этом поговорить. Вовсе незачем самим туда идти: вдруг мы найдем объяснение всего этого в твоих книгах...

— Да, действительно не исключено, дорогая моя подружка, что в одной из моих книг — из тех, что я сохранил, — и содержится, как ты считаешь, объяснение всего. Да, возможно... но надеюсь, это не так.

— Что ты говоришь? Напугать меня хочешь?

— Ничего подобного. Только я не забыл, о чем ты меня однажды попросила.

— О чем же?

— Предупредить тебя, если снова приблизится гроза.

— А она что, уже приближается?

— Боюсь, Сара, она вообще не уходила...

XVI

Этой ночью — как с ним часто случается в последнее время — князь спит неспокойно, ворочается в постели. Его и прежде посещали разрозненные видения, сразу бесследно исчезавшие, а теперь эти видения выстраиваются в строгую логическую цепочку, в связную историю.

Ему снится, будто он подходит к полке, где стоят его немногочисленные книги, тесно прижавшись друг к другу, словно стараясь избежать соприкосновения с хранящимися тут же аэрозолями против насекомых. Князь ищет среди книг одну, ту, на страницах которой он в последние недели часто находил невероятные подтверждения волнующим его — тоже невероятным — подозрениям. Поскольку книг здесь немного, князь уверенно протягивает руку и достает с полки нужную, не сознавая, что наяву его движения не были бы такими замедленными и торжественными.

Он долго разглядывает обложку, но овладевшая им странная заторможенность не позволяет раскрыть книгу. Наконец он медленно открывает потрепанный темный том, ищет глазами фронтиспис, однако вместо него видит — пустую белую страницу. Князь листает книгу и с возрастающим удивлением убеждается, что все ее страницы — от первой до последней — чистые, как будто кто-то стер с них все буквы.

Внезапно он просыпается. Вокруг — кромешная тьма, ни единый луч света не пробивается из-под двери, не рассеивает темноту в павильоне, но князь хорошо ориентируется в этом уже привычном ему пространстве и почти сразу нащупывает электрический фонарик, который предусмотрительно положил у изголовья.

Какая-то непреодолимая сила побуждает его повторять жесты, которые он делал во сне: он подходит к полке, берет ту самую книгу и раскрывает ее наугад, не глядя. Потом опускает взгляд на страницу — но она не белая, она густо усеяна буквами. Князь вполголоса читает: “И Ангелу Лаодикийской церкви напиши... Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих...”[1]

1. Откр. 3:14, 16.

Он открывает другую страницу и снова читает: “Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно”[1].

Князь резко захлопывает книгу и ставит ее обратно на полку. То, что наяву текст этой книги не стерт, не очень его радует — наоборот, им все еще владеет смутная тревога, охватившая его во сне. “Как бы там ни было, — думает он, — раздражаться бесполезно: надо постараться поспать еще, ведь сейчас глубокая ночь”.

Однако в этот момент взгляд его падает на большие карманные часы, которые он положил рядом с фонарем: они показывают восемь. Поднеся часы к уху, князь отчетливо слышит равномерное тиканье.

— Снаружи еще темно, — убеждает он себя, — восьми еще наверняка нет.

Впрочем, этой луковице не всегда можно доверять: ее представление о времени в точности совпадает с мнением хозяина, полагавшего (по крайней мере до того, как вступила в силу новая система его кормления), что часом больше, часом меньше — невелика разница. И все же князь помнит: он заводил часы, прежде чем лечь спать, и тогда их стрелки вполне правдоподобно показывали четверть первого. С другой стороны, его — пусть и небольшие — метеорологические познания подсказывают, что в это время года солнце должно подниматься около шести утра, а вчера вечером небо, окрашенное в розоватые тона, сулило еще один ясный день...

Старик, накинув на плечи пиджак, идет открывать дверь. И тут замечает, что уже действительно день, но такой, каких он никогда не видал. Деревья, кусты, мягкие очертания холмов — все куда-то пропало, все утонуло в плотной туманной пелене, такой плотной, что она кажется уже не туманом, а скорее дымом пожара. Из-за этой задымленности совершенно невозможно различить рябь на воде, разглядеть небо: кажется, будто над тобой захлопнулась крышка гигантского ящика и ты попал в ловушку.

Князь осторожно входит в толщу тумана и направляется к домам. Идет он очень медленно, полагаясь скорее на память, чем на глаза. Когда же из путаницы дорожек он, наконец, выбирается на главную аллею, ему приходится идти по обочине, чтобы не попасть ненароком под колеса электромобиля: у всех машин включены фары, но движутся они не быстрее человека, неуверенно бредущего в этой мгле. Похоже, никто сегодня не отважился выйти из дома пешком; вот, наконец, и жилые кварталы: князь попадает в зону, ярко освещенную фонарями и светом, льющимся из окон, — этаким защитным барьером от хмари.

Теперь князь проходит мимо особняков. В садах никого нет, но за окнами виднеются встревоженные бледные лица, обращенные к невидимому небу. Это лица женщин и детей, инстинктивно прижавшихся друг к другу: так животные, почуяв опасность, сбиваются в стадо.

Понятно, что каждая мать сегодня решила оставить своих детей дома: когда свет противотуманных фар возвещает о прибытии школьного автобуса, ни одна дверь не открывается, ни один ребенок в школьном халатике и с ранцем за плечами не бежит через сад, и после нескольких остановок — у одного, другого, третьего дома — автобус удаляется, постепенно тая в тумане, из которого он и вынырнул.

1. Откр. 16:10.

А князь между тем все бродит между домами. Перед одним из гаражей он видит двух мужчин, явно опаздывающих на работу: они лихорадочно ищут что-то на земле.

— И как это я выпустил проклятый пульт из рук! — восклицает один из них. — Куда он мог подеваться? Я всегда говорил, что дверь гаража обязательно должна открываться и вручную...

— Не волнуйся ты так, — успокаивает его второй, — спешить нам некуда. При такой погоде особой пунктуальности от нас и не ждут.

Первый мужчина улыбается, стараясь взять себя в руки, хотя лицо у него такое же бледное и напряженное, как у людей, глядящих из окон.

— Ну и погодка. И именно сегодня — когда у меня соревнования по гольфу...

— В такой темноте, — замечает его товарищ, тоже пытающийся изобразить улыбку, — боюсь, ты и мяча-то не увидишь.

— Как знать, может, солнце еще покажется. Но, во всяком случае, я рад, что ты согласился ехать вместе со мной: четыре глаза все-таки лучше, чем два.

— Конечно. И я так считаю.

Пока они пядь за пядью осматривают землю, князь подходит ближе. Но замечают они его, только когда он оказывается в шаге от них, и отвечают на его приветствие с уже привычной ему отчужденностью. Потом, правда, немного оттаивают — вероятно потому, что в такой день может приободрить разговор с кем угодно.

— Видали, какая погодка, князь?

— Да, синьор, я тоже заметил.

— Подумать только — я уже говорил другу — сегодня у меня соревнования по гольфу.

— Да, малоприятное совпадение, — говорит князь, не выказывая однако особого сочувствия.

— Действительно, малоприятное. Тем более, что в сводках погоды не было даже намека на что-то подобное.

— По крайней мере в последних, — уточняет князь, вызывая у собеседников некоторое недоумение.

— Ни в последних, ни в предпоследних, можете мне поверить, — заверяет его один из двух друзей. — Я внимательно слежу за всеми метеосводками и с уверенностью могу вам сказать, что сегодняшнее явление — абсолютно неожиданное.

— Что ж... а вы не видите в этом логики?

— Логики, князь? Вы о чем?

— Говорят, такое случается, когда мы меньше всего к нему готовы. Оно приходит, как тать ночью, а сейчас если и не ночь, то нечто очень похожее.

Друзья растерянно переглядываются.

— Позвольте, что вы такое говорите? — спрашивает игрок в гольф с неожиданной жесткостью в голосе. — Кто это должен прийти, как тать?

— День Господень[1]. Вы никогда об этом не слышали?

— День Господень? — еще более растерянно повторяет его приятель. А потом с явным облегчением высказывает свою догадку:

1. 1 Фес. 5:2–3: "Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо, когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно постигнет их пагуба..."

– А, это, наверно, Библия или что-то в таком же роде.

Князь утвердительно кивает, но поднявшаяся в нем волна возмущения напоминает ему о его профессорском прошлом:

– Да, действительно, "что-то в таком же роде".

– Браво, браво, значит, вы читаете Библию... Ну и как она вам? Вероятно, очень интересная книга – по крайней мере для тех, кто интересуется подобными вещами. День Господень... интересно, очень интересно.

– Если ты от него не отвяжешься, – шепчет ему друг (но не настолько тихо, чтобы князь не мог расслышать), – мы отсюда и в полдень не уедем.

– Ты прав, пора ехать, найти бы только этот проклятый пульт... А, вот. Наконец! Взгляни, где он оказался!

Дверь с тихим жужжанием поднимается, и друзья тотчас заходят в гараж.

– День Господень... – повторяет игрок в гольф, с усмешкой покачивая головой.

Потом садится в машину (его друг устраивается с ним рядом) и, закрывая дверцу, кивком головы прощается с этим чокнутым старикашкой.

Князь смотрит вслед машине, осторожно выруливающей на главную аллею. Проехав несколько метров, она исчезает в тумане – вместе с обоими вымученно улыбающимися, заметно побледневшими приятелями.

XVII

Итак, городок теперь постоянно погружен в плотное марево, силуэты домов и деревьев кажутся размытыми, словно вот-вот растворятся в окутывающих их странных испарениях. Как выразился князь, это "если и не ночь, то нечто очень похожее", поскольку солнечные лучи не могут пробиться через густую завесу тумана. Туман как бы задушил городок, и свет фонарей, круглые сутки горящих на аллеях, едва просвечивает сквозь эту муть.

В столь изменившейся обстановке людям трудно вести более или менее нормальную жизнь. Дети, правда, снова стали посещать школу и на переменках по-прежнему выбегают во двор – теперь освещенный мощными прожекторами, в мертвенном свете которых он больше напоминает не игровую площадку, а двор тюрьмы. Взрослые, поскольку не могут больше играть в свой любимый гольф, в свободное время занимаются теми видами спорта, что рассчитаны на закрытые помещения, до отказа заполняя все залы спортивного центра, а по вечерам скептически просматривают выпускаемый Дирекцией метеорологический бюллетень, в котором каждый раз утверждается, что туман несомненно рассеется в течение ближайших суток.

Туман, однако же, не рассеивается, что никого больше даже не удивляет. Если в первое время по утрам все еще с трепетом поднимали шторы, надеясь увидеть, наконец, чистое небо и долгожданный солнечный свет, то теперь люди уже ничего не ждут: рассеянно выглянув на улицу, они поспешно спускаются в кухню, где находят некоторое утешение,

увидев накрытый к завтраку стол. Вот где все остается на своих местах — начиная от кувшина с апельсиновым соком и кончая пиалами с хрустящими хлопьями разных сортов, — отчего создается иллюзия, будто жизнь продолжается, как в прежние счастливые времена.

А о том, что это действительно лишь иллюзия, свидетельствует не только туман, делающий такими хмурыми короткие осенние дни. В душах горожан тоже произошла резкая перемена: беспокойство, которое они до сих пор так тщательно скрывали, все чаще прорывается наружу, и взаимное недоверие, раньше — внешне — никак не проявлявшееся, превратилось в откровенную враждебность.

Из своего замкнутого мирка каждый смотрит на других как на потенциальных врагов, каждый готов отстаивать собственные права с небывалым ожесточением и упорством. Часто ссоры вспыхивают буквально из-за пустяков: взрослого или детского велосипеда, оставленного не там где положено; нескольких сантиметров земли, "незаконно отторгнутой" при определении границ между двумя садовыми участками; спора двух автомобилистов о том, кто кого должен пропустить вперед. Любой такой инцидент может стать поводом для затяжного конфликта, настоящая же причина этой кризисной ситуации кроется в подспудном недовольстве горожан — недовольстве, которое накапливалось годами, а теперь прорвалось наружу, заставив это маленькое сообщество напрочь забыть о прежде вдохновлявшем его идеале единодушия.

Здешние женщины давно перестали обмениваться кулинарными и косметическими рецептами; больше того, они очень ревниво оберегают свои секреты от тех, кого раньше считали близкими подругами (так командующий армией охраняет свои стратегические планы от шпионов). Они уже не навещают друг друга, а если и встречаются, то только на нейтральной территории — например, в школе или в торговом центре. Эти вынужденные встречи происходят в атмосфере с трудом сдерживаемого раздражения, которое в любой момент может обернуться выплеском агрессии. Если, например, сын синьоры X поссорился в школе с сыном синьоры Y, то матери, узнав о случившемся, даже не пытаются помирить детей; наоборот, каждая открыто принимает сторону своего ребенка, так что разлад между учениками очень скоро перерастает в раздор между семьями, каждая из которых всерьез убеждена, что лишь дает необходимый отпор недопустимой наглости своих противников. Попытки учителей как-то урегулировать такого рода споры обычно ни к чему не приводят и предпринимаются все реже.

Не лучше обстоит дело и когда синьора X сталкивается с синьорой Y в торговом центре. Они обе попали туда уже уставшие и раздраженные, потому что вести машину в тумане очень трудно. Встретившись, женщины холодно здороваются или даже не здороваются вовсе (если это происходит после ссоры в школе); потом каждая берет тележку и решительным шагом направляется к полкам с товарами. Расположение стеллажей, а особенно общие пристрастия к тем или иным продуктам неизбежно приводят к тому, что женщины снова встречаются перед полкой с булочками из необдирной муки или перед пирамидой пакетов с фруктовыми соками. Когда одна из женщин ничтоже сумняшеся берет последний пакет клубничного сока, который, как ей известно, так любит ее соседка (и в недавнем прошлом — подруга), та с трудом сдерживается, чтобы не выразить свое возмущение. Гордо выпятив грудь, "подру-

га" проходит мимо, толкнув своей тележкой тележку соперницы, где так нагло красуется пакет клубничного сока, и направляется к кассе. Она уже выложила свои покупки на ленту транспортера, но вдруг вспоминает, что забыла прихватить... — то ли апельсины, то ли филе камбалы, в общем, что-то, совсем вылетевшее у нее из головы из-за злости на обидчицу. И она возвращается назад, чтобы взять необходимое, а свою тележку оставляет в проходе — предупредив кассиршу, что сию минуту вернется.

Однако прежде чем истекает эта минута, к кассе с довольным видом приближается другая женщина, чье настроение немедленно портится: ведь дорогу ей загораживает тележка бывшей подруги (легко опознаваемая по висящей на ручке цветастой сумке), лента транспортера занята чужими покупками, а кассирша просит ее чуточку подождать. Не говоря ни слова и сохраняя абсолютное спокойствие, синьора X хватает одну за другой покупки синьоры Y и бросает их обратно в ее тележку, а свои выкладывает на ленту транспортера. Возвратившаяся к кассе синьора Y застает синьору X за этой операцией и, конечно, не может сдержать свой гнев. Она подбегает к кассе с воплями, проявляя совершенно не свойственную здешним синьорам несдержанность, что тотчас и констатирует вслух — с обидным пренебрежением — синьора X. Но на синьору Y слова соседки не действуют, для нее главное — отплатить за оскорбление и сбросить с транспортера покупки бывшей подруги или, как она колоритно выражается, "все это барахло" (пакет клубничного сока она хватает первым, с особым остервенением).

Тут начинается быстрая смена противонаправленных фаз: покупки синьоры X и синьоры Y попеременно перемещаются с оспариваемого пространства на транспортере в тележки и обратно, обе женщины осыпают друг друга оскорблениями, а кассирша наблюдает за этой сценой с холодным любопытством. Куда менее хладнокровно ведут себя другие покупательницы, тщетно ожидающие возможности подойти к кассе. Сперва они еще как-то сдерживают себя, но довольно быстро переходят к язвительным комментариям, а потом открытым текстом предлагают обеим синьорам "убраться с дороги и выяснять свои отношения где-нибудь в другом месте". Поскольку требование это выражено далеко не в самой вежливой форме, его встречают в штыки и синьора X, и синьора Y. Соперницы вступают во временную коалицию с целью дать должный отпор новым противницам: мол, а этим чего надо? Их кто-нибудь спрашивал? Они-то по какому праву хотят пролезть вперед, не дожидаясь спокойно — "как это принято у культурных людей" — своей очереди?

Ну, раз уж разговор зашел о культуре, синьоры из очереди тоже не лезут за словом в карман — не этим "буйнопомешанным дамочкам" (так они окрестили двух первых спорщиц) их учить, и в результате строгие залы торгового центра оглашаются криком и руганью, словно это рыбный базар. Синьора X и синьора Y так в один голос и заявляют: хотя им самим не приходилось слышать, как ругаются на рыбном базаре, они почти уверены, что другим это известно не понаслышке. Тут дошедшее до крайности напряжение наконец находит разрядку. Прежде чем кассирша успевает вмешаться (если у нее вообще было такое намерение), скандал становится всеобщим: все женщины скопом наваливаются на транспортер и вышвыривают с него покупки, при этом не переставая

сыпать оскорбления и яростно толкаясь тележками; ни одна уже не смотрит, что принадлежит ей, а что – другим, никто больше не проталкивается к самой кассе, вообще у них теперь одна цель – излить свой гнев.

Они даже не заметили, что кассирша, быстро выставив табличку с надписью "закрыто", благоразумно покинула свое рабочее место и сейчас наблюдает за происходящим с безопасного расстояния – вместе с группкой продавщиц и немногих ошарашенных покупателей.

Среди последних мы видим и князя, который может считаться покупателем лишь теоретически: время от времени он наведывается с инспекционным визитом в торговый центр, чтобы выяснить, не появился ли там какой-нибудь товар со стопроцентной скидкой – чего до сих пор еще ни разу не случалось. Однако, как известно, "надежда умирает последней", и князь при входе всегда берет тележку, чтобы складывать в нее такие товары, появись они вдруг на полках. Вот и сегодня он долго бродил между стеллажами, ловко орудуя тележкой, срезая повороты и, как заправский автогонщик, обгоняя других покупателей. Но сейчас князь поставил пустую тележку в угол и присоединился к остальным зрителям: в одной из разъяренных менад он с изумлением узнал ту любезную синьору, которая первой в городке его накормила, то есть жену инженера Y – всегда тихую, привыкшую говорить как бы воркуя. Кто бы подумал, что у нее такой сильный голос? И кому бы пришло в голову, что вон та, другая синьора – безупречная во всех отношениях супруга доктора Z – может схватить свою противницу за уши и при всех ее яростно оттрепать?

Князя происходящее забавляет, но к этому примешивается и другое чувство – чувство тревоги, нарастающего беспокойства, связанное не только с непредсказуемым исходом скандала. Конечно, уж кто-кто, а князь никогда не заблуждался относительно пресловутого добродушия горожан, никогда не сомневался в том, что их кроткий нрав легко может превратиться в свою противоположность – при любой перемене общей ситуации. И все же, как бывает в самых разных сообществах, эта лицемерная лакировка, которой они прикрывали подлинное отношение друг к другу, играла благотворную, смягчающую роль, и князь не был готов к тому, что она так быстро сотрется. "Да, – думает он, слушая грубые оскорбления, которыми обмениваются женщины, – они уже начинают 'выкладывать всю правду', все 'называют своими именами'. Немногие могут позволить себе такое, действительно очень немногие..."

Его удивляет, почему никто не вмешается, не разведет скандалисток. Он, правда, и сам этого не делает: во-первых, потому что, присутствуя при конфликте, всегда предпочитает оставаться на нейтральной позиции ("Я в глубине души швейцарец", – заявил он однажды), а во-вторых, потому что понимает: уж кого-кого, а его эти синьоры слушать не станут. Но остальные – кассирша, продавцы, обступившие их покупательницы – не только не вмешиваются, а с явным интересом наблюдают за скандалом; и даже не зная его причин, похоже, испытывают удовольствие – прямо-таки облегчение – всякий раз, когда одна из женщин позволяет себе особенно грубый выпад. Князь бы не рискнул подтвердить свое впечатление клятвенно, но он, кажется, услышал слова "Давай, давай!", сорвавшиеся с уст одного элегантно одетого – средних лет – синьора, когда синьора X вырвала из рук синьоры Y хозяй-

ственную сумку и стала выкидывать на пол ее содержимое; да и легкий румянец, разлившийся в тот момент по лицу кассирши, был, похоже, не следствием ее растерянности, а скорее признаком нездорового возбуждения...

Еще и поэтому, увидев в двух шагах от себя наслаждающегося таким зрелищем директора торгового центра, князь решил временно отказаться от принципа швейцарского нейтралитета.

— Простите мою смелость, — говорит он, подойдя к директору, — но, может быть, вам все-таки следовало бы вмешаться?

— Вмешаться? — переспрашивает тот с раздражением. — Синьоры покупательницы вправе вести себя как им угодно — если, конечно, не причиняют ущерба помещению и не отказываются оплатить испорченный товар. А они не откажутся, поверьте: я их давно знаю, это очень приличные дамы.

— Не сомневаюсь. И все же, если судить по ситуации...

Директор окидывает его строгим взглядом:

— Уж не намереваетесь ли вы преподать хорошие манеры моим клиенткам?

— Боже избавь. Я только спросил...

— И потом, даже если бы я захотел вмешаться, я не представляю, как это сделать.

— По правде говоря, я тоже не представляю. И все же мне кажется, что вы должны хотя бы дать сигнал о закрытии магазина.

— Сигнал о закрытии? В четыре часа дня?

— В экстренных случаях...

Не надо обладать большой проницательностью, чтобы понять: директор отнюдь не в восторге от такого совета, но и придумать убедительную отговорку он не способен.

— Не находите ли вы, что и без моего вмешательства все как-нибудь само собой образуется?

— Да, конечно — через час, а может через два, если только не последуют новые эксцессы...

— Вы слишком все драматизируете, князь.

— Возможно, не отрицаю. Впрочем, беря на себя такую ответственность, вы, разумеется, не обязаны ни перед кем отчитываться...

Слово "ответственность" травмирует чувствительный слух директора.

— Я же ничего такого не говорил. Естественно, я дам звонок, хотя на мой взгляд... Да, дам звонок. Думаю, вас это удовлетворит.

Князь пожимает плечами.

— Признаюсь, лично меня куда больше удовлетворило бы другое — например, сезонные скидки, которых, судя по всему, вы не делаете никогда. Но и этот ваш разумный поступок я оценю по достоинству, что уж тут говорить.

Директор, вздохнув, отдает необходимые распоряжения одному из продавцов. Через несколько минут мигание лампочек предупреждает "любезных покупателей" о том, что магазин вот-вот закроется, но "любезные покупатели" — или, по крайней мере, те из них, кто самозабвенно участвует в скандале, — похоже, даже не замечают этого. Лишь когда шторы на витринах начинают медленно опускаться, женщины приходят в себя, подбирают сумки и направляются к выходу с гневными вы-

криками, которые затихают по мере того, как вся эта группа растекается по окутанной туманом площади.

В установившейся наконец тишине князь оглядывается по сторонам. На полу валяются "жертвы" недавней схватки: смятые консервные банки, разбитые бутылки, яблоки и апельсины, вылетевшие из своих пластиковых гнезд и раскатившиеся в разных направлениях. Князь быстро наклоняется, подбирает одно яблоко и сует в карман. Почувствовав на себе внимательный взгляд продавца, он с простодушным видом направляется к выходу, но, сделав несколько шагов, снова наклоняется, так как замечает соблазнительный пакет фруктового сока. "Клубничный", — читает он, поправляя очки. Увы, пакет даже и поднимать не стоит: он уже продырявлен чьим-то каблуком, и его содержимое растеклось по полу красной лужицей.

XVIII

Происшествие в торговом центре — яркий, но, конечно же, не единственный пример взаимной нетерпимости, которая в последнее время сильно испортила обстановку в городке. Из-за непроницаемого тумана, нависшего над ним, нервозность с каждым днем возрастает и разряжается при малейшем подходящем случае, хотя сами такие случаи представляются все реже. Всякого рода публичные мероприятия, встречи на полях для гольфа, организуемые Дирекцией праздники стали приметами прошлого, которое сейчас кажется почти нереальным; горожане сидят по домам, избегая, насколько это возможно, контактов с соседями; очень скоро их нелюдимость обретает зримое воплощение в лихорадочном увлечении "строительными" работами. Владельцы больших особняков срочно устанавливают сложные системы сигнализации, своевременно оповещающие о любом вторжении; владельцы особнячков поменьше обеспечивают неприступность своих жилищ с помощью бронированных дверей и решеток на окнах. Непонятно, от кого или от чего они хотят защититься посредством таких мер, но все почему-то считают их совершенно необходимыми и даже не понимают, как они могли так долго сохранять беспечную доверчивость, зависеть от непредвиденных обстоятельств и довольствоваться столь слабым защитным средством от вторжений внешнего мира, как оконное стекло или обыкновенный дверной замок.

Бригады техников и мастеров снуют между домами, превращая каждый из них в неприступную крепость, а живые изгороди, до сих пор чисто символически обозначавшие границы частных владений, заменяются высокими решетчатыми оградами, заранее обрекающими на провал любую попытку перелезть через них.

Действительно, похоже на то, что жители городка готовятся, кто как может, к предстоящей осаде. Князь, привыкший свободно бродить из сада в сад, теперь постоянно наталкивается на неодолимые препятствия и нередко, если хочет приблизиться к какому-то дому, должен сперва претерпеть процедуру опознания: ему приходится встать перед камерой видеодомофона, чтобы хозяева могли хорошо рассмотреть его лицо, и ждать, пока кто-нибудь, безошибочно его опознав, соблаговолит нажать на кнопку, открывающую ворота.

Этому строгому контролю, отражающему нынешнее отношение к князю, соответствует прогрессирующая суровость климатических условий: теплые летние дни давно отошли в прошлое — как и то радушие, с которым старика когда-то привечали и подкармливали в каждом доме. Уже кончается октябрь, но ни единый солнечный луч так и не пробился сквозь толщу тумана, а надвигающаяся зима обещает быть вдвое холоднее, чем прошлая.

Когда князь приходит в дома, чтобы выполнять порученную ему работу, хозяева видят, как он ежится от холода в своей летней тужурке, но никому и в голову не придет подарить ему старое пальто. Только Сара, которая уже какое-то время появляется у своего друга в теплой стеганой куртке, похожая на снеговика, заметила, что князь мерзнет, и ухитрилась найти выход из положения. Отец, к несчастью, "уехал в путешествие" слишком давно, и от его гардероба уже ничего не осталось: единственные вещи, на которые может позариться Сара, принадлежат тете, а ведь она, тетя, — дама, да к тому же поклонница того легкомысленного стиля, который сама именует "изящно-женственным". Он совсем не подходит к ее отяжелевшей фигуре, но еще меньше (как нетрудно себе это представить) подходит к тощей фигуре князя.

Однако девочка не падает духом. Всякий раз, когда тетушка отлучается из дома, она роется в шкафах и наконец — в один поистине прекрасный день, — отложив в сторону экологически безупречную шубку цвета "сомон" и отделанное атласом вечернее манто, останавливает свой выбор на сравнительно скромном пальто, которое тетя купила несколько лет назад и которое ей почти сразу же надоело. Его исчезновения тетушка наверняка не заметит и даже не узнает свою вещь, увидав ее на князе: надо только отпороть воротник, убрать блестящие пуговицы-стразы и изменить еще кое-что по мелочам — все это кажется нашей неопытной портнихе совсем простым делом.

В тот же день Сара, вооружившись портновскими ножницами и очень торопясь (чтобы успеть закончить работу до возвращения тетушки), приступает к операции, в результате которой из ее рук должно выйти настоящее мужское пальто. Полученным результатом она в общем довольна, и ей не терпится похвастать им перед другом. Завернув пальто в упаковочную бумагу, она выходит из дома и направляется к павильону. Девочка привыкла передвигаться в тумане и шагает по еле заметным дорожкам уверенно, ориентируясь по расплывчатым силуэтам деревьев. Вот она уже у прибежища князя — и радостно стучит в дверь, зная, что приготовила другу приятный сюрприз.

Она не сомневалась, что старик придет в восторг от ее подарка, и теперь обижена оторопелым молчанием князя.

— Тебе не нравится?

— Наоборот, прими мои комплименты. Для женщины это действительно шикарная вещь.

— Для женщины? Ты очень даже ошибаешься: это пальто теперь мужское.

— Возможно, дорогая. Должен признаться, я давно не слежу за новинками мужской моды. Однако у мужского пальто застежка, насколько я помню, должна быть на другую сторону.

— Какая застежка? Никакой застежки здесь больше нет: я же отрезала пуговицы. Но тебе в нем будет тепло, можешь не сомневаться.

– Да, оно должно быть теплым, – нерешительно соглашается князь. – И я тебе очень признателен за заботу, хотя...

– Вместо того чтобы критиковать, лучше бы примерил... Увидишь, оно придется тебе впору.

Князь послушно примеряет пальто, и сразу же выясняется, чем его фигура отличается от тетушкиной: рукава, как Сара ни старалась их удлинить, изо всех сил вытягивая ткань, все равно не достигают запястий, а полы едва доходят до колен. Но князь уверяет, что ему в этой обновке уютно. В конце концов, свою главную функцию она выполняет, а от претензий на элегантность князь давно отказался. Не говоря уж о том, что он готов на любые жертвы – даже расхаживать по городку в шубке цвета "сомон", – лишь бы не огорчать Сару.

– Ты права, это действительно мужское пальто. Не думал, что ты обладаешь талантом портнихи.

– Ну, какие пустяки, – отвечает она, стараясь не выставлять напоказ свою радость. – Как только смогу, я тебе еще и одеял принесу.

Через пару дней она действительно приносит одеяла, а еще – длинный шарф, шерстяную шапку и всякие мелочи, дополняющие зимнее обмундирование князя. Теперь ему не страшна никакая непогода. По крайней мере, так он говорит своей маленькой подружке, благодаря ее за заботу. Шапку и шарф, правда, надевать еще рано – и старик не без опаски ждет момента, когда ему придется щеголять в этих броских и слишком узнаваемых "обновках", – зато дополнительные одеяла уже сейчас, в эти долгие ночи, очень помогают спасаться от леденящего холода. Перед тем как погасить фонарик, князь тщательно в них закутывается, чуть ли не до самых бровей, так что каждому, кто увидел бы его в таком коконе, он показался бы еще более странным, чем обычно, – похожим на мумию или на бедуина из Сахары.

Павильон и в самом деле ненамного надежнее, чем палатка, разбитая посреди пустыни. Но здесь, в отличие от пустыни, нет песчаных бурь, и князю, слава богу, не приходится опасаться, что дующие в этих широтах ветры разнесут в щепы его хлипкое пристанище: с тех пор как на городок опустился туман, воздух сделался неподвижным, спертым, и ветры, дующие "с той стороны", сюда не проникают. Здесь ощущается только колючий, нестерпимый холод: им, кажется, пропитался сам туман, и холод этот пронизывает до костей, особенно ночью, когда темнота еще более сгущается и окутывает городок не менее плотно, чем спящего князя – его шерстяные одеяла.

Но даже днем, когда холод немного ослабевает, ощущение замкнутости все равно остается. Князю, выходящему из павильона в тетушкином пальто и оттого испытывающему некоторое смущение, детям, спешащим в школу, людям, которые едут на своих машинах в Центр, кажется, будто они передвигаются не по аллеям и дорогам, а внутри бесконечного, похожего на лабиринт здания, выхода из которого нет.

Впрочем, никому и в голову не приходит искать какой-то "выход" – наоборот, горожане с полной апатией относятся к постепенному исчезновению последних связей с "запредельным" миром. Они лишь пожимают плечами, заметив однажды вечером, что звуки арф теперь продолжаются дольше обычного, а экраны телевизоров, можно сказать, почти вовсе не загораются. Все уже давно привыкли к долгим перерывам в телевещании, которые с каждой неделей, с каждым месяцем становились

все длиннее, — поэтому и не удивляются ни в тот вечер, ни на следующее утро, увидев, что экраны такие же темные, какими их оставили накануне. Правда, кое-кто все-таки пробует жаловаться, но делает это скорее из педантизма, подчиняясь тому злобному импульсу, который теперь побуждает горожан выражать свое недовольство по любому поводу, причем без прежней веры во всевластие Дирекции. Горожанами овладел мрачный фатализм: они готовы навсегда лишиться любимых передач, полагая, что окончательное отключение экранов есть следствие какой-то глобальной катастрофы, произошедшей там, снаружи, за пределами их городка, весьма кстати отгородившегося от остального мира стеной тумана.

— Да, — говорит (через садовую решетку) синьор X единственному соседу, с которым еще не поссорился, — что-то явно произошло. Не знаю только, что именно.

— Лучше и не знать, поверьте, — отвечает сосед. — К счастью, здесь мы под надежной защитой...

Он хотел бы развить эту тему дальше, но умолкает, заметив проходящего мимо калитки князя, который вполголоса произносит какие-то странные слова:

— Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг[1].

— Что это с ним? Что он там бормочет? — спрашивает удивленный синьор X, провожая взглядом удаляющуюся по аллее высокую фигуру.

— Ничего, наверное, это Библия... С некоторых пор он часто ее цитирует.

XIX

Ну вот, думает Сара, вглядываясь в черный экран, теперь пусть он скажет мне — что там, за этой чернотой.

Но выслушавший ее требование князь совсем не похож на человека, уверенного в себе.

— Дорогая, ты напрасно так полагаешься на мою компетентность. Как я могу знать, что происходит там, снаружи?

— Знать — нет, но, может, догадываешься?

— Ну, если такая игра тебя забавляет, давай дадим волю своему воображению и будем строить догадки вместе. Что предпочитает сама синьорина? Может, ее устроит приличный всемирный потоп, или — вместе — голод, война и чума? Ассортимент катастроф весьма обширен, и все они в вашем распоряжении...

— Не смейся надо мной, князь, — обиженно откликается Сара.

— Я и не думал, дорогая, прости. Я попытался отделаться шуткой лишь потому, что не знаю, что тебе ответить.

— Но все это правда существует где-то там, снаружи? Я говорю про голод, войну, чуму...

Немного поколебавшись, старик отвечает:

— Да, правда. Есть даже кое-что похуже, с чем, надеюсь, ты никогда не столкнешься.

1. Откр. 3:17.

— Смерть?

— Нет, Сара, не только смерть.

— Тогда что же?

— Жестокость. Впрочем, даже этот городок от нее не застрахован.

— Жестокость... — задумчиво повторяет Сара. — Например, как у леди Макбет? Или у того царя... как его звали?.. который кормил своих коней человечьим мясом?[1]

— Я вижу, у тебя отменная память.

— Нет, здесь у нас все по-другому, уверяю тебя; здесь никому бы и в голову не пришло такое.

— Ты уверена?

— Конечно. Я хорошо знаю этих людей — с самого рождения.

— Действительно, — соглашается князь со смехом, — мне тоже трудно представить себе, что твоя тетушка может зарезать гостя, чтобы завладеть его имуществом, или что синьор X вздумает разнообразить диету своего кота, скормив ему кого-нибудь из соседей. И все же...

— Если там, снаружи, ведут себя так, то я всерьез желаю, чтобы на них обрушилась самая страшная катастрофа.

— Я понимаю твое возмущение, но снаружи ведь есть не только это. Да, верно, там хватает и современных леди Макбет, и даже Каинов и Тамерланов, но там также существуют герои совершенно иного рода и чувства, на которые здешние жители вообще не способны... Такие чувства, Сара, я замечаю разве что в тебе.

Девочка выслушивает эти слова с недоумением.

— Во мне? Но во мне нет ничего особенного.

— Ты ошибаешься, моя милая подружка, в тебе есть очень много особенного. Будь это не так, я не имел бы крыши над головой и не мог бы кичиться перед всеми этим вот элегантнейшим пальто. Нет, ты конечно не принадлежишь ни к категории злодеев, ни к числу теплых. Ты заслуживаешь права жить где-нибудь в другом месте.

— И где же? Может, за темнотой? Ничего не скажешь, вот было бы замечательно!

Прежде чем продолжить свою мысль, князь долго и внимательно смотрит на девочку.

— А тебе никогда не приходило в голову, что это мы находимся "за темнотой"?

— Мы?

— Да, моя дорогая, я иногда задаюсь вопросом: эти симпатичные особняки, эти ухоженные газоны, это царство гармонии, которое так заметно пошатнулось... Наш городок, Сара, — отнюдь не рай. Ты это знаешь прекрасно, ты сама так сказала, когда мы с тобой разговаривали в первый день, под ивой; боюсь, это уже стало очевидно всем.

— Но ты должен признать, что он и не ад.

— Да, но может им стать.

— Огонь, языки пламени, раскаленные угли?

— Бывает, я чувствую, как угли уже раскаляются в душах некоторых здешних жителей.

1. Имеется в виду Диомед, сын Ареса, — легендарный фракийский царь, кормивший коней мясом захваченных чужеземцев.

– Иногда мне кажется, я тоже это чувствую. Однако пока все ведут себя нормально или почти нормально. Только выглядят... более нервными, чем прежде.

– Они боятся. И именно страх – самая серьезная опасность, которая им угрожает.

– Потому что он делает их слабыми?

– Потому что он делает их злыми.

– Но это же так понятно – бояться: странный туман, темнота... Знаешь, я тоже напугана, напугана до смерти: выходит, и я могу стать злой, как они?

Князь улыбается:

– Я тебе уже сказал, ты принадлежишь к другой категории. Ты более хрупкая, но и более стойкая. И вообще, заранее предупреждаю: если ты станешь злой, я сразу же перестану принимать тебя в своем дворце.

– Прикажешь охране меня не впускать?

– Вне всякого сомнения. И тебе придется навсегда распрощаться с надеждой побывать на моих балах.

Сара с облегчением принимает этот шутливый тон: после недавних мрачных рассуждений оба чувствуют потребность в более беспечных разговорах, в бодрящем уходе в те фантастические миры, которые они часто посещают вместе. Пока они лакомятся конфетами, дворец князя и тамошние пышные приемы мало-помалу обрастают новыми деталями, список приглашенных тщательно пересматривается и из него исключаются тетушка, учителя и леди Макбет – зато в нем находится место и для кота синьора Х, и для большой группы фей, наделенных необыкновенными способностями, и даже для тени Банко[1], которому ведь тоже – после стольких перенесенных им мучений – нужно дать возможность немного развлечься.

Но когда Сара, с легким головокружением после вальсирования на воображаемом балу, наконец покидает дворец князя, чтобы вернуться в свое скромное жилище, покой, с таким трудом обретенный ею, очень быстро улетучивается. Серьезные, тревожные слова друга всплывают в памяти девочки, пока она пробирается в тумане – и она уже понимает, что никогда их не забудет.

Она теперь другими глазами смотрит на окружающую действительность. Резкие фразы тетушки потрясают ее, как неожиданная пощечина, и в то же время пробуждают в ней странное чувство жалости. Она приходит в ужас, видя, как военные игры товарищей превращаются в самые настоящие потасовки – в яростные выплески взаимной враждебности. Что-то темное, она уже это чувствует, кроется и в обыденных словах, поступках, незначительных на первый взгляд эпизодах; что-то грозное – словно толща тумана опустилась не только на дома городка, но и на души его обитателей.

Конечно, это страх, тот же страх, признаки которого она замечает и в самой себе; и от этого другие люди кажутся ей более понятными, чем когда бы то ни было. Но в то же время девочку отталкивает их агрессивность: в школе, на переменках, она держится в стороне, не как прежде – из гордости или робости, – а потому что неодолимый страх заставляет

1. Банко – персонаж трагедии "Макбет", генерал шотландской королевской армии, павший от рук наемных убийц.

ее избегать толкотни, этих волн ярости, готовых разрушить сдерживающие их непрочные берега. Она видит, как один мальчик валит на землю другого и жестоко избивает его. Сара понимает, что игру внезапно вытеснила реальная жестокость. Она смотрит на девочку, привязанную к дереву, и на детей, которые с криками скачут вокруг, и спрашивает себя, что это — все ли еще игра в индейцев или взаправдашный зловещий ритуал.

"Странно, — думает она, — что учителя все видят, но не вмешиваются, больше того, вполне терпимо относятся к таким вещам". Действительно, учителя не замечают ничего необычного или опасного, и те из них, у кого, несмотря на распространившуюся теперь апатию, сохраняется привычка выбирать себе любимчиков, неизменно предпочитают самых жестоких, "победителей", тех, что всегда нападают первыми и расправляются с несогласными. Однако вместо того чтобы пресекать их выходки, педагоги чуть ли не поощряют такую демонстрацию силы, и если бы в тот памятный день Саре довелось побывать в торговом центре, теперь бы она узнавала на лицах своих учителей то же выражение, с каким тогда продавцы и покупатели наблюдали за сварой домашних хозяек. "Могла бы я тоже стать сильной? — спрашивает она себя. — Могла бы я тоже ради забавы наброситься с кулаками на одноклассника, могла бы отыскать в своей душе это непонятное качество, которое князь называет жестокостью и которым так восхищаются другие? Не только дети, не только учителя, но, кажется, даже поэты: их оно тоже привлекает? Наверное, да, иначе они бы не посвящали столько страниц таким персонажам, как леди Макбет и тиран Диомед... Но ведь если бы я тоже была такой, если бы я была жестокой и сильной, князь приказал бы своей страже не пускать меня во дворец, и я уже никогда, никогда не могла бы танцевать вальс в зале с золоченым потолком. Выходит, моему другу нужно, чтобы я была слабой — или, как он говорит, хрупкой, но стойкой".

"Хрупкая, но стойкая", — Сара несколько раз шепотом повторяет эти слова, но ей так и не удается полностью понять их значение. Она чувствует, что перед ней трудная задача — еще более трудная, чем схватить мальчика и швырнуть его на землю или кружиться вместе с другими вокруг жертвенного столба.

XX

Не следует полагать, будто Дирекция не торопится принять необходимые меры, дабы отразить натиск нежелательных событий. Директора постоянно совещаются в зале заседаний на верхнем этаже Центра, откуда — до того как опустился туман — они могли наслаждаться прекрасной панорамой и наблюдать за всей территорией городка, как и подобает лицам, выполняющим стратегически важную общественно-попечительскую роль. Подробные сообщения обо всем, что происходит в городке, ежедневно ложатся на большой хрустальный стол и тщательно изучаются. Каждую минуту с далеких спутников поступают на терминал метеорологические прогнозы относительно тумана; эти данные, по существу малоутешительные, в отчетах излагаются столь же обстоятельно и четко, как в старые, более счастливые времена; и даже самые тревожные происшествия, вроде скандала в торговом центре, будучи пересказанными на языке технических терминов, кажутся не такими уж опасными.

Да, руководители обеспокоены, но не настолько, чтобы утратить привычное хладнокровие и оптимизм, на которых всегда зиждился успех их работы. Главное, постоянно твердят они себе, — решать проблемы по мере их возникновения, методично и по порядку: тогда самой серьезной из них окажется постоянное отключение телевизоров. Как ликвидировать причину этого явления, они не знают, и потому принимают мудрое решение сосредоточить свое внимание на следствиях: на распространении среди населения недовольства и скуки из-за избытка свободного времени — горожане уже не знают, чем его заполнить. Они не могут теперь смотреть любимые телепрограммы, туман же и холод не позволяют им заниматься оздоровительными упражнениями на свежем воздухе. Так в хорошо отлаженной системе их повседневных забот образуется брешь, дыра, опасная трещина — и все члены Директорского совета приходят к единодушному мнению, что необходимо принять какие-то меры для скорейшей ее ликвидации.

"Альтернативные занятия" — так озаглавлен новый пункт в повестке дня, и поступающие сегодня предложения внимательно рассматриваются, все "за" и "против" тщательно взвешиваются. Необходимо найти труднодостижимое равновесие между стремлением директоров к большей, как они выражаются, "социализации" населения и опасностью, что в обстановке всеобщей истерии эта самая "социализация" выльется в открытый конфликт.

Разумная предосторожность, поясняет свою мысль кто-то из выступающих, могла бы состоять в том, чтобы не допускать стихийности. Каждое собрание, каждая встреча должны быть подчинены четкому распорядку, чтобы априори исключался чей бы то ни было произвол и сохранялись определенные формальности. Рекомендуется также своевременное, но умеренное вмешательство хорошо подготовленных "модераторов" (даже если речь идет просто о танцевальных вечерах), но важнее всего — непосредственное руководство со стороны самой Дирекции, право и даже долг которой — выступать в качестве беспристрастного арбитра.

Короче говоря, по единодушному мнению членов Директорского совета, его деятельность не должна быть опрометчивой, и уж во всяком случае нельзя допускать, чтобы каждый индивид варился в собственном соку, растравлял в себе неразумные обиды и развлекался как ему взбредет в голову.

Занимающиеся этими вопросами чиновники привыкли, не теряя времени, организовывать любое мероприятие, так что довольно скоро мрачное оцепенение городка нарушает целый шквал инициатив, к участию в которых горячо призываются все, кто считает себя лояльным членом сообщества.

И вот уже горожане неохотно покидают свои дома, чтобы в установленное время являться на эти общественные мероприятия — соревнования и турниры в закрытых помещениях спортивного центра, танцевальные вечера, дискуссии и даже garden parties[1] — опять-таки в закрытом помещении, в зимнем саду Дирекции, радушно предоставленном ею для всеобщего пользования. Так же неохотно жители городка

1. Вечеринки в саду (*англ.*).

участвуют в спортивных состязаниях или присутствуют на них в качестве болельщиков (интересуясь главным образом штрафными ударами и случаями удаления с поля, дающими им повод для яростных выкриков); неохотно танцуют с теми, с кем они и говорить бы не стали; или участвуют — просто из любви к спорам — в дискуссиях на темы, оставляющие их равнодушными.

Порой, глядя на эти мрачные лица, на это демонстративное нежелание общаться друг с другом, директора сомневаются в том, что приняли верное решение. Впрочем, они и сами гораздо охотнее остались бы дома вместо того, чтобы терпеть неприятное общение с согражданами, которые в последнее время внушают им, в чисто личном плане, все большую антипатию. Но долг есть долг, и вообще, какой бы напряженной ни была ситуация, благодаря их своевременному вмешательству все остается как бы в пределах нормы.

Всерьез беспокоит Дирекцию, пожалуй, только одно: абсолютная индифферентность молодежи. Дети служащих упорно отказываются участвовать в таких праздниках, соревнованиях, встречах — и с полным пренебрежением к властям предпочитают сами распоряжаться своим временем, что выливается в организацию различных группировок, каждая из которых с ненавистью относится ко всем остальным.

Если взрослые сидят теперь по домам, то ватаги подростков господствуют на открытых пространствах: они завладели аллеями, в ожесточенных спорах отстаивают свое право на каждую пядь земли, соперничают в борьбе за контроль над опустевшими теннисными кортами или площадками для игры в гольф — и разбивают на них свои биваки, заметные издалека благодаря страшноватым кострам. Похоже, туман их ничуть не беспокоит, наоборот, постоянные сумерки служат им надежным укрытием, позволяющим избавиться от родительской опеки и наслаждаться небывалой свободой.

Не всегда эта свобода проявляется в мирных формах: нередко, выглянув в окно, горожане видят в тумане какие-то фигуры в теплых зимних куртках, освещенные зловещим светом костров; они — эти подростки — целыми часами переругиваются, осыпая друг друга оскорблениями и угрозами, как коты, защищающие свою территорию. Отцы и матери пытаются различить в доносящихся до них диких воплях голоса своих детей и с тревогой спрашивают себя, что же будет, когда две соперничающие ватаги сцепятся и от слов перейдут к делу. Потому что иногда случается и такое: все расплывающиеся в тумане силуэты внезапно устремляются к одной точке, и тут начинается свалка, в которой даже самый опытный глаз не смог бы отличить друг от друга противников — членов разных банд. Потом вдруг крики как по команде прекращаются; в свете костров тела дерущихся сплетаются беззвучно; и эта тишина кажется страшнее любого крика. А взрослые продолжают смотреть из окон, и каждый тешит себя надеждой, что уж его-то отпрыск, такой упитанный и здоровый, конечно же, окажется в числе победителей.

Главное, думают родители, чтобы другим попало от него больше, чем достанется ему. Таков основной принцип жизни, главная норма, которую они хотели бы внушить сыну, если его поведение не свидетельствует о том, что он и сам отлично ее постиг. Да, он действительно уже не нуждается ни в каких наставлениях, этот хулиган, осыпающий других подростков градом ударов, которые сделали бы честь профессиональ-

ному боксеру и показывают, что родители не зря вкладывали деньги в физическое воспитание своего отпрыска. А если мать слишком впечатлительна и все время чего-то боится, ее можно успокоить, напомнив, что эти "красивые драки" обычно заканчиваются без серьезных ранений и почти без кровопролития.

— Видала, как досталось этому хлюпику, сыну X? — весело говорит синьор Y, имея в виду сына соседей.

— Ты уверен, дорогой, что это был он? На таком расстоянии они все кажутся одинаковыми.

— Кажутся только тебе, потому что ты в этом ничего не смыслишь.

— Возможно. Но вдруг это наш сын? Сегодня он как раз надел зеленую куртку.

— Наш сын? Ерунда! Если это он, то, право же, ему лучше не возвращаться домой. Я сам проучу его не хуже, чем те парни.

И это торжественно заявляет синьор Y — вовсе не боксер и не борец, а специалист-электронщик, в свободное от работы время предающийся такому невинному занятию, как выращивание цветов в оранжерее.

Похоже, такие же гневные слова в то же самое время слетают и с уст других отцов, хотя никто из дерущихся в тумане ничуть не нуждается в том, чтобы его еще больше подстегивали.

В общем, к войне между бандами взрослые относятся довольно терпимо, поскольку она закаляет молодежь, способствует укреплению мышц, делает ребят храбрее. Куда меньше им нравится то, как подростки проводят время в перерывах между стычками, ибо эти забавы опасны для прохожих. Игра очень проста: достаточно раздобыть длинную, тонкую, но прочную веревку, натянуть ее между деревьями, стоящими по разные стороны аллеи, — так, чтобы веревка пересекала ее примерно на высоте колен взрослого человека. После чего остается только затаиться поблизости и ждать. Жертвой, естественно, станет первый же человек, который пройдет по аллее; в самом худшем случае проедет машина и, слегка качнувшись, порвет веревку; если же повезет, появится пешеход, лучше всего — женщина, возвращающаяся из магазина с покупками. Из-за тумана она не сможет вовремя заметить препятствие, зацепится за веревку и упадет — более или менее эффектно, рассыпав содержимое пакетов; а те, кто все это подстроил, выйдя из своих укрытий, станут шумно праздновать победу — или, оставаясь в укрытии, тайно радоваться испугу жертвы, наблюдать, как она, с трудом поднявшись и кое-как подобрав с земли рассыпанные покупки, неуверенным шагом побредет дальше.

Именно такое случилось однажды вечером с тетушкой Сары, которая, на свою беду, живет так близко от торгового центра, что ходит туда пешком: возвращаясь домой, она попала в засаду. Какой это был ужас! Она и без того всегда побаивалась ходить в тумане — в нем так плохо видишь, и все кажется чужим, словно ты попала в незнакомое место. А тут ей и вовсе показалось, будто у нее под ногами вдруг разверзлась земля, будто она с головокружительной высоты падает в бездонную яму — но, как ни странно, всего через мгновение шлепается на дорогу.

"Вот беда, — думает невезучая тетушка, потирая ушибленную щиколотку, — хорошо хоть, что не сильно болит", — а головокружение понемногу проходит, и теперь хотя бы понятно, где верх, где низ. "Вот беда", — повторяет она вслух, оглядываясь по сторонам, и, поднявшись на

ноги, торопливо подбирает с асфальта рассыпавшиеся покупки. Тетушка со страхом ждет, что сейчас кто-нибудь появится из-за обступивших аллею черных силуэтов: вообще-то это должны быть кусты, но уж больно они напоминают мрачные грозовые тучи...

Когда, наконец, ей вроде бы удается все подобрать, она снова продолжает свой путь – быстро, не останавливаясь и уж, конечно, не оглядываясь назад. Вот из тумана проступают очертания знакомых домов, значит, можно идти помедленнее, дать передышку ушибленной щиколотке и сердцу, колотящемуся в такт торопливым шагам. Оказавшись в безопасности, она испытывает уже не страх, а злость, клокочущую и всепоглощающую злость, какую может испытывать жертва насилия, не способная отомстить обидчикам.

Она бы просто задохнулась от этого чувства, если бы оно вовремя не выплеснулось наружу. Удобный случай подворачивается даже раньше, чем она думала. Прямо перед собой, у самой дороги, она видит две сидящие на скамейке фигуры: одна – худая и высокая, другая – маленькая. Подойдя поближе, тетушка узнает князя и свою племянницу Сару. Они сидят к ней спиной, словно любуясь открывшейся перед ними панорамой. Допустимо ли, думает тетушка, чтобы Сара проводила все свое время с этим помешанным стариком? Ну, сейчас она у меня получит, да и ему я выскажу все, чего он заслуживает. Слишком уж долго злоупотреблял он моим терпением, пусть теперь поищет себе другую компанию. Она решительно направляется к скамейке, словно намерена наброситься на эту парочку, которая, ни о чем не подозревая, продолжает о чем-то беседовать. Оказавшись у них за спиной, тетушка уже собралась было властно опустить руку на плечо племянницы, но вдруг замирает.

– Апо?.. Апо?.. – неуверенно переспрашивает Сара.

– Апокалипсис, – отвечает ей князь, скандируя слоги.

– А-по-ка-лип-сис... Какое трудное слово.

– Да, очень трудное.

Тетушка медленно отводит руку. Ее так поразил этот короткий диалог, что она решает отказаться от своих воинственных намерений.

"Черт знает, о чем они говорят, – думает она, удаляясь. – Глупости какие-то, чистый вздор..."

Однако, сама того не сознавая, она ускоряет шаг, и снова ее сердце начинает тревожно колотиться. Необъяснимое облегчение тетушка ощущает лишь тогда, когда захлопывает за собой парадную дверь дома.

XXI

Тогдашний, ничем не завершившийся порыв навел Сарину тетушку на мысль о необходимости положить конец этой нежелательной дружбе. Конечно, такие встречи ей не нравятся и никогда не нравились, но если раньше она относилась к ним спокойно – просто "по своему природному благодушию", – то в последнее время она ничего не предпринимает исключительно из-за безразличия к племяннице. Пожалуй, слово "безразличие" здесь не совсем точно: скорее речь идет о холодности или даже настоящей враждебности, исподволь созревавшей в тетушкиной душе и теперь изливающейся на девчонку, на непонятное существо, в чьих словах все чаще слышатся отголоски высказываний князя. По мнению

тетушки, эти двое даже внешне стали походить друг на друга, их объединяет какая-то неряшливость: хотя тетушка по-прежнему уделяет должное внимание личной гигиене Сары и ее одежде, самой девочке, похоже, совсем не свойственны опрятность и аккуратность, присущие другим здешним детям. Складывается впечатление, что в этом ребенке прорастает неистребимое семя анархии, внешние проявления которой — сбившаяся набок шапочка, оттопыренные карманы и ее волосы: сколько их ни причесывай, все равно они выглядят всклокоченными.

Да, как это ни прискорбно, сейчас уже не скажешь, что Сара и князь — неподходящая пара; наоборот, они прекрасно подходят друг другу как внешне, так и внутренне, и не одна только Сарина тетушка убеждена в этом. Вот и школьные товарищи — с характерной для детей способностью быстро вникать в суть вещей и беспощадно выражать свое мнение — прозвали Сару Бродяжкой, перенеся на девочку свое отношение к ее другу. И понятно, почти неизбежно, что к Бродяжке будут относиться не так, как если бы она звалась просто Сарой. Бродяжке позволяется участвовать в коллективных играх лишь на вторых ролях, чаще всего в роли жертвы, и каждый ее жест, каждое слово воспринимаются как нелепые, подвергаются жестокому осмеянию.

Об этих правилах, конечно, не говорят вслух, но тем не менее их придерживаются неукоснительно, и Сара так хорошо все осознает, что и сама может их сформулировать. Она очень точно определяет и свои заметно сузившиеся права, и ту обширную область, доступ куда ей закрыт в силу ее непохожести на других: непохожести, от которой она ни за что на свете не отказалась бы, но которая тяжким грузом ложится на ее хрупкие плечи. Иногда Сару охватывает тоска по "нормальной" жизни, которой у нее никогда не было, и она пытается придумать эту жизнь, будто все в ее руках — только бери, будто можно избавиться от собственного характера и позаимствовать характер у других.

В таких случаях Сара становится дерзкой, вмешивается в игры товарищей, стараясь подражать их жестам, их голосам; но они не поддаются обману, да и сама девочка не способна долго обманывать себя. Смирившись, она уходит, не дожидаясь, когда ее прогонят, и делая вид, будто устала, а игра ей наскучила. Устраивается где-нибудь в уголке школьного двора, но в ушах у нее все еще звучат крики: "Смотрите, а вот и наша Бродяжка!" — которыми дети обычно встречают ее появление.

Она не смогла бы вынести это постоянное ощущение своей отверженности, если бы его не компенсировала дружба с князем. Сара всегда с нетерпением ждет последнего звонка и, едва услышав его, торопится покинуть школьное здание, которое кажется ей таким мрачным, таким неуютным — несмотря на светлые классы и стены, окрашенные в пастельные тона. Она чуть не бегом бросается к павильону или к дому, возле которого в данный момент работает князь; и старик всегда встречает ее — запыхавшуюся, но счастливую — сердечно, однако не без примеси иронии, которую она уже научилась распознавать и ценить.

Не следует думать, будто князь тут же заключает ее в объятия или говорит обычные пошлые комплименты. Сара понимает: такое совершенно не вязалось бы с тем, что он не без гордости именует своим "стилем". Именно приверженность этому "стилю", судя по всему, побуждает князя заменять объятие шутливым поцелуем ручки, а слова "Рад тебя видеть" — фразой: "Твоя пунктуальность, дорогая моя, поистине восхитительна".

Как ни странно, Саре вовсе не кажется смешным, что так плохо одетый человек упорно придерживается определенного "стиля". Она даже не замечает никакого противоречия между изысканными манерами князя и обтрепанными манжетами его рубахи. Но главное, она ни на минуту не сомневается в его сердечности, пусть и выраженной столь необычно, и сама привыкает облекать свои чувства в ту же форму иносказаний, вроде бы их маскирующих, а в действительности лишь подчеркивающих.

Итак, Сара и князь научились прекрасно понимать друг друга, не прибегая к общепринятым штампам. Хотя они никогда напрямую не говорили о своих отношениях, каждый из них чувствует, что всегда найдет у друга поддержку; и это ощущение становится тем сильнее, чем больше в эгоистическом сообществе горожан укореняется враждебность по отношению к ним обоим.

Для князя настала пора самого настоящего голода — так существенно уменьшилось вознаграждение, которое он получает за свою работу; да и эту малость ему теперь вручают неохотно, словно подачку. Кто-то даже написал в Дирекцию о том, что князь занимает павильон на незаконных основаниях, а это помещение — хотя зимой им никто не пользуется — является общественной собственностью. В результате какой-то усердный чиновник отдал распоряжение, предписывающее князю перебраться куда-нибудь в другое место — не уточнив, куда именно, и как может найти себе жилье человек, который здесь, в этом городе, не вправе претендовать вообще ни на что.

Однако князь не тревожится: он полагается на апатию, которая уже давно парализовала административный механизм городка и, возможно, позволит ему, старику, еще какое-то время уклоняться от его шестерней.

Слишком много забот и проблем одолевают ежедневно Дирекцию, чтобы она стала заниматься бродягой, такой quantité négligeable[1] (как сам князь по скромности, а может, и из гордости, любит себя называть), едва ли заслуживающей большего внимания, нежели пятно на обоях — в здании, которое вот-вот рухнет. Скажите на милость, кому придет в голову заниматься таким пятном, когда уже... потолочные балки скрипят и на несущих стенах появились трещины?

А "здание" — князь в этом уверен — действительно готово рухнуть: его равновесие с каждым днем становится все более шатким, уже очевидная безнадежность положения вызывает ужас у обитателей городка, а ужас этот порождает еще большую безнадежность; и никому не удается установить, где причина и где следствие, или отыскать ту точку, в которой... — как бы это выразить? — замкнутый когда-то круг разомкнулся.

XXII

В число мероприятий, направленных на восстановление общественной гармонии, Дирекция не забыла включить и школьный спектакль. По давней традиции учащиеся выпускных классов отмечают окончание школы театральной постановкой, которую перед Рождеством показы-

1. Ничтожно малая величина (*франц.*).

вают всему городку; и эту традицию, по мнению Директорского совета, ни в коем случае нельзя прерывать: наоборот, в нынешнем году выступление школьников приобретает особое значение, поскольку должно свидетельствовать, что жизнь в городке — наперекор всяким вредным веяньям — протекает совершенно нормально и что единодушие, несмотря на неблагоприятную обстановку, еще может приносить прекрасные плоды.

И вот теперь девочки и мальчики репетируют в школьном спортивном зале под бдительным оком исполненного радужных надежд чиновника; матери кроят и шьют им костюмы, ворча, что напрасно тратят свое время, а отцы без особой охоты сооружают сцену, демонстрируя свои технические навыки.

И все же энтузиазм, пусть слабый, и законная гордость овладевают всеми, кто принимал участие в подготовке спектакля, когда наконец наступает долгожданный вечер. В зале, заполненном публикой и украшенном ветвями омелы, поднимается занавес — и все видят пышную декорацию первого акта. "Да, денег они не пожалели!" — такая мысль мелькает у каждого зрителя при виде сверкающего стразами трона, который почти — или вовсе — не уступает своему знаменитому прообразу из телесериала "Сердце королевы". Эффект действительно превосходит все ожидания, благодаря игре света и фантасмагории бликов: любуясь богатым балдахином и воинами, которые в шлемах, украшенных плюмажами, и с алебардами в руках выстроились вдоль стен тронного зала, публика заранее предвкушает все прелести спектакля об утонченных любовных чувствах и тайных дворцовых интригах. Зрелище, конечно же, увенчается счастливым концом и будет выдержано в духе тех историй, за которыми все горожане с удовольствием следили по телевизору (когда экраны еще не погасли из-за этого постоянного тумана и программы вроде "Сердца королевы" привносили приятное разнообразие в безмятежную жизнь городка).

Сара и князь, конечно же, тоже пришли на спектакль, но каждый — сам по себе: старый джентльмен, поскольку он не удостоился чести получить приглашение, стоит в глубине зала (и не без любопытства смотрит на сцену), а девочка — сидит рядом с тетей. Праздничное платье, но главное, бесконечные наставления опекунши, опасающейся, как бы племянница его не измяла, угнетают Сару, к тому же она не решается повернуть голову — из боязни повредить прическу, в которую тетушка уложила-таки ее непокорные волосы (прибегнув к таким сильнодействующим средствам, как щипцы для завивки и лак). Вот девочка и сидит не шевелясь и борется с искушением оглянуться — посмотреть, здесь ли ее друг. Но увидев тронный зал, воинов с алебардами и сверкающие огни, она, как и все, отдается радостному ожиданию — и до такой степени забывает о строгих наставлениях тетушки, что по-детски ставит ногу на ногу, пачкая свои красные лакированные туфли (и приходит в себя, лишь когда тетушка несильно, но раздраженно шлепает ее по коленям).

В это время под звуки торжественного марша на сцену выходит королевская чета: ее величие подчеркивается особой манерой держаться и пышностью костюмов. Вообще-то спектакль, как обычно, сводится к простой пантомиме, поскольку заучивание ролей наизусть — дело, превосходящее способности малолетних актеров. Зато жесты и вправду настолько выразительны, что понять их могут даже самые неискушенные

зрители. Кроме того, на роли короля и королевы, которые сейчас в длинных, волочащихся по полу плащах шествуют к трону, приветствуемые отдающими им честь алебардистами, подобрали самых симпатичных ребят. Роль короля играет школьник, признанный самым красивым юношей городка, — крепкий, хорошо сложенный и физически развитый, с обрамленным белокурыми локонами ангелоподобным лицом и небесно-голубыми глазами, в которых нет ни намека на мысль. Ясно, что благодаря этим качествам он всегда пользовался необыкновенным успехом как у девочек, так и у преподавателей, видевших в нем прекрасную иллюстрацию к изречению: "В здоровом теле здоровый дух". Нужно, однако, уточнить, что юноша этот занимает первое место не только по красоте, но и по успехам в таких школьных дисциплинах, как математика, химия и физкультура: его не отягощенный эмоциями интеллект как нельзя лучше соответствует тем преподавательским методам, что господствуют в городке. Вот почему, когда режиссер решил отдать ему роль короля, даже самым завистливым его приятелям нечего было возразить, и они приняли это решение покорно, хотя и не без тайной зависти. Зато среди девочек с самого начала разгорелись ожесточенные споры из-за роли королевы. И вот сейчас счастливая победительница с довольным видом шествует по сцене вместе с "супругом" и, усевшись наконец на трон рядом с ним, окидывает сидящих в партере завистниц победоносным взглядом.

Между тем события развиваются: по знаку "монарха" на сцене появляется новый персонаж, который, бряцая доспехами, опускается перед троном на колени, причем "королевская чета" всячески выражает ему свою благосклонность.

— А это кто? — шепотом спрашивает у тетушки Сара.

— Могла бы потрудиться прочесть программку. Теперь, как всегда, ты ничего не поймешь.

Огорченная девочка пытается сама разобраться, что происходит на сцене, но тут тетушка все же удостаивает ее ответом:

— Это отважный воин, которого Король за его подвиги посвятит в рыцари. Вот видишь? Камергер уже выносит королю шпагу для посвящения.

И действительно, Камергер, выбранный из числа не очень высоких ребят, но облагороженный приклеенной бородой, выступает вперед, держа в руках красную бархатную подушку, на которой лежит шпага. Медленно и торжественно подходит он к Королю и протягивает ему подушку; Рыцарь по-прежнему стоит на коленях, а Королева, совершенно позабыв о своей роли, не отрывает мечтательного взгляда от сидящего рядом с ней красавца.

Так же медленно и торжественно Король поднимается, протягивает руку к шпаге... и издает громкий вопль — звук этот настолько несообразен и так не подобает королю, что сразу становится ясно: кричит не монарх, а мальчик. Он роняет шпагу и подносит руку ко рту. Камергер же заливается смехом: его шуточка удалась на славу, этот ненавистный ему одноклассник с ангельским личиком схватился, ничего не подозревая, за раскаленный эфес и теперь с недоумением показывает публике покрасневшую от ожога ладонь.

Многие Воины тоже откровенно хохочут, алебарды раскачиваются, веселье передается даже части зрителей. Но два человека в первом ря-

ду с возмущением вскакивают — это родители пострадавшего, которые хотят знать, что тут такого смешного и почему никто не помогает бедному мальчику, а виновника не наказывают по заслугам.

— Сколько шума из-за невинной шутки, — замечает кто-то.

— Невинной? Вы называете это невинной шуткой? Хотела бы я посмотреть, как бы вы реагировали, если бы так пошутили с вашим сыном...

— Мой сын — в отличие от вашего, синьора, — сам умеет за себя постоять!

Родители Камергера сперва вроде бы устыдившиеся, теперь не скрывают гордости за своего сыночка и смотрят на него из партера с явным одобрением. Между тем на сцене начинается обмен репликами, не предусмотренными никаким сценарием: Король осыпает Камергера ругательствами, а тот отвечает тем же, Алебардисты с жаром поддерживают кто одного, кто другого; крики почти совсем заглушили музыку, которую никто не догадался выключить.

— Ты это нарочно! — восклицает Король, еще не пришедший в себя от испуга.

— Конечно, нарочно, — спокойно подтверждает Камергер.

— И думаешь, тебе это сойдет с рук?

— А что, Ваше Величество собирается отрубить мне голову?

Король с ожесточением набрасывается на него, что вызывает неоднозначную реакцию в партере.

— Скажите своему сыну, чтобы он не распускал руки! — кричит мать Камергера.

— Еще чего! Я лучше скажу ему, чтобы бил посильнее, пусть как следует проучит этого мерзавца!

— Синьоры, прошу вас... — не очень уверенно вмешивается в скандал чиновник, которому поручено наблюдать за ходом спектакля. Он вообще-то обязан поддерживать порядок, но сейчас не может отвести зачарованного взгляда от зрелища, разворачивающегося на сцене, где два школьника вовсю мутузят друг друга, а Алебардисты так и сыплют оскорблениями. Впрочем, увлекся не он один: уже почти все зрители, покинув свои кресла, толпятся у самой сцены.

"Почему они не опустят занавес?" — думает князь, озираясь по сторонам в поисках Сары. Но девочки нигде нет: он видит только ее тетушку, которая продирается сквозь толпу, позабыв об осторожности и своем вечернем туалете, словно хочет показать племяннице пример, решительно не вяжущийся с теми советами, которые она давала ей раньше.

Чью бы сторону ни приняла тетушка, видно, что она предалась этому со страстью, как и остальные зрители. Перед просцениумом люди ругаются, прокладывают себе дорогу локтями, копируют разнузданное поведение школьников и так бурно выражают свою ярость, что, кажется, ее ничем не унять. Они не приходят в себя даже тогда, когда кто-то зажигает свет и все вдруг могут посмотреть прямо в глаза тем людям, с которыми на протяжении многих лет обменивались улыбками и сердечными приветствиями, как водится у добрых соседей; сейчас их лица до неузнаваемости искажены злобой.

А на сцене Алебардисты уже перешли от словесной перепалки к самой настоящей драке, и ни у кого из них не возникает мысли, что, прежде чем кидаться на противника, следовало бы отбросить оружие — пусть

и не заточенное, но все же опасное. Когда Алебардисты сталкиваются, по залу разносится зловещее лязганье железа; услышав этот звук, зрители, словно откликнувшись на условный сигнал, с криками заполоняют сцену.

Теперь уже совсем не понять, что происходит. Со своего места в сторонке князь видит клубок тел, из которого время от времени выпадают отдельные драчуны: Король и Камергер, конвульсивно вцепившиеся друг в друга, Королева и таскающие ее за волосы подружки, которые, пользуясь случаем, хотят таким образом отплатить счастливице за выпавшую ей удачу; мать пострадавшего Короля, завладевшая алебардой и колотящая без разбору всех, кто подворачивается ей под руку; режиссер, дерущийся непонятно из-за чего с каким-то солидным синьором в вечернем костюме, — и другие участники потасовки, с трудом различимые в лихорадочном пылу сражения.

Некоторое время спустя из мешанины тел выползает на четвереньках мужчина; кое-как спустившись по ступенькам со сцены, он, пошатываясь и прижимая ко лбу платок, пересекает зрительный зал, добирается до задних рядов и там, обессиленный, падает в кресло. Князь, узнавший инженера Y, заботливо склоняется над ним, а тот — вне себя от ярости — разглядывает испачканный кровью платок.

— Как вы себя чувствуете, синьор? Рана серьезная?

— Конечно, серьезная. Естественно! — отвечает инженер сквозь зубы. — Они хотели меня убить, да-да, именно убить! Но я сам их убью, дайте мне только время...

Рассуждение не страдает отсутствием логики, как вынужден признать князь, — хотя логика эта примитивная, отнюдь не подобающая взрослому культурному человеку. Но инженер Y сейчас не кажется ни взрослым, ни культурным: скрежеща зубами, он предвкушает радость мщения, и князю приходится дважды повторить свой вопрос:

— Может, позвать врача?

Инженер, которого так некстати отвлекли от планов кровавой мести, окидывает его презрительным взглядом:

— Тебя-то кто спрашивает, старый дурак? Не лезь не в свое дело!

Опираясь на спинку кресла, он с трудом поднимается, явно намереваясь снова кинуться в драку.

Значит, ничего серьезного, думает князь. В эту минуту он чувствует, как кто-то дергает его за рукав, и, опустив глаза, видит рядом дрожащую Сару. Цветы, украшавшие ее голову, потеряли почти все лепестки, платье утратило свой первоначальный цвет и стало грязно-серым; лицо девочки искажено гримасой страха.

— А-а, — говорит князь, — наконец-то я имею удовольствие тебя лицезреть. Позволь узнать, откуда ты явилась?

— Из-под кресел, — отвечает Сара нетвердым голосом. — Уведи меня отсюда, пожалуйста. Проводи домой.

— Дорогая моя, сейчас ты в безопасности. Главное — держаться подальше от сцены. Не хочешь посмотреть, чем это кончится?

— Нет, не хочу. Все равно все кончится плохо.

Князь смотрит на сцену. Вон школьница — одна из тех, что таскали Королеву за волосы, — лежит, недвижная, на полу; может, она потеряла сознание? Но всем, похоже, не до нее: в пылу борьбы дерущиеся — и подростки, и взрослые — с абсолютным безразличием переступают че-

рез лежащую, а мелькание алебард сулит появление новых жертв, новых раненых...

– Ты права, дело кончится плохо: надо вызвать врача.

– Не нужно вызывать. Думаешь, где он?

– Ты хочешь сказать...

– Он одним из первых поднялся на сцену, но не для того, чтобы лечить руку короля. Вон посмотри, возле той кулисы... Узнаёшь?

– Да, – отвечает князь, – узнаю. И еще я узнаю директора школы и твою учительницу... А тот человек с алебардой, если не ошибаюсь, – чиновник из Дирекции...

– И что ты собираешься делать?

Князь вздыхает.

– Собираюсь отвести тебя домой. Сию минуту. Что мне еще остается?

Он берет Сару за руку и ведет к выходу. Но на пороге оборачивается, чтобы еще раз взглянуть на сцену, где ожесточенная схватка не только не стихает, а даже набирает обороты. Убедившись в этом, князь решительно покидает зал, увлекая за собой девочку.

Выйдя на улицу, они оказываются в туманном мареве. Грохот, вопли, бряцание оружия – эти звуки еще долго сопровождают их по пути домой; очень медленно, постепенно ночь окутывает друзей своей тишиной. И лишь когда замирает последнее эхо битвы, рука Сары в руке князя понемногу перестает дрожать.

XXIII

То, что происходит в городке несколько часов спустя, трудно назвать нормальным кануном Рождества. Для многих вечер завершился вызовом "скорой помощи", что как-то не располагает к праздничному веселью, да и те горожане, которые благополучно вернулись домой, конечно же, не ощущают привычного предрождественского воодушевления. Взрослые, или по крайней мере самые разумные из них, втайне стыдятся, что унизились до подобных крайностей, но стыд не приводит их в чувство, а наоборот, усиливает неприязнь к тем, кто, как они считают, их до этого довел. Подростки же только и ждут случая, чтобы снова сцепиться с "врагами" или отомстить им, а синяки и шишки, пластыри и повязки превращают детские лица в подобия дикарских военных масок...

Как это ни абсурдно в такой ситуации, на следующий день уже с самого раннего утра уличные динамики транслируют ангельски-нежные рождественские песнопения. Все горожане уже проснулись (а многие и не ложились) и теперь с раздражением слушают эту музыку и с таким же раздражением смотрят на сверкающие – уже наряженные – елки. В этом году каждая семья впервые решила поставить елку не в саду, а дома, словно опасаясь нападения соседей или подростков, – а может быть, из-за эгоистического желания держать только для себя это маленькое сокровище, чтобы оно даже случайно не порадовало взгляд чужака.

– Никто не помешает нам наслаждаться Рождеством! – заявляют многие, подразумевая под этим "никто" соседей, превратившихся во врагов. Они включают на полную громкость проигрыватели, оглушая себя музыкой – той же самой, что льется снаружи из динамиков, – или

призывают детей открыть музыкальные шкатулки, на которых миниатюрные дамы, животные или буколические пастушки выделывают танцевальные па. Нужно во что бы то ни стало создать в доме рождественскую атмосферу — назло другим. И — развлекаться, даже если для этого понадобится наградить оплеухами самых упрямых детей, которые еще не отошли от переживаний вчерашнего вечера и позволяют себе в такой день дуться или капризничать.

— Ты что, хуже своих приятелей? Хочешь, чтобы они над тобой смеялись? — наставительно говорит отец или мать, и ребенок энергично трясет головой, силясь казаться веселым.

Но он все же не может забыть о прошлогодних рождественских праздниках, когда в Сочельник все ходили друг к другу в гости, обменивались подарками и добрыми пожеланиями, а сам он после обеда играл в заснеженном саду со своими приятелями. Взрослые тогда говорили только хорошие слова (хотя некоторые мамы, проводив гостей, подвергали их подарки беспощадной критике), а темная густая ель, украшенная гирляндами и шарами, стояла в самом центре газона, и вокруг нее можно было водить хороводы.

В этом же году никто не осмеливается выйти из дома, да и небо не послало им ни единой снежинки. На пустынных улицах организованная Дирекцией иллюминация едва пробивает слои тумана, сияя каким-то призрачным светом. Засевшие по домам горожане продолжают пережевывать события вчерашнего вечера: кто-то намеревается подать в суд на своего обидчика, кто-то встревоженно осматривает полученные раны и ссадины. И чем больше они стараются не думать ни о чем плохом, чтобы не испортить сегодняшний праздник, тем упорнее и неотступнее преследуют их воспоминания. Настольные игры, приготовление ужина, заботы о том, чтобы дети не отыскали подарки раньше времени, — всем этим взрослые занимаются с небывалой рассеянностью и в состоянии неотвязной тревоги, которая иногда разряжается проклятьем, тихой угрозой, злобным взглядом в сторону зарешеченных окон соседей.

И князю, сидящему в своем убежище, с трудом верится, что в самом деле наступило Рождество, хотя Сара заранее украсила павильон ветками омелы и бумажными гирляндами, а еще развесила на голых ветвях ближайших деревьев разноцветные шары, тайком снятые с большой домашней елки. Лишь ближе к вечеру девочке удается ненадолго улизнуть, нарушив разработанную тетушкой четкую праздничную программу, и навестить своего друга.

— Я принесла тебе кусок торта, — радостно говорит она. — И очень большой, потому что сегодня у тети пропал аппетит.

— Я отдам ему должное, можешь не сомневаться. Надеюсь, что с твоей милой родственницей не приключилось вчера ничего серьезного.

— Она не ранена, если ты это имеешь в виду: только платье ей немножко порвали. Но с тех пор она в очень плохом настроении. Когда я с ней заговариваю, она велит мне молчать, так как у нее болит голова, а когда я смотрю на нее, она спрашивает, почему смотрю... В общем, по-моему, она не выносит моего присутствия, — и тем не менее ее пришлось упрашивать, чтобы она меня отпустила.

— Понятно, — замечает князь с улыбкой. — На Рождество вся семья должна быть в сборе.

Сара печально глядит на него.

— Семья... Знаешь, иногда я думаю, что никакой семьи у меня нет. Разве что...

— Прости, дорогая, что перебиваю тебя, но мне действительно хочется посмотреть, какой ты принесла торт. Может, поделим его? Где-то у меня еще оставался фруктовый сок.

И пока князь спешно накрывает праздничный стол, откупоривает две бутылочки сока, предусмотрительно им припасенные, Сара разворачивает фольгу, в которую она завернула кусок торта со взбитыми сливками и вишенками. Правда, украшение немного помялось по пути — сливки прилипли к фольге, а вишенки вдавились в тесто, но девочку это не очень беспокоит: она хорошо знает, что князь, как бы он ни был привержен "высокому стилю", во всем, что касается пищи, предпочитает не форму, а содержание. "Содержание" же, надо сказать, в данном случае поистине замечательное, в чем они не устают заверять друг друга, отправляя в рот кусок за куском.

— Да, дорогая моя подружка, у твоей тетушки, может быть, и много недостатков, но кулинарка она отменная. Я бы передал ей свои комплименты, если бы мог надеяться, что они придутся ей по душе.

— Боюсь, с этим ничего не получится. Ведь для того, чтобы передать ей твои комплименты, я должна буду признаться, что украла торт.

— Что совершенно недопустимо, я понимаю. Ладно, ничего не поделаешь. Придется восхищаться им втайне. А теперь, если не возражаешь, я тоже хотел бы преподнести тебе подарок.

— Подарок?

— Не жди чего-то особенного. В данный момент мои финансовые возможности совсем невелики, и если ты рассчитываешь на диадему или букет орхидей, то тебя ждет глубокое разочарование.

— Не беспокойся, орхидеи мне никогда не нравились.

— Тем лучше. Но все же это подарок: пусть скромный, зато от души — и, как ты сейчас убедишься, не лишенный изящества.

С этими словами князь достает с полки маленький нескладный пакетик, кое-как перевязанный цветной тесемкой, и протягивает его девочке, не скрывая своего удовольствия.

— И правда, он элегантный. Очень интересно, что там внутри!

— В таком случае тебе остается только посмотреть.

Сара послушно разрывает бумагу, и в руках у нее оказывается деревянная резная фигурка, отдаленно напоминающая какое-то животное.

— Ты это сам сделал?

— Знала бы ты, какого труда это мне стоило! Я такой неопытный резчик.

— Какой ты молодец, — говорит Сара, вертя деревяшку в пальцах, — только я не понимаю, что это за животное.

— Вот и хорошо, дорогая: ты можешь увидеть в нем то, что тебе больше нравится.

— Оно может быть собакой.

— Несомненно. Или даже слоном, а то и жирафом...

— Для жирафа у него коротковата шея, — задумчиво возражает Сара, вглядываясь в деревяшку, и наконец говорит: — Знаешь что? По-моему, это ягненок.

— Уверяю тебя, о ягненке я вовсе не думал, — отвечает взволнованный князь.

– А похож.

– Ну, если ты так считаешь... В сущности, ягненок хорошее животное – кроткое такое.

Сара серьезно смотрит на него.

– Да, я его не боюсь. И никогда не боялась.

– Ягненок... Кто бы мог подумать? И все же, если вглядеться как следует, то, пожалуй, никем другим оно и не может быть.

– Это теперь мой талисман, – говорит девочка, поглаживая деревяшку пальцем, – и он всегда будет со мной. Но ведь и тебе тоже нужен талисман...

Князь пожимает плечами.

– Это было бы совсем по пословице: зачем запирать хлев после того, как скотина убежала? К тому же талисман у меня уже есть. Прекрасный талисман – в виде живой девочки.

– Но теперь, – смеясь говорит Сара, – мне пора идти: нельзя опаздывать на праздничный ужин.

– Праздничный ужин! Знала бы ты, какие сладостные воспоминания пробуждают во мне эти слова...

– Если ты постучишься в мое окно после полуночи, я, может, дам тебе жареного мяса.

– Постучусь обязательно, – заверяет ее князь с легким поклоном. – И ты покажешь мне свои подарки?

– Покажу, если хочешь. Но самый главный подарок я, кажется, уже получила.

Сара аккуратно заворачивает ягненка в бумагу, засовывает его в карман и прощается с другом, решительно отказавшись от его предложения проводить ее домой.

– Не беспокойся, это же совсем близко.

– Пусть так, но ведь уже стемнело.

– Да, стемнело, но все аллеи освещены. К тому же ягненок защитит меня лучше, чем ты.

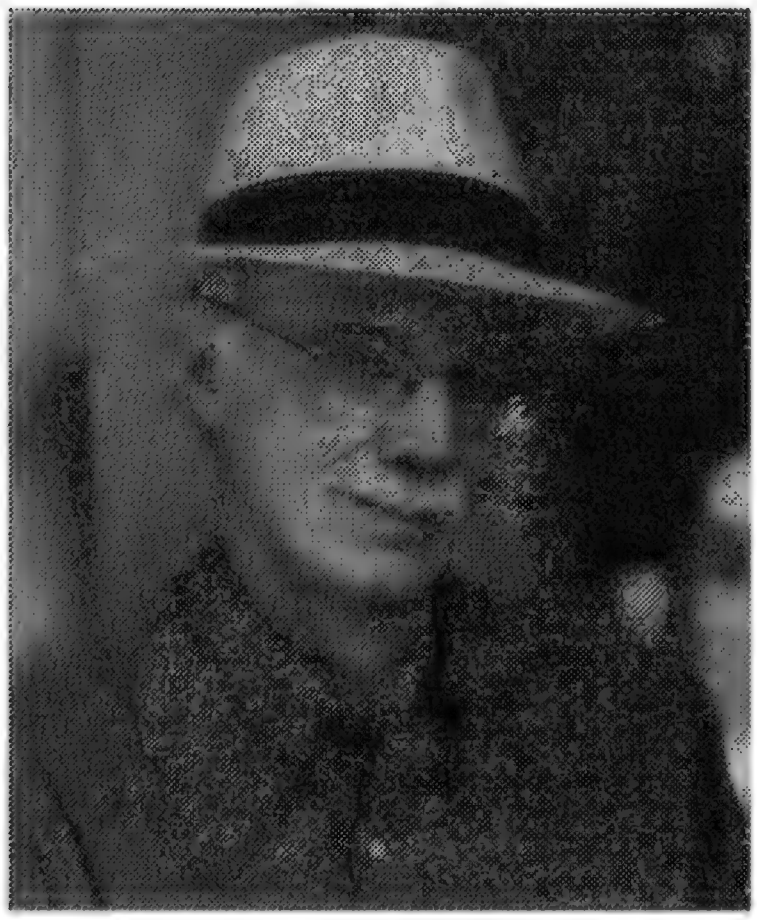
– Возможно.

Князь останавливается на пороге и смотрит вслед девочке. Через несколько мгновений ее уже не видно, и князь, вернувшись в павильон, закрывает за собой дверь.

– Ягненок... Почему именно ягненок? – бормочет он, качая головой. – Эта девочка... Иногда она меня просто пугает.

Окончание в следующем номере

Стивен Миллхаузер



Король среди ветвей

Повесть

Перевод с английского Сергея Ильина

КОРОЛЕВА – потаскуха, отрезать ей нос. Королева распутничает – сжечь ее. Вот такие интересные замечания можно услышать при дворе от тех, кому не по душе молодая супруга Короля. Правда, другие говорят о редкостной красоте Королевы, разумея при этом, что она преступна и ее хорошо бы повесить. Я же считаю, что юная Королева прекрасна и что за нею надлежит неотрывно приглядывать.

Я, Томас Корнуэльский, верный советник счастливого некогда Короля.

Король – мужчина, полный сил; лицом приятен, плечист, мускулист и выглядит для своих сорока четырех молодо. Гладкий лоб, большие темные глаза. Сильные руки, не раз доказавшие умение управиться и с конем, и с мечом, с замечательно длинными пальцами, внушающими мысль об изяществе, даже изысканности, хоть мне и довелось однажды увидеть, как Король одним ударом кулака сломал человеку ключицу. Когда он, в подшитой горностаевым мехом малиновой мантии, выступает пообок Королевы, вид силы, соединившейся с красотой, ласкает взгляд.

В Короле нет ничего достойного осмеяния.

Я заметил в нем одну перемену. До женитьбы на королеве Изольде Король прекрасно владел своим лицом: всякий, кто вглядывался в него, ничего не мог различить за гладким челом, широким простором щек, спокойным ртом и ясными, умными глазами. Ныне же в этом столь на-

© 2003 by Steven Millhauser
© Сергей Ильин. Перевод, 2006

ми любимом лике проступают обожание, подозрительность, ревность, желание, внезапное сомнение.

Дамы двора непрестанно говорят о любви.

Любовь, твердят они, облагораживает сердце и возвышает душу. Любовь — это божественный дар, позволяющий нам войти в Рай Земной, из коего мы были изгнаны по причине низменности нашей природы и каковой есть верный оттиск и отражение Царства Небесного. Я слышал, как супруга одного барона распространялась однажды летним днем о том, что любовь — это очистительное пламя, пылающее лишь в возвышенных сердцах, и видел ту же самую баронессу, когда она, задрав выше талии юбку, подпирала в ночной темноте стену амбара, меж тем как галантный любовник ее, похрюкивая, точно боров, расточал ей знаки нежного внимания. Любовь, доводилось мне слышать от придворных дам, — не договор, крепимый жестокой властью закона, но вид духовного согласия, никем не навязываемого. Под этим они разумеют, что любовь возможна только вне супружества. Это те самые дамы, кои шепчутся насчет Королевы, провожают ее взглядами злобного порицания, сплетничают о племяннике Короля и ласково улыбаются своим мужьям, отдавая всякую минуту бодрствования приготовлению укромных свиданий с молодыми, полными жизненных соков любовниками.

Дамы двора весьма хороши собой.

Непосредственный источник придворных сплетен — Освин, сенешаль Короля. Это он первым донес Королю о взглядах, коими обмениваются Королева и королевский племянник. Сенешаль — верный слуга короны, искусный во всем, что касается управления хозяйством, скрупулезный в отчетах, точный в речах, гордый, придирчивый, скрытный, до смешного благопристойный. Он неравнодушен к богатым, отороченным белым мехом плащам, перстням с самоцветными камнями, золотым чашам. Слабостей у него две. Будучи сыном простого горожанина, возвысившимся при дворе благодаря дарованиям, неустанным трудам и неколебимой воле, он точит зуб на каждого, кто богат и высокороден. И посему склонен чрезмерно переоценивать немалые свои достижения и усматривать пренебрежительность во взглядах, бросаемых на него любым из баронов. Вторая же слабость Освина проистекает из его непривлекательной внешности. Освин мужчина далеко не уродливый, однако черты его оставляют впечатление малоприятное: глаза малы и холодны, нос выдается вперед, один из передних зубов вырос под каким-то нелепым углом. Госпожа Фортуна, полагает Освин, обошлась с ним нечестно, одарив между тем дураков земельными угодьями, наследственными титулами и ровными зубами. Вожделение, кое питает он к высокородным дамам, — по всему судя, ненасытимое, — весьма отталкивающе. И никакие успехи удоволить сенешаля неспособны.

Освин провожает Королеву взглядами, в коих нет места жалости. Похоть видна на его лице так ясно, как ножевая рана.

Легко решить, будто донос, сделанный Освином Королю, порожден оскорбленной гордыней и неутоленным желанием. Когда Королева улыбается сенешалю, ее серые, немного печальные глаза не видят его, обычно же она и вовсе проходит мимо Освина, на него не взглянув. Такая его незримость, пугающая прозрачность должны уязвлять сенешаля

сверх всякой меры. И все же это объяснение, при всей разумности его, справедливо лишь до определенной точки. Вынося суждение касательно мотивов человека, подобного нашему сенешалю, не следует забывать и о его преданности короне; в послушании Освина сомнений никто никогда не питал. Докладывать Королю о любых признаках непорядка в доме, о любых поступках, не приличествующих супруге его или вассалу, — прямая обязанность Освина. И в этом смысле злобный донос его есть похвальное деяние преданного хозяину челядинца. Верно, впрочем, и то, что Освин всегда завидовал без меры любимому Королем племяннику.

Да и не может никто отрицать, что молодая Королева и Тристан находят удовольствие в обществе друг друга.

Красота Королевы поразительна, однако описать ее непросто. Изысканные веки, безупречные щечки, несравненные губы той или иной придворной дамы превосходят каждую из взятых по отдельности черт Изольды, и все-таки, соединяясь, они создают красу, равной которой нет при дворе. Гармония ли этих черт столь обольстительна? Думаю, тайна ее красоты кроется в ином. Королеве, как и всякой прекрасной женщине, присуща отчужденность, холодок совершенства, какие усматриваешь в драгоценном камне или серебряном кубке. Подобная красота держит нас на расстоянии, остужает, а говоря по чести, немного отпугивает. В этом смысле можно было б сказать, что высшее выражение красоты есть не что иное, как редкостная, загадочная форма уродства. Однако холодность королевиной красы превозмогает иная мощь — мощь несовершенства, неуправляемости. Ее светлые заплетенные волосы, лишь намек на которые проступает на висках Королевы, там, где плат соединяется с чепцом, отливают такой золотистостью и уложены столь бесподобно, словно их выковал ударами молоточка золотых дел мастер, и все же то там, то здесь пробивается наружу непокорная прядь и мерцает под солнцем. Вот эти-то пряди и надрывают нам сердце. Губы ее совершенны по форме, но, когда она улыбается, один уголок рта изгибается кверху раньше другого. Внешний краешек левого века приспущен чуть ниже правого. Точеные ноздри, изваянные тонким резцом того же мастера, что покрыл двери нашего собора сценами Ветхого Завета, не в точности отвечают друг дружке. Когда же Королева смеется, пусть и негромко, в глазах и на щеках ее проступает вдруг нечто такое, чего не было прежде, — нечто, прорывающееся наружу, подобно сокрушительной силе.

Секрет королевиной красоты кроется в том, что ее подрывает.

Стоит ли удивляться, что злословие и клеветы соединили Тристана с Королевой? Оба они источают свет молодости, обезоруживая своею красой. Когда Король, Королева и Тристан выступают бок о бок, взгляды невольно соединяют юную Королеву с Тристаном, жестоко отделяя их от Короля. Верно и то, что Король официально просил Тристана любить и оберегать Королеву; когда Король совещается в главной зале с советниками или скачет за гончими в королевском лесу, она неизменно остается с Тристаном. Вдвоем прохаживаются они по саду Королевы или между деревьями вертограда, совершают верховые прогулки по лесу или беседуют в женских покоях над королевской опочивальней. И

все это порождает злостные сплетни. Королева всегда при деле, говорят придворные дамы: ночью у нее один муж, днем другой. Им не дано понять, что именно любовь Короля к Тристану понудила его отдать возлюбленную Изольду под защиту племянника. Или они предпочли бы оставить ее открытой домогательствам сенешаля?

Тристан — человек чести. Он готов положить за Короля жизнь. Изольда выступает с ним рядом, опустив взор. Пряди светлых волос ее перенимают сияние солнца.

Слишком много времени проводят они вдвоем. Не нравятся мне все эти слухи.

Нынче утром Король призвал меня в свой личный покой, что в северо-западной башне. Король одиноко сидел за шахматной доской, разложенной на маленьком столике. Он махнул рукой, предлагая мне сесть напротив, и, подумав, двинул на два квадрата вперед белую королевскую пешку. Длинные пальцы его помедлили, поглаживая искусно вырезанные на одеянии суроволикой пешки складки, прежде чем отпустить ее; из девяти наборов фигур этот, резанный из моржовых клыков, Король любит больше прочих. Я двинул в ответ мою черную королевскую пешку. Он тут же подвинул на два квадрата свою ферзевую, предлагая мне жертву. И в этот миг в глазах Короля проступило странное выражение — он поднял руку, удерживая меня от хода.

— Ну, Томас, — произнес он, — будь ты королем Корнуэлла, какого бы хода ты ожидал?

— Будь я королем Корнуэлла, господин мой, я ожидал бы одного из трех ходов: взятия пешки, выхода моего королевского коня на клетку перед слоном или продвижения моей ферзевой пешки.

Король, хорошо играющий в шахматы, внимательно выслушал этот ничем не примечательный ответ. Он опустил взгляд на троицу пешек и снова поднял его на меня:

— Я не забыл того, что ты сказал мне в тот день в саду.

Привязанность Короля к воспоминаниям, которой я вряд ли вправе ждать от него, всегда меня трогает. Ему — Принцу в отцовском замке — было тогда двенадцать. А мне двадцать — молодой человек, посвященный в рыцари, прошедший хорошую выучку в дядином замке и призванный обучить Принца владению мечом и диалектике. Мы часто играли с ним в шахматы в саду его матери, в беседке под сенью лип. И он любил вспоминать за шахматами ту давнюю историю.

— Ты указал мне на три пешки и сказал: "В них кроется последний ход всей партии — если бы только мы могли его различить".

— Мы и могли бы его различить, но при двух условиях: если бы нам удавалось всегда точно предвидеть ход противника и если бы каждый наш ход неизменно был безошибочным.

Король оттолкнул свое кресло назад и встал. Я тоже сразу поднялся на ноги. Партия завершилась. Он приблизился к окну, выходящему на плодовый сад и на лес, глянул без особого интереса вниз и отошел к гобелену, изображающему окровавленного оленя в окружении серебристых борзых.

— Как по-твоему, Королева несчастлива? — спросил он.

— Она выглядит очень довольной, господин мой.

— А, — отозвался он нетерпеливо. — Знаешь, Томас, я иногда думаю — молодая женщина, оказавшаяся при чужеземном дворе, в окружении чужих людей... Наверное, ей приходится нелегко! Я хочу, чтобы ты приглядел за ней. И дал бы мне знать, если ей будет... не по себе.

— Хорошо, господин мой.

— Я знаю, что могу на тебя положиться, Томас, — он повел рукой в сторону окна. — Взгляни! Хороший денек для охоты с соколом.

Сейчас уже ночь, а меня все давит странное чувство, и никак мне его не избыть. Смысл нашего разговора слишком мне ясен: Король желает, чтобы я следил за его супругой. Он сам не свой с тех пор, как сенешаль накляузничал ему.

Я бы и не заподозрил ничего в том, что Королева водит дружбу с Тристаном, которого сам Король попросил оберегать ее, — если бы не взгляды, которыми они порою обмениваются. Да и взгляды эти легко истолковать как совершенно семейственные, ведь сам Король приказал им любить друг дружку. Возможно, они и любят друг дружку, как брат с сестрой, — Королева, попавшая в чужую страну, Тристан, лишившийся матери и отца? Благоговение перед мужем требует же, чтобы она почитала и его племянника. А Освин твердит, будто Изольда отдается Тристану в каждой кровати замка, на каждой из лестниц его, за стволом каждого дерева.

Ох, боюсь, что-нибудь да случится.

При дворе довольно людей, которые только порадовались бы, если б Тристан впал в немилость. Он всегда привлекал к себе ярых сторонников, особенно из числа рыцарей помоложе, однако чрезмерная любовь Короля к племяннику породила и тайных завистников. Кое-кто из баронов побаивается его воинской удали, кое-кому не дает покоя привязанность к нему Короля, кого-то еще возмущает, что Король так долго отказывался вступить в брак, желая оставить королевство племяннику. Разумеется, хватает и других, тех, кто готов к пылкой дружбе с Тристаном. Но и их порою одолевает, в самом средоточии преданности ему, потаенная усталость, какую ощущаешь в зашейке, слишком долго пролюбовавшись на великолепную башню.

Я не хочу сказать, будто Тристана не любят. Даже завистники и те, кто обижен, признают его отвагу, бесстрашие, чувство чести, любовь к товарищам. Рассказывают, как Тристан однажды, охотясь в королевском лесу, выехал к ручью. Спутники его опустились на колени, чтобы напиться, а между тем слуга Тристана протянул молодому своему господину единственную взятую им с собой, чтобы утолить жажду хозяина, бутылку вина. Тристан же, приняв бутылку, высоко поднял ее, воскликнул: "*Вот так* я пью!" — и вылил вино в поток, дабы разделить его со всеми.

Любовь Короля к Тристану столь глубока, что походит на любовь человека к собственной жизни.

Освин Гордец, Освин Похотливец — не единственный, кто сеет при дворе смуту. Его нередко видят в презренном обществе Модора. Из трех дворцовых карликов один только Модор обладает влиянием. Модор — надменный маленький уродец, тиран, хвастун, раболепный, мстительный, кичливый комок злорадства. Других карликов он жесто-

ко третирует, гоняет их по пустячным поручениям, унижает перед гогочущими баронами. Грубое лицо его напоминает мне стиснутый кулак. Единственная страсть Модора – интрига. Бароны над ним потешаются, однако чувствуют себя в его обществе неуютно – многие верят, что он владеет искусством отравителя. Он клянется в приязни к Тристану, не скрывая, однако, мнения своего о том, что Король чрезмерно любит племянника; он ищет расположения Королевы, одновременно распуская сплетни о ней; верная служба Королю не мешает ему нашептывать приверженцам Тристана, что Король, женившись на Изольде Ирландской, лишил племянника обещанного наследства. Он предает всех и всем отвратителен. Почему же его присутствие терпят? Более чем терпят: многие старательно ищут общества Модора. В том ли тут дело, что праздный двор, наскучив привычными удовольствиями, желает развлечься гротеском? Или причина глубже? Модор – квинтэссенция всего низкого и уродливого, что можно сыскать в душе придворного. Увидеть его – значит ощутить трепет узнавания, возникающий, когда нечто сокровенное выходит на свет, а следом – немедля – ощутить свое нравственное превосходство.

Когда я вижу Освина и Модора, стоящих там, где изгибается, образуя угол, сложенная из песчаника стена, или идущих бок о бок по тропе на опушке леса, меня, должен признаться, охватывает благодарность Творцу, который в мудрости и благодати божественного замысла Своего устроил все так, что конец жизни становится и началом расплаты за нее, – и содеял смерть неизбежной.

Кое-что случилось – пугающее и неожиданное, – чего я понять не в силах. Ночь уже поздняя, я сижу за столом, сжимая в дрожащих пальцах гусиное перо. Нужно справиться с собой и успокоиться. Успокойся, Томас! Пиши, это тебе поможет.

Есть у меня такое обыкновение – выйти перед тем, как улечься на ночь, из крепости через потерну и прогуляться по плодовому саду. Ряды деревьев – айвы и груш, вишен и слив, яблонь и персиков – выстроились за замковой стеной на многих акрах. Там и сям расчищенные пути, достаточно широкие, чтобы в пору сбора урожая по ним проходили телеги, тянутся до самого палисада из острых кольев, окружающего виноград, отделяя его от парка. За этим частоколом течет река, она здесь не шире ручья, а на другом ее берегу возвышается еще один частокол, помечающий границу королевского леса. Теплой летней ночью, при полной луне, приятно сойти с дорожки и пройтись между деревьями сада. Здесь, вдали от голосов замка, среди черной листвы и белого лунного света, молчание мира нарушают лишь крик совы, мышиный шорох в траве да дальний лай борзой на замковом дворе, и душу твою переполняет покой.

Нынче ночью я забрел дальше обычного – шел, не разбирая тележных путей, огибая стволы, пересекая ручьи, выходя на открытые, еще не засаженные места и снова ныряя под ветви, – беспокойство томило меня, я хотел устать посильнее, чтобы после сразу заснуть. Надо мной синело и светилось ночное небо, похожее на темно-синий кусок витражного стекла, вставленный в окно церкви, за которым блистает солнце. Я дошел до участка сада невдалеке от частокола и вдруг приметил какое-то движение в темноте и услышал звуки шагов. Я остановился,

положил ладонь на рукоять меча и хотел уж окликнуть идущих, но тут увидел между деревьями две их фигуры.

Я сразу понял, что это Тристан с Королевой. Они шагали так медленно, что почти и не продвигались, и, казалось, слегка приникали друг к дружке. Руки обоих были прижаты к бокам, лица повернуты одно к другому, его пуще, чем ее. Тени ветвей рябили их лица и спины. Мантию Королевы, влачившуюся по земле, украшали серебряные лунные серпики. Волосы покрывал простой чепец, стянутый на висках золотым ободком. Время от времени они выступали из перелива теней под внезапный свет луны, а там тьма вновь поглощала обоих. Наблюдая за этой медленной, точно во сне, прогулкой средь безмолвия лунной ночи, я словно бы позабыл, что стал свидетелем изменнического, наказуемого смертью деяния, и чувствовал... впрочем, мне трудно точно сказать, что же я чувствовал. Да, я чувствовал, что вижу нечто, присущее ночи — эманацию ночи, подобную неспешному падению лунного света на листья и ветви. В ней присутствовало что-то древнее, более древнее, чем супружество, чем рыцарство, что-то, принадлежащее только ночному мраку. А потом я будто ощутил исходящую от этих почти и не дышащих теней восторженную нежность, исступление ночи, разрастание самого существа каждого из них — как если бы темное небо могло в любой миг расколоться и излить ослепительный свет; и я отвернулся — там, на моем посту соглядатая, — словно ко мне обратились с укором.

Когда влюбленные удалились настолько, что уже не могли услышать меня, я тихо повернулся и направился к замку.

Забыл упомянуть об одной подробности. При первом взгляде на эту чету я, повинуясь инстинкту старого воина, схватился за рукоять меча. А когда наконец поворотился, чтобы уйти, обнаружил, что ладонь моя так и лежит на рукояти — пальцы стиснуты, вены вздуты, и мышцы ноют, словно я только что вложил после сечи меч в ножны.

Кричат петухи, спал я совсем немного. Хорошо, когда в голове твоей скачут мысли, пройтись ранним утром по двору замка. В полусвете зари конюхи чистили стойла. Куры и петухи важно прохаживались вокруг. Слуга выливал в помойную яму ночной горшок. Другой, тащивший охапку тростника, чтобы устлать им полы главной залы, поднялся по внешней лестнице от основания центральной башни и скрылся в арочном проходе. Большерукая прачка замачивала в большом деревянном корыте простыни и скатерти, которые она после отколотит и вывесит сохнуть под утренним солнышком. За дверью кузницы различался кузнец, осматривавший поломанную тележную ось. Я недолго помедлил у кречатни, вглядываясь сквозь оконце в соколов на насестах, в длиннокрылых сапсанов и кречетов, в короткокрылых больших ястребов и перепелятников. Потом миновал колодец с воротом и бадьей; куры, хлопая крыльями, вспархивали на его каменную закраину. На псарнях кормили борзых, у прохода на кухню стояли один на другом бочонки с живыми цыплятами, перед дверью амбара возвышались кипы сладко пахнущего сена, а на высокой стене рисовались в сереньком небе дозорные с арбалетами, сменявшие ночную стражу.

После полудня я повидался с Королем, но ничего ему не сказал. Он ждал от меня определенных слов, однако я говорил о другом. И сам осуждал

себя за молчание, чреватое изменой Короне. Язык мой связало не сомнение насчет того, обязан ли я все рассказать, но мысль, что если я все расскажу, то стану повинным в неверности Королеве, которая мне не нравится, и Тристану, которого я люблю далеко не так, как Короля.

Долг мой ясен. Ясен ли мой долг? Доказательств прелюбодеяния у меня нет. Тристан — защитник Королевы, он часто остается с нею наедине. Король с самого начала потворствовал их близости и множество раз восхвалял Тристана за его внимание к Королеве. И что я знаю? Что Тристан с Королевой поздней ночью прогуливались по плодовому саду. Стоит ли, не подумав, сообщать об этом ревнивому, полному подозрений Королю, да еще при нынешних-то злословии и сплетнях? Одно мое слово, слово доверенного советника и наперсника Короля, весит гораздо больше злобной болтовни дураков. Возможно также, хоть вероятия тут и мало, что для той ночной прогулки существовали причины, которые, будучи понятыми, прольют на все новый свет. Я не видел ни поцелуя, ни даже объятия — они лишь держались за руки, точно дети. Может статься, необычный час, мой взбудораженный ум, чары лунного света, не в меру усердное воображение, простительное, но до крайности недостоверное ощущение близкой беды, соединясь, заставили мою душу проникнуться в ту ночь тревожными чувствами. Мне следует тщательно наблюдать за ними и собрать свидетельства более основательные, прежде чем отправляться с докладом к Королю.

Двор охвачен безумием приготовлений, отвлекших внимание от Королевы. Через неделю на наших берегах высадится граф Тулузский с двумястами — примерно — людьми свиты, все они проживут у нас несколько дней перед тем, как направиться в Лондон. Освин горько сетует на нехватку места в конюшнях, на то, что гости подъедят наших свиней, баранов и каплунов, убьют нашего оленя, совратят наших женщин и разорят казну; послушать его, так нас ожидает нашествие саранчи. Король смеется и приказывает ему не скупиться. На юго-западном поле за стенами замка уже возводят новые конюшни. Чистятся спальни, разбиваются шатры, коней отдраивают скребницами, стены завешивают шелками. Телеги с сеном и зерном стекаются к нам от окрестных поселян. Все только и говорят, что о празднествах, играх и всякого рода потехах. Король целыми днями охотится; Тристан навещает женские покои или прохаживается с Королевой и ее служанкой по королевину саду. Из высоких окон выглядывают в ожидании дамы, стараясь уловить на горизонте первые знаки движения.

Может быть, я ошибся? Они гуляют вдвоем, как лучшие друзья. В суматохе приготовлений никто о них не говорит. Лишь время от времени, выйдя из-за угла конюшен или из затененного арочного прохода, я вижу сенешаля, глядящего им вслед, когда они вступают в башню, одна из дверей которой ведет в сад Королевы.

Люди из Тулузы только и знают де́ла, что петь, танцевать да играть с утренней зари и до полуночи. Смех доносится из каждого шатра, с каждого лестничного марша. Может, они принадлежат к народу детей, эти рыцари и благородные господа из Тулузы? Нет, сказать по правде, ниче-

го детского в них не усматривается: они — из народа, который ставит утехи полнокровной молодости превыше всего. Это видно по их модам, играм и забавам. Их менестрели воспевают любовь — и только любовь. Никогда не поют они о битвах, павших героях, бедствиях и разрушениях. Эти певцы словно и не ведают ничего о нашем суровом мире с его горькими горестями и печалями; для них существует лишь молодость, зефиры да зеленые почки мая. Графу пятьдесят, неестественно светлые волосы его отпущены до плеч. Говорят, что он музыкант и ученый, поэт, искусный игрок в шахматы, смелый, прекрасно владеющий мечом боец, любитель охоты, никогда не путешествующий без своих ловчих птиц. Он подарил Королю серебряный кувшин в виде конного рыцаря; когда кувшин наполняешь водой и наклоняешь, она льется из конской пасти. Граф и Король проводят часы, склоняясь над шахматной доской или гуляя по королевскому саду. Сегодня они в большой компании охотились в лесу. Общество Графа идет Королю на пользу, отвлекая его от ревнивых мыслей.

Прошлой ночью графский менестрель пел в главной зале, сидя на скамеечке и играя на арфе. Песни были все сплошь любовные, написанные самим Графом. Потом менестрель Короля, опустившись на подушку и наигрывая на виеле, спел о приключениях Рейнара Лиса и Изенгрима Волка, и ему много хлопали. А сразу за тем, когда певец поднялся, уступая место жонглеру ножами, произошло нечто странное. В залу вступил незнакомец, одетый пилигримом — широкополая шляпа, плащ с капюшоном, ясеневый посох в руке и арфа за спиной. Вшитые в плащ морские раковины указывали, что владелец его побывал в дальних странах; пилигрим был бос. Приблизясь к Графу, он испросил разрешения спеть двору песню. Граф, к недоумению Короля, рассмеялся и попросил пилигрима потешить, если ему то по силам, общество. Вслед за тем незнакомец снял со спины арфу и заиграл печальную песню — да с таким превосходным искусством, что все слушали его в безмолвном изумлении. Когда он закончил игру, все с силой захлопали в ладоши, Граф же, явно растроганный, сказал, что никогда еще не слышал подобной игры, и спросил незнакомца, где тот выучился столь отменно играть. "В стране Лион", — ответил пилигрим и немедля сбросил свой бедный плащ, под которым оказалось у него пурпурное платье с серебряными отворотами на рукавах, украшенными золотыми львами, и снял шляпу пилигрима, явив всем — Тристана. Много тут было шума и радости, ибо эти люди из Тулузы ничего так не любят, как душу смелую и веселую.

С последней моей записи прошли лишь два дня, а как все переменилось. Случилось несчастье. Граф и его свита уехали нынче на заре. Дух проказ и веселья уничтожен, к братской теплоте отношений Графа и Короля примешался холодок. Королева отказывается покидать свой покой, Король расхаживает по саду в одиночестве, Модор сидит в тюремной башне. Винить должно отчасти и меня, поскольку я чуял беду, но не сумел предугадать, откуда та на нас свалится.

Мысль о мимах исходила, кажется, от Графа, хоть я и не могу поверить, что Модор не направлял его с самого начала. Да оно и не важно. Любовь Графа к удовольствиям, присущая ему жажда забав, детское упоение сюрпризами, готовность выслушать любое предложение — все это не могло не составить соблазна для Модора с его острым чутьем, и при-

страстием к махинациям, и помыслами, направленными лишь на одно — продвижение к собственным целям. А два графских карлика снабдили его и средством. То были карлики-шуты, каких часто видишь в свитах великих вельмож, карлики, лишенные гордости и достоинства, безропотно принимающие свою низкую участь — служить игрушками тем, кто сильнее их. Имена оба носили пренелепые — Роланд и Вирсавия. Они были мужем и женой, искусными в пустяковых забавах вроде жонглерства, всякого рода кувырков да мимических представлений. Для него была специально сработана маленькая арфа, для нее — колокольца. Модор таких карликов всегда на дух не переносил; с этими же быстро сдружился. Представление назначили на вечерний час, когда Король и Граф, вернувшись с охоты, отужинают.

Для сцены соорудили помост, вокруг расставили кресла для Короля, Королевы, Графа и высоких вельмож обоих дворов; прочие расселись по скамьям в глубине зала. Сальные свечи в железных канделябрах освещали сцену, голую, если не считать единственной скамеечки с лежавшей на ней изумрудно-зеленой шелковой подушкой. При появлении Модора поднялись ахи да шепотки. Не знающая меры дерзость его изумила меня. Он был одет в блестящую малиновую мантию, отороченную горностаевым мехом, — безошибочно узнаваемое облачение Короля. На голове красовалась корона из золоченой бумаги. Со смехотворной величавостью он приблизился к скамеечке и уселся на сей трон, скрестив на груди руки. Тут появились Роланд и Вирсавия. Он — в расшитой самоцветными каменьями мантии Тристана; с плеч Вирсавии свисала усеянная лунными серпами мантия Королевы. Волосы ее, лишь частью укрытые чепцом, были выкрашены в кричащую, отблескивающую желтизну — желтизну горького смеха. Малютка Тристан подвел маленькую Изольду к королю Модору, и тот, взяв ее за руку, вытаращился на карлицу с придурковатым обожанием. Когда же Тристан пошел прочь, она повернулась и, глядя ему в спину, простерла руку в жесте томления. Но вот карлик-Король и карлица-Королева покидают сцену, и на ней возникает пробирающийся между невидимых древес карлик-Тристан. Он останавливается, прикладывает к уху ладонь. Появляется Изольда. Страстное объятие. Позади меня Король резко втянул ртом воздух. На сцену выходит, по-прежнему в короне, король Модор. Он видит любовников и сбрасывает мантию, на нем белая с золотом накидка поверх кольчуги. Он обнажает меч. Появляются двое карликов-слуг и поспешно облачают его для схватки: надевают на руки кольчужные латные рукавицы, скрепляют кольчужные поножи, стягивают шнуровку шлема, вручают щит. Изольда-Вирсавия беззвучно вскрикивает, прижимает к щекам ладони и убегает. Карликовый Тристан также сбрасывает мантию: на нем ажурная накидка поверх мерцающего кольчатого доспеха. Отблески свечей играют на покрывающих его руки сцепленных железных кольцах. Карлики-Слуги одевают и его.

Схватка на мечах между Модором и Роландом была разыграна превосходно. Короткие, но опасные клинки их вспыхивали в свете свечей, тонко звенели, рассыпая дождем искры. Оба мастерски владели мечом — Роланд выглядел более грациозным, более изобретательным и сдержанным, он словно бы не снисходил ни до каких движений сверх абсолютно необходимых; Модор же бился люто, умело, упорно, по временам опасно, предпочитая выпады ярые и неожиданные. Глаза его по-

блескивали, точно волшебные камни. Внезапно острие Модорова меча врубается, рассекая кольчугу, в плечо Тристана. По железным кольцам струится кровь. Карлик-Тристан падает на одно колено, роняет меч. И, словно обезумев от этой картины, Модор неистово ударяет его клинком – так, что кольца взвиваются в воздух. И тут же вонзает меч в бок Тристана. Карлик-Тристан падает ниц и недвижно лежит на сцене.

Тогда Модор наклоняется, чтобы расшнуровать на нем шлем, и быстро стягивает оный. Потом забрасывает щит за спину, где тот повисает на ремешке, поднимает обеими руками меч и одним ударом отсекает Роланду голову. Дамы вскрикивают, Граф поднимается из кресла. Модор, чье лицо искажено безумным торжеством, хватает голову, из коей хлещет кровь, за волосы, приближается к Королю и замирает, держа перед ним высоко поднятую голову. Королева вскрикивает, закрывает ладонью глаза и, лишившись чувств, валится набок. Король, выйдя из оцепенения, неловко ловит Королеву, пытается встать. На сцене пронзительно вопит Вирсавия.

Граф, безутешный из-за потери любимого карлика, соглашается принять тридцать тысяч золотых монет, трех борзых сук и годовой урожай зерна. Модор сидит в цепях в тюремной башне. Трудно понять, что тут хуже: убийство графского карлика или унижение, испытанное Королем. Король ни с кем не разговаривает. Мне же во всех этих неприятных событиях представляется особенно интересным тот миг, в который Модор поднял перед Королем голову. У меня было совершенно отчетливое чувство, что Король почти уж протянул к ней руку, но тут опомнился и кликнул стражу.

Этим утром Король вызвал меня в свой башенный покой. Лицо Короля осунулось, глаза грустны, исчещрены тонкими кровавыми прожилками. Он немедля перешел к делу. У него нет ни доказательств вины Королевы, ни свидетельств каких-либо ее прегрешений, однако подозрения и перешептывания вокруг ставят его в положение нестерпимое. И хоть смертоносная ярость Модора не имеет никаких оправданий, он не возлагает вину полностью на карлика, ибо тот своевременно его предостерег. Король видит три возможных пути. Первый – удалить Тристана от двора. Второй – позволить ему остаться, но запретить видеться с Королевой наедине. Третий – поставить западню и захватить их врасплох. Первый ему противен, и по двум причинам: во-первых, он не хочет наказывать Тристана, не имея доказательств, а он их не имеет; во-вторых, он любит Тристана как сына, и даже простая мысль об отсутствии племянника болью сжимает его сердце. Второй путь – позволить Тристану остаться, запретив общение с королевой, – столь же неприемлем, но уже в силу трех обстоятельств: во-первых, Король не желает без весомой причины лишать Тристана общества Королевы; во-вторых, ему не по душе открыто выказывать свои подозрения, отдавая приказ, который сделает очевидными происшедшие перемены; и, в-третьих, он не хочет лишать королеву Изольду общества и защиты Тристана, ибо она не только связана с ним сердечной дружбой, в чем нет ничего дурного, но еще и защищена, благодаря ему, от нежелательного внимания со стороны других придворных, некоторые из коих, о чем Король хорошо осведомлен, далеко не так благородны и надежны, как его преданный племянник. А потому третий путь – западня, – хоть душа Короля и не

лежит к нему, остается, однако же, предпочтительным, ибо, если эти двое и вправду изменили Короне, важно иметь доказательства, прежде чем обвинять их в преступлении, наказуемом смертью.

Король, говоря, оживился, как если бы само произнесение слов наполнило его энергией решимости, но взгляд его оставался грустным, самоуглубленным и выражал — что поразило меня — словно бы безразличие к стратегии, на которой Король настаивал.

Он знает, сказал Король, что я недолюбливаю Освина, а между тем во многих отношениях тот заслуживает доверия. Освин доложил ему, что Королева тайно встречается с Тристаном — ночью, в плодовом саду. Сенешаль дважды проследовал за ними к месту их свиданий, туда, где стоит у ручья старая яблоня. Там, уверен Освин, хоть сам он того и не видел, они предаются своей вероломной любви. Король намеревается приказать Освину отвести его на это место, а затем отослать сенешаля — под страхом смерти — и укрыться среди ветвей. С собой он возьмет лук и две стрелы.

Моя же задача — проводить Освина до замка, после чего я вернусь и присоединюсь к укрывшемуся на дереве Королю.

План этот ужасно мне не понравился, в нем было нечто чуждое Королю, отдающее Освином, похожее на заимствованный меч.

Что до меня, я вспомнил о графе Фландрском, который, когда вассал всего лишь вздохнул в присутствии графини, приказал избить его и повесить головой вниз в помойной яме.

Король доволен своей решительностью, которая есть не что иное, как лукавая личина, нацепленная его нерешительностью.

Уже очень поздно, однако мне не заснуть, пока я не запишу удивительные события этой незабываемой ночи.

Вскоре после того, как Король, покинув общество, удалился в опочивальню, я в одиночестве отправился в плодовый сад, где и затаился невдалеке от калитки в частоколе, ожидая Освина с Королем. Вскоре калитка открылась, и через нее прошли Король и Освин. Я последовал за ними, держась в отдалении. Блестящий серп луны низко висел в небе — ночь стояла ясная, со множеством звезд. Освин безмолвствовал. Он молча вел Короля по тележным путям, сквозь купы плодовых деревьев, мимо овитых виноградом беседок, через канавы и ручьи; я различал в свете звезд брошенную тележку, груду пустых корзин, поломанное колесо с выросшей между спицами высокой травой. По прошествии времени мы достигли старой части сада, где стояли высокие, с толстыми ветвями яблони. Неподалеку бежал узкий ручей. Освин остановился близ ствола огромной, выросшей у ручья яблони. Одна из ее нижних ветвей, густо осыпанная листьями и маленькими незрелыми яблоками, нависала над ручьем. Король вручил Освину лук с колчаном и, резво подпрыгнув, ухватился за сук и взобрался на дерево. И поспешно укрылся между срединных ветвей. Потом потянулся вниз за луком и колчаном, кои Освин ему и передал.

— Зачем три стрелы, Сир? — спросил Освин.

— Третью получишь ты, — ответил Король, — если не уберешься в замок. Томас проводит тебя до калитки.

Услышав это, я выступил из темноты. Оскорбленный, стеревший с лица какое бы то ни было выражение Освин молча проследовал со

мной до калитки и, холодно простясь, удалился. Только когда калитка закрылась, я вернулся садом к яблоне у ручья. Я стоял, глядя вверх, на густолиственные ветви, пока Король не приказал мне взобраться на яблоню и присоединиться к нему в его бдении.

Когда я устроился рядом с ним на соседней ветке, Король шепотом осведомился:

— А скажи-ка, Томас, когда ты в последний раз забирался на дерево?

И я немедля увидел себя в саду при замке моего дяди, срывающим, сжав их в горсти, сразу несколько вишен.

— Сорок лет назад, — прошептал я.

Услышав это, Король улыбнулся — внезапно, обезоруживающе — озорной, как мне показалось, улыбкой, тронувшей мое сердце, ибо, при всей серьезности происходившего, он все еще оставался мальчишкой — в определенных вещах.

Пока мы ждали, мысли его приняли направление сумрачное. Он выглядел беспокойным, хмурым, полным печальных предощущений, наполовину готовым отказаться от своей нелепой затеи, — ибо как мог он желать убедиться в том, что было бы для него нестерпимым? И за вспышками ребяческой веселости я различал стыд, порожденный тем, что он затаился на дереве, чтобы шпионить за Королевой и Тристаном, — не комический же он рогоносец из сказочки менестреля, но король всего Корнуэлла.

Внезапно под деревом возник Тристан. Я не успел уловить ни звука. Резкие черные тени ветвей лежали на облитой лунным светом траве. Тристан казался встревоженным, прохаживался взад и вперед, всматриваясь во мрак.

При звуке шагов Королевы я ощутил, как Король в неистовстве замер — так, словно тело его было ладонью, что удерживает бьющуюся птицу.

Тристан не шагнул вперед, чтобы встретить Королеву. Напротив, он отступил от нее, почти как если б желал избежать этой встречи. Когда же Королева Изольда приблизилась, я увидел ее освещенное луною лицо — встревоженное и растерянное. Она остановилась футах в десяти от Тристана, который стоял прямо под нами.

— Зачем вы просили меня явиться сюда? — спросила она тоном холодным и надменным, какого я у нее прежде не слышал. И меня охватило странное чувство, что я присутствую на спектакле, играемом при дворе.

— Чтобы просить вас о помощи, о госпожа моя. Враги обратили против меня Короля; Богу ведомо, какую любовь я питаю к нему. Если вы, в доброте вашей...

Так они и декламировали, два подлунных актера. Ибо я понял — внезапно и точно: оба знали, что за ними следят — отсюда, из ветвей. Мне хотелось спрыгнуть вниз и закричать: "Отлично, Тристан! Превосходная речь!" На земле, средь теней листвы, я увидел тень, отбрасываемую головой Короля. Тристан, должно быть, тоже приметил ее и подал знак Королеве. Вот они и разыграли под ветвями яблони небольшую пиесу: Безупречная Дама и Оскорбленный Рыцарь. Сыграно все, хоть представление несколько и подзатянулось, было неплохо; речи, пусть отчасти напыщенные, произносились с подлинным чувством. А я дивился сущей их отваге, бесстрастной уверенности, с которой оба актера ис-

полняли свои роли. Конечно, они попали в западню и сражались, пытаясь выбраться из нее. Но не было ли во всем происходившем и чего-то большего? Тристан ведь воистину любил Короля, который приблизил его, пятнадцатилетнего мальчика, к Корнуэльскому двору и вырастил, точно отец; Королева определенно считала, что упрекнуть ее не в чем, ибо замуж она вышла против своей воли, – да и в любом случае, что может противопоставить человек могуществу Любви? А что же Король? Действительно ли мог он обмануться? Уверен, он смотрел это маленькое представление, испытывая благодарность, жаждая обмана – поскольку единственным, чего Король не мог себе позволить найти, была правда, которую он искал.

Когда они удалились – безупречная Королева первой, за нею, выдержав приличное время, опечаленный, превратно понятый рыцарь, – Король долгое время молчал. Потом повернулся на своей ветке, чтобы взглянуть на меня. И с силой, с подобием безумного упоения прошептал: “Вот видишь, Томас! Видишь!”

– Я вижу наши тени, господин мой, – резко ответил я, однако Король в приливе энергии одним махом спрыгнул с дерева и, подняв ко мне лицо, крикнул: “Вниз, Томас! Какого дьявола ты там делаешь? Взрослый уже человек! Вниз, Томас, вниз!”

Освин в опале. Король, ослепленный любовью к Королеве, поет дифирамбы Тристану, гоняется по лесам за благородными оленями, ланями, косулями, пьет большими глотками из своей золотой фляги, хохочет, запрокинув назад голову: все отлично, все хорошо. Одному только мне тревожно. А тревожно мне потому, что я примечаю в усердии Короля оттенок чрезмерности – уж не пытается ли он простым усилием воли отогнать сомнения, которые снедают его? Глаза Короля сверкают от безумного веселья. Он обнимает Тристана, с обожанием взирает на Королеву. “Томас! – восклицает он. – Разве она не прекрасна?” – “Да, господин мой”. Королева опускает глаза.

Поскольку Король не способен вынести мысль о том, что супруга его и племянник – любовники, он снова отдал ее под защиту Тристана. Это способ показать себе, что они неповинны, а сам он мудр, – ибо, будь они повинны, Король оказался бы дурнем, позволив им оставаться наедине. Все утро и все послеполуденные часы Король охотится в лесу, а между тем Тристан сопровождает Королеву повсюду. Он гуляет с нею по саду, взбирается по винтовым лестницам, ведущим в ее башенный покой. Освину запрещено, под страхом тюремного заточения, к ней приближаться. В первые часы вечера Тристан возвращает Изольду Королю. Король с Королевой удаляются рано. Ночью из королевской опочивальни до меня доносятся клики любовных сражений.

Всякому, кто дурно отзовется о Тристане или Королеве, грозит ныне изгнание.

И именно сейчас, когда Королеве и Тристану следовало бы проявлять особую осторожность, они ведут себя так, словно доверие Короля, его беззаботная веселость обманули их. Они обмениваются полными томления взорами, вспыхивают и бледнеют, появляются, утомленные и разнеженные, из потаенных покоев. Когда Тристан передает Королеву Королю, лицо молодого человека полнится нежной грустью. Королева,

выступая рядом с Королем, оглядывается в поисках Тристана, ловит его взгляд. С ума они посходили, что ли? Начинает казаться, будто они стараются подстрекнуть Короля к тому, чтобы тот покарал их. Возможно ли, что это его неизменно веселое настроение, упрямое нежелание замечать обман, выводит их из себя, подталкивая к открытым выражениям любви? Не кажется ли им, будто Король искушает их — давайте-ка, посмотрите, сколь многое он способен снести? Или все дело в том, что они, влекомые неодолимой силой, о Короле и вовсе забыли?

Право же, они заходят слишком далеко. Неужто у них совсем не осталось разума? Не осталось стыда? Король уехал на два дня. Объявил, что проведет две ночи в одном из своих охотничьих домиков и вернется только на третий день; вверил, в присутствии Совета, Королеву заботам Тристана. Целый день они расхаживали, точно любовники, выискивая укромные уголки. Один из слуг видел Королеву с Тристаном выходящими на утренней заре из той расположенной в основании ее башни двери, что ведет в королевин сад. Во время обеда они сидят бок о бок за королевским столом; Тристан позволяет своей ладони скользить по ее руке, и шея Королевы — над золотой пряжкой, держащей блестящую зеленую мантию, — заливается краской. Все, страшась королевского гнева, отводят глаза, сконфуженные и будто бы ничего не заметившие. Освин холодно взирает на них. Едва ли не слышно, как в верхней темнице юго-восточной башни лязгают цепи Модора.

Западня! То была западня? Посреди ночи Король разбудил меня, положив на плечо руку; отблеск свечного пламени горел на его щеке. Он возвратился один, тайком, ночью. Я никогда не замыкаю дверь, чтобы Король мог, если сон бежит его, поднять меня. Ему приснилось в охотничьем домике, будто дикий вепрь пропорол Изольде бок. Я торопливо встал, нащупал в зыбкой тьме одежду и пояс с мечом и последовал за Королем в его опочивальню. Медленно отвел он забряцавшую кольцами завесу. Выдвинул перед собой свечу. Постель была пуста.

Король знаком велел мне следовать за ним. По винтовой лестнице мы поднялись в женские покои; стражник пропустил нас в большую залу с занавешенными, предназначенными для камеристок Королевы постелями вдоль стен. Там и сям на покрытом тростником полу лежали под лоскутными одеялами служанки. Небольшой, смежный с залой покой служил Королеве личной спальней. Если не считать кровати и одежного сундука, в комнате этой также было пусто.

Мы спустились в замковый двор, пересекли его, направляясь к северо-восточной башне, и поднялись в парадную спальню Королевы. Король отпер большим ключом дверь. Темные столбики ложа с золоченым деревянным лебедем наверху мерцали в лунном свете. На покрывале лежал шитый золотом шелковый кушак. Темной лестницей мы спустились на первый этаж — в кладовую с запертыми сундуками — и вышли через узкую дверь в сад Королевы. Перешли его посыпанными песком дорожками; поблескивающий павлин недолгое время бежал перед нами, а после исчез. Король, отступив за древесный ствол, заглянул в нишу с покрытыми дерном скамьями, резко поворотился, услышав шорох, с которым метнулась мимо него крыса. Дойдя до арочного прохода в зеленой изгороди, он извлек меч и провел меня лабиринтом

шпалер к рощице плодовых деревьев. Все пребывало в неподвижности под светом луны.

Мы вернулись через сад и двор замка к срединной его цитадели. На ведущих к главной зале широких ступенях спала черная курица. Сквозь арочный проход я последовал за Королем к винтовой лестнице. Я думал, что мы идем в мою спальню, однако Король остановился перед дверью Тристана. И, открыв ее еще одним железным ключом, вошел внутрь.

Завесы вкруг ложа Тристана были задернуты. На верхушке каждого из столбиков сидело по вырезанному из дерева соколу с золоченым клювом и крыльями. Король, подняв свечу и кивком велев мне следовать за ним, приблизился к постели и отвел завесу.

На кровати одиноко лежала крепко спавшая Королева. Покрывала были отброшены лишь частично, Королева осталась полностью одетой, даже чепец, удерживаемый золотым обручем с изумрудами и гиацинтами, так и красовался на ее голове. В свете свечи я увидел не уверенные ни в чем, сузившиеся глаза Короля.

— Господин мой, — произнес возникший за нашими спинами Тристан. Король, резко оборотясь, плеснул себе на руку горячим воском свечи.

— Надеюсь, охота ваша была удачной, — сказал Тристан, вкладывая меч в ножны. Он был при полном облачении — зеленая туника, малиновая накидка; крошечные жемчуга поблескивали под свечой на его мантии, одна пола которой была переброшена через правое плечо. Он повел головой в сторону кровати. — Королева испугалась — крыса мелькнула в темноте. Я стоял на страже, охраняя ее.

— Не сомневаюсь, — отозвался Король. — Что до меня — я упустил вепря. День выдался долгий, я устал. Пойдем, Томас.

— Мне разбудить Королеву? — спросил Тристан.

— Ни в коем случае, — ответил Король. — Впрочем, когда она проснется, скажи Королеве, прошу тебя, что муж желает ей доброго утра.

Я дошел с Королем до его спальни, попрощался с ним и вернулся к себе.

Что-то новое витает в воздухе. Любовники, несомненно встревоженные ночным появлением Короля, стали на редкость осмотрительными, Король же, забросив стратегию веселой беспечности, наблюдает за ними с явственным подозрением. Он то и дело посылает за Королевой под самыми пустыми предлогами: спрашивает ее, довольна ли она своими прислужницами и челядью, интересуется здоровьем, просит поиграть ему на виоле или арфе. Королева неизменно подчиняется, видно, впрочем, что внимание супруга она находит утомительным. Тристан проводит долгие часы, охотясь с ловчими птицами. Раз, когда Королева играла на арфе печальную песню, Король вдруг велел ей остановиться и стал беспокойно расхаживать взад-вперед. "Продолжай играть для Томаса", — раздраженно сказал он и покинул покой. Королева на миг подняла на меня глаза и снова взялась за арфу. Оба мы поняли: Король, услышав ее скорбную песню, заподозрил, что она мечтает о Тристане.

Ничего нет хорошего в жалости к своему Королю.

Пытаясь вообразить королеву Изольду, я вижу только загадку, противоречие. В обращении со двором она исполнена достоинства, открыта, заслуживает полного доверия; и однако ж, едва заходит речь о Тристане, лжет, не обинуясь. По натуре своей Королева пряма, однако таит изменнический секрет; по привычке — покорна, однако покорность ее облекает и покрывает неколебимое непокорство. Так и подмывает решить, будто она верна во всем, что касается Тристана, и не верна во всем, касающемся Короля, но только эта формула, думается мне, слишком уж проста, да и мелковата, чтобы вместить всю Королеву: ибо, сохраняя верность Тристану, Изольда остается верной и Королю, а изменяя Королю, изменяет и Тристану. Она верна Королю, поскольку ночь за ночью лежит с ним нагой на королевском ложе, ночь за ночью громкие звуки любодеяний доносятся из королевской опочивальни. Не исключено, конечно, что она в эти минуты думает о Тристане. Но возможно ли представить, что, даже страстно желая Тристана, Изольда совсем забывает о Короле?

Я сказал, что, хотя Изольда изменяет Королю, она изменяет также и Тристану. Потому что, если в обществе Короля ее изводят мысли о Тристане, разве не верно и то, что в обществе Тристана ее изводят мысли о Короле? Быть любовницей Тристана — значит предавать Короля, акт любви уже есть акт неповиновения. Однако неповиновение по самой природе своей подразумевает и знание о том, кому ты не повинуешься. Королеве никогда не удается остаться с Тристаном наедине: даже лежа в его объятиях, она должна видеть встающее перед нею встревоженное лицо Короля, ощущать, как призрак Короля проницает ее.

По временам, когда я неприметно наблюдаю за Королевой, спокойствие ее бледного гладкого лица ставит меня в тупик. Но тут я замечаю напряженные морщинки между бровей, невидящий взгляд прекрасных сумеречно-серых глаз, и Изольда, подобно всякому человеку, от которого отделяется, удаляясь неведомо куда, внешний мир, поднимает ко лбу узкую руку, чтобы смести с него выбившийся из общего строя волос.

Возможно ли? Даже теперь я не способен поверить новостям. Именно сейчас, когда удалось восстановить шаткую гармонию, когда осторожность и благопристойность стали частью каждого нашего дня, Король сделал тот самый шаг, который, как считали многие, ему следовало сделать еще в пору его притворного добросердечия. Он изгнал Тристана. Говоря точнее, он запретил Тристану появляться в пределах замковых стен, равно как и вступать в плодовый сад либо в лес.

Король уведомил Совет, что поступок этот стал необходимым по причине обвинений в недолжном поведении Тристана, порочащих репутацию не только его самого, но и Королевы и Короля, затрагивающих честь двора и королевства.

С Тристаном он был мягок — даже нежен. Его внимания коснулись слухи. Честь Королевы под угрозой. Он ласково взирал на Тристана. На миг мне показалось, что глаза Короля наполнились слезами.

Расположенные к Тристану бароны твердят, что указ Короля ни на чем не основан и несправедлив, впрочем, им не дано понять подспудных движений обуянного порывами ревности разума. Пока Тристан и Королева выставляли свою любовь напоказ, пожирая друг дружку пла-

менными взорами, Король действовать не мог, поскольку действовать означало привлечь внимание к недопустимому, раскрыть свои тайные страхи. Только сейчас, когда любовники соблюдают осмотрительность — когда все это уже не имеет, в определенном смысле, значения, — стал возможным указ об удалении Тристана.

Я, со своей стороны, считаю, что Король совершил ошибку, о которой еще пожалеет. Имея столько возможностей для уединения и утаек, влюбленные могли позволить себе роскошь благоразумия. Или Король забыл о присущем Тристану пристрастии к риску, о его вошедшей в привычку отваге?

Освин снова в милости у Короля.

После полудня последовал приказ освободить Модора из башни.

Король, опасаясь какого-нибудь отчаянного предприятия Тристана, выставил дополнительную стражу у главных ворот и потерны и отдал Королеву под опеку сенешаля. В отсутствие Короля ей не разрешено пропадать с глаз Освина — если только она не пребывает в женских покоях. Королева на весь день запирается с камеристками и отказывается гулять со своей служанкой, Брангейной, по саду. С Освином она холодна, разговаривать с ним не желает. Ест Королева мало и никогда не смеется.

Холодность ее поведения ненатуральна и тревожна, кажется, что лишь неустанный призор за каждым движением своего тела и оберегает Королеву от полной прострации.

Король встает до утренней зари и целый день пропадает на охоте. Возвращаясь, он совещается с Освином, гуляет по своему саду, выглядя обеспокоенным и озабоченным. По временам, после того, как задувают последние свечи, а рыцари и вооруженная стража расходятся по казармам в замковом дворе и кони засыпают в стойлах, мне чудится, будто я слышу сквозь толстые дубовые доски моей незапертой двери, как Король меряет и меряет шагами устланный тростником пол своей спальни.

Почти уже рассветает, и я спешу все записать. Два визита! — оба подобны ночным видениям. Или они мне и вправду пригрезились? Первый нанес Король, разбудив меня. Я торопливо оделся и последовал за ним через внутренний двор, а там и вверх, по витым лестницам, в его башенный покой. Единственная свеча горела на столе, рядом с шахматной доской. Он сел, я сел напротив. Долгое время Король вглядывался в фигуры, затем взял белую королевскую пешку, казалось, поколебался немного, стиснул ее в ладони и откинулся назад, за пределы свечного света.

— Ты не слышал новостей о Тристане? — спросил он — тень, говорящая с тенью.

— Никаких, господин мой. Он все еще в Корнуэлле?

— Никто не знает. Королева несчастлива, — он помолчал. — Говори.

— Вы пытались его отыскать?

— Нет. Да, разумеется. Я был несправедлив к Тристану?

— Ходили слухи.

— Слухи ходят всегда. Доказательства отсутствовали.

— Слишком много времени проводили они вместе.

— По моему приказу. Я сам так решил. Ты считаешь меня несправедливым?

— Я считаю, что вы действовали так, как сочли необходимым.

— А если бы я попросил твоего совета?

— Я посоветовал бы ждать — и наблюдать.

Он взглянул мне в глаза.

— Спасибо, Томас.

Король встал в темноте.

— Тристан предан мне. Я отдал бы руку, лишь бы вернуть его. Если услышишь что-нибудь...

— Конечно.

Король шагнул к двери, но тут же порывисто вернулся к столу. Я ждал, что он скажет еще что-либо, однако Король лишь молча опустил в свете свечи белую пешку на пустой квадрат.

Сам по себе приход Короля особо меня не обеспокоил — он давно обзавелся привычкой заходить, если ему не спится, ко мне и приглашать прогуляться по саду, или сыграть партию в шахматы, или последовать за ним каким-либо скрытным ходом, устроенным в стенах замка, в один из его потаенных покоев. Беспокоило меня, пока я двором возвращался к себе, сознание того, что изгнание Тристана не положило конец страданиям Короля. И беспокоило еще пуще — пока я взбирался по лестнице в мой покой — сознание, что и возвращение Тристана страданиям Короля конец не положит. Приближаясь со свечой на железном штыре к моей двери, я вдруг заметил в темноте некое движение. Я потянулся к мечу и услышал единственное произнесенное шепотом слово: “Пожалуйста”.

И увидел в свете свечи юную женщину, глядевшую на меня испуганными, но полными решимости глазами. Удивился я до того, что служанку Королевы, Брангейну, признал не сразу.

Я провел ее к себе, и она замерла, напрягшись, стиснув ладонями локти и прижав руки к животу. Присесть за мой стол или на сундук с платьем она отказалась. Несколько неловких мгновений я простоял, взирая на нее и держа перед собою свечу. Взгляд Брангейны был еще мрачнее, чем взгляд Короля. Завитки волос ее, выбившиеся из-под головной повязки, темнели и отсвечивали пуще чернил, которыми наполнен мой бычий рог. Резким толчком она закрыла тяжелую дверь за своей спиной. И я, словно подчинясь ее знаку, пристроил свечу на стол и в полумраке повернулся к Брангейне.

— Королева шлет вам привет, — начала она.

— Королева оказывает мне честь.

— Королева считает вас верным человеком.

— Королева льстит мне.

— Королева, — она шагнула вперед и понизила голос, — молит сказать ей новости о Тристане.

— Их нет, — я отшагнул назад. Послала ли ко мне Королева служанку в порыве отчаяния? Или она различила во мне слабость, которой пожелала воспользоваться?

Брангейна вперилась в меня взглядом, словно бы норовя раскусить. И вдруг отступила к двери, в темноту.

Почти незримая — темный призрак, — она выдохнула шепотом: “Я страшусь за жизнь Королевы”, — и я услышал скрип отворяемой двери и торопливые шаги вниз по лестнице.

Всякое действие состоит из двух частей: внешней, зримой, которая открывает то, что человек, его совершающий, желает дать нам увидеть, и внутренней, незримой части, каковая и есть его истинная суть. На взгляд внешний, Брангейна пришла, чтобы выведать новости о Тристане. Но не было ль у нее и внутренней цели, более глубокой, — выяснить, в какой мере Королева может меня использовать? Королева, коей страстное, отчаянное желание проведать новости о Тристане придает безумную отвагу, посылает служанку к доверенному наперснику и советнику Короля. Она рискует, не очень, впрочем, сильно, ибо, хоть преданность моя Королю хорошо известна, столь же известна и моя осмотрительность. А завершается все мастерским ходом: "Я страшусь за жизнь Королевы". Что означает: "Если вы расскажете о моем приходе Королю, то погубите Королеву". И также: "Вы можете спасти жизнь Королевы, отыскав Тристана".

И вот еще мысль, куда более тревожная: мои попытки понять что-либо никчемны — Королева уже знает, что может на меня положиться.

Со времени последней записи прошло четыре дня, я снова поздней ночью сижу за моим столом. Этим вечером я, по обыкновению, вышел прогуляться по плодовому саду. А вернувшись на замковый двор, остановился невдалеке от сада Королевы, рядом с житницей. Стена сада возвышается футов на девять, она сложена из тесаных, скрепленных известковым раствором камней и увенчана тремя тысячами разноцветных пластин черепицы. Надо мной возносилась в исчерна-синее ночное небо северо-восточная башня, в самом верху которой расположен личный покой Королевы — она удаляется туда всякий раз, когда хочет остаться одна. Верхнее окно башни тускло светилось. Сидела ли там Королева, одиноко вглядываясь в сад? Оттуда, где я стоял, мне никого различить не удалось. Я обратил взгляд к башне северо-западной — в ее вершинном покое, чьи окна смотрят на сад Короля, мы с ним сиживали за шахматной доской. И в его окне тоже различался смутный свет. Всматриваясь в чету башен, воображая Королеву в ее спальне, глядящую вниз, на свой сад, и Короля, одинокого в его спальне, глядящего на башню Королевы, я вдруг услышал чьи-то шаги и отступил к стене житницы.

У подножия садовой стены я различил во мраке некую фигуру. Что-то в ее украдчивости — в ее опасливом беззвучии — заставило меня подумать об Освине. Но едва мои пальцы сомкнулись на рукояти меча, человек этот подпрыгнул, ухватился за навершие стены и, проворно подтянувшись, оказался на ней. На миг он приник, точно животное, к верхушке стены, и сразу снырнул по другую ее сторону. И я мгновенно признал Тристана.

Выпустив меч, я заметил, как буйно колотится мое сердце. Чем было то, что лишило меня твердости здесь, у стены сада? Восхищением ли старого рыцаря перед юной отвагой? Или чем-то более предосудительным — потаенным сочувствием всему своенравному и запретному? О том, чтобы доложить об увиденном Королю, нечего было и думать: поворачиваясь, чтобы уйти, я ощущал в груди — в руках — в горле — темный, тайный восторг.

Во всяком случае, за здоровье Королевы опасаться нам более нечего.

Получил записку от Брангейны. Служанка сунула ее в мою ладонь, проходя мимо по лестнице, что ведет из главной залы к спальням наверху. В записке она благодарит меня за доброту, с которой я ее принял, и сообщает, что здоровье Королевы значительно поправилось. Хотела ли она, чтобы я прочел между этих слишком невинных с виду строк неписаное сообщение о возвращении Тристана? Или намерение ее состояло в том, чтобы сбить меня с толку, отставить в сторону — теперь, когда Королева отыскала свое целебное снадобье?

К немалому удивлению двора, Королева начала проводить добрую часть дня в обществе Освина. Иногда она даже посылает Брангейну поискать его. У шептунов снова появилось занятие, они опять плетут похотливые узоры, однако истинное объяснение, конечно, менее неприятно. Истерзанная отсутствием Тристана, Королева ненавидела Освина как причину этого отсутствия. Ныне, когда присутствие Тристана вновь сделало ее счастливой, ей уже нет нужды сторониться Освина. На самом-то деле она его просто использует, обманывая всех своим показным послушанием.

Миновали две недели со времени, как я в последний раз садился, чтобы записать мои мысли. События идут плотной и спешной чередой. Уже произошли серьезные перемены. С чего же начать?

Крепостные стены замка имеют в толщину двадцать два фута. Они сложены из блоков тесаного камня, выровнены скарпелями каменщиков и увенчаны зубчатыми парапетами; между внешним и внутренним слоями стен лежит сердцевина из битого камня, щебня, голышей, скрепленных известковым раствором. Кое-где сердцевину удалили, выдолбив в ней ходы, достаточно широкие, чтобы по ним мог пройти человек. На самом деле стены являют собой муравейник таких ходов, тянущихся на разных высотах; некоторые из них соединяются с верхними и нижними, кое-где камень вынут, так что получились маленькие, потаенные комнатки. Хотя устройство этих лабиринтов и расположение множества комнат дозволено знать одному Королю — сведения о них он получил во время коронации, в письме, запечатанном прежним королем, — среди рыцарей Корнуэлла бытует традиция открывать некие части лабиринта одному или нескольким доверенным товарищам, приносящим клятву хранить узнанное в тайне; паутина пересекающихся проходов, из коих многие и не ведут никуда, настолько сложна, что одному человеку удержать ее в памяти невозможно, даже если — а это наверняка не так — проходы точно отвечают сведениям, содержавшимся в запечатанном письме. За двадцать четыре года своего правления Король два десятка раз проводил меня по лабиринту и в нескольких таких случаях приглашал сенешаля или Тристана сопровождать нас.

Проникнуть в лабиринт можно через потаенные дверцы, имеющиеся в четырех из двенадцати башен замка. Узкие щели между каменными блоками укрыты за живописными гобеленами. Камни по каждую сторону такого входа выдолблены и пронзены железными стержнями, позволяющими поворачивать их, повернутые же камни открывают лаз, достаточный, чтобы в него протиснулся человек.

В некоторых из маленьких помещений лабиринта стоят сундуки, в коих хранятся королевские грамоты, акты, договоры, списки вассалов. Другие суть кладовые, вмещающие старые кольчуги, помятые шлемы, арбалеты, груды мечей, пятидесятифунтовые камни для оборонительных катапульт. Еще другие пустуют или содержат предметы загадочные, наподобие расползающихся одежд давно сгинувшей королевы или ларца с костями дитяти; говорят также, что в глубине наших могучих стен существуют ходы и помещения, которых никто никогда и не видел.

Три дня назад я поднимался по винтовой лестнице юго-западной башни, намереваясь пройтись по стене — размять ноги, полюбоваться с укреплений на ясное небо и уходящий вдаль темный лес, — как вдруг услышал над собой приглушенные, напряженные голоса, доносившиеся, как я сообразил, из пока еще не видной мне амбразуры окна, выходящего в замковый двор. Я заколебался, остановился; один из голосов — монотонный, с чрезмерной точностью выговариваемых слов, принадлежал сенешалю, другой — Королеве. "Завтра", — промолвил Освин. "Хорошо, хорошо", — ответила она устало и нетерпеливо. Я собрался было явиться перед ними, но передумал и тихо отступил.

Не понравились мне ни приглушенные тона, ни неохотное, раздраженное смирение, прозвучавшее в голосе Королевы, а пуще всего — слово "завтра", ибо Король объявил, что проведет завтра весь день на охоте и раньше полуночи не вернется. Возвратившись к себе, я поразмыслил, не стоит ли подержать сенешаля под неусыпным присмотром — несколько замковых слуг состоят у меня в шпионах, я прибегаю к их помощи, когда имею причины думать, что это сослужит Королю хорошую службу, — но решил сначала послать за Брангейной.

Мы встретились у сплетенной из прутьев калитки королевского сада. Я открыл калитку перед служанкой и провел Брангейну мимо куп белых и красных роз к стоящей вблизи фонтана леопардов дерновой скамье. В прошлый раз мы говорили в темноте, и сейчас, при резком свете дня, она меня удивила — вид у нее был неуверенный и недоверчивый, как у ребенка, обвиненного в краже яблока. Я сразу же перешел к делу. Заставив ее поклясться в сохранении тайны, я рассказал о том, что подслушал, и спросил, ведомо ли ей что-либо такое, о чем она хотела бы уведомить и меня.

Она помедлила, а после обратила на меня взор едва ли не обиженный.

— Сенешаль преследует нас — повсюду. Я его не люблю.

— А Королева?

— Королева ненавидит его — но не боится.

— А ты боишься?

Брангейна взглянула на меня с презрением:

— Я боюсь за мою госпожу. — Она помолчала. — Он хочет что-то ей показать — место, о котором много рассказывает. Приют.

— И Королева пойдет туда?

— Завтра после утренней мессы, когда Король отбудет на охоту.

— Благодарю тебя, — я встал. — За ним проследят.

— Королеве грозит опасность?

— Вполне возможно.

Брангейна тоже встала и последовала за мной к калитке. “Спасибо вам”, — совсем просто сказала она, глядя на меня то ли с благодарностью, то ли недоверчиво.

Вернувшись к себе, я послал за слугой сенешаля — однажды я спас этому малому жизнь, и он время от времени оказывает мне небольшие услуги. Здесь, за моей толстой дубовой дверью, запертой на два засова, я попросил его неослабно следить за хозяином и сообщать мне о любых его подозрительных или странных поступках.

Сенешаль, человек безжалостно правильный, но скрытный, был предметом множества слухов, один из которых касался грота или приюта, сокрытого, как говорили, в самой глуби лабиринта крепостных стен. Там, уверяли слухи, он копит сокровища, наворованные им в замке, совращает служанок и слуг и упражняется в искусстве магии.

После ужина я посидел немного в зале с избранным обществом, рассеянно слушая бретонского менестреля в украшенной перьями шапочке, а после поднялся по лестнице к своей спальне. У двери ее меня поджидал слуга Освина. Не тратя слов, он сообщил, что сразу же после ужина Освин прошел двором к шестой башне и там, в кладовой первого этажа, сдвинул в сторону расписную завесу, изображающую оленя, и исчез.

Я приказал ему не спускать с хозяина глаз и докладывать мне о любых его передвижениях и действиях, хоть как-то связанных с Королевой. А затем направился к Королю, еще сидевшему с Королевой за их столом, и попросил разрешения перемолвиться с Королем наедине. Он отвел меня в свою спальню и замкнул дверь. Я намеренно говорил загадками, поскольку знал его неуемную страсть к охоте. Я попросил Короля не присоединяться завтра к охотникам, а отправить их в лес без него и втайне встретиться со мной у меня в спальне. Король, недовольный тем, что поохотиться ему не удастся, но учуявший приключение, сердито согласился. Он вдруг склонился вперед, взял меня за плечо и сказал: “У тебя ведь есть что поведать мне, Томас”.

— Завтра, — ответил я, и мне почудилось, будто я снова стою на лестнице и слышу голос Освина, произносящий: “Завтра”.

Я возвратился к себе и лежал в постели, гадая, что принесет нам завтрашний день.

На следующее утро, сразу после мессы в капелле, я поднялся к себе в спальню, чтобы дождаться Короля. Охота его выехала на заре. Когда Король появился, я сразу увидел, что в настроении он пребывает опасном — среднем между любопытством и раздражением. Он беспокойно прошелся по спальне, приблизился к глядящему на двор окну, присел на мою кровать, снова начал расхаживать. “Ну, Томас! — воскликнул он. — Так почему ты заточил меня в моем же замке?” Фраза понравилась ему, развлекла. Он вообразил себя жертвой заговора: я сплел интригу, желая узурпировать корону. Король нередко напускал на себя в шутку подобное настроение, приписывая мне тайные замыслы, однако сегодня тон его был немного фальшив и в шутливости ощущалось раздражение — он не любил пропускать охоту. Я уже собрался поведать ему о подслушанном мной разговоре Освина с Королевой, как вдруг Король сказал, не поворачиваясь от окна: “Один из молодцов Освина бежит в нашу сторону”.

Появившись в моей двери, запыхавшийся слуга доложил, что минуту назад Освин увел Королеву за оленя.

Мы с Королем поспешили спуститься по лестнице и пересекли двор, направляясь к шестой башне. Расписная холщовая завеса изображала белую олениху с вцепившейся ей в переднюю ногу серой борзой. Ярко-красная рана рассекала бок оленихи. На противоположной стене горел в железном кольце факел. Нырнув под завесу, я повернул камни. Потом торопливо вытащил из кольца факел и повел Короля по узкому темному ходу.

Путь наш устилали мелкие кости. Я шагал впереди Короля, высоко подняв потрескивающий дымный факел. Искры рассыпались во мраке, словно бросаемый горстями песок. Стены смыкались так тесно, что мантии наши обметали грубый камень; крошки известки и щебня осыпались с него. Дорогой я наступил на что-то мягкое, с писком прянувшее во тьму.

За мной визгливо царапнул по камню металл — Король обнажил меч и в узости прохода клинок зацепил стену. Обернувшись, я в свете факела увидел перед собой выставленный мерцающий меч. С кончика его свисала крыса. Темная кровь капала на землю. Король стряхнул эту тварь с меча, и она упала, стукнув о землю, как небольшой мешочек.

Он с силой вложил клинок в ножны, сердито подняв взгляд, когда меч снова шаркнул по стене.

Мы продолжали продвигаться вперед (я заметил, что по сторонам начали появляться ответвления — одни достаточно просторные, чтобы войти в них, другие — не шире меча), как вдруг уткнулись в развилку. Каким путем следовать дальше, понять было невозможно. "Туда", — прошептал я, выбрав ход, что пошире. Вскоре явилась новая развилка, и спустя недолгое время я понял, что не только позабыл, как часто ветвятся и разделяются эти потайные ходы, но и завожу Короля все глубже и глубже в лабиринт — и быть может, все дальше от сенешаля.

Король, уловив мои сомнения, принялся напряженным шепотом задавать мне вопросы, но тут из темноты донесся не то крик, не то громкий возглас. Мне показалось, что крик раздался позади нас, и, развернувшись, я последовал за Королем, отважно шагавшим впереди, воздев, точно факел, обнаженный меч. Вскоре мы оказались в расширяющемся, устланном сладко пахнущим тростником проходе. Проход этот привел нас к крепкой на вид арочной дубовой двери. Из-за нее слышались приглушенные звуки, потом что-то, похоже, упало. "Откройте! — крикнул Король. — Именем Короля!" Я услышал, как за дверью скользит по железным кольцам железный засов. Король толчком распахнул дверь, и я вошел за ним в мерцающую комнату, увешанную шелками и освещенную множеством свеч, пристроенных на стенные консоли.

Тристан с обнаженным мечом возвышался над поверженным Освином, который лежал у его ног, в страхе глядя на приставленное к своему горлу острие. За Тристаном стояла, вцепившись ему в руку, Королева, взгляд ее был холоден.

— Вам следует с большей мудростью выбирать защитника для Королевы, дядя, — произнес Тристан, подводя ее к Королю.

В углу комнаты виднелась укрытая малиновой завесой кровать с золочеными столбиками. На маленьком столе стоял золотой кубок с вином и корзинка поблескивающего винограда. Второй кубок лежал на боку рядом с первым. Потолок над столом украшали переплетенные лозы, золотые и серебряные, листья их сверкали, отражая пламя свечей.

Король взглянул на лежащего Освина, на Тристана, стоящего над ним, на неподвижную Королеву. Озаренные свечами глаза Короля были темны, точно камни.

— Тристан! — воскликнул он, стремительно возвращая меч в ножны, и раскинул руки, чтобы принять племянника в яростные объятья. Слезы полосовали щеки Короля, точно струйки крови.

Светает. Не могу написать больше ни слова.

Я улучил несколько минут, чтобы закончить рассказ, начатый в последней моей записи.

Мы вышли из Приюта Освина под свет дня, после чего произошло следующее: Изольда удалилась в королевскую опочивальню, стража свела Освина в тюремную башню, а мы — Король, Тристан и я — поднялись по лестницам башни северо-западной в личный покой Короля, и там Тристан поведал нам свою историю.

Он получил послание от Брангейны, известившее его о том, куда Освин пригласил Королеву. Королева Изольда, презиравшая сенешаля и потому никакой опасности не почуявшая, согласилась прогуляться с Освином в глубь стены, где сенешаль обещал показать ей свой тайный приют. Брангейна снабдила Королеву кинжалом, который та спрятала под мантией. Тристан же, слышавший рассказы о Приюте Освина, да и в любом случае полагавший, что сенешаль не самый подходящий для Королевы спутник, вернулся в замок, переодевшись бретонским менестрелем — тем самым, в шапочке с перьями, что играл перед избранным обществом в ночь, когда я, возвращаясь к себе, нашел у двери моей спальни слугу сенешаля. В ту ночь Тристан, пройдя за белую олениху, углубился в лабиринт, отыскал Приют Освина и спрятался на его кровати. В непроглядно темной комнате, укрытой в недрах стены, он не слышал ничего, даже пения петухов. Внезапный дребезг ключей был для него что звон кузнечного молота, бьющего по наковальне. Занялось пламя свечей. Освин рассказывал Королеве о своем приюте, именуя его садом наслаждений. Он поведал, как золотых дел мастер выковывал лозы и листья, показал, описав их во всех подробностях, несколько бесценных вещиц, как то: серебряную чашу, устланную изнутри золотом, медную фигурку, дующую в серебряную трубу, и пенал из моржовой кости, покрытый резным барельефом, изображающим зверей с человечьими головами. Он предложил ей виноград и вино. Королева пожелала уйти. “Но я еще не показал вам кровать, это работа воистину хитроумная”, — сказал Освин. Когда же Королева ответила отказом, он схватил ее за руку и попытался силой подтащить к кровати. В этот миг завеса раздернулась и Тристан выскочил наружу с мечом в руке. Освин в ужасе воззрился на него, потом отпрянул, ударился о столик, свалил бокал с вином и сам повалился на покрытый плитками пол. Мгновение спустя голос Короля прокричал: “Откройте!”

В рассказе этом многое могло бы насторожить Короля — откуда, к примеру, известно было Брангейне, где укрывается изгнанный Тристан, и было ли это известно и Королеве тоже? — однако Король со вниманием выслушал племянника и сердечно его поблагодарил.

На следующее утро Король встретился со своими советниками и главными баронами — мнения их о том, какой кары заслуживает Освин, разделились. Одни настаивали на смерти через повешение, другие тре-

бовали ослепить Освина, посмевшего с похотью взирать на Королеву, третьи просили пощадить сенешаля за его долгое и честное служение короне. В конце концов Король избрал средний путь: он повелел лишить Освина одного глаза — в наущение второму — и заточить сенешаля в тюремную башню, отдав его обязанности и привилегии помощнику сенешаля Джону де Бомону.

Тристану же Король вознес хвалы как защитнику короны, рыцарю честному и верному.

После Совета, в поздние уже часы утра был устроен в честь возвращения Тристана праздничный пир. В начале пиршества вынесли голову вепря, украшенную красными и зелеными лентами, за нею последовали павлины и ржанки, журавли и молочные поросята, блюда с лебедями, зажаренными прямо в оперении. Груши, медленно поворачиваемые на вертелах над огнем очага, источали сок. Королева сидела по левую руку от Короля, Тристан — по правую. Весь двор мог видеть, как Король поворачивается то к одному, то к другой, как сияют его глаза, какую любовь выражает лицо его.

После полудня Король отказался от охоты, чтобы погулять по своему саду с Королевой и Тристаном. Вслед за тем Тристан играл в опочивальне Короля на арфе, и Король прослезился.

На вечер назначены игры, песни и танцы. Говорят, двое акробатов из Анжу будут танцевать на шарах, жонглируя яблоками.

Король упоенно охотится с утра и до темноты, оставляя Королеву с Тристаном в замке. Более того: он попросил Тристана не спускать с Королевы глаз, оставаться с нею, когда это только возможно, хранить и защищать ее, веселить, если она опечалится, читать ей оправленные в слоновую кость книги из королевского сундука, играть для нее на арфе. Тристан с Королевой много времени проводят наедине.

Порой я вижу, как дамы после того, как Королева и Тристан покидают их, обмениваются понимающими взглядами.

Нынче после полудня я подслушал негромкий разговор одного барона с восторженно внимавшими ему дамами. “Понимает ли Король, что творит? — дивился барон. — Сознает ли, что сам призывает к себе измену?”

Удовлетвориться такими вопросами — вопросами, которые возникают непроизвольно и дерзко вмешиваются в сокровенную работу королевского разума, — значит не увидеть ничего, кроме суетного умничанья придворных. Чтобы понять Короля, нам следует быть сразу и проще, и хитроумнее. Король ни в малой мере не забывчив: он помнит о слухах, клубящихся вокруг его жены и Тристана. Но любовь Короля к Тристану пуще ревности, а превыше всего он любит в Тристане верность, безупречность его чести. Когда Король оставляет Тристана наедине с Королевой, он являет миру драму глубочайшей своей убежденности: моя жена прекрасна, моя жена желанна, однако Тристан мне верен. Слухи, бароны, слухи, весь мир — однако Тристан исполнен чести. Слухи ведомы Королю; быть может, он даже стремится подстрекнуть их, чтобы закалить доверие, которое питает к этим двоим.

Говоря иначе, Король споспешествует измене как раз потому, что в возможность ее не верит. Точно так же он не вооружается против Трис-

тана, ибо знает — Тристан не выхватит меч и не пронзит ему бок предательским ударом.

Эти мысли, посещающие меня в свободные минуты дня, не приносят покоя.

Прошлой ночью Король пересказал мне удивительный сон. Он стоял посреди темного покоя, меж двух обращенных одно к другому окон. Окна блистали светом, но в комнату свет не проникал. Король посмотрел на одно, потом на другое и ощутил великое желание узнать, какой из них открывается вид. Тело его начало растягиваться в обе стороны сразу. Жгучая боль пронзила Короля, он чувствовал, что разрывается на части; слышался звук словно бы от ломаемых палок. Одна половина его тела подвигалась к одному окну, другая — к другому. Кровь, густая и темная, текла из раздираемого тела.

Он не просил меня истолковать этот сон.

Иногда я слышу ночами, как в недалекой спальне Тристана скрежещет, царапая кольца, железный засов. Я вслушиваюсь в долгое скрипение двери, подобное крику, который издавал бы обратившийся в дерево зверь, в шаги оставляющего спальню Тристана. Рано или поздно до меня доносится и далекий крик другой двери и звуки шагов, удаляющихся из королевской опочивальни. Одни шаги встречаются с другими и вместе стихают в ночи.

Куда они направляются? Наверх, минуя женские покои, в личную спальню Королевы? Через замковый двор, к королевиному саду и башне? Сквозь потерну, ведущую в вертоград?

А что, если Король проснется?

Так больше продолжаться не может. Король яро цепляется за верность Тристана, но сомнения, но подозрения изводят его, и он пристально вглядывается в лицо племянника, изобретая меж тем все новые средства накликать беду. Сегодня Королева и Тристан отправились охотиться с Королем и его баронами. Я тоже был с ними. Король, приметив, что Королева устает, привел ее в один из своих превосходно обустроенных охотничьих домиков, где и велел ей оставаться с Тристаном, покамест сам он не вернется в сумерках, чтобы забрать их. Королева протестовала; Король настаивал. Едва поскакали мы прочь, как Король осадил коня и попросил, чтобы я подождал его — ему необходимо вернуться и кое о чем спросить Королеву. Я ждал в великой тревоге, то спешиваясь, то снова садясь на коня. Вскоре среди деревьев показался скачущий Король, вид у него был недовольный.

— Как чувствует себя Королева? — окликнул я его.

— В конце концов, — крикнул он в ответ, — я решил не беспокоить ее.

Он с силой пришпорил коня и поскакал к охотникам.

Король ночью пришел ко мне. Я сел в кровати, готовый идти с ним, но он попросил меня лечь, ибо хотел всего только поговорить. Он забрался на кровать и лег в темноте рядом со мной.

— Как в давние времена, Томас, — сказал он, и я вспомнил юного Принца, который приходил ночами в мой покой, чтобы полежать со мной рядом и потолковать по душам. — Ночью, — начал Король, — ник-

то ничего не скажет. Мне ведомо, какие толки ходят при дворе, — сказал он. — И все же в том, что они желают быть вместе, ничего предосудительного нет. Кто посмеет отказать им в этом? Говори, Томас.

— Никто, господин мой.

— Я хочу, чтобы Тристан любил ее.

— Тогда все в порядке.

— В каком уж там порядке. Слухи — затрагивающие мою честь — честь моего двора...

— Вы сами склоняете их уединяться.

— Когда она с Тристаном, она со мной.

— Значит, она всегда с вами.

— Тристан... Тристан никогда не покроет меня позором. Он умер бы ради меня. Томас! Говори от всего сердца.

Я колебался лишь малую долю мгновения. "Тристан умер бы за вас". И это было правдой: Тристан защищал бы Короля до самой своей смерти.

Я слышал, как тяжело дышит во мраке Король, и думал о Тристане, о Королеве, как они шли по плодовому саду — с прижатыми к телу руками, шагая так медленно, что почти и не продвигались.

Король сжал мою руку. "Спасибо, Томас". Через миг он заснул рядом со мной, я же лежал во тьме, и сон бежал меня.

Сколько же еще? Два дня прошло с ночи, когда Король пришел ко мне, а подозрения его сейчас сильны как никогда. Нынче утром он объявил, что охотиться не поедет, потом вдруг передумал и ускакал яростной рысью, а в полдень вернулся. Королеву с ее камеристками он нашел в женских покоях. Тристан находился в кречатне, обучал сидеть у себя на запястье молодого сокола.

Днем раньше — Король охотился — я послал записку Брангейне. Мы встретились в королевском саду, в тени стены. Я открыл перед Брангейной плетеную калитку, провел ее к дерновой скамье у фонтана леопардов. От робкого, недоверчивого выражения на ее лице не осталось и следа: теперь она была насторожена, выжидательна, напряженно спокойна. Руки лежали на лоне, но не перекрещивались — одна сжимала запястье другой. Нужды в вежливых околичностях у меня не было. Я сказал ей о слухах, о подозрениях Короля и попросил предупредить ее госпожу — пусть та будет поосторожнее, пусть избегает поступков, способных возбудить пересуды.

Брангейна выслушала меня в задумчивости — я представил, как она крутит так и эдак каждое мое слово, точно они были плодами и Брангейна проверяла, нет ли на них выщербин и изъянов, — потом резко повернулась ко мне:

— Королева в опасности?

— В опасности репутация Королевы.

— И Король прислал вас, чтобы сказать это?

— Я сам себя прислал.

Она посидела, подумала, затем выпалила:

— Королева ничего не боится.

Страстность, с которой она произнесла эти слова, поразила меня. Таким тоном можно было бы сообщить: все кончено.

— Речь не о смелости Королевы, — отозвался я.

Я рассчитывал услышать ответ, но Брангейна лишь смотрела на меня, ожидая продолжения.

– Скорее – о ее чести.

– Честь исходит изнутри, – объявила она и стукнула кулачком себя в грудь.

Я призвал служанку Королевы не для того, чтобы обсуждать с нею тонкую материю чести. Она, должно быть, приметила на моем лице некую вспышку чувств, потому что спросила:

– А Король этим слухам верит? Вы сами верите им?

– Я не знаю, верит он им или нет. Ему не нравится само их существование.

– Как и Королеве, – откликнулась Брангейна, глядя на меня словно бы даже с торжеством.

– Если ты не упросишь ее быть осторожнее... не предупредишь ее...

– А от кого исходит предупреждение – от друга?

Я поразмыслил.

– От того, кто ей не враг.

Она вгляделась в мое лицо.

– Я поговорю с ней. Королева делает то, что хочет.

Я встал, проводил ее до калитки.

– Королева благодарит вас, – сказала она, помедлила миг, словно желая сказать что-то еще, но вместо этого порывисто повернулась и вышла во двор.

Что меня встревожило в нашем разговоре, так это неожиданность нового образа Королевы. Королева ничего не боится? Королева делает то, что хочет? Королева вдруг обратилась в отважную женщину, не признающую авторитетов, не желающую слышать о долге, – в женщину, для которой Король просто докучная помеха, в женщину, которая открывает своей служанке добытую с великим трудом и тяжким опытом истину: "Честь исходит изнутри"? Подумать только – Королева размышляет о чести. "Честь исходит изнутри". Что это может означать, кроме как: честь исходит не из того, что я совершаю, но из того, что чувствую.

Это философия беспутного барона.

А честь Короля? Как быть с нею?

Трудно примирить эту Изольду – неистовую Изольду, внезапно возникшую из слов, произнесенных ее служанкой у фонтана леопардов, – с той, другой Изольдой, учтивой, ласковой, мягкой, что медленно заполняла вместилище моих мыслей, будто грушевое дерево в обнесенном стеной саду.

Ничего я о Королеве не знаю.

Однако Королева безудержна! Безумна! Она рьяно ищет Тристана, пожирает его глазами, спешит, покидая Короля, чтобы поприветствовать своего дорогого Тристана. Или она в жару? В бреду? За королевским столом она смотрит лишь на Тристана, склоняется, заслоняя ото всех Короля, чтобы поймать взгляд Тристана. Она словно пытается бросить Королю вызов – пробудить его гнев. Не плоды ли все это моих посланных через Брангейну предупреждений?

Тристану не по себе. Король притворяется, что ничего не замечает, и вдруг поворачивается к Королеве, и та нетерпеливо прилаживает к его лицу свой взгляд, искавший за Королем Тристана.

Нынче утром я видел, как Король кивнул в тени садовой стены Модору.

Сразу после полудня я шел по двору, и из узкого прохода между житницей и оградой королевина сада выступила Брангейна.

– Я говорила с ней, – просто сказала она.

– И посоветовала ей выставить Короля на посмешище?

– Она... ей не нравится, когда ее обвиняют.

– Никто ее не обвиняет.

– Она думает, что вы сговорились против нее с Королем.

– Великолепно! Ты тоже так думаешь?

– Я сказала ей, что думаю – что не сомневаюсь: вам можно доверять.

От этого всплеска благодарности я дрогнул, точно тростник на ветру. Почему меня должно заботить, что думают обо мне эти женщины? – меня, любящего моего Короля, готового с радостью отдать за него жизнь?

– Король несчастен, – вымолвил я наконец.

Брангейна смотрела на меня, словно пробуждаясь от транса.

– Мы все несчастны! – отозвалась она, почти крикнула. – Прощайте, – сказала она и ушла.

Сидя за столом и выводя при свете одинокой свечи эти слова, я слышу сквозь мною приотворенную дверь и закрытую дверь королевской спальни шум любви, внезапный вскрик Изольды, молчание. Второй уже раз за эту ночь. Из спальни Тристана только два звука: скрежет едущей по полу ножки стола и удар ставня, не то распахнутого, не то захлопнутого.

Странные иногда являются мысли: убить любовников, пока они спят, уничтожить это ужасное моровое поветрие любви, от которого не приходится ожидать ничего, кроме отчаяния и погибели.

Все еще хуже, чем я опасался.

Сегодня утром Король собрал в главной зале баронов. Он объявил, что слухи, окружающие его жену и племянника, наносят ущерб чести двора и королевства; что, хотя никаких доказательств их предательства не существует, ему и всему двору ясно, что его жена и племянник питают друг к другу любовь, выходящую за пределы должного и уместного; что, хотя добиваться наказания их в его власти, он, по причине любви, какую испытывает к ним обоим, не станет им мстить, но требует лишь одного – чтобы оба они оставили двор и подыскали иное место, в котором смогут вести жизнь, в коей им отказано здесь; что он пытался жить в содружестве троих – Короля и Изольды, Изольды и Тристана, Тристана и Короля, – но далее жить так не может, ибо видит, что они, содружество двоих, обратились против него; он же, любя обоих, желает им только добра.

Эта речь, произведшая сильное впечатление, поразила меня своей искусственностью. Король, непрерывно твердя о любви, живущей в его сердце, тем не менее изгоняет из замка – и из-под своей защиты – пред-

меты этой любви. Он прощает им все зло, какое они ему причинили, однако приказ об изгнании не оставляет сомнений в том, что зло это было ужасным. Он отсылает их, чтобы они жили вместе на законном основании, без его вмешательств, но дает понять: подобная жизнь настолько постыдна, что вести ее при Корнуэльском дворе, в светлом пристанище чести, нельзя, а можно лишь где-то еще, в каком-то другом мире, незримо.

Королева, простоявшая все это представление близ Короля, ни разу не опустила глаз.

Король удивляет меня. Он весел, бодр, полон замыслов. Отсутствие Тристана и Королевы, которое должно было, как я опасался, дурно на нем сказаться, похоже, избавило Короля от какого-то изъяна в его натуре. Он осматривает пути на стенах и надвратный покой, совещается с заезжим военным инженером относительно оборонных катапульт, кои предстоит установить на наших башнях, подносит изрядный дар цистерцианскому монастырю, беседует с казначеем о новых завесах для своего ложа и новых плитках для очага. Но более всего занимается он присмотром за работами по ремонту и строительству, полным ходом идущими в замке: плотники удлиняют конюшни, каменщики возводят для пекарни новую стену, старую деревянную житницу снесли, и на месте ее подрастает крепкое строение из тесаного камня. В капелле потрескавшуюся деревянную статую Девы с протянутой правой рукой и приподнятым вверх пальцем заменили на новую, ярко раскрашенную, а следом скульптор приступил к починке крыльев каменного ангела.

Король пригласил ко двору механика, Одо Честерского, монашеского обличия человека, замечательного своим длинным лицом, длинным носом, длинными тонкими пальцами и большими, влажными, скорбными глазами. На одном из пальцев он носит черный камень в виде крошечной ладошки. Одо привез с собой удивительную машинку: деревянный сундучок с ручкой сбоку. Если заглянуть в него сквозь оконце, то увидишь сельскую сцену: мельница, поток, дерево, сарай. Но покрутите ручку, и — о диво! — крылья мельницы вертятся, поток струится, листва колышется на ветру, а двери сарая открываются, и из них выходит корова.

Дамам двора игрушка очень нравится.

Король проводит долгие часы, запершись с Одо Честерским в своем башенном покое. Они что-то готовят; я читаю в лице Короля тайное возбуждение.

Король раскрыл свой секрет. Признаюсь, он сильно меня поразил.

В ранний послеполуденный час, сразу после обеда, Король призвал меня к себе в опочивальню, где я увидел его восседающим на одежном сундуке и беседующим с Одо, который бочком сидел на приоконной скамье, откинувшись и протянув по ее камню длинную ногу. Вместе с ними я спустился во двор и направился мимо конюшен и кречатни к королевской башне. Я полагал, что нам предстоит подняться в его личный покой наверху, однако Король провел нас в кладовую первого этажа, где в темном углу, за запертым сундуком располагается один из четырех входов во внутренний лабиринт. Выдав нам по маленькому роговому светильнику, Король повернул камни и повлек нас за собою по внутренним

проходам крепостной стены. Подобно ходу, который вел меня и Короля вниз от белой оленихи шестой башни, этот тоже вскоре начал ветвиться и разделяться. Король продвигался медленно, но уверенно, сворачивая в одно ответвление, следом в другое, пока не добрался до выдолбленного в камне маленького покоя. Деревянная скамья с двумя шелковыми подушками стояла против стены, завешенной льняным холстом с персоной короля в подшитой горностаем малиновой мантии. По сторонам от холста со стены свисали из железных колец два роговых светильника. Король опустил свой светильник на пол, присел, лицом к холсту, на скамью и жестом указал мне, чтобы я сел рядом.

Одо — долговязый, сухопарый Одо — с его костистым носом и подбородком, подобным мослачку на куриной кости, встал сбоку от стенной завесы. Длинными бледными пальцами он потянул, по-видимому, за укрытый краем холста шнурок. Холст медленно разошелся, разрывая изображение Короля на две половины. Полотнища холста были совмещены столь искусно, что я не приметил линию раздела.

За холстом стояла Королева. Стояла неподвижно, в мантии зеленой венецианской парчи, отделанной понизу соболями и горностаями. На голове чепец поверх белого льняного плата. Голова отвернута в сторону, губы слегка раздвинуты. Правая рука вознесена и протянута к нам; один палец, тот, что рядом с большим, немного приподнят, словно бы в мольбе или увещевании. Глаза и щеки Королевы сияли, озаренные пятью светильниками. Сходство было очень большое. Вот только поворот головы, приоткрытые губы, вытянутая рука с поднятым пальцем сразу приводили на ум старую деревянную Деву из капеллы. Лицо, наполовину укрытое платом, было напудрено и нарумянено, как и должно Королеве. Под чепцом различались желтые волосы, удерживаемые золотым обручем с гранатами и изумрудами.

Одо протянул руку за спину Королевы, потом отдернул. Вытянутая рука Королевы медленно поднялась повыше, голова начала поворачиваться. Теперь Королева смотрела прямо на нас — большими, нежными, приветливыми глазами. Потом рука опустилась в прежнее положение, голова так же медленно отвернулась от нас. Королева стояла неподвижно, слегка раскрывши рот.

Я повернулся к Королю — тот сидел, замерев в неестественной позе. Рука его была поднята вверх, как если б потянулась к Королеве да застыла на полпути, шея напряжена, губы приоткрыты, как у говорящего человека.

Король освободил Освина из заточения, и тот сразу вновь занял место главного сенешаля, со всей причитающейся ему властью и привилегиями. Очень странно. Надо полагать, изгнание Королевы сделало заточение сенешаля излишним. Возможно и иное объяснение: Король, измученный страстным томлением по Королеве, ощущает родство с опозоренным сенешалем, также некогда возжаждавшим Королеву. Выколотый глаз свой Освин закрывает повязкой и ведет себя с неукоснительной благопристойностью. Он ни с кем не встречается взглядом, окостенело восседает за королевским обеденным столом, избегает общества Модора и тиранит свою челядь, безжалостно карая ее за малейшие оплошности.

Одо Честерский уехал ко двору графа Тулузского, где искусство его, не сомневаюсь, будет превознесено как чудо нашего века, а между тем Король продолжает навещать Королеву в своей тайной часовне, укрытой в недрах крепостных стен. Не нравятся мне эти визиты. По временам Король просит меня сопровождать его, чтобы было кому раздвинуть занавес и нажать на рычаг. Иногда он посещает Королеву один. Всегда неожиданно, в любой час дня и ночи. Вот и прошлой ночью я, вырванный Королем из объятий сна, последовал за ним в часовню, развел занавес и надавил на рычаг, скрытый на спине Королевы. Когда же я повернулся к Королю, то увидел, что он остановившимся взглядом смотрит на движущуюся Королеву: глаза распахнуты и не мигают. Потом он начал издавать негромкие звуки, бормотание, которое испугало меня. "Господин мой", — сказал я. Король словно проснулся и, послав мне одну из своих озорных улыбок, столь ненатуральную на лице, отмеченном печатью страстных помыслов и тоски, произнес: "Ну-ка, скажи мне, Томас, разве Королева не прекрасна?"

Печаль странно молодит лицо тоскующего Короля — лицо несчастливого мальчика.

Нет! Рассуждения мои оказались ошибочными. Король освободил Освина совсем по другой причине.

Этим вечером королевский вестник призвал меня в тюремную башню. Страж, сдвинув на двери два железных засова, впустил меня внутрь темницы. В ней стоял такой сумрак, что поначалу я ничего не мог разобрать. Единственное оконце шириною не больше бойницы помещалось под самым потолком. Луч солнечного света, неистовый в безмолвной пыли, косо рассекал воздух, ударяя в середину противоположной стены. Я различил на дощатом полу грубый соломенный тюфяк, железный урыльник в углу. У темной стены сидел Король. Он был в королевской мантии, волосы, не удерживаемые сеткой, спадали ему на лицо.

— Сядь, Томас, — произнес он.

Я немедля сел с ним рядом на голый пол.

— Уверь их, — сказал он тогда, неопределенно поведя рукой, — что все идет хорошо.

— Ничто не идет хорошо.

— Все идет, как должно идти. Только вот кормят они меня слишком уж хорошо. Вода и хлеб; поговори с Гайнолем.

— Пойдут разговоры. Бароны...

— Все делается по моему приказу. Объясни им. Уверь их в этом, и они будут довольны. Дай слово, Томас.

— Даю вам слово. Довольны они не будут.

— Ну, будут не так недовольны.

Я вспомнил моего острого умом четырнадцатилетнего ученика, препиравшегося со мной в отцовском саду по вопросам логики. Если каждая из ипостасей Троицы обладает отдельным бытием, как можно утверждать, что Бог един? Если же каждая из ипостасей Троицы отдельным бытием не обладает, тогда в каком смысле их три?

Что-то вдруг порхнуло в воздухе, испугав меня. Я вскочил, выдергивая меч из ножен. И в глубоком сумраке темницы увидел ворона Коро-

ля, сидящего у него на колене. Я ощутил неловкость, стыд даже, за то, что стою в полутьме с мечом над моим Королем.

— Позвольте мне оставить вам меч, — взмолился я.

— У узников не бывает мечей.

— А если бы это была крыса?

— Тогда я произвел бы ее в архиепископы, и она отпустила бы мне грехи.

— Двор скучает по вас.

— Двор? Никакого двора не существует. Вот он, мой двор: три паука, ворон и муха. И разве не богаче я короля Корнуэлла, который не правит ничем, кроме пустого царства?

— Господин мой...

— Я устал, Томас.

Выйдя из темницы, я приказал стражу не спускать с Короля глаз и докладывать мне все о его столе, здоровье, речах, движениях — мыслях, хотел сказать я. Потом вернулся к себе.

Король сам повелел заточить его. Ясно, что он желает наказать себя, но вот причина такого желания представляется далеко не столь ясной. Считает ли он, что заслуживает наказания за то, что был не прав, изгнав Королеву и Тристана безо всяких доказательств, без какого бы то ни было оправдывающего его решение предлога, исходя лишь из подозрений и сплетен? Или существует объяснение не столь простое? И заточив свою особу в темницу, он не столько наказывает себя, сколько ищет способ показать всем свои страдания, придать им форму определенную и узнаваемую.

Имеется и другое объяснение. Король, обремененный грузом государственных забот, жаждет чистоты страдания, которое бежит от него. Освобожденный заточением от всего, что его отвлекает, мешая страдать в достаточной мере, вольный теперь с головою погрузиться в свои несчастья, не испытывает ли он порой, в этом новом своем королевстве, темное утоление, тайную радость?

Королевская опочивальня пуста. Король в тюрьме, Тристан с Королевой изгнаны в царство фей, замок мечется в неспокойном сне, а я, Томас Корнуэльский, сижу за моим столом над листом на славу отглаженного пергамента, окунаю перо в чернила, что еще чернее ночи, и вывожу слова, которые мгновение посверкивают, озаренные пламенем свечи, точно капли черной крови.

Шесть дней остается Король своим собственным узником, спит на соломе, питается хлебными корками, ни с кем не видится. Рыцарь, коему вверена забота о Короле, докладывает, что тот почти не шевелится, встает лишь затем, чтобы перейти к противоположной стене, где и садится, понурясь. Он попросил принести ему корону, которую носит, точно веригу. Порою Король снимает ее, чтобы прибить слабым ударом крысу. Глаза Короля, когда он их открывает, кажутся над впалыми щеками необычно большими. Взгляд его пуст, он ни на что не смотрит. Большей частью Король спит.

На девятый день добровольного заточения Короля некий рыцарь вступил, широко шагая, в главную залу, когда мы там ужинали. Вот его рассказ.

Рыцарь охотился в лесу де ла Рош Соваж, в трех лигах от королевского леса, и там, преследуя оленя, переехал поток и углубился в совсем уж густую и дикую часть леса, где ему трудно стало пробираться между деревьями. Невдалеке от себя приметил он маленькую поляну с кособокой хижиной на ней. Пока рыцарь подъезжал к поляне, дверь хижины отворилась и из нее вышел мужчина. И рыцарь, узнав в нем Тристана, забросил все помыслы об охоте, пришпорил коня и понесся к нашему замку.

Я сообщил обо всем Королю, и тот, выслушав это известие, нетвердо поднялся на ноги. Опираясь на мое плечо, он покинул свое жалкое узилище и вернулся со мной в королевскую опочивальню.

Завтра, несмотря на слабость, он намерен возглавить отряд охотников и отправиться с ним в лес де ла Рош Соваж.

Постараюсь записать лишь самые важные события этого незабываемого дня.

Король, подкрепленный пищей и сном, но все еще сильно ослабленный девятью проведенными в башне днями, пробудился на заре, отстоял в капелле мессу, позавтракал хлебом и элем и приказал нашему отряду выступить в путь. Если не считать мгновения дурноты, охватившей его, когда он вскочил на коня, Король держался в седле прямо; я дивился возврату его сил, но в то же самое время томился тревожным чувством, что живость Короля вызвана не столько телесной бодростью, сколько неестественным накалом снедающего его нетерпения. В лесу де ла Рош Соваж — лесу Дикой Скалы, названном так за голый утес, возвышающийся на восточной его оконечности, — отряд наш, состоявший из двух дюжин человек, разбился на пары. У каждого охотника имелся слоновой кости охотничий рог, в который ему надлежало трубить, обнаружив первые же признаки присутствия Тристана и Королевы. Я остался при Короле.

По лесу де ла Рош Соваж можно скакать целыми днями и ни разу не увидеть поляны. Местами лес становится так густ, что через него и не проедешь; среди дубов и сосен возвышаются там и сям переплетенные заросли терний с черными шипами длиною в наконечник копья. На гордом, с еще впалыми щеками лице Короля проступили признаки слабости. Сославшись на собственную усталость, я убедил его спешиться и посидеть со мной на мшистых корнях великанского дуба, сквозь темную, колкую листву которого различались лишь маленькие кусочки синего неба.

Пока мы сидели, прислонясь к толстому стволу, бывшая с нами белая ищейка что-то вынюхивала вокруг. Король, откинувшись на ствол, приопустил веки. Внезапно ищейка метнулась, преследуя кролика, и исчезла в подросте.

Она была одной из любимейших собак Короля. Он позвал ее, затем со вздохом поднялся и отправился на поиски. Я следовал за ним между стволами, стоявшими столь тесно, что конь здесь никак не прошел бы. Подрост становился все гуще, сквозь него пробивались папоротники, длинные, как клинок меча. Внезапно мы выбрались на полянку. Нам открылась крестьянская хижина — тростниковая крыша, каркас из неокорённых стволов с переплетенными ветвями, замазанными глиной, из-под которой они кое-где проступали.

Король положил ладонь на рукоять меча, и я пошел за ним сквозь солнце и тени полянки к единственному маленькому оконцу хижины.

На устланном тростником земляном полу возлежали в своих мантиях спящие Королева с Тристаном. Оба полностью одетые, в туниках и накидках, они лежали лицом друг к другу, так что губы их разделяло расстояние, не большее ширины ладони. Между ними покоился на одеяле обнаженный меч Тристана. Солнечный луч, проникая в окно, косо тянулся во мгле, ударяя в щеку Королевы, в кончик меча, в плечо Тристана.

Король долго смотрел, как эти двое лежат перед ним, мирно дыша. Локон Королевы подрагивал, колеблемый дыханием Тристана.

Я взглянул на лицо Короля, увидел страшное смешение радости и отчаяния и отвернулся.

Приложив палец к губам, Король вытащил меч из ножен и бесшумно обогнул хижину, направляясь к ее двери. Сквозь оконце я увидел, как отворяется дверь. Король, подступив к спящей паре, стоял, глядя на нее сверху вниз, с мечом, воздетым, словно для удара. Затем склонился, осторожно взял меч Тристана и положил между спящими свой.

Он постоял, вглядываясь в лежащих бок о бок Тристана и Королеву, в солнце на ее щеках, в подрагивание пряди под дыханием Тристана. На миг у меня возникло странное чувство, что он собирается лечь рядом с ними. Но тут Король повернулся и вышел из хижины на поляну.

Он заговорил, лишь когда мы вернулись к коням. "Любовники ложатся нагими", — сказал он. Близкий шорох заставил его резко повернуться, сжимая рукоять Тристанова меча.

Но то была всего лишь белая ищейка, продиравшаяся сквозь подрост, — хвост буйно молотит вправо-влево, вся шкура в репьях.

Любовники ложатся нагими: Королева и Тристан невинны. Между ними меч: истинный знак и символ этой невинности. Тристан с Королевой, став жертвами ревности и злобных наветов, бегут в темный лес, где он охраняет ее, словно брат. Когда она омывается в потоке, Тристан стоит у воды на страже, обнажив меч, озирая лес в поисках грозящей опасности. Ночами они снимают с себя лишь мантии. И меч лежит между ними, пока они спят.

Как же должен был настрадаться Король, чтобы уверовать в это.

В замке великая радость. Столы и скамьи вынесены из высокой залы, дабы освободить место для игр и танцев; менестрели поют о приключениях Артура и Гавейна. Тристан с Королевой вернулись! — призванные Королем, прощенные Советом, радушно встреченные двором. Смех Короля звенит средь пирующих. Тристан сидит по правую его руку, Королева — по левую; он переводит с одного на другую счастливый взгляд. Он словно бы празднует приезд молодого принца и его нареченной.

Он дал обоим свободу гулять где и когда им захочется. И даже попросил Королеву не расставаться с Тристаном, когда самого его рядом не будет. Дни идут, и Король покидает замок на все большие сроки, охотясь с рыцарями и баронами в королевском лесу за плодовым садом. Начинает казаться, будто он оставляет Королеву Тристану на день в обмен на ночи, которые Королева проводит в его постели.

Они же не пожирают более друг друга обожающими взглядами, но ведут себя сдержанно и благоразумно, как то и подобает королевским

жене и племяннику. Верно, что Королева временами посещает женские покои или свой обнесенный стеною сад, сопровождаемая Тристаном, однако отсутствуют они время столь краткое, что это может породить скорее озадаченность, нежели клевету. Почти похоже на то, что по возвращении из леса де ла Рош Соваж Королева с Тристаном договорились держаться на расстоянии друг от друга, дабы выказать Королю свою благодарность.

Возможно ли, что нечто переменилось между ними?

Все страннее и страннее. Прошла неделя, а Королева и Тристан по-прежнему ведут себя столь осмотрительно, что и вообразить-то себе, будто они любовники, трудно. С Королевой Тристан нежен, он с интересом выслушивает все, что та ему говорит, улыбаясь при этом мягко и, пожалуй, не без меланхоличности. За ужином он живо беседует с Королем, смеется, откидывая назад голову. Или их пыл охладел? Быть может, они столь безудержно наслаждались друг другом в лесу де ла Рош Соваж, что теперь им довольно и дружбы? А быть может, они никогда и не были теми, кем казались всем нам, и слухи о них лгали с самого начала?

Даже Король сознает происшедшую с ними перемену. Он вглядывается в их лица и не может перехватить ни укромного взгляда, ни разоблачительной бледности. Оба нежны и невинны, как дети. Иногда Тристан отправляется с Королем на соколиную ловитву, а Королева тем временем играет на арфе или вышивает с камеристками в женских покоях.

Короля, которому прежде не по силам было сносить страстные взгляды любовников, начинает теперь тревожить эта новая благопристойность.

Ночами Король с Королевой предаются в их опочивальне любви. И больше я уж не слышу ни скрипа дубовой двери, ни тихого звука шагов, удаляющихся от Тристановой спальни.

Великое спокойствие воцарилось в замке.

Я понял! Понял! Пустячное происшествие, случившееся нынче, стало для меня озарением, одним из тех внезапных всплесков постижения — резких, как запах, стремительных, как выпад меча, отчетливых, как алая хоругвь в лазурном небе, — но к чему эта рапсодическая цветистость, столь неприятная в старом, иссеченном в сражениях рыцаре? Угомонись, Томас.

Все произошло под вечер, за ужином, сразу после благодарственной молитвы. Король, возвратившийся с охоты несколько раньше обычного, сидел в своем резном кресле во главе стола — с Королевой ошуюю и Тристаном одесную. Неожиданно он, простерши обе руки, сжал ладони Королевы и Тристана, одарив их поочередно любящим взором. Выпустив их ладони, Король повернулся к главному дворецкому, приближавшемуся с блюдом хлеба и масла. И в этот миг Королева с Тристаном обменялись взглядом столь быстрым, что то был не столько взгляд, сколько сорвавшаяся попытка взгляда, перебив во взорах, направленных куда-то еще, но этот промельк, эта тень промедления, дала мне понимание — в наплыве чувств, от которого кожа моя согрелась, — всей предыстории их таинственного поведения. Я увидел в этих взглядах довольство, подтверждение того, что замысел их успешно осуществляет-

ся — замысел, который теперь прозрачно мне ясен. Они согласились, ведомые мощью восторженной их любви, воздержаться на время от амурных шалостей — из сочувствия к Королю. Похоже, жизнь в лесу де ла Рош Соваж наполнила обоих такой уверенностью друг в друге, что они могут теперь позволить себе и послушание.

Понимает ли Король, что они снисходят к нему? Не в этом ли понимании и сокрыт источник его смятения?

Королю не по силам скрывать досаду. Возможно, конечно, что он подозревает наличие неких уловок, новейших обманов, измышленных изобретательными любовниками. Или он чувствует страшную мощь любви, способной позволить себе и самоотречение?

Поутру, после капеллы, мы с Королем прогулялись по замковому двору. Заглянули в кречатню посмотреть на нового норвежского кречета, который, сказывают, превосходит быстротою всех наших птиц. В сумраке кречатни стоял, держа сокола, накрытого клобучком, на запястье, Тристан. Король и он переговорили о новом кречете, которого сокольничий натаскивал о ту пору в поле близ плодового сада. Затем Король попросил Тристана заглянуть к Королеве, пребывавшей со своими камеристками в женском покое. Тристан, помявшись, сказал, что обещал присутствовать при натаске кречета, после чего он, если таково желание Короля, готов навестить Королеву. Король твердо повторил свою просьбу. Тристан пересадил птицу на насест и медленно удалился в сторону женских покоев.

Не страшится ли Король их воздержания, усматривая в нем знак любви, превосходящей силой его собственную? Или причина тут в том, что хоть он и не способен снести измену, еще невыносимее для него снисхождение?

Король ведет себя по-прежнему странно. Уж не желает ли он насильственно толкнуть Тристана в объятия Королевы?

Этой ночью я, лежа в постели, услышал, как на двери королевской опочивальни сдвигается засов. Шаги — то несомненно были шаги Короля — направились прямо к покою Тристана. Стук в дверь, движенье засова, негромкие голоса. Снова шаги — сдвоенные, Короля и Тристана, — от его покоя к спальне Короля. Что бы это могло значить?

Должно быть, я впал в дрему, потому что, очнувшись, увидел отблеск свечи на потолке, над немного раздвинутой завесой моей кровати. Внезапно завеса раздернулась полностью и надо мною склонилось лицо Короля. В глазах его читались волнение и нетерпеливость. Я перебросил ноги через край кровати, прикрыл мантией мою наготу и последовал за Королем в его опочивальню.

В темноте, озаряемой только одной свечой, я увидел Тристана, лежавшего навзничь на полу. Одна рука его была откинута в сторону, глаза закрыты. Встревоженный, повернулся я к Королю, недвижно, словно бы в оцепенении стоявшему над племянником; потом в страхе нагнулся, чтобы получше все разглядеть в свете свечи. Глаза Тристана раскрылись. Он без удивления вгляделся в меня, улыбнулся открыто, вскочил — со стремительной грацией, никогда его не покидающей, — на ноги и замер перед Королем.

– Королева крепко спит, господин мой, – шепотом сообщил он.

Король походил на человека, пробуждающегося ото сна. Не отрывая глаз от Тристана, он повернул ко мне лицо и негромко сказал: "Королеве снились страшные сны. Я подумал, быть может, Тристан..."

И вот сейчас, сидя за моим столом, я торопливо записываю эти строки. Сколько еще могут продолжаться такие тревоги? Непорядок в опочивальне, разброд в замке, предчувствие беды в королевстве. Мне страшно за Короля, страшно за Тристана. Они ведут опасную игру, у которой не может быть доброго исхода. Король, изображая заботу о жене, призывает Тристана в свою постель; Тристан целомудренно укладывается на пол. Ход и контрход, ловушка и уклонение от нее. Где же конец? Надо бы поспать.

Я спрашиваю себя: почему Королева и Тристан вернулись в замок? В том ли тут дело, что лесная идиллия их порождена была сокровенностью и конца сокровенности пережить не сумела? Но ведь могли же они укрыться в другом лесу, в другом королевстве. Ты забываешь, Томас, Король сам призвал их. Да, но почему они послушались? Может ли быть, что, даже изменив Королю, они сохранили верность, присущую подданным, для которых первейший долг – послушание?

Напрашивается иное объяснение. Любовь Тристана и Королевы всегда цвела в соседстве Короля, будучи направленной против него. Отлученные от двора, очутившиеся в лесном одиночестве, не обнаружили ль они, что временами помышляют о нем? Не обуяла ль их некая тревога – там, в лесу? Может статься, для того, чтобы любовь их цвела, – для того, чтобы они вообще способны были любить друг друга, – им потребен Король?

Блестящий удар! Король призвал Королеву с Тристаном на Совет и в присутствии главных баронов воздал им хвалы за то, что они образцовым своим поведением положили конец злословию. Со времени их возвращения ко двору, сказал Король, они во всем подчинялись королевской воле, и потому всякого, кто уличен будет в затрагивающих честь королевского дома речах, ждет немедленное наказание.

Этой речью Король достиг цели двоякой. Он обратил добровольное воздержание любовников, каковое, что ни миг, досаждало ему и гневило, в акт подчинения его царственной воле. Однако за похвалами его крылась вторая, более мрачная, но блестящая стратагема.

Король, чье чутье обострила ревность, нутром сознает, что Королева с Тристаном не покорствуют ему – что хоть они и разыгрывают самоотречение, в сокровенной сердцевине оного кроется нечто, самопожертвованию противоположное: окончательное забвение себя самого ради другого. Ибо если они, в полноте их торжествующей любви, тешатся обманной заботой о благополучии Короля, если находят радость в покорстве, если упиваются самоотречением, стало быть, ни от чего они на самом-то деле не отрекаются и никому не покорствуют, нет, они остаются спряженными друг с другом вопреки всему – земному или небесному. И поскольку Король сознает это – чего и сами-то они, увлеченные своей мелкой драмой самоотречения, порядком не сознают, – он получает преимущество в опасной игре, которую ведут все трое.

Сбиваемый с толку на каждом своем шагу, раз за разом обманываемый в попытках отыскать доказательство измены, которой он не перенесет, Король, послушавшись, верно, инстинкта, сокрытого в потаенных глубинах натуры его, нащупал единственный путь, способный, быть может, привести его к цели, которой он столь страшится и жаждет.

Король наблюдает. Двор предается обычным своим удовольствиям. Тристан с Королевой являют истинную картину благопристойности. Ничто не меняется.

И все же я спрашиваю себя: так ли уж и ничто? Все это походит на летний день, такой же, как прочие летние дни, если только не считать прикрытого полуденным зноем первого осеннего холодка. А кроме того, наличествуют и определенные знаки.

В осмотрительности Королевы и Тристана обозначилось нечто новое, я это заметил. Встречаясь, они теперь несколько скованны: слишком усердно избегают они взглядов друг друга, слишком большое сохраняют между собой расстояние. Речь, произнесенная Королем в Совете, явно поставила их в тупик. Они почуяли в ней угрозу, понять которую пока еще не сумели.

В особенности усталой и напряженной выглядит Королева. Каждую ночь она послушно исполняет на королевском ложе свой супружеский долг. Каждый день склоняет главу на мессе, сидит за обедом по левую руку от Короля, гуляет с камеристками. А где же Тристан? Что сталось со страстью, которая сжигала их в лесу? Существование Королевы ныне — маскарад, пиеса. Всякая жизнь в ней затаилось.

Я проходил сегодня двором мимо пекарни и кухни, и тут из-за угла выступила Брангейна и вложила в ладонь мне записку. Я не разговаривал с нею со времени изгнания Тристана и Королевы. Когда я поднял взгляд от записки, Брангейны уже не было рядом со мной. Я должен встретиться с нею в башенном покое Королевы после того, как колокола отзвонят полдень. Королева при встрече присутствовать не будет.

В согретом солнцем покое, в облаке блистающей пыли, Брангейна, замкнув дверь, повернулась ко мне. Лицо ее осунулось, взгляд был суров; в теплом, взволнованном свете она выглядела постаревшей.

— Королева несчастна, — сказала Брангейна.

— Королева... — я помедлил, стараясь потщательнее выбрать слова, — имеет множество оснований для счастья.

Что-то мелькнуло в ее глазах — разочарование, презрение, — заставившее меня, увидевшего ее молодой порыв, устыдиться придворной плавности моих словес.

— Зачем, — резко спросил я, — Королева вернулась в замок?

— Ее призвал Король.

— Она подчинилась Королю?

Брангейна запнулась на один только миг:

— Она всегда ему подчинялась.

— Всегда?

Брангейна смело встретила мой взгляд.

— Вступая в брак, она преклонила перед Королем колени, как перед своим господином. Когда Король изгнал ее, она ушла. Когда позвал назад — вернулась.

Я уже и забыл, насколько скор ум Брангейны. В сущности, сказанное ею было верно. Я еще соображал, что ей ответить, когда она произнесла:

– Это Тристан настоял, чтобы Королева вернулась.

– Потому что их обнаружили?

– Ради ее чести.

Я попытался представить Тристана, который, пробудившись в лесу, видит рядом с собой меч Короля.

– Честь ее теперь восстановлена, – еще произнося эти слова, я устыдился плохо прикрытого ими презрения, однако Брангейна не обратила на них внимания.

– Я знаю ее. Знаю Изольду Прекрасную. И боюсь... – она примолкла.

– Боишься того, что она может сделать?

– Боюсь ее несчастья, – устало сказала Брангейна. И следом: – Король наблюдает за ней.

– Король любит ее.

Брангейна пропустила это мимо ушей:

– Вы близки к Королю. Вы знаете, куда он уходит и когда...

– Ты просишь меня стать шпионом при Короле?

Она смерила меня нетерпеливым взглядом.

– Я прошу вас позаботиться о том, чтобы никто не пострадал, – она уже шла к двери.

И только после ее ухода меня осенило, что Брангейна просила не просто присматривать тщательно за Королем, но и сообщать о его перемещениях ей, дабы Королева была вольна делать то, что она хочет.

За ужином Король, в наплыве ребячливого добродушия, воскликнул, обращаясь ко мне: "Томас! Откуда такая печаль?" Я уж было и ответил ему с неменьшей беспечностью, да вдруг заметил, как смотрит на меня Королева. Под этим гордым и горестным взглядом я ощутил, что смятение обуревает меня, – так, будто слово "печаль" раскрывается во мне подобно темному цветку, – и уставился в тарелку, точно смущенный ребенок, и уж не знаю, что бы произошло, если б Король, все такой же веселый, не воскликнул вдруг: "Тристан! Спой для печального Томаса!", после чего я набрался сил, чтобы взглянуть на Тристана, смотревшего на Королеву.

Король, не способный долее преодолевать свою страсть к охоте, попросил меня присмотреть в его отсутствие за Королевой. Это означает, что я обязан повсюду следовать за ней и Тристаном. Король отбывает завтра на утренней заре и возвратится только к ночи.

Я сообщил Брангейне о планах Короля.

Когда же она попыталась поблагодарить меня, кровь бросилась мне в голову, да так, что я лишился способности и видеть, и слышать. Помню только, что Брангейна откинула голову назад, как если бы я ударил ее по лицу.

С чего начать?

Я люблю иногда пройтись в полуденную жару по королевскому саду. Белые и красные розы на клумбах, трехцветные фиалки и водосбор, переплетенные тени буковых ветвей на песочных дорожках, свинцовая купальня для птиц с вырастающим из середины ее темным изваянием

сокола, увитая багровым виноградом беседка, плеск фонтана, чья вода истекает из пастей четырех леопардов, — все это успокаивает растревоженный разум, успокаивает и самое тело, которое, точно усталое животное, ищет укромных и тихих мест, где можно было бы полежать в прохладе темно-зеленых теней. Здесь и там расставлены по саду покрытые мягким дерном скамьи, однако я ушел в самую его гущу, к дальней стене. Тут я лег на траву под плодовыми деревьями. Каменная стена высоко вставала надо мною; сквозь зеленую листву и перекрученные ветви небо едва различалось. Король охотился в лесу. Королева удалилась к своим камеристкам. И я закрыл в спокойствии сада глаза.

Когда же я открыл их, надо мной склонялось лицо Короля. Что происходит, я понял не сразу. Король, решил я, пришел, чтобы полежать со мной в садовой тени, как делывал он в отроческие дни, когда ему нравилось валяться на траве, выспрашивая у меня, существует ли в добавление к каждому отдельному дереву субстанция, именуемая "Дерево" и обладающая реальным бытием, и если существует, то чем это "Дерево" отличается вон от того, стоящего перед нами. Потом мне стукнуло в голову, что я, надо думать, сплю: Король же охотится в лесу. Но я уже понял, что не сплю, в лице Короля читались напор и суровость, глаза были полны печали и гнева. Он грубо встряхнул меня: "Томас!" Я встал и последовал за ним, и меня охватило ощущение, что зеленая тень, тропинки, фонтан, розы, спокойствие этого часа — все блекнет и распадается за моей спиной, подобно тем образам, что стоят, отчетливые и яркие, перед мысленным взором, а откроешь глаза — и они, дрогнув, тускнеют.

Король провел меня двором в башню Королевы, из которой вела в ее обнесенный стеною сад узкая дверь.

Я шел за ним по песочной дорожке, затененной растущими по одну ее сторону миндальными деревами и грецким орехом. Мы миновали пруд с рыбками, маленький травяной огородик, где росли шалфей, иссоп, душица и рута, квадратные купы роз и маргариток, рощицу боярышниковых деревьев. Здесь и там попадались мне на глаза ниши в стене — с дерновыми сиденьями, укрытые ветвями, выросшими на решетчатых отгородках. В северо-западном углу сада была высокая, выше моей головы, зеленая изгородь с прорезанным в ней арочным проходом. Вступая в него, Король извлек меч. Я вступил следом, и мы, пройдя круто изгибающимися дорожками лабиринта со шпалерами по обеим их сторонам, достигли, наконец, скопления фруктовых деревьев, за которым поднималась стена сада.

Под грушевым деревом лежали Тристан и Королева, спящие. Лежали на белом холсте, под красным шелковым покрывалом с парчовыми золотыми львами. Лежали в зеленой тени, обнявшись, уста к устам. Покрывало, частью отброшенное, открывало их голые руки и торсы. Груди Королевы прижимались к груди Тристана. Что меня поразило, так это ее волосы — распущенные, нагие, буйные, подобные только что извергнутой желтой лаве, стекающей по ее плечам, окутывая Тристана, пылая на покрывале.

Дыхание их было мирным. Я не мог заставить себя взглянуть Королю в лицо.

Он наклонился ко мне и хрипло прошептал: "Нам должно найти свидетелей". Потом повернулся и пошел прочь.

Я вытащил кинжал, подкрался к спящим. Склоняясь над Тристаном, я вообразил, как кто-то следит за мной с дерева, за убийцей в саду. Осторожно уложил я кинжал с осыпанной каменьями рукоятью поперек голого горла Тристана. И, распрямившись, пошел по огражденным тропкам следом за Королем.

Почему Король ушел? Он ушел потому, что, хоть и поймал их на месте преступления и имел полное право убить, он так давно уже и долго рисовал в воображении именно эту картину, что она, надо думать, показалась ему знакомой, нимало не удивительной, возможно, даже разочаровала отчасти. Ушел потому, что в самый тот миг, как увидел их, изведал несчастье настолько глубокое, что облегчить его не смогло бы ничто. Ушел потому, что был Королем справедливым, и хоть он застал жену и племянника лежащими нагишом под грушевым деревом, не желал предавать их бесчестной смерти — в ослеплении мгновенного гнева, в присутствии единственного свидетеля, известного всем как его друг, — ибо могло ведь, даже и теперь, сыскаться объяснение, не пришедшее ему на ум и способное доказать их неповинность. Ушел потому, что не смог бы снести жизнь без Королевы, без Тристана. Ушел потому, что, хоть и собирался вернуться и убить любовников на их ложе, хотел также дать им возможность бежать. Ушел потому, что сердце его было разбито. Ушел потому, что в первый миг, как увидел их и сознание предательства проникло ему в душу, он испытал подобие благоговения перед красотой Тристана, красотой Изольды, двух влюбленных под грушевым деревом, в саду, вне пределов этого мира.

Такие мысли одолевали меня, пока я шел за Королем мимо зеленых изгородей, а после по саду, к двери в башне.

За дверью из сумрака выступил Модор. Он уже обнажил свой маленький меч и держал его, возбужденный, высоко поднятым. “Ты видел их!” — воскликнул он, и лицо его исказило лютое ликование.

Король, вскрикнув, ударил карлика мечом. Меч отсек ладонь Модора точно по запястью. Модор испустил высокий, пронзительный, отвратительный вой и согнулся, прижимая кровавый обрубок к животу. Я смотрел на маленькую раскрытую ладошку, лежавшую на полу, рядом с упавшим совсем к ней близко мечом. Модор, вереща, как ребенок, уковылял, спотыкаясь, во мглу.

Пока мы шли к главной зале, чтобы взять там свидетелей, Король рассказал мне, как Модор прискакал в лес с известием, что видел Тристана и Королеву входящими в сад. Приставив лестницу к садовой стене, карлик наблюдал, как они ложатся под грушевым деревом.

Когда мы вернулись, сопровождаемые четверкой баронов, в сад, то нашли под деревом лишь Королеву, до шеи укрытую покрывалом. Она в отчаянном страхе взирала на нас шестерых, стоявших над ней с обнаженными мечами. Ясно было, что она ожидает смерти.

Бароны смотрели на Короля. Король смотрел на Королеву. Потом он, не произнеся ни слова, поворотился и пошел вон из сада.

Король больше не покидает замка. Он гуляет по своему саду, запирается один в башне, не мигая смотрит перед собою в капелле, безмолвно сидит за обеденным столом рядом с безмолвной Королевой. Временами он стоит на стене, глядя поверх зубцов ее вдаль. Только за едой да за ут-

ренней мессой и встречается он с Королевой. Они никогда не смотрят друг на друга.

Королева же проводит много времени в женских покоях, вышивая с камеристками, или у себя в башне, в комнате, окно которой выходит на ее сад.

Ночами, в опочивальне, Король упивается Королевой. Но правильно ли говорить, что он упивается ею? Не точнее ли будет сказать, что Король испивает чашу страдания? Ибо, возлегая с Королевой, разве не слышит он — на ложе, подле нее, — дыхания Тристана, не ощущает под своею ладонью руку Тристана?

Никогда еще Король и Королева не были так одиноки.

Королю, пощадившему Королеву, не осталось ничего иного, как обратиться в созерцателя ее горя, ее непрестанной тоски по Тристану. Это страдание, хоть и невыносимое, все же менее невыносимо, нежели то, какое он испытывал бы, если бы приговорил ее к смерти, ибо тогда ему пришлось бы проститься с надеждой — сколь бы обманчива она ни была — на то, что все изменится, что с ходом времени Королева начнет забывать Тристана.

И, стало быть, Король обрек себя на полную страдания жизнь ради будущего, в наступление коего он не верит.

Возможно также, что ему хочется, чтобы Королева видела, как он страдает, чего не могло бы случиться, будь она мертва.

Стоит ли дивиться тому, что они не в силах смотреть друг на друга при свете дня?

Прошлой ночью я отправился погулять по плодовому саду. Я не заглядывал в него уже многие дни. Воздух был прохладен и свеж — дыхание осени, — и, проходя тележными путями под темным, сверкающим звездами небом, я вдруг припомнил ночь, когда увидел Тристана и Королеву, шедших невдалеке от меня под деревьями — шедших так медленно, что они почти и не продвигались. Я живо вспомнил эту картину, но по какой-то причине не смог вернуть себе чувства, которые тогда взволновались во мне. Уж не были ль они призрачными — эти волнения, потрясение? Или я растратил их до конца? Размышляя над этими вопросами, я обнаружил вдруг, что забрел в знакомое место неподалеку от острого частокола. Я признал раскидистую яблоню, среди ветвей которой мы с Королем прятались, словно мальчишки, затеявшие игру.

Повинуясь внезапному порыву, я ухватился за ветку и, подтянувшись, забрался на дерево. Я поднимался между тяжелых от созревших яблок ветвей, пока не добрался почти до самого верха. По одну сторону от меня различалась уходящая в королевский лес стена заостренных кольев; по другую вставала за освещенным луной простором плодового сада бледная стена замка. В памяти моей прозвучал голос Короля: “Вниз, Томас! Какого дьявола ты там делаешь?” — и я задумался, что можно было б ему ответить, как вдруг услышал невдалеке звуки шагов и быстро укрылся во мгле листвы.

Появились двое, я узнал их мгновенно — Королева с Брангейной. Я разрывался между желанием обнаружить себя, потому что не шпионить же мне за Королевой, и потребностью затаиться, ибо как объяснил бы я ей мое присутствие здесь, в саду, ночью, на дереве, под которым ког-

да-то происходили свидания? Пока я мешкал, женщины приблизились к дереву. Брангейна, увидел я, несла какой-то сверток. Королева застыла, взирая на ствол, словно моля его заговорить, Брангейна же развернула сверток, состоявший, как оказалось, из стеганого одеяла и покрывала. В испещренной лунным светом тени от яблони Королева прилегла и закрыла глаза. Брангейна стояла с ней рядом на страже — точно арбалетчик на замковой стене. Обе молчали.

С высоты, укрытый ветвями яблони, я вглядывался в спящую Королеву, которая лежала, чуть отвернув голову в сторону. Ее лицо, надменное и печальное при свете дня, выглядело сейчас покойным и мирным — почти что лицом спящего ребенка. И меня вновь поразила тайна ее красоты, казалось, струящейся ко мне от подножия яблони. Мне вдруг пришло в голову, что и я тоже охраняю ее, спящую странным сном под древом свиданий. Только тут все и вернулось ко мне — та ночь, когда я увидел их в плодовом саду: благоговение, покой, миг, в который темное небо могло расколоться и излить ослепительный свет.

Пришла ли она, чтобы заснуть под открытым небом, потому что в королевской опочивальне заснуть не удается? Бежала ли от Короля, чье внимание ей претит? Возможно, она получила весть от Тристана, и тот в любую минуту может перескочить через стену, чтобы заключить ее в объятия? Или она, в горести своей, искала место, где была некогда счастлива?

Я не решался пошевелиться, боясь разбудить ее или насторожить Брангейну. По счастью, я прошел хорошую выучку: еще молодым рыцарем я приучил тело подчиняться моей воле и однажды заставил себя простоять, не двигаясь, от рассвета и до заката в саду моего дяди. Время шло или же прекратилось совсем. Меня охватило чувство, будто я сижу на дереве, охраняя Королеву, не одну эту ночь, но уже многие — каждую ночь с той, в которую я увидел ее и Тристана шедшими по лунному саду. И испытал испуг, почти разочарование, когда Брангейна нагнулась и потрясла Королеву за плечо, пробуждая.

Та открыла глаза — мне видно было, как они открываются и словно вглядываются в меня, укрытого среди ветвей, — потом порывисто села, протянула руку, и Брангейна помогла ей подняться.

— Поспешим, — сказала Брангейна, уже собиравшая одеяло и покрывало.

— Он придет, — произнесла Королева негромко и грустно.

Они пошли к замку, а я смотрел, как они уходят плодовым садом и скрываются из глаз. Долгое еще время я, точно завороженный, оставался на дереве. Потом спустился и вернулся в замок, на дворе которого уже начинали перекликаться петухи.

Королева выходит каждую ночь и ждет Тристана под яблоней. Король не может не знать об этих походах.

Нынче утром, во время службы в капелле, Королеве, поднимавшейся с колен, вдруг стало дурно и она покачнулась, на миг припав к Королю. Король, сам только что вставший, тоже качнулся под внезапной тяжестью Королевы и, верно, упал бы, не успей я удержать его обеими руками. И Король, и Королева тут же пришли в себя. Весь эпизод занял мгновение, однако глазами разума я вижу нас троих словно запечатлен-

ными на барельефе: Королева припала к Королю, Король припал к старому товарищу, который — напрягши шею и оскалив зубы — немного клонится в сторону, левая рука его вцепилась в плечо Короля, правая — в спину.

Этой ночью я проснулся оттого, что увидел тревожный сон о Тристане — он лежал, раненый, истекающий кровью, под деревом, — и мне показалось, будто из покоя Тристана доносятся какие-то звуки. Я сел, вслушался. Сомнений не было: кто-то ходил по спальне Тристана. Я поднялся, накинул мантию, нацепил пояс с мечом и, выйдя из комнаты, направился к двери Тристана, приоткрытой на ширину ладони.

Войдя внутрь, я увидел в исполосованной лунным светом тьме человека, сидевшего на краю кровати, между раздернутыми завесами. Сердце мое подскочило — он вернулся! — но сразу за тем я признал в сидящем Короля.

— Это ты? — спросил он голосом столь печальным, что на душу мою легла тяжесть, от которой трудно стало говорить.

— Это Томас, господин мой.

— А, Томас. Я подумал... — Он встал в темноте с кровати. — Не люблю пустых комнат, — сказал он. — Напоминают мне о... — Король махнул рукой, и она упала, повиснув вдоль тела. — Я иногда прихожу сюда, ночами. Не знаю почему. Помнишь, как мы скакали втроем? Ему было тогда пятнадцать. А он уже мог завалить оленя, точно взрослый мужчина. И его арфа: как он довел до слез менестреля. Помнишь? Мне было двадцать пять. Двадцать пять! Господи, куда все подевалось? Я теперь и не сплю никогда. Ты спишь, Томас? Ну да, конечно, спишь. Я все думаю — он вернется, попросит меня о прощении. Она ничего не ест. И не говорит со мной. Пойдем, я тебе кое-что покажу.

Он прошел в дверь, и я последовал за ним в королевскую спальню. Ставни были раскрыты, светлая ночь озаряла комнату. Он отвел в сторону полог кровати, и я увидел спавшую на боку Королеву. Я едва различил ее в темноте постели.

— Приходилось ли тебе видеть лицо более прекрасное? — спросил Король, отпуская завесу. — И при этом... — и опять беспомощный жест, рука поднялась и упала вдоль тела. — Да, я же хотел показать тебе...

Он снова раздернул завесу и склонился над Королевой. Когда он начал осторожно стягивать с нее покрывало, я не знал, что и подумать. Уж не собирается ли он показать мне наготу Королевы? Но тут я приметил какое-то поблескивание — тело ее от шеи до талии было укрыто чем-то. Король вернул покрывало на место и отвел меня к двери.

— Это железная рубаха. Раздобыла ее у капеллана. Носит днем и ночью. Она вся в порезах, в царапинах — вся.

— Но зачем...

— Сначала я думал, будто она наказывает себя за то, что... покрыла меня позором. Теперь же думаю, что наказывает она себя за то, что он покинул ее. Она снимает ее, если я попрошу. Я устал, Томас.

— Поспите, господин мой.

— Поспать? Со сном покончено. Сон — это для молодых. Он больше не желает меня знать. Спокойной ночи, Томас.

Я оставил его стоящим у двери наподобие рыцаря, коему вверена охрана сна королевы.

Не нравится мне эта железная рубаха, врезающаяся в тело Королевы. Может быть, стоит поговорить с капелланом?

В одном Король ошибается: я тоже больше не силю.

Сегодня зал освободили от столов, чтобы для нас поиграл слепой арфист из Бретани. Я наблюдал за Королем и Королевой, неотрывно всматривавшимися в арфиста, стараясь проникнуть под его личину. Даже я, сразу понявший, что это не Тристан, пристально разглядывал арфиста, гадая, не ошибся ли я, не обманул ли он нас, изменив самую форму своего тела.

Все мы ожидаем его, светозарного.

Когда бы Тристан возвратился *сейчас* и попросил Короля о прощении, ему вернули бы все — кроме Королевы, кроме Королевы, кроме Королевы.

Прошла неделя, сообщить особенно не о чем. Арфист уехал, умерла одна из любимых борзых Короля, шестеро пилигримов поселились на несколько дней в гостевых покоях, оруженосец, обвиненный в том, что ударил служанку, был бит плетьми. Освин жалуется, что пилигримы опустошают казну; докладывает о расходах — две дюжины кур, сотня яиц, сено для шести лошадей. Вчера в королевском лесу вепрь пропорол бедро барону Амори де Шастеле.

Случилось происшествие необычайное.

Прошлым вечером я лег довольно рано — после того, как послушал менестреля, певшего о Карле Великом и Роланде, и сыграл с Королем в шахматы. При прощании нашем он заговорил о вепре, набросившемся на барона и распоровшем тому ногу от колена до живота, и мне представилось, что мысли Короля начинают возвращаться к охоте — знак обнадеживающий. Улегшись в постель, я сразу провалился в глубокий сон и проснулся лишь на рассвете. А пробудившись, обнаружил — что-то холодит мне шею. Поначалу я приписал это действию прохладного утреннего воздуха, однако нет — что-то давило на шею, некая холодная тяжесть. Я тронул шею рукой, и ладонь мне пронзила боль. Я рывком сел, совсем уже проснувшись, и увидел на ладони струйку крови. На покрывале лежал мой кинжал с усыпанной самоцветными камнями рукоятью, тот самый, который я положил на горло Тристана — под грушевым деревом, в саду Королевы.

Он был здесь! — я не сомневался, что кинжал положил на мою шею Тристан, — и прежде чем направиться к капелле, заглянул в его спальню и отдернул завесу кровати, как будто мог найти его там, спящим.

В капелле, стоя на коленях близ Короля, я внимательно вглядывался в Королеву. Теперь мне представлялось, что она переменилась немного, что щеки ее чуть розовее, губы не так поджаты и что перемены эти я наблюдал, не задумываясь о них, вот уж несколько дней.

После завтрака я послал Брангейне записку, и мы встретились в королевском саду. Присев на скамью у фонтана леопардов, я извлек кинжал. Она отпрянула — словно решив, что я надумал убить ее, — но тут же признала оружие и сообразила, в чем его значение.

— Он возвращался, — сказала тогда она.

Брангейна открыла мне весь хитросплетенный план, исполнявшийся как раз в то время, когда я полагал, что сообщать мне особенно не о чем. Слепой арфист, слепым нимало не бывший, оказался вестником Тристана. Он известил Королеву, передав через Брангейну послание, что Тристан приплыл из страны Лион и скоро придумает, как пробраться в замок. Ему ничего не стоило условиться с нею о встрече в плодовом саду, однако он хотел сам побывать в замке. Он и пятеро его товарищей, переодевшись пилигримами, вошли в ворота замка; под бедными плащами их скрывались мечи и кольчуги. Три дня они обедали в главной зале среди наших гостей, прогуливались по окрестностям, молились в капелле. Тристан условленным знаком открылся Королеве и встречался с нею наедине — днем в ее саду, ночами в плодовом. Он оставался здесь три дня и три ночи, и на третью прокрался в мою спальню и вернул кинжал. А на рассвете уплыл по морю в страну Лион, где живет в наследственном замке. Туда-то он и бежал в ночь после того, как их застали под грушевым деревом. Там и жил, печалясь об утраченной Королеве, пока наконец, поискав смерти в войнах с германцами и не найдя ее, не задумал вернуться, переодевшись пилигримом, в Корнуэлл, дабы заверить Королеву в своей непреходящей любви.

Таков был рассказ, вполголоса поведанный мне у фонтана Брангейной. Пока она говорила, в памяти моей вставал гордый юноша из страны Лион, некогда прискакавший в Корнуэлл, ко двору своего дяди, — прискакавший с таким непринужденным изяществом, что ему, говорили тогда, впору было тягаться с самим Королем. Король видел в его лице лицо своей покойной сестры, Бланшфлёр, а я — лицо юного Короля. И на миг они смешались в моем сознании — юный Принц, которого я любил и которого обучал искусству меча и диалектике, и юный лорд, десять лет спустя прискакавший в Корнуэлл и походивший осанкой, манерой держаться, даже обличием на моего возлюбленного и в ту пору молодого еще Короля.

Когда я спросил у Брангейны, почему Королева не бежала с Тристаном в страну Лион, та выпрямилась на скамье, где сидела. "Она супруга Короля", — ответила Брангейна, и в голосе ее я уловил нотку укоризны.

Тристан не вернулся. Лицо Королевы осунулось от скорби, поблекло от страстного томления; вся жизнь ее свелась к одному — к ожиданию. Она словно сбрасывает с себя одну чешуйку кожи за другой, избавляясь от лишних прикрас и движений, обретая в итоге сходство с установленной на тимпане каменной фигурой святого, в простом коленопреклонении коего навеки запечатлены множество поз, наполняющих сроки нашей жизни. И Король тоже ждет, но без надежды: он ждет, что Королева забудет Тристана и обратит свои взгляды к нему. Поскольку несчастие наделило его терпеливостью и поскольку надежд он лишен, Король окружает Королеву заботами и даже предвосхищает ее желания: он больше не спит в своей спальне, но перебрался в покой Тристана. Временами он слышит, как Королева возвращается из плодового сада, где ждет ночами Тристана, какой бы холод ни стоял на дворе. Тогда он освещает ей путь в спальню, призывает слугу, чтобы тот разжег в очаге огонь, и, пожелав Королеве доброй ночи, возвращается в покой Тристана.

Он поселил в своей новой обители ястреба-перепелятника, и тот ночами спит на деревянном насесте близ королевского ложа. С ним так-

же и ручной его ворон – этот расхаживает по полу или сидит на плече Короля. Иногда, на утренней заре, ворон с пронзительным клекотом вспархивает на закраину окна. Однажды я видел, как он сидит на голове резного сокола, венчающего кроватный столб.

"Королева желает увидеться с вами в саду". Слова эти прошептала мне Брангейна, когда я столкнулся с ней в тени арочного прохода, ведущего из главной залы к ступеням, что спускаются во двор. Я никогда еще не беседовал с Королевой наедине и, направляясь к башне, дверь которой вела в сад, гадал о том, какой же силы отчаяние должно было истерзать ее, чтобы она попросила о встрече близкого товарища Короля, одного из тех шестерых мужчин, что, обнажив мечи, смотрели на нее, простертую под грушевым деревом. У башенной двери меня поджидала Брангейна. Она повела меня в сад, по песочной дорожке, затененной растущими по одну ее сторону миндальными деревами и грецким орехом, мимо пруда с рыбками, маленького травяного огородика, квадратных куп роз и маргариток – к высокой зеленой изгороди с прорезанным в ней арочным проходом. Я следовал за нею по лабиринту огороженных тропок, гадая, не к знаменитому ли грушевому дереву ведут меня; но, видимо, мы избрали иную череду поворотов, потому что вышли вдруг на маленький, открытый участок травы, окруженный увитой лозами решеткой. Королева сидела на желтой шелковой подушке, уложенной поверх похожей на короб, покрытой дерном скамьи, насупротив нее стояла еще скамья с шелковой же, но белой подушкой, расшитой золотом. Королева жестом попросила меня сесть, и Брангейна оставила нас наедине.

– Мне говорили, что вам можно довериться, – начала Королева тоном, который мне показался и надменным, и недоверчивым. Она взирала на меня с опаской, словно гадая, далеко ли ей можно зайти, испытывая мою преданность Королю.

– Брангейна, – осторожно ответил я, – льстит мне.

– Никто вам не льстит! – сердито бросила Королева. И вдруг поднялась на ноги – словно нависла надо мной, точно рассерженный отец, – и пока я вскакивал, мне чудилось, будто она собирается ударить меня по лицу. – Есть у вас вести от него? – ожесточенно спросила Королева. – Почему он не приходит? Случилось что-то дурное.

Теперь в ней ничего сердитого не было – одна лишь сила страдания.

– Я ни о чем не слышал, – ответил я, испуганный тем, как изменилось ее лицо, искаженное томлением, опасное в своей скорби.

– Случилось что-то дурное, – повторила Королева, опускаясь на свою скамью. Она вдруг сделалась усталой и маленькой, схожей с утомленным ребенком.

– Если я что-то услышу...

– Он доверяет вам? – резко спросила Королева, вглядываясь в меня.

Я поколебался.

– Он имеет на то многое множество причин.

– Тогда если услышите что-то – все что угодно...

– Да, я дам вам знать...

Королева снова встала.

– Случилось что-то дурное, – в третий раз произнесла она, но уже отстраненно, словно и не слыша себя. И затем, повернувшись, чтобы

взглянуть на меня: — Спасибо вам за... — она немного подумала, — за то, что вы такой хороший человек.

Слова эти напугали меня — рассердили, ибо давно уж прошло то время, когда я способен был помышлять о себе, как о хорошем человеке, — но Королева выговорила их с такой силой, что я в ответ лишь склонил голову, хоть и почувствовал, как к лицу моему приливает кровь.

Я думал о перемене, случившейся с Королевой, когда она стояла надо мною в саду: о неистовстве ее горя, о заострившемся от страстных желаний лице. В тот миг, в миг, когда я ощутил силу ее страсти, черты ее были неприятны для глаз. Не в этом ли и кроется тайна ее притягательности для Тристана? Не в том ли, что когда она *перестает* быть прекрасной для глаз, то для него становится неотразимой?

Новости о Тристане — новости, которые необходимо утаить от Королевы. Ужасные толки! Как долго удастся оберегать ее от них?

Я узнал все от менестреля, который, прежде чем приплыть морем в Корнуэлл, проехал через Арундель. Он слышал, будто Тристан Лионский женился на дочери герцога Арундельского. Говорят, та весьма прекрасна.

Тристан женился! Какая нелепость! Не может это быть правдой. Но что меня тревожит — что пугает меня, — так это имя герцоговой дочери. Она зовется Изольдой — Изольдой Белорукой.

Сколь ни бесит меня этот слух, мне внятно колдовское обаяние ее имени. Я воображаю Тристана, выступающего рядом со второй Изольдой, этой Изольдой, которая не Изольда, не Изольдой, которая Изольда. Если ему не суждено обладать Изольдой, что ж, он будет обладать... Изольдой. Его влечет к ней красота, но ничто в ее красоте не сравнимо с красотой ее имени: Изольда. На Изольде Тристан никогда жениться не сможет, но уж, конечно, он может жениться на Изольде. Выбор его — между Изольдой и Изольдой: Изольдой, которая скрыта от глаз, Изольдой-воспоминанием, Изольдой, от которой сохранился не более чем звук имени, — и живой, смеющейся Изольдой, Изольдой зовущей и зримой, Изольдой, которая проходит под солнцем, отбрасывая резкую тень. Все дни изгнания он помышляет об Изольде, все ночи грезит об Изольде в пустой постели — и постепенно из грезы выступает Изольда реальная. Как может он не простереть руки и не схватить ее?

Эта молва не должна достичь Королевы.

Каюта моя мала и темна и освещена лишь болтающимся на крюке светильником. Я придерживаю рукой доску для письма, а тени вытягиваются и сокращаются. Над головой моей раздается скрип мачт и оттяжек, вой крепкого ветра. Итак, Томас идет под парусом — морем, в страну Лион...

Это Король послал меня, чтобы проверить молву. Ах, Томас, Томас, неужто и вправду ты думал, что подобная весть не пронесется по двору, точно воющий ветер?

Королева, услышав новость, испустила крик, который, сказывают, заставил оборотиться и стражу на стенах. Три дня она не показывалась никому на глаза. Когда же показалась — в тугом плате, с лицом густо набеленным и нарумяненным, с неподвижными серыми глазами, — то выглядела подобной искусному изваянию, измысленному Одо Честерским, дабы потешить Короля.

Глухой удар наверху — что-то катится, громыхая, — крики. Возможно, бочонок прокатился по палубе?

Решение Короля направить меня к Тристану я поначалу принял с удивлением, однако, по здравом размышлении, оно представилось мне необходимым и даже неизбежным. Король, не умеющий избыть чудовищное затруднение, которое доставил ему Тристан, увидел в его супружестве, хоть и ведомом лишь по слухам, чудотворное разрешение всех трудностей сразу. Королем правит надежда. Тристан женившийся есть Тристан претворенный, Тристан побежденный. Эта женитьба знаменует кончину предательской страсти Тристана к Королеве. Королева молода, Король еще полон сил; она погорюет, но по прошествии должного времени начнет исцеляться. Она поймет, что Тристан отвратился от нее безвозвратно, что один лишь Король любит ее с неизменною страстью. Все это читал я в его нетерпении, в его пугающей решимости. Он уже готов простить Тристану все, как будто страсть племянника к Королеве была лишь преходящим, не очень серьезным, вполне понятным и даже достойным хвалы эпизодом его буйной молодости. Король забывает, что молодость Тристана была далеко не буйной, что он славился преданностью и послушанием. Король забывает, далее, что преданность Тристана, его глубокое чувство чести, чистота сердца, рыцарский обет, им принесенный, служение духу рыцарства, абсолютная, неколебимая верность и на миг не удержали его от того, чтобы обманывать всех и всякого при дворе и раз за разом утолять желание, пробужденное в нем Королевой. Что же до Королевы, ее любовь к Тристану становится с каждым днем все более отчаянной. Видимо, дар смирения ей не дан.

В канун отплытия Брангейна сунула мне в ладонь перстень Королевы, который я должен буду доставить Тристану.

Королеву переполняют страхи, Короля — надежды, а я плыву по морю на корабле, колеблемом волнами.

Я пишу эти строки в замке Тристана, у себя в спальне. Прошел уже день, как я прибыл сюда. Спальня смотрит на утес, высоко вознесясь над серо-зеленым морем. Из окна моего видны узкий берег и неровные линии волн. Далеко направо, где утес выдается вперед, различается иссиня-черный лес и вереница схожих с зубами холмов.

Молва не солгала. Я познакомился с Изольдой Белорукой. Она почти еще девочка, волнующая в юной ее прелести. Самое в ней поразительное — это кожа на лице, которая словно бы светится, точно сосуд сквозистой слоновой кости, в коем горит свеча. Лицо ее создано для счастья. Глаза грустны.

Я знаю, кто она, эта прелестная новобрачная. Она — Изольда, лишенная безудержности, порывов и извержений красоты, присущих той, другой Изольде. Тристан, в жизни которого все страшно смешалось, обвенчался со спокойствием, совершенством, невинностью, со всем, что не способно глубоко его тронуть.

Сегодня после полудня, когда мы остались одни, я передал перстень, вверенный мне Королевой. Тристан принял его — взглянул на меня и вдруг, склонясь над своей ладонью, страстно поцеловал мое приношение.

О супружестве своем он ничего не рассказывает.

Вечер следующего дня. Только этим утром попросил он сказать ему новости о Королеве. И когда произнес эту просьбу, все тело его напряглось, как если бы он просил хлестнуть его по лицу.

Здешний слуга разговорился с одним из моих слуг. Тристан, сказал он, возлежит с женой, но не касается ее. Она остается девственницей.

Несчастный замок! Да и могло ли быть иначе?

За морем Королева лежит, не смыкая глаз, в королевской опочивальне. Всю долгую ночь думает она о новобрачной, о Тристане, спящем в объятиях жены. В спальне Тристана лежит, не смыкая глаз, Король; он думает о Королеве, одинокой в ее постели, о Тристане, предающемся веселью со своей новобрачной. А здесь, в замке Тристана, лежит, не ведая покоя, Тристан, лежит близ прекрасной Изольды, Изольды, которая не Изольда, которая никогда и не сможет стать Изольдой, которая, осмелясь носить имя Изольды, обрекла себя на то, чтобы лежать рядом с ним нетронутой, нелюбимой и непрощенной. Изольда Белорукая лежит, белая и недвижная, под покрывалом. Руки ее скрещены на груди. Глаза глядят в темноту.

Этим утром я отправился с Тристаном и несколькими его людьми на охоту. Глубоко заехав в лес, мы с ним остались одни и спешились, чтобы отдохнуть в древесной тени. И вдруг он, как если б мы были с ним близкими товарищами, заговорил о Королеве. Был ли то Тристан? — Тристан, неизменно державший главные слова при себе, словно считал многоречие знаком трусости? Никогда, сказал Тристан, не любил он никого другого. Он пытался жить вдали от нее, пытался сложить новую жизнь — все тщетно. Он страждет день и ночь и заставляет страдать других — и все из-за любви, любви, которая пожирает его, подобно яду, сладостному яду, текущему в его жилах. Порой он воображает, будто она забыла его в объятиях Короля. А следом, как ни томит его ревность, проникается ненавистью к себе за то, что посмел вообразить ее неверность. Он бы с радостью умер, когда бы не страх ранить ее. Он причинил зло Изольде Белорукой, чья печаль есть не что иное, как его печаль, пересаженная в ее грудь и разрастающаяся в ее лице.

А под конец своей речи, весь дрожа от силы непривычного для него излияния чувств, Тристан вдруг окинул меня диким взглядом, вскочил на ноги и выхватил меч. Клинок пропел, скользя по металлу ножен, как поет на оселке лезвие ножа. Пока Тристан вот так стоял надо мной, держа меч близ моей головы, я ничуть не удивлялся, что он надумал убить меня — ибо разве не услышал я то, что дозволено слышать лишь лесу? — как не удивлялся и тому, что готов принять такую смерть почти с благодарностью.

— Томас! — вскричал он, приставя меч к своему горлу. — Скажи, что она больше не любит меня!

И вновь поразила меня тяга Тристана ко всему драматическому, к западающим в память мгновениям. И я спрашивал себя, пока сидел там — у его ног, посреди леса, — возможно, в этом и состоит решение? Тристан мертв, нет больше Тристана?

Я дал ему заверения, коих он жаждал, и, поднявшись, вернулся с ним вместе к нашим коням.

Нет, я не хочу сказать, что поведение Тристана было неискренним. Напротив, оно проистекало из самой глуби его натуры. Просто такая великолепная, героическая поза есть форма, в которую страсть его облекается с наибольшей готовностью. Тристана неизменно притягивало в жизни все высокое, опасное, трудное, недостижимое. Он вечно стремится к превосходству, даже если единственный, кого надлежит превзойти, — это он сам. Уж если он любит, то должен любить как никогда никто не любил на свете, любить так, словно ничего более не существует. Он должен неустанно преодолевать преграды, в том числе и преграду собственной честности.

Не эта ли его любовь к преодолению, страсть к постоянному превосходству — не они ли и подтолкнули его к предательству столь любимого им Короля? Ибо, если уж приходится предавать, так делать это надлежит на пределе возможного, подавляя полностью свою честную натуру.

События приняли новый, пугающий оборот. И все же, коли обдумать их поспокойнее, разве не крылось это бедствие, подобно року, в самой сердцевине происходившего, лишь выжидая своего часа?

Вчера, через два дня после нашего разговора под деревом, мы с Тристаном и еще кое-кто вновь отправились на охоту. Охотясь же, мы разделились на две ватаги. Я провел утро в обществе рыцарей, завалivших шестерых тощих олених и лань, но не тронувших двух сильных самцов, ибо пора охоты на них истекла. Мы кормили собак хлебом, намоченным в теплой крови. А когда углубились, преследуя раненую олениху, в лес, с гребня ближней горы нас окликнул один из людей Тристана. От него-то мы все и узнали.

Тристан, отстав от охотников и следуя своим путем, увидел у ручья истекавшего кровью молодого рыцаря. На рыцаря напали четверо братьев, одним из коих был Фульк де ла Бланш Ланд, жестокий властитель здешних мест, — человек великанского сложения и беспощадной воли, который разъезжает, где хочет, охотится в лесу Тристана, убивает оленей, когда охота на них под запретом, и нападает на всякого, кто встает у него на пути. Тристан поскакал по следам шайки убийц. Он нагнал их на поляне, и там началась отчаянная битва, в которой Тристан поразил трех братьев, но был ранен в бедро копьем, которое метнул в него Фульк де ла Бланш Ланд. Невзирая на рану, Тристан сражался, пока листва не покраснела от крови, и наконец оставил Фулька де ла Бланш Ланда мертвым среди его мертвых братьев. Ослабевший от потери крови, Тристан все же смог взобраться на коня, который понес его в направленьи охоты. Люди Тристана отвезли его в замок.

Мы сразу вернулись туда — Тристан лежал в своем покое, оправляясь от ран.

Однако копейная рана нас обеспокоила. Поначалу она казалась обычной напастью — скверной раной на левом бедре. Но заражение ухудшило дело. Лекарь говорит, что стрекало копья было смазано ядом. Он омыл рану яичным белком и стянул ее полосками льняной ткани. Нога пугающе раздувается. У Тристана жар, кожа на ноге пожелтела. Ему недостает сил даже подняться с одра болезни.

Лекарь ограничил его стол ячменным отваром и, по ночам, молочком из тертого миндаля.

Есть опасения, что он умирает.

Я размышляю о Тристане, с благородным гневом в душе ринувшемся в бой с Фульком де ла Бланш Ландом. Поступок, исполненный мужества и отваги, да, конечно, — одно из тех высоких, достойных песни менестреля дел, за которые к Тристану, где бы он ни появлялся, неизменно проникались любовью. И все же не таилось ли в самом средоточии его смелости что-то более темное и двусмысленное? Тристан, скованный узами мнимого брака, которые сам же на себя и наложил, терзаемый страстным желанием, отчаянно ищущий выход, преследуемый воспоминаниями о неделях блаженства в лесу де ла Рош Соваж, — не ощутил ли он чего-то неодолимо притягательного в кровавой битве, битве, в коей смерть, быть может, наконец-то не отвергнет его?

Итак, Тристан ранен, Тристан умирает. Ибо ясно, что ему предстоит умереть, если рана его не исцелится.

Тристан попросил меня послать за Королевой. "Ты всегда был добр ко мне", — сказал он, сжав мою руку. Я в изумлении воззрился на него. Он ответил мне ласковым взглядом и еще раз попросил послать за Королевой.

Каждое утро слуги выносят Тристана на узкую береговую полоску песка под утесом, и он ожидает у моря Королеву. Тристан верит, что только она способна спасти его, она, уже исцелившая его однажды от раны в Ирландии, куда он отправился искать ее благорасположения к Королю. Драма Тристанова ожидания, драма его каждодневного спуска на берег, где он лежит на двух одеялах, под пурпурным, шитом золотом покрывалом, голова покоится на шелковых подушках, лицо обращено к волнам, — еще и усиливается драмой парусов: Тристан велел, если Королева приплывет на посланном за ней корабле, поставить на нем парус белый, если же она останется в Корнуэлле — черный.

По утрам мы вглядываемся, затеняя ладонями глаза, в горизонт, и зеленые волны бухают у наших ног, и морская пыль солонит нам губы. После полудня, уже в покое Тристана, мы смотрим вниз, на морской простор; мы напрягаем взор в стараниях различить линию, на которой встречаются море и небо, ту, где в любой миг может явиться парус, белый или черный — жизнь или смерть.

Как это похоже на Тристана — даже в тисках смерти он не теряет вкуса к разительным эффектам.

Он с каждым днем слабеет. Я думаю, вся жизнь его свелась теперь к ожиданию. И сразу напоминаю себе о Королеве, каждую ночь выходящей в плодовый сад, Королеве, больной от тоски, — о том, как лихорадка нетерпения изнуряет ее, — о ее жизни, в которой нет ничего, кроме будущего, как в жизни фанатичного монаха, отрекшегося от этого мира и целиком посвятившего себя Царству Небесному.

Тристан страстно ждет Королеву, живет лишь ради нее, ибо только она и способна его исцелить, но пока он лежит на берегу и выискивает на горизонте белый парус, смерть должна представляться ему не лишенной соблазнов. Если Королева появится и спасет его, что тогда? Назад к жизни, наполненной горечью и страданиями, к мнимому супружеству, к непереносимому расставанию, к неутолимой любви? Лежащий на берегу, оглушенный ревом волн, не ждет ли он, в самой глуби сердечной, черного паруса?

Изольда Белорукая, безмолвная и печальная, несет вместе с ним дозор на берегу, сидит при Тристане в его высоком покое.

Что сказать? Так хочется ничего больше не писать, отдаться утешениям молчания. Я успел полюбить море, бездумное падение валов, кружение птиц, морскую соль и брызги волн. Быть может, я просто устал от людей с их страстями? Но рука моя движется, некая сила понуждает меня продолжать, как будто слова, которые я пишу, принадлежат не мне, но одной лишь странице, которая ничего не ведает, ничего не понимает, ничего не испытывает, и уж тем паче страданий. Да будет так.

Вчера: день бури и солнца. Черные тучи и дождь все утро, а после солнце пробило их копьями света. Тристан у себя в покое, слишком слабый, чтобы поднять голову. Я сидел рядом с ним, дивясь его почти мальчишечьей красоте — смерть, пожрав мышцы и плоть Тристана, сокрушив его крепость, словно бы воскресила в нем детство. В двенадцать, в четырнадцать лет ему, должно быть, приходилось неустанно доказывать свою силу, показывать, что прелестный отрок способен метнуть копье, убить вепря, поразить оленя, вогнать человеку меч между ребер. А теперь он лежит в постели, словно ребенок, охваченный жаром. Изольда Белорукая сидит на каменной скамье у окна и смотрит в море. Кожа моих рук ощущает удары валов. Я наблюдаю за нею, сидящей у окна. Юное тело ее напряжено и вместе с тем странно вяло — в любой миг способно оно встрепенуться или погрузиться в глубокий сон. Она тоже ждала — ждала, когда Тристан прикоснется к ней и поведет ее в жизнь. Внезапно тело ее напряглось, словно плашмя ударенное мечом. "Корабль!" — произнесла она. Лежащая на коленях ладонь ее сжалась в кулак.

Тристан попытался сесть, но упал, задыхаясь, на подушки. "Парус?" Голос его был мягок и слаб, хоть и я видел, что он пытается крикнуть. "Парус".

Изольда высунулась в открытое окно, словно пытаясь приблизиться к кораблю.

— Черный, — сказала она.

И я увидел изменение, происшедшее в Тристане, — страшное спокойствие взгляда, направленного на меня, пронзительную кротость и одиночество в нем. Темный румянец опалил его щеки. Я стиснул ладонь Тристана, но та не ответила на пожатие. Он так и смотрел на меня детскими, печальными, обреченными глазами.

— Вы уверены? — крикнул я — кто-то же должен был закричать — и, стряхнув с себя оцепенение горя, выпустил руку Тристана и подошел к окну. На горизонте виднелся маленький корабль. Сияло солнце. Парус белел под ним, точно снег.

— Тристан! — вскричал я — только ли у меня одного в этой комнате и остался голос? — и на миг замешкался. Я взглянул на Изольду Белорукую. Она смотрела на меня со злобой, с такой ненавистью, что я вдруг испугался ее, как если б она была ворожеей, явившейся, чтобы проклясть всех нас проклятием ада. Взгляд ее был как нож, нацеленный мне в глаза. Я понял, что она сделала, и все-таки колебался — колебался, словно околдованный этим взглядом, — колебался всего только миг, прежде чем крикнуть: "Белый! Тристан! Парус белый!" И обнаружил вдруг, что стою у кровати, сжимая руку Тристана, выкрикивая цвет пару-

са, — я еще долго выкрикивал его и после того, как понял, что Тристан ничего не слышит.

Чудовищное колебание! Если бы я не помедлил, быть может, я спас бы его? И хоть я был напуган злобой Изольды — злобой, которая, неведомо для меня, тайком вызревала в душе нежной, печальной девочки, готовая прорваться в ее лицо как несомненный знак болезни, — правда и то, что заколебался я прежде, чем повернулся к ней и поймал ее взгляд. Я был взят врасплох — удивлен белизной, — сбит с толку, да. Но разве не правда также, что в разуме моем, в дальних его закоулках, куда не проникает свет, пряталось желание, чтобы парус оказался черным, разве не правда, что белизна его ужаснула меня обещанием дальнейшей любви, дальнейшей погибели, что в истории Тристана и Королевы я стоял уже на стороне смерти?

Об остальном рассказать можно быстро. Белый парус вырос в размерах, корабль вошел в гавань, Королева спустилась на берег. Она ворвалась в комнату — неистовая, лихорадочная, смятенная — прекрасная, на мой взгляд, и ослепительно яркая, как если б горела, привязанная к столбу. Она бросилась к Тристану, упала на него — грудью к груди, губами к губам, хоть Изольда Белорукая и стояла рядом. Она целовала мертвое лицо, разговаривала с Тристаном, пытаясь уговорами вернуть его назад, словно тот просто дразнил ее, дурной мальчишка. Никто и не подумал оторвать ее от Тристана. Изольда Белорукая ничего не сказала. Я ничего не сказал. Брангейна стояла в углу, наблюдая. Я знал, что Королева уже не поднимется с этого ложа. Она прорывалась к смерти, вплывала в блаженную смерть. Больше ей ничего желать не осталось.

Уже ночь. Я слышу, как за окном бьются о берег волны. Они опадают неровными грядами то в одном месте, то в другом, так что море никогда не умолкает, а только звучит то громче, то глуше. Но время от времени, если вслушиваться очень старательно, можно различить и еще кое-что, скрытое между волнами или внутри их и возникающее внезапно, как из-за резко раздернутой завесы: ничего — ничего — совсем ничего.

Со дня моего возвращения в Корнуэлл прошло три недели. Король скорбит, двор уважителен и тих, но каждый ощущает себя освобожденным от бремени. Даже Король, горе которого глубоко, уже не тот, каким был перед моим путешествием. Тогда он походил на человека, которого день за днем бьют смертным боем и оставляют валяться без чувств, а он кое-как поднимается на ноги — и его снова бьют, бьют. Ныне же он скорбит с благородством — Король, несущий бремя свое ко двору и в капеллу, властитель, который достойно держится перед вассалами, человек, пребывающий у всех на виду, приспосабливающий горе свое к взглядам толпы. Скорбь его глубока, но не безмерна, она с готовностью вливается в древние формы, выкованные поколениями скорбящих. Слишком рано еще рисовать себе счастье Короля. Но — не убывание его несчастья.

Смерть Тристана и Королевы переносится всеми легче, чем их жизнь.

При дворе произошли перемены. Модор назначен стражем королевской башни — пост, который он занимает с гордостью. Модор теперь стоит с остро отточенным ясеневым копьем у двери покоя, утраченную кисть заменяет ему набитая шерстью кольчужная рукавица. У

Освина новый глаз — превосходный глаз из мрамора, изготовленный Одо Честерским и искусно вправленный в глазницу. На глазу написан яркий синий раек. Брангейна возвратилась в Ирландию: мне будет ее не хватать. Любимого сокола Тристана отдали старшему лесничему.

При дворе уже ходят разговоры о дочери герцога Парменийского. Говорят, она весьма прекрасна и наделена даром игры на арфе. Освин принадлежит к ярым сторонникам этого брака. И то верно: союз Корнуэлла с Пармением принесет нам блага неисчислимые.

После возвращения моего я редко разговаривал с Королем. Возможно, он меня избегает.

Что до меня, то я, утаивший, что видел Королеву с Тристаном гулявшими в плодовом саду, тайком совещавшийся со служанкой Королевы, угождавший Королеве с Тристаном и сохранявший их тайну, — я изменил моему Королю, моей стране и моему Богу. А замешкавшись у окна, изменил и Тристану с Королевой. Королева определенно ошиблась: человек я далеко не хороший. А мудрый ли — об этом судить не мне.

Если бы мне пришлось вновь пережить все это, не думаю, что я повел бы себя иначе.

Этим вечером я ходил по плодовому саду. Урожай собрали, запах раздавленных фруктов въедается в ноздри, как дым костра. Я шел по знакомым тележным путям, огибал стволы, нырял под ветви, за которые еще цеплялось несколько листьев, пересек ручей. Скоро ветви оголятся, ручей замерзнет, пути скроются под снегом. Но пока, порой поздней осени, в морозном воздухе ночи чуется что-то бодрящее; сучья хрустят под ногами, птицы посвистывают над головой, холодная вода потока щекочет камни. А я словно пытаюсь заблудиться в саду, хотя знаю его хорошо и навряд ли мне это удастся. Я дошел до участка, который признал не сразу, остановился и вдруг приметил движение в темноте, невдалеке от меня. А после увидел впереди, на тропе, Королеву с Тристаном. Они шли, приникнув друг к другу, так медленно, что, казалось, почти и не продвигались. Мантия ее влачилась по земле. И хоть я знал, что передо мною всего лишь обманный образ, извергнутый моей памятью, хоть я почти и не верю в призраков и посмеиваюсь над монашескими видениями, хоть две фигуры уже растворялись в сгущениях ночных теней, я вновь почувствовал, как во мне воздымается ощущение тайны, восторженная нежность, исступленное блаженство, окрыленность, подобная ярости, небывалая мощь всего происходящего, перед которой остается только одно — склонить главу. И я, замерев в темноте, склонил голову. Когда я поднял ее, то был в плодовом саду один. И повернул к замку.

В спальне моей было темно, лишь свет звезд, льющийся в не закрытое ставнями окно, освещал ее. И сразу же бросились мне в глаза очертания человека, сидевшего на краю кровати под наполовину раздернутой завесой. Ночь видений, Томас! Как мало, подумал я, мы знаем о мертвых. Может статься, они не исчезают целиком, но оставляют после себя тончайшие оболочки, которые льнут к привычным для нас вещам.

— Добрый вечер, Томас.

— Добрый вечер, господин мой. Я бродил по плодовому саду.

— Я тоже бродил по саду. Тебе это помогает заснуть?

— Временами, мой господин.

— Возможно, нам стоит побродить вместе, Томас? Возможно, вдвоем нам удастся отыскать сон, где б он ни прятался?

— Я был бы этому очень рад.

— Значит, завтра.

Он встал, глыба тьмы в темноте, мой печальный Король. Уже приблизясь к двери, он повернулся ко мне.

— Я ведь приходил, чтобы поблагодарить тебя, Томас.

— Не понимаю, господин мой.

— За то, что ты оказался здесь. За то, что был со мной до конца.

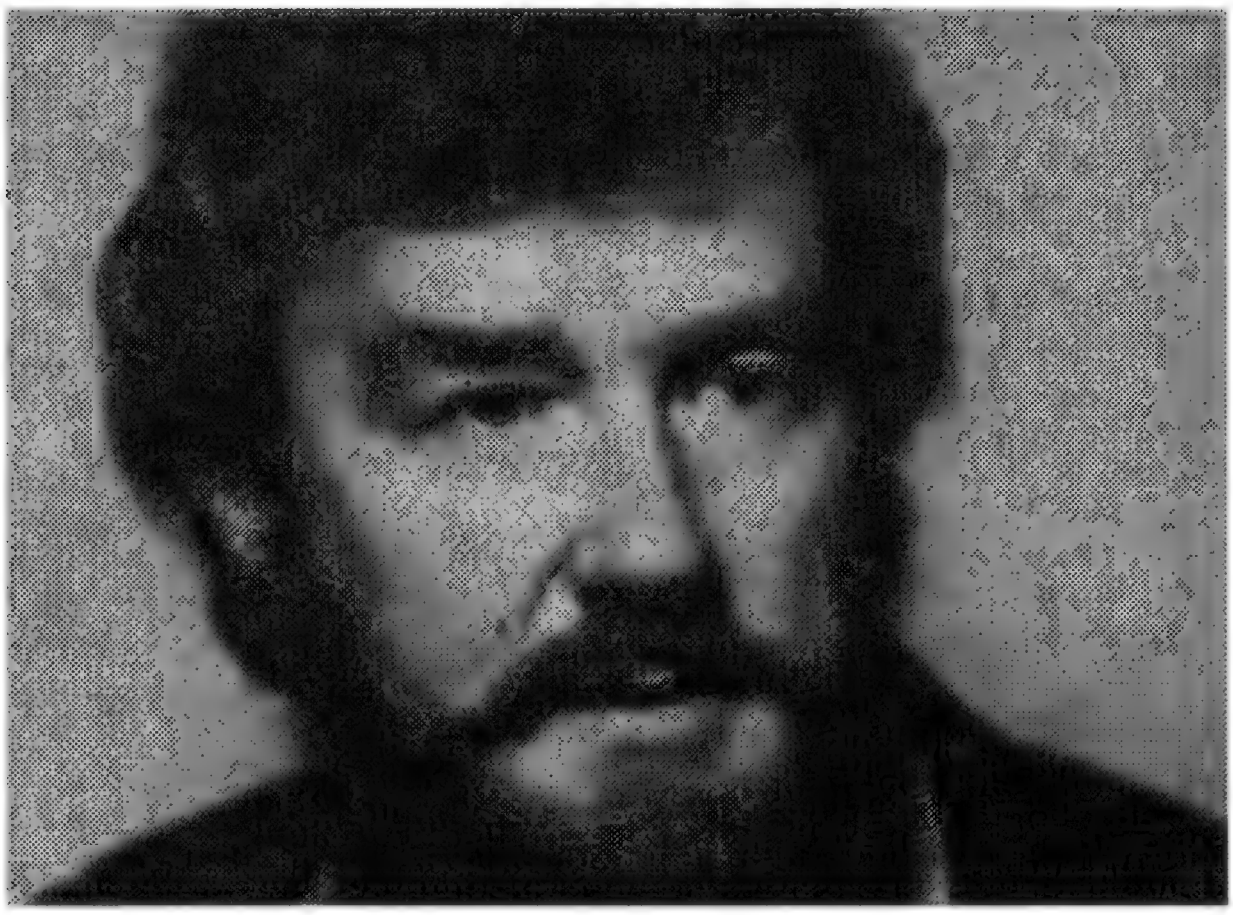
— Господин мой, я... — я склонил в темноте голову. И слушал, как шаги его удаляются к опочивальне.

Один, во мраке, я вдруг ощутил тревогу. Не стоило ль мне побродить подольше? И я принялся расхаживать в темноте, от кровати к окну и снова к кровати. Ночной воздух дышал стужей. Завтра наложу бревен в очаг. Завтра отправлюсь гулять с Королем. Мы пройдемся с ним по саду, пройдемся по двору, исходим в плодовом саду все тележные пути. Два старых воина, охотящихся на сон. Пока же сна у меня не было ни в одном глазу, острое беспокойство снедало меня. Встреча в плодовом саду, разговор с Королем — все это отогнало от меня сон. Я не мог придумать, чем мне заняться, — просто болтался взад-вперед в темноте, как проклятый, как дурак.

И вдруг я вспомнил о моем столе.

Я запалил свечу, сел. Перо, выхваченное светом из темноты, рванулось ко мне, точно клинок меча. Скоблильный нож мой и плашка пемзы отбрасывали две резкие тени. В пальцах покалывало. Нет, ко сну я не готов — я готов к словам. Я окунул в чернильный рожок перо, резко взмахнув кистью, стряхнул с него каплю. Пододвинул свечу поближе и согнулся над страницей, склонив, будто в молитве, голову. Я, Томас Корнуэльский, принц пергамента, повелитель черных чернил, властелин всей вселенной, заклинатель душ, попечитель призраков, друг грушевого дерева и безмолвия волн, товарищ всех, кто бдит в ночи.

Збигнев Бжозовский



Две волшебные истории

Перевод с польского К. Старосельской

Сказка о плуге

ДАВНЫМ-ДАВНО жил да был Антоний. В деревне жил, потому как крестьянин. Весной работы у него невпроворот. Едва посадит морковь, пора сажать картошку. Поутру они с женой отправлялись в поле, по меже вдоль озимых. Озимые уже взошли.

Антоний сказал:

— Осенью нужно бы купить плуг.

— Вечно нам что-то нужно, — вздохнула Антониева жена.

Поскольку дело было давно и к тому же в сказке, Антонию сейчас могла бы, например, помочь какая-нибудь чудом оставшаяся в живых рыбка. Потому что как раз в тот день Антоний спас одну рыбку. Она трепыхалась в луже, оставшейся от ручейка, который после дождя разлился, а потом пересох. Антоний взял рыбку в руки. Окунек. Для жарки чересчур мал, одни кости.

— Пусть живет, — сжалился над рыбкой Антоний.

И бросил окунька в речку. Честно говоря, он не только его пожалел, но еще и подумал, что рыбка с острым плавником на спине может насмерть поранить какую-нибудь из его уток.

Рыбка, однако, вовсе не была волшебной, потому что даже в сказке не все волшебное. Просто обыкновенный маленький окунь. Плеснул

© by Zbigniew Brzozowski
© К. Старосельская. Перевод, 2006
Рисунки художника Стасиса Эйдригевичюса.

хвостом и уплыл. Умным его нельзя было назвать. Все равно он, когда подрос, попался на крючок какому-то рыбаку.

Да весной Антонию и недосуг было думать о сказочных чудесах. Они с женой работали в огороде с утра до вечера. Потом надо было еще накормить лошадь, корову, и свиней, и кур, и гусей, и уток.

Ну и конечно же Антониева жена не забывала поставить мисочку с едой для гномика.

А еще в сказках бывает, что пчела, которую кто-нибудь спасет от гибели, потом поможет своему избавителю. Летом Антоний спас жизнь одной пчеле. Протянул ей соломинку, когда она попала в бочку с дождевой водой. Детям своим он сказал, что пчел надо уважать, потому что они дают мед и воск, из которого делают церковные свечи.

Антоний, правда, и не надеялся, что эта пчела поблагодарит его человеческим голосом и разрешит в случае какой беды ее позвать. И оказался прав.

А вот сынишке Антония хотелось верить, что пчела волшебная. Но не тут-то было. На следующий день какая-то пчела — кто знает, может быть, та же самая — ужалила его в ухо. Ухо распухло. И несколько дней было красное, как бурак, и болело. Что ж, ничего не поделаешь. Кто ему велел, чтобы сократить путь, бежать на луг, где паслись гуси, мимо ульев?

Впрочем, будут в этой сказке и чудеса, и чародеи.

В нескольких верстах от хаты Антония, за тремя горами, лежало озеро. На нем остров. Ночью водная гладь серебрилась в лунном свете. Озеро было заколдованное. А на острове жили чародей и его жена чародеиха. И была у них дочка.

В тот год, когда начинается наша сказка, чародей был ужасно зол. Он обиделся на одного ученого, который принародно усомнился, существуют ли вообще волшебство и волшебники. За такую наглость чародей решил ученому отомстить.

Месть, конечно, должна была быть волшебной. Но и одновременно на высоком научном уровне. И при этом, разумеется, страшной. Однако ни одной хорошей идеи чародею в голову не приходило. Когда он советовался с женой, та только смеялась.

Чародеиха была толстая и веселая. Любила стряпать. Считала, что людей, которые не верят в волшебство, много, и нельзя их всех за это наказывать. Голос у нее был грубый. Смех разносился далеко.

— Ху-ху-хуу.

Люди, которые жили поблизости, говорили:

— Филин ухает.

— Как бы чего худого не наухал.

Они считали, что это дурной знак. Потому что были суеверны, а суеверные люди думают, что голос филина предвещает недоброе.

Об этих чародеях с острова можно бы долго рассказывать. И о волшебных книгах, и о тучах, которые над озером принимали форму заколдованных гор. Можно бы также подробно описать, как дочурка чародеев весной ни с того ни с сего, забавы ради, превратилась в незабудку. Стояла посреди других незабудок, а мать все утро ее искала. Перед обедом малышке стоять там наскучило, и она снова превратилась в девочку и вернулась домой.

Чародеиха страшно разволновалась. И обозлилась. До самого вечера она от злости хлопала дверьми, а перепуганные горшки и сковородки норовили вырваться у нее из рук.

Люди думали, это гром гремит. А поскольку весенний гром — хороший знак, радовались.

Можно бы... Но дело в том, что именно Антонию доведется повстречать именно этих чародеев. Ближайшей осенью. Пускай в сказке уже будет осень.

Как дошло до встречи?

Чародеиха объявила, что пора навестить ее тетку. Чародею это было на руку. Тетку он ценил как очень опытную колдунью. И решил, что улучит минутку и спросит у нее, как поступить с ученым.

И дочка чародеев обрадовалась, что им предстоит путешествие. Кроме того, она очень любила свою двоюродную бабушку.

Удобнее всего было бы туда полететь. Чародеи заколдовали двери и окна, чтобы никто не залез внутрь, пока дом будет стоять пустой. Чародей произнес короткое заклятие, и — раз-два — вся семья превратилась в пестрых синичек. Две были побольше, одна — поменьше. Утром они поднялись в воздух и покинули остров.

Вначале было чудесно. Вообразите себя дочкой чародея, превращенной в птицу, которая может летать как угодно высоко. День стоял теплый, осенний.

В тот же самый день Антоний отправился в город. Повез мешок зерна на продажу. Кроме того, он собирался приглядеть себе какой-нибудь недорогой плуг, а может, удастся купить плуг в рассрочку: денег у него, даже вместе с теми, что он рассчитывал выручить за зерно, было немного.

Ни о каких чудесах он и не думал. Думал о плуге. И о том, что, пока не зарядили дожди, надо обязательно починить крышу овина.

Листья на деревьях уже стали разноцветными. А какая изумительная была рябина! И в паутине на одном кусте капля росы сверкала, как маленький радужный фонарик. Но Антоний не мог ни разглядывать листву и рябину, ни любоваться сверкающей каплей росы.

Дорога пошла вниз с горки. Надо было, натянув вожжи, шагать рядом с телегой и придерживать ее за рожон. Надо было крепко упираться ногами и помогать лошади тормозить телегу. Только когда дорога выровнялась и приблизилась к повороту, Антоний утер пот со лба. А тут:

...фр-р-р
...фр-р-р
...фр-р-р.

Над головой Антония промелькнули три птички и с писком скрылись в кустах терновника. В погоню за ними туда кинулась большая серая птица с рыжей грудью. Именно так выглядит хищный ястреб-перепелятник.

Заклятие, с помощью которого превращаются в маленькую птичку, нельзя отменить, если убегаешь от хищника. Нельзя из птички снова превратиться в могучего чародея, когда на тебя смотрят горящие глаза ястреба. А тот хлопал крыльями над терновником. Запускал в кусты свои длинные желтые лапы с острыми когтями и наверняка бы вытащил оттуда синиц, если б Антонию вдруг не стало их жаль (он подумал, что такой хищник и цыплят запросто может перетаскать).

Так что он поднял с земли палку и бросил ее в терновник. Закричал. Переполошил хищника.

Разумеется, чародей, чародеиха и их дочка немедленно вылетели из куста и обернулись людьми.

— Этот ястреб еще пожалеет! — завопил чародей.

Антоний от изумления разинул рот.

— Все из-за тебя! — крикнула чародею чародеиха.

— Из-за меня?!

— А из-за кого?! Превратись ты в кого-нибудь другого, ни одна птица не посмела бы на тебя напасть!

Так-то оно так... Действительно, не будь он синицей... Но ведь чародеиха сама пожелала стать кем-то маленьким, хорошеньким. Что им стоило, например, превратиться в ворон, но она не захотела — это, видите ли, старит.

Маленькая чародеечка расплакалась.

— И вы еще ссоритесь! — А потом, всхлипывая, объяснила Антонию: — Мы хотели навестить мамину тетю...

— Но сейчас мы вернемся домой, — заявила чародеиха. — После того, что случилось, у меня всякая охота ходить по гостям пропала. Да и обедать я предпочитаю дома.

Она решила, что пошлет тетке письмо — через этого самого мужика, который стоит возле своей телеги, разинув от удивления рот.

У березы она одолжила кусочек белой коры. Под терновым кустом еще лежало зеленоватое перышко, которое она потеряла, когда удирала синичкой. И этим пером чародеиха начала писать. Чернила она просто наколдовала. Темно-голубые, как осеннее небо.

А потом написанное на березовой коре письмо она положила в конверт из дубовых листьев.

Антоний даже домой не стал заезжать. Сразу отправился в путь. Потому что чародеиха сказала ему на прощанье:

— Смотри, не потеряй письмо и сразу же отдай. — И засмеялась: — Ху-ху-ху. Потеряешь — голову оторву.

Всем известна шутливая угроза “оторву голову”, но эти слова воспринимаешь всерьез, если видишь, как особа, которая их произнесла, на твоих глазах превращается в огромную бурую медведицу.

А вся семья чародеев превратилась в медведей. Два были большие, один маленький. В таком обличье, возможно, и не очень приятно путешествовать, гораздо лучше лететь по своим делам птицей, но к медведю абы кто цепляться не станет.

Конечно, Антонию все это было совсем ни к чему. Вместо того чтобы ехать в город, он поехал туда, куда ему велели. Вброд через речку и по проселку. Потом свернул в дремучий лес.

Лес становился все гуще и темнее. Лесная тропка — все уже. Телега едва протискивалась между деревьями. Антоний ехал долго. Час, другой, третий. К счастью, лошадка была ухоженная. Здоровая. Понятное дело: как всякая лошадь в хозяйстве, где живет гном.

Уже под вечер Антоний въехал на поляну. Посреди поляны стояла огромная куриная нога. На ней избушка. Нога была полусогнута, а два оконца закрыты белыми ставнями. Дым из трубы не развевался, а сонно висел над крышей. Изнутри доносилось похрапывание. Видать, колдунья вздремнула после обеда.

Хозяйка избушки была не из тех ведьм, которые в давние времена жили в деревнях и мало чего умели — разве что заговорить соседкино молоко или кого-нибудь сглазить. Она и вправду была могущественная колдунья. Даже в старину таких еще надо было поискать.

Антоний, конечно, не посмел ее будить. Задал лошадке корму. Лошадка засунула голову в торбу с овсом. Жевала не торопясь. Антоний сел на траву. Прислонился к колесу телеги. Вытянул ноги. Он сильно устал. Солнце опускалось все ниже за деревья.

Наконец храп прекратился. Колдунья проснулась. Распахнула белые ставни и выглянула наружу.

— Ко мне? А по какому делу?

— Я... с письмом, — пробормотал Антоний и низко поклонился.

— Ладно... — она зевнула, — давай. — И протянула руку.

Рука начала вытягиваться... вытягиваться... вытягиваться... почти до середины поляны. Ну что ж, это ведь была рука колдуньи.

Волосы у нее были совсем седые. На носу очки. Видать, очень старая, но для таких всемогущих волшебниц триста-четыреста лет не возраст: они прекрасно себя чувствуют и уж наверняка умнее, чем в молодости. Закончив читать письмо, колдунья покачала головой.

— Я всегда говорила, чтобы берегли себя и ребенка. Да они и слушать не хотели. Будет им теперь наука...

Лошадка фыркнула.

Землю-то за них никто пахать не станет. Притом без плуга. И крышу никто не починит.

Антоний еще раз поклонился и сел на телегу.

— Ну, я уж, с вашего разрешения, поеду, — сказал он.

— Куда ты так спешишь? — спросила колдунья. — Скажи-ка мне еще... Малышка — ты ведь ее видел — она как, здорова? Хорошо выглядит?

Антоний переступил с ноги на ногу.

— Вроде, здорова. Выглядит... неплохо.

— Жаль, что я ее не увижу, — вздохнула колдунья. — Погоди-ка, это ведь ты спас их от ястреба?

— Да я только палку в него бросил. Увидал, что он норовит вытащить пташек из терновника, и бросил.

— И очень хорошо поступил. За такой поступок ты заслуживаешь награду.

— Ну так, может, я поеду уже. Вечереет, и в лесу темно.

— Кха-кха-кха, — засмеялась колдунья. — Темноты боишься?! А не знаком ли ты, случаем, с какой-нибудь принцессой? Может, ты ее любишь, но родители не разрешают вам пожениться? Понимаешь, будь у тебя возлюбленная принцесса, я могла бы тебе помочь. Ты бы отличился, проявил смекалку и отвагу и в конце концов сам бы стал принцем.

— Э-э-э... не-е... нету у меня знакомых принцесс. Да и женатый я.

— Ну тогда, может быть, тебе нужны семимильные сапоги? Странствовал бы по белу свету. Повидал много интересного. Сапоги очень практичные. Я бы могла тебе по дружбе...

— Да у меня в поле полно работы, и крышу на овине надо залатать. Какие уж тут странствия — и без того времени не хватает.

— Выходит, ничего тебе, мил человек, не нужно, — удивилась колдунья, — ничегошеньки?

— Ну не скажу, чтоб уж совсем ничего, — ответил Антоний. — Плуг, к примеру, мне нужен. Обязательно нужен плуг. Если не хватит денег купить, возьму в рассрочку. Мне без плуга никак нельзя, хоть из-под земли, а надо добыть.

— Плуг, говоришь, тебе нужен?

Для нее ничего не было проще. Избушка заколыхалась. Огромная курья нога ковырнула землю раз, другой, третий.

— Получай свой плуг, — сказала колдунья.

И правда: курья нога выгребла из земли плуг. Новехонький, красивый, с блестящим лемехом. Антоний нагнулся и потрогал его. Плуг был самый что ни на есть настоящий.

— Это... мне?

— А кому же еще?

На лице у Антония отразилось такое изумление, что колдунья развеселилась. И как захохочет:

— Кха-ха-ха.

А потом прямо в своей избушке ускакала с полянки в лес.

— Кха-ха-ха. Кха-ха-ха, — донеслось из-за деревьев.

Это огромное достоинство избушек на курьих ножках. В них любая колдунья может вприпрыжку отправиться куда пожелает. Хоть на край света. Или еще дальше.

Антоний, однако, порядком напугался, потому что поднялся сильный ветер и дым, что шел из трубы, превратился в огромную рыжую тучу. Шум. Грохот. Деревья гнутся. Перепуганные зайцы, косули, лисы кинулись врассыпную. Закричали птицы. А эхо знай смеется:

— ...Кха-ха-ха.

Старый барсук высунулся из норы, чтобы поглядеть, что творится. А тут ветер как засвистит и сломал здоровенную ветку.

Смех постепенно отдалялся, но еще долго был слышен. Это у них было семейное. Колдунья любила смеяться, как и ее племянница чародеиха. Барсук сердито поморщился, будто хотел сказать:

— Да пошла она к черту с таким чувством юмора!

В город ехать, конечно, смысла уже не было. Домой Антоний вернулся только перед рассветом. Жене рассказал все как есть, но детям оба решили сказать, что плуг тяте достался по случаю.

А чародей проводил жену и дочь на остров и на следующий же день вернулся, чтобы отомстить ястребу. Не захотел откладывать в долгий ящик, поскольку ястребы на зиму улетают. С ястребом расправиться, конечно, проще, чем с ученым. Но надо было еще этого хищника отыскать. Чародей отправился в путь в человеческом образе. Ему не хотелось привлекать к себе излишнее внимание. Так что он превратился в солидного натуралиста, господина средних лет, изучающего жизнь и повадки птиц. Прихватив трость, стал бродить по полям и лесам. Вежливо здоровался со встречными и выспрашивал, не видел ли кто ястреба-перепелятника.

– А какие они из себя, эти перепелятники?

Натуралисту куда деваться? Пришлось объяснять:

– Ястреб-перепелятник, по-латыни Accipiter nisus, из породы хищных птиц. Размах крыльев, – натуралист раскинул руки, – вот, примерно столько. У самца крылья темно-серые. Живот и грудь рыжие. Лапы желтые, длинные. С легкостью вытаскивает мелких птичек из кустов, если те попробуют от него туда спрятаться.

– Ой, нет. В наших краях таких не видывали.

Натуралист продолжал поиски. Однажды ему повстречалась баба, собиравшая в лесу хворост. Он рассказал ей о ястребе.

– Весной точно один пролетал. Хотя... Ежели хорошенько подумать, вроде он не такой был.

Проходили день за днем. Не так-то просто отыскать именно ту птицу, что тебе нужна. Вот и наш натуралист – сколько ни искал, найти не мог. Люди окрест говорили: чудак какой-то.

Но вдруг... Было это неподалеку от хаты Антония. Натуралист посмотрел на дерево. Ну конечно! Там сидел ястреб-перепелятник (Accipiter nisus).

– Попался!

И тотчас стал превращаться в ястреба-тетеревятника (латинское название Accipiter gentilis). Такому крупному ястребу ничего не стоит проучить перепелятника.

Но был ли тот ястреб-перепелятник испокон веку волшебником, или какой-нибудь новоиспеченный волшебник только минуту назад превратился в перепелятника? Не знаю. Так или иначе, он мигом слетел с ветки и начал превращаться в человека.

И оба волшебника, один полуптица-получеловек и другой получеловек-полуптица, бросились друг на друга. Повторяю: все это происходило неподалеку от хаты Антония.

Антониева жена как раз набирала воду из колодца. И вдруг увидела, что на дороге, ведущей из лесу, что-то клубится. К дому приближалась туча пыли. В ней мелькали то птичьи крылья, то человечьи руки. То клюв, то рот. То штанина, то когти. И то птичий крик слышался, то человечий:

— Вот тебе, получай!

— Пусти. Пусти!

Антониева жена недолго думая плеснула водой. Из тучи появились двое полулюдей-полуптиц. Отряхнулись и снова исчезли.

Антоний был тогда в поле. Настала пора пахать. На стерне уже зеленели сорняки.

— Н-но, н-но, — покрикивал Антоний на лошадку.

Плуг был отменный. Лошадка тянула с охотой. Острый лемех глубоко взрезал землю. Антоний крепко держал рукоятку. Пласты земли отваливались ровнехонькие. Антоний был хороший хозяин, опытный. Крышу овина он тоже успел починить, пока не зарядили дожди.

Чародей с острова не знал, надо ли отомстить Антониевой жене за то, что она окатила его водой, или, наоборот, поблагодарить за то, что облила его врага. Ему несладко пришлось: у чародея-перепелятника и рука была тяжелая, и клюв крепкий. Дрался здорово. Чародей с острова потом, зимой уже, долго раздумывал, как ему поступить.

Но отомстил ли он в конце концов ученому? Тому, которому собирался отомстить в начале сказки.

Признаться, я сам толком не знаю. Что-то я слыхал, но так ли это, не уверен, а выдумывать не хочу. Да и если б захотел, вряд ли смог бы. Помните, как долго готовился чародей? Помните, что его месть должна была быть и на высоком научном уровне, и волшебной? И к тому же страшной.

И все равно я бы не успел. Это ж сколько надо времени, чтобы придумать такую месть, которая подошла бы для сказки? Сказка-то ведь уже приближается к концу...

Наверно, стоит хотя бы рассказать еще что-нибудь про чародеиху.

Чародеиха зимой стряпала чародейские блюда, притом почти без роздыху — усталые, перегретые горшки так и норовили убежать от нее куда подальше.

А чародеечка?

Чародеечка зимой скучала. Она пробовала завораживать хлопья снега, спрашивала, как дела у рыб, которые подплывали к проруби на заколдованном озере, но рыбы не хотели с ней разговаривать — или не умели.

Куда веселее жилось детям Антония. Понятно, ведь их было не один и не два. Они катались на санках. Играли в снежки. А вечером слушали сказки.

Зимними вечерами, когда за окном светили морозные звезды, дети, Антоний и Антониева жена усаживались перед печью. Зима в деревне — самое время для сказок. Гномик грел спину у печки и рассказывал про ветры и ветряные мельницы, про волшебные лампы и чудесных золотых петушков. Про чертей. Про принцесс и жар-птиц.

Он этих сказок знал несметное множество, за всю зиму не пересказать. Ба, даже, наверно, и за сто зим. Зимой поля пустели. Люди и плуги

отдыхали. Время шло, у Антониевых детей народились свои дети. Потом внуки. И внуки эти уже подросли, а запас сказок еще не иссяк.

Много зим пролетело. И опять настала зима. В горнице темно, только красные отблески от печи пляшут по потолку. Однажды гномик начал такую сказку:

— Давным-давно жил да был Антоний...

Сказка о принцессе со стеклянной горы

ДАВНЫМ-ДАВНО один король отправил свою дочь принцессу на стеклянную гору. В сторожа он нанял дракона о трех головах и колдунью. Нет-нет, вовсе не для того, чтобы наказать дочку. Да и за что бы ее наказывать? Принцесса тогда была еще маленькая.

Была зима, смеркалось. Принцессу из кареты пересадили дракону на спину. С одной стороны сел король, с другой — колдунья. Дракон распростер крылья. Морозный ветер щипал принцессе щеки. Развевались, шелестели пурпурная королевская мантия и черная шаль колдуньи. Король одной рукой прижимал к себе дочурку, а другой придерживал корону.

Гора была высокая, и, когда они приземлились на вершине, дракон тяжело дышал. Принцесса увидела большой сад, укутанные соломой кусты роз, деревья, припорошенные снегом. В саду стоял домик. Собирались построить дворец, да времени не хватило.

Король огромным ключом отпер дверь. Они вошли в дом. Дракон принес из сарая здоровенную колоду. Когтями разодрал ее в щепы, пахнущие смолой. Набил щепками печи. Поочередно приближал к железным дверцам одну из своих пастей.

— Ху-у-у-у, ху-у-у-у! — из пасти вырывался огонь.

Языки пламени плясали по дереву. В комнатах постепенно становилось тепло. Колдунья сняла с принцессы шубу и шали, в которые малышку укутали в дорогу. Дала ей теплого молока и уложила в кроватку. Сама села рядом и принялась вязать на спицах. Из клубка шерсти поползли тихие сонные слова:

— Спи... Усни...

И принцесса уснула.

А утром оказалось, что король улетел.

Король поселил принцессу на стеклянной горе, чтобы уберечь ее от опасности. Потому что у него были могущественные враги. Признаюсь, что про них я почти ничего не могу сказать. Кажется, это были коварный чернокнижник и какой-то король, но, разумеется, не такой добрый, как отец принцессы. Он был гораздо хуже нашего короля, и вдобавок его подзуживал уж совсем скверный злой дух.

Король не хотел, чтобы кто-нибудь прознал, где его дочь. Навещал ее тайно. Но колдунья всегда знала заранее, когда он прибудет. Потому что у нее была волшебная подзорная труба. Колдунья купила ее очень давно, еще когда жила на берегу моря, у одного старого капитана. В те времена с ней приключалось много чего удивительного, да и сама она насылала на сушу и море вихри и штормы, но рассказывать об этом не любила, так что и мы не станем. Впрочем, моряцкие байки и неуместны в сказке о стеклянной горе.

Подзорную же трубу из этой сказки убрать нельзя, потому что в нее можно было увидеть все... ну, допустим, почти все, что хотелось. А если при этом еще уметь гадать по картам, как колдунья, то и вправду нельзя было ошибиться насчет приезда короля.

Перед его появлением в кухне звенели кастрюли и сковородки. Булькала в огромном котле вода. С помощью заклинаний колдунья готовила любимые блюда короля. Дракон наводил во дворе порядок, а потом точил и полировал когти. Кривил угрожающе все свои пасти, выпускал на пробу длинные струи огня. Оба хотели показать, что король может на них положиться: принцесса в надежных руках.

Потом дракон раскидывал крылья и летел вниз. И возвращался с королем. А король привозил замечательные подарки. Принцесса получала кукол, которые умели говорить и танцевать, кукольные дворцы. В дворцовых покоях стояла прелестная кукольная мебель. Еще король дарил дочке плюшевых мишек, которых достаточно было вечером прижать к себе, чтобы они тут же начинали рассказывать чудесные медвежьи истории.

Колдунья получала практичные теплые платья, а дракон — сигары.

Если король оставался на несколько дней, то вечером, когда принцессу уже укладывали спать, он, бывало, звал дракона. Усаживал его за стол, напротив себя (король был великодушен, а по вечерам обычно скучал). Вытаскивал колоду карт.

— Ну что ж, — говорил он, — сыграем в "шестьдесят шесть".

Дверь в комнату принцессы была приоткрыта. "Шестьдесят шесть" — игра, похожая на "тысячу", и тому, у кого три головы (каждая играет вроде бы самостоятельно, но на самом деле все три заодно), нетрудно вычислить, какие карты у партнера. Принцесса, однако, видела, что боковыми головами дракон все равно норовил подглядывать.

Когда король прилетал надолго, он гулял с дочкой по саду. Играл с ней, рассказывал сказки. Конечно, в том числе ту — да, чаще всего ту, которую принцесса особенно любила: про стеклянную гору. Когда сказочная принцесса подрастет, на стеклянную гору попытаются взобраться рыцари. Король говорил, что копыта их лошадей будут скользить, и подняться на самый верх никто не сумеет. Но в конце концов появится смельчак. Возможно, исключительно отважный рыцарь, но, возможно, и бедный студент, который прицепит к рукам рысьи когти и одолеет гору.

Такие король рассказывал сказки. Полагая, что это всего лишь вымысел. Он тогда не думал, что принцесса пробудет на стеклянной горе больше года. Считал, что быстро победит всех своих врагов и заберет принцессу обратно во дворец.

А еще маленькая принцесса любила историю про другую принцессу, которую похитила злая колдунья. Та принцесса от нее убежала и, чтобы задержать погоню, прихватила с собой щетку, гребень и яблоко. Щетка превратилась в дремучий лес, и колдунья потеряла много времени, пока сквозь него пробиралась. Потом гребень обернулся бурной рекой, а яблоко — скалой.

— Может, и я когда-нибудь так убегу, — сказала наша принцесса.

— Возможно, возможно, — согласился король, и его густая борода задрожала от смеха. Ему показалось забавным, что его дочка захочет убежать со стеклянной горы. Он думал, что, когда принцесса вырастет, он

устроит ей пышную свадьбу, а сам отдаст молодым даже не полкоролевства, а все целиком. И станет просто дедушкой-королем и будет рассказывать внучатам сказки.

Но кто мог знать, что с ним случится через десять-пятнадцать лет? Или через год? Или даже через месяц? Напрасно принцесса ждала короля. Проходили недели, месяцы. В саду уже отцвели весенние розы, потом июльские, августовские. Расцвели осенние.

– Ну когда же папа наконец приедет?! – все время спрашивала принцесса.

Колдунья каждый день высматривала короля в свою волшебную подзорную трубу. И однажды сказала принцессе:

– Наш король не может приехать, потому что он очень далеко.

– Тогда сделай так, чтобы он смог!

– Этого никто сделать не в состоянии.

– А где он?

– Его уже нельзя увидеть. Даже в эту трубу.

И принцесса поняла, что ее отец там же, где мама. А мама умерла, когда принцесса еще лежала в колыбельке. И принцесса заплакала. Колдунья тоже всплакнула.

Но не подумайте, что с этого дня колдунья начала жалеть принцессу, называть ее "бедной девочкой". Принцессе приходилось по-прежнему вечером чистить большой щеткой сапожки, а по утрам застилать свою кроватку. Даже от уроков колдунья ее не освобождала.

Ведь принцесса училась. Конечно, она не надевала утром на спину ранец и не отправлялась в школу, захватив с собой бутерброд. На стеклянной горе школы не было. Принцесса училась дома. Трехглавый дракон объяснял ей математику, физику и зоологию. Из лесу каждый день прилетал один мудрый скворец и обучал ее иностранным языкам. Сама колдунья давала уроки ботаники. Особенно много внимания она уделяла волшебным травам и их применению. А еще учила принцессу простейшим чарам.

Колдунья была очень строгая. Если находила в тетради ошибки, заставляла принцессу по нескольку раз переписывать задание. В июне, в конце учебного года, принцессе выдавали аттестат, чтобы она не думала, что лучше или хуже других детей. Каждый год дракон и скворец ставили ей одни пятерки, а колдунья только четверки, хотя принцесса очень старалась.

Иногда от этой колдуньи принцессе становилось просто невмоготу. Из своей

комнаты она могла выходить через дверь, но могла и вылезти в окошко. Однажды утром, после летнего дождя, принцесса выскользнула из окна в сад. Бегала по теплым лужам. Серебряные брызги летели во все стороны, а в лужах вода становилась мутной. Ил в воде клубился как дым.

Колдунья это увидела. Выбежала в сад. Устроила скандал из-за намокшего платья, грязных ног, кричала, что принцессе так себя вести не пристало. Что можно в два счета схватить простуду и заболеть, а у нее и без того хлопот хватает.

А еще принцесса играла в заклятую гору... Взбиралась и спускалась с этой заклятой горы по веревке. Горой служило обыкновенное дерево. И могло бы в этой игре произойти еще много интересного, если бы неожиданно не обломился сук. Принцесса вообще-то легко отделалась. Небольшой синяк и царапина на щеке. Колдунья тем не менее дико разозлилась. Кричала, что принцесса могла себе руки-ноги переломать и что она ее раз и навсегда отучит лазать по деревьям. И побежала за золотой розгой.

Наверно, принцессе здорово бы досталось, не спрячься она в самый темный угол дровяного сарая, где тихонько, как мышка, просидела до вечера, пока колдунья не успокоилась.

А уж что творилось, когда принцесса без разрешения взяла волшебную подзорную трубу, и говорить не хочется.

Эту трубу колдунья берегла как зеницу ока. Только потом, когда принцесса немного подросла, ей иногда удавалось ненадолго выпросить у колдуньи — если та была в хорошем настроении — подзорную трубу.

Мир, который открывался принцессе, был огромный и тянулся далеко-далеко за горизонт. В этом мире были города и деревни. В усадьбах жили помещики, в деревнях — крестьяне, которые пахали землю, в городах — умелые портные и ловкие сапожники. Еще принцесса видела разных девочек и мальчиков. Иногда они даже танцевали. Порой по дороге проезжал свадебный поезд.

Однажды принцесса спросила у колдуньи, сколько лет было всем тем принцессам, к которым на стеклянную гору взбирались рыцари.

— Ох, у тебя впереди еще много времени.

Но это уже не было правдой. Ведь не раз успели смениться времена года. Не раз цвели яблони и сливы. Осенью дракон стрясал с деревьев спелые плоды. Зимой ветки сгибались под тяжестью снега. Принцесса сильно выросла. Волосы заплетала в длинную толстую косу.

Однажды весенней ночью тихо шелестел дождь. Вдруг его капли стали отливать красным и золотым. Принцесса выглянула в окошко и выбежала в сад. На цветущей яблоне сидела Жар-Птица. Неизвестно, откуда она прилетела. Жар-Птица вся так и сверкала. Смотрела на принцессу.

— Птица, Жар-Птица, я уже больше не ребенок?

Птица кивнула: мол, да, верно. И улетела — неведомо куда.

Колдунья, по-видимому, предпочитала ничего не замечать. Впрочем, той весной она, кажется, спохватилась, что уже не молода и пора бы как-то устроить свою жизнь. Похоже, она не прочь была выйти за дракона. Стала больше за собой следить. Спрашивала дракона, понравился ли ему обед и что приготовить на завтра. Явно старалась ему понравиться.

Но дракон был хитер. Он охотно съедал лакомые кусочки, которые она ему подсовывала. Посмеяться, пошутить с колдуньей — это пожалуйста, но о том, чтобы посвататься, он даже не думал. Дракон прикинул, что, когда за принцессой кто-нибудь приедет, а значит, будет расторгнут договор об охране стеклянной горы, он за накопленные сбережения снимет какую-нибудь приличную пещеру. Станет охотиться на коров и овец. Время от времени ему будут поставлять аппетитных дев.

Но за принцессой все никто не приезжал. Почему? Что случилось?

А вот что случилось: разразилась война.

Ну как могли молодые люди штурмовать стеклянную гору, если все они отправились на войну?

Однажды, выйдя в сад, принцесса услыхала песню. Взобралась на ограду, глянула. По проселку, который спокойно вился под стеклянной горой и где только изредка случалось протарахтеть повозке или пройти, направляясь из одной деревни в другую, запыленному сельскому черту, по этой тихой проселочной дороге маршировал отряд за отрядом.

Принцесса долго смотрела на дорогу. А солдаты все шли и шли. И она знала — потому что любой человек, даже девушка, выросшая на стеклянной горе, это знает, — что многие из тех, кто сейчас идет на войну, не вернутся. Принцессе стало ужасно жаль этих солдат. Но она ничем не могла им помочь. Разве что подарить цветок. И она сорвала розу. Белую. Едва распустившуюся. И бросила ее вниз.

Роза упала на дорогу. Солдат, который шел с левого краю в пятой четверке, нагнулся. Поднял цветок. Не остановился, потому что не мог, но посмотрел вверх, улыбнулся и послал принцессе воздушный поцелуй. Он был молодой, стройный. Под носом пробивались темные усики. Принцесса покраснела.

Собственно, ничего особенного не произошло, но с этого дня она стала гораздо дольше расчесывать перед зеркалом свои длинные волосы.

И вдруг однажды утром кто-то постучал к ней в окошко. Принцесса оторвала голову от подушки. На подоконнике сидел почтовый голубь. Но не в обычной форменной фуражке, как у всех почтальонов, а в военной. (Тогда еще во время войны голубей брали на службу в армию.)

У голубя на груди была орденская ленточка. Он принес письмо. Принцесса вскрыла конверт. Сердечко у нее забилось.

Дорогая принцесса!

Твою розу я засушил и ношу на сердце... — так писал солдат. И еще он писал, что постоянно о ней думает. И постарается, как только закончится война, подняться за ней на стеклянную гору. Он знает: это нелегко, но надеется, что ему повезет. На фронте попадал и в худшие переделки, однако же уцелел. Он очень просит, чтобы принцесса ему написала, думает ли о нем, как он о ней. Ответ лучше всего послать со знакомым голубем. В конце письма он крепко целовал принцессу.

Голубь получил несколько дней отпуска за то, что в страшной битве доставил в штаб очень важное сообщение. А теперь он летел домой. Его ждали голубка и птенцы, которых он еще не видел. Через несколько дней ему предстояло вернуться на фронт. Он найдет солдата и отдаст письмо. Он сказал, что солдата тоже наградили орденом и перевели в капралы, но отпуска не дали: кто-то ведь должен воевать. Голубь хорошо его знал. Славный малый, прекрасный товарищ.

— А за что он получил орден и повышение? — спросила принцесса.

— Как за что?,— удивился голубь. — За храбрость. В приказе прямо так и сказано: за геройский поступок. Он просто герой.

Принцесса очень обрадовалась. Ведь это означало, что солдат годится ей в женихи.

На стеклянную гору всегда взбирается тот, кто хочет доказать, что он герой.

— Нет, — сказал голубь, — он вовсе не хотел быть героем.

И объяснил, что на войну идут не для того, чтобы стать героем, а потому, что так нужно. А героями становятся тогда, когда приходит момент и необходимо проявить мужество, иначе просто нельзя, хотя смерть в двух шагах.

Принцесса удивилась. Задумалась. Но поняла. И написала письмо: да, раньше она о солдате не очень часто думала, а теперь будет думать все время. Будет его ждать. Только пусть бережет себя. И отдала письмо голубю.

За обедом принцесса спросила у колдуньи, что было бы, если б у нее, например, уже был жених и ей совершенно не хотелось, чтобы он рисковал жизнью, пытаясь на коне или пешком взобраться на стеклянную гору.

Но колдунья ответила, что об этом не может быть и речи. Король доверил ей свою дочь. И все без исключения женихи должны попробовать взобраться на гору. Пускай переломают ноги. Даже если один или двое свернут себе шею — что ж, ничего не поделаешь. Парней всегда слишком много, и нечего так уж особенно их жалеть. Стеклянная гора и есть стеклянная гора.

Тут вмешался дракон. Сказал, что он свои обязанности знает. И даже если ему суждено от чьей-нибудь руки погибнуть, он будет до последнего вздоха сталкивать в пропасть каждого смельчака, который взберется слишком высоко.

— У нас все должно быть как в настоящей сказке, — дружно заявили колдунья и дракон. И вообще, они считали, что принцесса еще молода и не набралась житейского опыта.

Принцесса, скорее всего, готова была заплакать от злости, но она знала: слезами тут не помочь. Ладно, они еще убедятся, что она, если захочет, все равно поставит на своем. Раз уж иначе нельзя, она поступит, как та принцесса, которая убежала от колдуньи. В сказке про щетку, гребень и яблоко.

И начала втайне готовиться. В доме, где хозяйство ведет колдунья, волшебные предметы раздобыть нетрудно. Принцесса спрятала в узелок волшебную щетку, выбрала самый волшебный из всех волшебных гребней. Яблоко с заколдованной яблони она решила сорвать в последний момент, чтоб не испортилось. И только ждала нового письма, чтобы договориться с солдатом насчет побега.

День проходил за днем. От солдата никакой весточки. Однажды утром принцесса увидела, что дракон с колдуньей стоят перед домом и к чему-то прислушиваются. Она тоже вышла. Явственно слышался гул орудий.

Дракон раскинул крылья. Полетел. Вернулся в сумерках с газетой. Все три головы погрузились в чтение. Колдунья допытывалась, что пишут.

Писали уклончиво.

— Значит, плохи дела, — сказал дракон, — наши отступают.

Стрельба приближалась. Канонада гремела уже у подножия стеклянной горы. Заплутавшее пушечное ядро со свистом пролетело над садом.

— Я хочу посмотреть в волшебную подзорную трубу, — сказала принцесса.

— И-и-и, чего там теперь в нее увидишь, — пожала плечами колдунья. Ей не о ком было беспокоиться. А поскольку она умела угадывать будущее, то знала, что вскоре наши все равно перейдут в наступление и выиграют войну.

— Я увижу, — уперлась принцесса, — я должна кое-что увидеть!

Колдунья, чтоб отвязаться, вытащила подзорную трубу из тайника. Принцесса смотрела долго-долго. Вначале был виден только дым и вспышки орудийных выстрелов. Потом она увидела реку, потом какой-то дом, стены которого были изрешечены пулями. Скалу. За скалой овраг. Да, он был там!

Так она обо всем узнала — недаром подзорная труба была волшебная.

Солдат был ранен. Не мог двинуться с места. Его товарищи отступили. Он спрятался в кустах, потому что не хотел попасть в плен. Из раны сочилась кровь. Только принцесса могла ему помочь.

— Я должна немедленно спуститься вниз, — решительно заявила она.

— Куда это ты собралась? — удивился дракон.

— Хочешь, чтобы тебя убили?! — крикнула колдунья.

— Я должна пойти!

— Никуда ты не пойдешь!

Могла ли принцесса что-нибудь ей объяснить? Попробуй уговори колдунью, которая очень боится отпускать тебя туда, где идет бой.

Принцессу отвели в ее комнату. Колдунья заперла дверь на ключ. С ключом уселась в соседней комнате в кресло. Дракон разлегся в саду под окном принцессы. Три головы должны были попеременно караулить, чтобы принцесса не убежала. Не забудьте, что все это происходило на неприступной стеклянной горе. То есть казалось, что побег абсолютно невозможен. Однако...

Я до сих пор не сказал — как-то не было случая, — что у колдуньи в последние годы стало плохо со слухом. Вы узнаёте об этом только сейчас, но принцесса-то общалась с ней каждый день. И прекрасно знала, что колдунья туговата на ухо.

Что же касается дракона, она тоже не первый день знала, что три его головы любят сваливать обязанности друг на дружку. И все они очень, ну просто очень любили поспать. Понятно, что тем не менее вести себя следовало очень осторожно.

Итак, принцесса тихо, тихонечко собрала все, какие ни нашлись в ящиках, веревки. Разрезала на длинные полосы простыни и пододеяльники (не понимаю, почему все узники, замышляя побег, рвут только простыни и никогда не рвут ни пододеяльники, ни наволочки). Из веревок и полосок ткани принцесса сплела длинный канат.

Когда настала ночь, она осторожно приоткрыла окно. Да, дракон спал. Тогда принцесса аккуратно опустила на землю узелок, в котором

была волшебная щетка и волшебный гребень. Потом канат. Бесшумно спрыгнула. Босиком, на цыпочках, прошла мимо дракона.

Не забыла она и сорвать самое большое яблоко с заколдованной яблони. Влезла на ограду. Привязала канат. В последний раз оглянулась. В доме светилось только одно окно. Там, где бодрствовала колдунья.

И принцесса начала медленно-медленно спускаться по канату в пропасть. Конечно, взбираться на стеклянную гору гораздо труднее, чем спускаться. Но не подумайте, что спускаться было легко. В такую темень. С такой высоты.

Хорошо хоть она когда-то — когда была маленькая, я об этом рассказывал, — играя, спускалась с дерева по веревке. Поэтому у нее была кое-какая сноровка.

Потом она вошла в лес. Ночью в лесу деревья гнутся, сближают кроны. Листья перешептываются. Все тени, что в жаркий день приносят приятную прохладу, ночью дичают, становятся опасными. Ночью в лесу ухают филины.

Но страшнее всего оказалось услышать, как где-то поблизости, совсем рядом, называют пароли, а потом переговариваются на чужом языке. К счастью, скворец хорошо обучал принцессу иностранным языкам. Она все понимала. И тихо, тихонечко, тоже на цыпочках, но гораздо осторожнее, чем мимо дракона, проскользнула мимо вражеских часовых.

Стоило бы еще поподробнее рассказать, как некий доброжелательный, хотя изрядно напуганный стрельбой заяц (принцесса немного понимала и заячий язык) объяснил ей, как добраться до речного брода. Стоило бы рассказать, как вода заботливо охладила, бережно обмыла исцарапанные в лесу босые ноги, но — надо ведь спешить. Там, в овраге, лежит раненый солдат. Из его ран сочится кровь. У него жар, он без сознания.

Забегая вперед, скажу, что принцесса отыскала его в том овраге за скалой. Хорошо, что колдунья учила ее волшебству. Иначе она не только бы его не нашла, но и сама бы сто раз заблудилась.

Хорошо, что волшебные чары прибавили ей сил. Иначе разве смогла бы хрупкая молодая девушка (как-никак принцесса) перетащить солдата в заброшенную хату?

Хотя... Не знай она, что другого выхода у нее нет, что никто ей не поможет, наверняка давно села бы и расплакалась.

И хорошо, что на свое счастье, благодаря урокам колдуньи, она сумела отыскать нужные травы, чтобы приложить их к ранам солдата. Если б еще под рукой была хоть маленькая баночка чудодейственной мази или живой воды... Но ничего такого у принцессы не было, и она просто перевязала раны — чистые белые тряпицы нашлись в хате.

А теперь я расскажу, что мне известно о солдатских смертях. Не о смерти, а о смертях, потому что на войне солдатских смертей много. Одна бы не справилась. Говорят, солдатские смерти совсем не похожи на те, что иногда рисуют на картинках. У них нет кос. Некоторые даже очень красивые. И все любят молоденьких солдат.

Одна из них хотела забрать именно этого солдата. Другие ее отговаривали.

— Да брось ты, — говорили они. — У него есть девушка, которую вырастила колдунья. Трудно тебе придется.

Но смерть считала, что принцесса у себя, на стеклянной горе. Да и вообще, думала она, принцессы все избалованные, изнеженные, слабенькие. И отправилась за солдатом.

Она была, наверно, уже в полусотне шагов от оврага, но принцесса ее опередила. Когда принцесса тащила солдата в ту хату, смерть шла за ними буквально по пятам. И еще несколько дней кряду приходила под окошко, когда принцесса перевязывала солдату раны. Не думайте, что это легко и приятно, что гнойные раны хорошо пахнут. Но принцесса знала, что никто за нее этого не сделает.

Смерть была поблизости еще тогда, когда в хату едва не ворвались вражеские солдаты. Но принцесса их зачаровала. И смерть поняла, что ничего она не добьется. И превратилась в белый туман. И отправилась искать других солдат.

Как раз в тот самый день у солдата спал жар и ему стало легче дышать. Принцесса уже не сомневалась, что он поправится. Конечно, его еще нельзя было оставлять одного. И только когда ему стало лучше, принцесса поняла, что провела подле него уже много времени. Несколько дней и ночей.

Ни дракон, ни колдунья почему-то ее не преследовали. Пожалуй, жаль, что они сюда не добрались, подумала принцесса. Ведь дракон очень сильный, а колдунья... Она — если сравнивать с другими колдуньями — была добрая, да и что с нее взять: колдуньям нелегко воспитывать чужих детей. Надо будет когда-нибудь забрать ее к себе, подумала принцесса. Навсегда. Пусть отдохнет на старости лет.

Но сейчас принцесса ужасно устала. На кровати спал раненый солдат. Солнце клонилось к закату. Еще несколько дней назад она жила себе спокойно на стеклянной горе. Как все это странно... Принцесса присела на табуретку. И сама не заметила, как ее сморил сон.

Когда она проснулась, был уже новый день. Солдат сидел на кровати. Смотрел на нее (молодые солдаты обычно быстро приходят в себя и выздоравливают).

— Ты откуда взялась, принцесса?

— Со стеклянной горы.

— Дорогая принцесса, останься со мной навсегда.

— Хорошо.

И поправила ему подушку. Он был голоден. У нее ничего не было — пришлось отдать волшебное яблоко.

Волшебную щетку, которая должна была превратиться в заколдованный лес, принцесса потеряла — кажется, именно в лесу. Но волшебный гребень еще был при ней. Она подошла к окну и стала расчесывать свои длинные волосы.

Карл Херман Рёрихт

Нелицеприятные сказки

Перевод с немецкого А. Кукес

Барышня-жаворонок

ХОРОШЕНЬКАЯ юная барышня по имени Герти, о которой мало что было известно примечательного, в один прекрасный день обнаружила вдруг, что кое-что примечательное в ней все-таки есть — она умеет радоваться *просто так*!

Нет, правда — без какой бы то ни было причины. Ну, не празднова-ли дня ее рождения, другого праздника тоже не справляли, и никакой молодой человек не признавался Герти в страстной любви. Ну и что! А ей все равно радостно!

Неслыханная, невероятная радость поднялась из самой глубины ее существа и захватила, как ураган, и, кажется, даже ее характер изменил-ся от этого. Из маленькой скромной мышки превратилась она в фею не-сказанного ликования.

Вы, конечно, спросите: отчего это так? Правильный вопрос. А дело вот в чем: бывают такие натуры, для которых их существование на зем-ле — не что-то такое само собой разумеющееся, но знак особого предпо-чтения и милости судьбы по сравнению с теми, кто еще не появился на свет. Ну, Герти, конечно, философом не была и так четко эту мысль не формулировала — она, как водится у барышень, не столько размышля-ла, сколько чувствовала. Она просто радовалась жизни, без всякой при-чины, как жаворонок — из-за того только, что попала в наш мир, и все здесь пришлось ей по сердцу.

Родилась Герти в обыкновенной небогатой семье, отец — не король, а столяр, мать — не королева никакая, а служащая в конторе. Сама же она служила продавщицей в магазине детской одежды. Герти дётишек любила и работала с радостью, давала советы всем молодым мамочкам, загляды-вавшим сюда, чтобы купить какую-нибудь одежку своему драгоценному чаду. Между прилавком, кассой, складом и советами не особенно повесе-лишься: приходилось держать себя в руках, чтобы не ровен час не наде-лать каких ошибок. Поэтому за завтраком и в обеденный перерыв она по-зволяла себе лишь немного порадоваться, отчего большого вреда быть не могло. Зато когда ехала с работы в трамвае на окраину городка, где у само-го леса стоял ее дом, когда шла от остановки к своей калитке — вот тогда

©Rütten & Löning, Berlin, 1980
© А. Кукес. Перевод, 2006

ее кружила, как вихрь, беспричинная радость, если можно считать беспричинной радость от того, что ты просто живешь на свете. Тогда счастье пульсировало у нее в крови, разливалось по венам, и вся она становилась воплощенной радостью жизни. К слову сказать, свое новое состояние она тщательно скрывала от всех, даже от старичков родителей.

Однажды, когда солнце еще стояло довольно высоко и лишь по часам можно было определить, что день клонится к вечеру, Герти, славно поторговав детскими штанишками и распашонками, шла от остановки к дому, и тут над ее головой взмыл в небо ликующий жаворонок. У барышни все внутри засмеялось, она подумала: "Я вовсе не девушка, я — жаворонок, ликующий от счастья!" И чем больше переполняло ее это неодолимое чувство, тем сильнее казалось ей, что она отрывается от земли, пока она и в самом деле не взлетела как птица. Вот, понимаешь, какие чудеса! Сперва она не поверила своим глазам: это же против всех законов физики! А как же тогда сила тяготения, про которую рассказывали в школе?! Но потом Герти целиком отдалась своему счастью, запела, словно жаворонок, взмыла ввысь и вскоре увидела внизу родное предместье с его скромными домиками и милыми палисадниками. Когда же вихрь счастья был уже на исходе, она умолкла и тихо опустилась наземь. И никому ничего не стала рассказывать, даже родителям не осмелилась признаться.

В остальном ее жизнь текла, как и прежде, своим чередом. Каждое утро Герти поднималась, умывалась, завтракала, ехала на веселом трамвае, таком уютном и дружелюбном, потом исправно трудилась в своем магазинчике на радость покупателям, большим и маленьким, и начальница ее тоже нарадоваться не могла на покладистую и прилежную барышню.

Герти частенько размышляла о своем необыкновенном даре, но не решалась о нем кому-либо рассказать. И правильно, скажу я вам, потому что кто бы ее понял? Ведь даже просто умение радоваться без причины — редкостный дар, присущий очень немногим, может быть только тем, кого принято называть хорошими, добрыми людьми. Низшие же, уродливые разновидности радости — скажем, злорадство по поводу чужой беды или того, что ты сумел в чем-то обскакать соседа — никогда не приводят к такому состоянию величайшего блаженства, которое мы вправе были бы назвать божественным, если бы знали наверняка, что божественное вообще существует. Скажем прямо: то, что люди принимают за "божественное", часто есть не что иное, как лучшие человеческие качества, расцветающие только вдали от будничного "купи-продай". Всякие карьеристы, ненавистники да завистники наверняка расценили бы Гертино ликование в лучшем случае как легкое помешательство, свойственное молодым. Потому-то она и помалкивала и была права!

Очень жаль, но сказка закончится трагично. Вы уж простите, сказочник и сам сожалеет, но... Как-то Герти снова воспарила над своим предместьем, вернувшись после рабочего дня на конечную остановку трамвая. Ликование вознесло ее над лесом, залилась она песней и взмыла в небо. А в лесу мыкалась компания охотников, злых, как волки, оттого что еще ни одной косули не подстрелили, они приняли девушку в облаках за огромную хищную птицу и решили: вот и добыча! Один из них, во всем зеленом, самый низколобый, зарядил ружье и выстрелил. Стрелок он был отменный, ибо ничего другого делать не умел, так что, как ни горько, не промахнулся...

Дети, собиравшие грибы, нашли истекавшую кровью Герти в лесных зарослях. Потом подоспела "скорая помощь", и санитары постарались сделать для девушки что могли, но та все равно скончалась от ран в больнице.

Ох, простите... Простите... Теперь еще и сказочник разрыдался...

Рай для художников

НЕТ, дальше так продолжаться не может! Вот времена настали: за жилье платить нечем, на хлеб не хватает, на булочки и подавно. А еще и краски подорожали, так что совсем радости никакой. Денег ни у кого не стало, а уж про художников, вроде Фердинанда, и говорить нечего. Что ж, он побросал в походный мешок палитру, три кисти, сунул туда же бутерброд, да и отправился странствовать по свету. Города и улицы повсюду были одинаковыми, но Фердинанд упорно твердил про себя: "Новые впечатления — тоже учение!" — ему ведь, как всем художникам, образования ох как не хватало. Кончалась еда — он рисовал лик Пречистой Девы, не заламывая особенно цену. Рисовал одной какой-нибудь краской, что за беда: люди все равно ничего не смыслят в искусстве. Картину менял на круг колбасы и пару бутылок вина, а заодно выманивал у хозяйки разрешение переночевать в ее сенном сарае. Порой к нему заглядывала какая-нибудь работница, и уж ей-то он умел задурить голову рассказами о современном искусстве. Вот житье-то пошло! Часто Фердинанд застревал в таком месте дней на пять, пока хозяин не предлагал ему: иди ко мне работать и живи тогда сколько захочется. Тут-то Фердинанд и смывался потихоньку, оставляя позади очередную безутешную девушку, потому что многие деревенские простушки очень расстраиваются в подобных ситуациях. А ему что — ему уже снова светила аппетитная, похожая на сладкий пирог луна, и мальвы ласково кивали своими головками.

Больших городов Фердинанд избегал. Что ему там делать? Там живут одни инженеры, актеры и их поклонники, а до его живописи никому дела нет. Там даже уличные портретисты с голоду мрут, а уж ему-то и вовсе искать нечего!

Так и странствовал он от одной земли к другой. Но нигде не находил для себя такого места, которое мог бы назвать райским. Порой, оглянувшись вокруг, он понимал, что здесь даже на самый скромный ужин рассчитывать не приходится, и тогда отправлялся в церковь, чтобы развеять свою тоску. Однажды в одной церкви венчали молодых, и Фердинанд предложил свои услуги живописца. Обрадованные молодожены тут же согласились. Однако у художника в тот момент был лишь один тюбик — и тот зеленой краски. Ну кому такое понравится — зеленый свадебный портрет? Так и оставили его без вознаграждения, что неудивительно. Нет, не здесь рай для художников, решил Фердинанд и отправился дальше. А молодой супруг так никогда и не узнал, что его благоверная в качестве компенсации подарила тогда художнику свою девичью невинность и еще три фунта творога на дорогу.

В солнечную погоду Фердинанд частенько ложился на траву, чтобы немного отдохнуть и помечтать, какую бы ему еще написать картину, вспоминал женщин, которых встречал и любил. Все они потом повыхо-

дили замуж за крепких хозяев, бюргеров или крестьян. "Стать бы и мне таким!" – думал иногда Фердинанд. Но нет, судьба не была к нему благосклонна, она словно подхлестывала его – чтобы шел дальше и дальше. Иногда Фердинанд погружался в задумчивость и чертил на песке вопросительные знаки. А потом вдруг вспоминал какую-нибудь шутку и стряхивал свою грусть – он ведь как-никак был художник.

Так пролетали годы. Жизнь Фердинанда клонилась теперь к закату. То, что он видел в своих скитаниях, легко забывалось. Все же способность забывать – благороднейшее из всех человеческих свойств. Но одного он не забыл: где-то должен быть рай для художников, там найдется и домик для каждого, и красок – кому сколько надо, и вина – рекой. И натурщиц дармовых хоть завались. И... что-то еще, очень хорошее... Что именно, он не сумел бы выразить – да его, впрочем, никто и не просил.

И вот однажды он долго-долго брел по безлюдной дороге, боялся даже, что до темноты не найдет себе ночлега. Вот тогда и открылась перед ним красивая долина в лучах заходящего солнца, а в долине – нарядные домики. "Не похоже на деревню, – подумалось ему, – ни сарая не видно, ни даже телеги". Он подошел к одному из домов и постучал в дверь.

– А-а, добрый вечер, – ему открыл старичок в рабочей блузе, заляпанной краской, – привет, приятель, сегодня ты переночуешь у меня, а завтра у тебя будет свой дом и столько красок, сколько твоей душе угодно.

– Сколько душе угодно? – переспросил Фердинанд, чувствуя, как трепыхнулось в груди сердце.

– А ты разве не художник?

– Художник, конечно художник!

– Ну, видишь! – старик хлопнул его по плечу. – Это же рай для художников, здесь каждому рады...

Там и вправду каждому рады.

Биплан

ЖИЛ-БЫЛ на свете один биплан, ну, самолет такой, с двумя парами крыльев одна над другой. Оба крыла, кстати, выкрашены зеленой краской. Молодого человека, что сидел за штурвалом, тоже звали Бипланом, хотя имя у него, конечно, было совсем другое. Биплан – это ему досталось такое прозвище. Разные есть на свете самолеты: малые и большие, скоростные и не очень, но вот бипланы уже почти вымерли. Разве что иногда увидишь, как один такой самолет виражи в небе закладывает. Потому и нашего пилота с его бипланом все хорошо знали. Дел у них обоих хватало: туда слетать, сюда слетать, то из одного городка в другой срочную посылочку доставить, а то, если вдруг не хватает пилотов или другой самолет выходит из строя, так они над полями удобрения рассеивают или химикаты какие-нибудь. Одним словом, всегда находилось, чем заняться.

Биплан, ну, тот, который пилот, женился еще совсем молоденьким. Женушка его, в юности стройная и изящная, с годами становилась все пышнее и все больше раздавалась в ширину. У нее были темные глаза и

каштановые волосы, супруг ласково звал ее Кротиком, и со временем она с этим смирилась. Было у них двое миленьких ребятишек, таких же каштановокудрых и темноглазых, как мать. Отца своего они обожали, гордились им безмерно и мечтали прокатиться с ним вместе на его биплане, однако городской совет, владелец самолета, строго-настрого такое баловство запретил.

По праздникам и выходным Биплан выписывал в небе всякие замысловатые фигуры и пируэты, словом, кувыркался, как мог, и иногда казалось, вот-вот рухнет! Но нет, в нужный момент летчик укрощал самолет, и все облегченно переводили дыхание. Жена и дети всякий раз тряслись от страха, глядя на Биплана с земли, но вместе с тем восхищались его отвагой и мастерством.

Такую опасную профессию выбирает, должно быть, тот, кто легок на подъем, отчаянно смел, не очень-то жаждет взваливать на свои плечи груз жизни и даже наоборот – ждет от жизни только наслаждений. Супруга же Биплана напротив – обладала нравом чрезвычайно меланхолическим, что весьма характерно для кротов, потому муженек ее так и прозвал. Ей-то как раз этой легкости и не хватало, она всякий раз подолгу раздумывала, прежде чем приняться за какое-либо дело, даже если речь шла просто о том, чтобы сходить в магазин. За что бы она ни бралась, все пусть медленно, зато вдумчиво, добросовестно доводила до конца.

Тут, знаете ли, справедливости ради надо сказать кое-что нелицеприятное, хотя кто как на это посмотрит: Биплан был, конечно, парень храбрый и развеселый, но такой ветрогон! Редкостный! Парил, знаете ли, над землей и не очень-то заботился о том, чтобы хранить, что называется, супружескую верность. Любил по вечерам наплести жене, что ему, якобы, надо проверить свой бипланчик: мол, что-то там не так с электричеством или еще что вышло из строя, да мало ли можно найти поводов... А сам – на танцы, а там – девушки вокруг него так и вьются, так и вьются! Не дай бог, узнает об этом его женушка-кротик, так нуждающаяся в твердой опоре, такая поэтому приземленная, – с ума сойдет от ревности и еще, не дай бог, учинит что-нибудь над собой. А ведь Биплан всегда знал, что по-настоящему любит только ее одну. Так пронеслось несколько вполне счастливых лет: Кротик ходила за покупками, стряпала, растила детей, раздавалась вширь, а Биплан как истинный ветрогон носился туда-сюда: то его уносило ветром в небеса, то вихрем кружило по земле среди юных, порой очень даже легкомысленных созданий женского пола.

Однажды на танцах познакомился он с хрупкой нежной барышней, которая понравилась ему так, как никакая другая барышня прежде. Застенчивая, личико бледное, белокурые локоны до самых плеч, и глаза, знаете ли, так и сияют синевой. Он танцевал с красавицей и чувствовал, что она льнет к нему все доверчивее. Этот ветрогон отлично разбирался в языке танца и уловил, как она всем своим нежным телом застенчиво давала ему понять: хочу к тебе!

– Ты неземное существо, – заявил он ей, – тебе не место среди людей. Ты – редкостная бабочка, что должна порхать среди облаков. Не сто́ит тебя эта земля, не достойны тебя люди, которые ничего толком не знают ни о небесах, ни о воздушных сферах, – он точно так же мог бы сказать “ни о ветрогонах”, – я забираю тебя к себе в самолет!

На другой день он прокатил ее на своем биплане, и она была в восторге. Она рождена летать! С ней вместе выделывал он в небе среди бела дня свои сальто, или, как он их называл, "мертвые петли", а вечером за семейным ужином мирно отдыхал со своей женушкой-кротиком и своими земными отпрысками, повествуя им о перипетиях своей нелегкой и ответственной службы.

Конечно, долго так продолжаться не могло! Пусть даже ничего и не выплыло наружу – Биплан-хитрец умел извернуться. Случилось другое: оказалось, что бабочка его воздушная беременна и вскорости должна родить. Как они умудрились сотворить такое в воздухе, бог их ведает. Может, пару раз обнялись где-нибудь в ангаре, хотя – они же оба такие воздушные: он – ветрогон, она – бабочка! Но как бы там ни было, а вскорости ожидалось появление на свет их малютки.

Биплан, понятное дело, не сказал своей эфирной подруге, что женат и что у него уже есть двое деток, потому как ветрогоны смелы обычно в небе – там, понятно, нигде ни камушка, споткнуться не на чем, – а на земле они несколько тушуются. Но теперь-то ведь что-то надо было придумать, иначе беда!

И он придумал: друзья помогли достать гигантский привязной аэростат, похожий на колбасу. Аэростат наполнили газом, Биплан с помощью тончайших стальных тросов прикрепил его к земле и потом позволил ему воспарить в небеса, да так высоко, что оттуда открывался потрясающий вид на закатные, озаренные розовым светом облака, совершенно этот аэростат скрывавшие. На поверхности аэростата Биплан разбил маленький садик, доставил туда на своем биплане сколько-то земной землицы, посадил цветы и кустарник, а из легких материалов соорудил скромный, но очень симпатичный домик. По краям аэростата он возвел невысокий заборчик. На все он, конечно, израсходовал почти все свои сбережения, так что пришлось брать деньги в долг у знакомых под предлогом, что ему, якобы, хочется преподнести своему Кротику на именины особенный подарок. Сад на аэростате расцвел пышным цветом, роскошнее, чем на земле, – видно, почва оказалась плодородной или еще что, но так уж случилось. Туда-то и доставил пилот на самолете свою возлюбленную бабочку, там она и родила их малютку.

Вот так Биплан-ветрогон постиг смысл своего существования и обрел в полной мере то, что люди называют счастьем: на земле стряпала, стирала и растила детей Кротик, а на небе растила потомство, стряпала и стирала барышня-мотылек. И внизу, и там, наверху, появлялись на свет новые отпрыски. Люди, правда, судачили, что Кротик, кажется, уже старовата, чтобы снова рожать, ну, да чего только злые языки не болтают!

Биплан же наш во всех отношениях держался на высоте. Днем работа, в перерывах два семейства, на небе и на земле. И было у него все, о чем только мужчина может мечтать: возвышенные, легкие, этакие воздушные беседы о парящих субстанциях вроде искусства или литературы, о которых можно рассуждать легкомысленно и с ленцой, не стремясь к точным формулировкам и убедительным аргументам, перемежались обильно проперченными трапезами, сытными и приготовленными с неизменной любовью. Нежнейшее любовное воркование сменялось словесным фехтованием и наоборот.

Бывает ли счастье на свете? О нем много писали поэты, мудрецы всех времен только о нем и размышляли. Но если оно вообще есть – настоящее, безграничное счастье, – тогда оно выпало на долю именно Биплану, которому удалось познать и соединить две противоположности – земное и небесное. Человечество бьется над этой проблемой веками. А Биплан воплотил-таки в жизнь его мечту о любви – одновременно земной и небесной.

Однако же не круглые сутки светит солнце, не все коту масленица, недолговечна удача, ибо слаб человек, и мечта его о безоблачном счастье осуществляется лишь в исключительных случаях. Однажды во время очередного бесстрашного полета у Биплана кончилось горючее: он так погрузился в радости своей двойной семейной жизни, что забыл вовремя заправить бак. Самолет разбился, Биплан погиб. Что тут скажешь, жизнь каждого летчика полна непредвиденных и порой смертельных опасностей...

Случилось так, что как раз в это время из аэростата начал выходить газ, и воздушный шар с садом и домиком медленно опустился на землю. И слава богу, потому что чем же матери-мотыльку кормить детишек, ежели кормилец ее никогда больше не прилетит?

Дети до крайности изумились, когда аэростат приземлился посреди большого сада, где стояло множество памятников. Тут же принялись они собирать пышные цветы, что расцвели внутри низеньких каменных оград. Они оказались на кладбище, и именно туда похоронная процессия доставила гроб с телом отважного Биплана. И пока барышня-мотылек горько плакала по поводу непредвиденного приземления, которое, к счастью, прошло благополучно, к ней приблизилась – в сопровождении траурной свиты – вдова Кротик, вся в черном, вместе с детьми. Сама не ведая почему, отделилась она от толпы скорбящих друзей, кинулась к этому нежному, хрупкому, так же безутешно, как и она сама, рыдающему созданию и по-сестрински, лучше даже сказать по-матерински, прижала ее к своей необыкновенно пышной груди. Скорбь разделенная – это уже вдвое меньшее несчастье... А потом, как и положено, скорбь утихла, и жизнь потекла дальше...

Благородному же и храброму Биплану вскоре соорудили памятник, неподалеку от городской ратуши. Приходите на него посмотреть!

Викрам Сет

Крокодил и павиан

Зверская сказка

Перевод с английского Марины Бородицкой

От переводчика

Поэт и прозаик Викрам Сет — настоящий гражданин мира. Родом он из Индии, но подолгу жил в Англии, США, Китае. Опубликовал несколько сборников стихов, записки о путешествиях по Тибету, переводы на английский из китайской поэзии, но мировую известность ему принесли две книги: роман "Подходящий юноша", сразу ставший бестселлером, и роман в стихах "Золотые ворота" о жизни современных молодых людей в Сан-Франциско, виртуозно написанный "онегинской строфой".

Стихотворная сказка "Крокодил и павиан" — первая в книжке так называемых "Зверских сказок", сочиненных, по собственному признанию автора, от жары и скуки. "Захотелось чего-то летнего, — пишет он в предисловии, — и чтобы там непременно были плоды манго и река..." Всего в книге (автор подарил ее редакции "ИЛ" во время своего визита) десять сказок, иронически "осовремененных" и пересказанных отнюдь не свойственным сегодняшней английской поэзии бойким рифмованным стихом: две индийские, две китайские, две греческие, две украинские и еще две, как поясняет автор, "прилетели из Страны Сплетен". То есть, как мы бы с вами сказали, "сорока на хвосте принесла"...

© Vikram Seth, 1991
© Марина Бородицкая. Перевод, 2006

Как на Ганге на реке,
На зеленом островке,
Жил да был, зеленый тоже,
Дорогой обтянут кожей,
Сердцем чист, хоть с виду груб,
Крокодил по кличке Хруп.
Рыбью мелочь раз за разом
Провожал он сонным глазом,
А добычу покрупней
Углядит — и прямо к ней:
По воде скользя бесшумно,
Подберется хитроумно,
Подплывет, бревно бревном,
В иле вымазан речном,
Улыбнется, скажет: "Здрасьте",
Пастью хлоп — и на две части,
И супруге тащит труп
Муж-добытчик, верный Хруп,
И в глаза глядит ей нежно,
И любовь его безбрежна.

А вдоль берега реки
Средь ветвей, как огоньки,
Манго спелые горели,
Их для благородной цели
Рвал мохнатый павиан,
Старый друг островитян.
— Хруп, — кричал он, — здравствуй, милый!
Подкрепи плодами силы,
И жене снеси: она
Там, на острове, одна
В зной июньский среди Ганга,
Чай, измаялась без манго! —
Крокодил же из воды
Отвечал: — Твои плоды
Сладки, но всего дороже
Мне, да и супруге тоже
Дружбы сладостный нектар:
Дружба — вот редчайший дар!
(Хоть супруга крокодила
Больше сладкое любила.)

Вот однажды миссис Хруп,
Сок плодов слизнувши с губ,
Лапы к мужу протянула
И мечтательно вздохнула:
— Мой пупырчик, щедрый мой,
Ты мне летом и зимой
Носишь рыбу, мясо, фрукты —
Всё отборные продукты.

Расстарайся ж для меня
Ради памятного дня –
Годовщины нашей свадьбы:
Чтобы всласть попировать бы,
Сердце друга мне доставь.
– Павиана? – Да! Представь:
Всех добрей в долине Ганга,
Добротой и соком манго,
Словно плод, напоено –
Сколь же сладостно оно!
– Так ведь он мой друг... – Конечно,
И поверит он беспечно
Всем речам твоим. Плыви!
О, мне дурно... жар в крови...
Слабость странная напала...
– Не принесть ли опахало?
– Нет, мне сладкого достань!
К черту фрукты – гниль и дрянь!
Привези, о чем прошу я,
Да скорей... едва дышу я...

Павиан, издалека
Заприметивши дружка,
Так от радости и пляшет,
С дерева рукою машет:
– Угощайся, милый брат,
Нынче манго – просто клад,
Спелым соком налитые,
Словно солнце, золотые!
Улыбнулся крокодил:
– Друг мой, ты ужасно мил.
Нынче наша годовщина –
Мы с моею половиной
На обед тебя зовем.
Ты ведь с нею не знаком?
Сам увидишь, сколь прекрасна
Та, кого люблю я страстно,
Та, чью жизнь, любезный брат,
Слаще сделал ты стократ.
Чуть в глаза она заглянет,
За собой тебя поманит –
Сердце рвется из груди...
Сделай милость, приходи!

– Друг мой, вот какое дело:
По ветвям скачу я смело,
Если ж в реку я шагну,
В тот же миг пойду ко дну.
Может, лодку где сыщу я –
Вот тогда вас навещу я.
Хруп воскликнул: – Дуралей!

Ты ничуть не тяжелей
Этого мешка с плодами.
В гости к нашей милой даме
На спине тебя свезу. —
Миг — и павиан внизу.

Полпути промчали сходу —
Хрун и молвит: — Фрукты в воду!
Лишний груз. — Но как же так?
Я в подарок ей... — Пустяк!
Манго ей давно приелись,
Пира нынешнего прелесть,
Исполнение мечты —
Лишь в тебе. Ей нужен ты!
— Милый друг, я очень рад, но... —
Усмехнулся плотоядно
Крокодил: — А не вранье,
Будто сердце, мол, твое
Сладостным полно нектаром?
Ты плоды ведь ешь недаром?
— Что за странные слова!
— Жизнь, дружище, такова...
Ох, не вызвало бы это
У супруги диабета!
Вот что, можешь выбрать сам
(Я тебе поблажку дам):
Либо ты пойдешь на ужин
Тем, кто был с тобой так дружен,
Либо ты пойдешь ко дну:
Видишь? Я сейчас нырну.

— Стой! — вскричал несчастный малый, —
Дай подумать... Что ж, пожалуй,
Я скорей принять готов
Смерть от дружеских клыков,
Чем от вод бездушных Ганга.
Но, примчав быстрей мустанга
К славной женушке своей, —
Бедный, что ты скажешь ей?
Ведь она, прицелясь метко,
Вскрыв мою грудную клетку,
Ничего там не найдет...
Вот ведь, право, анекдот!
У меня в дупле секретном,
В тайнике лежат заветном
На ночь спрятанные мной
Сердце, печень, запасной
Хвост и запонки с камнями.
Кабы знал, что нужно даме
Сердце, я б его достал.
Ты приплыл — я только встал.

Из-за спешки — вот ведь жалость! —
Всё в дупле лежать осталось.
От испуга крокодил
Ласков сделался и мил:
— Ах я дурень! Ах невежда!
На тебя лишь вся надежда —
Выручай! — А павиан
Знай зевает, как султан:
— Ехать лень... уж больно жарко...
Что не взяли мы подарка,
Сам же ты и виноват...
Ладно уж! Вези назад.

Снова к берегу подплыли.
Крокодил в прибрежном иле
Дожидается дружка
И кричит издалека:
— Что так долго, милый брат мой?
Нам пора бы в путь обратный!
Отвечает павиан:
— Не такой уж я болван —
Дважды лезть в одно болото!
Мне еще пожить охота.
Пусть жена твоя вперед
Сердце собственное жрет,
Черной вспоенное злобой,
А мое — достань попробуй!
Здесь оно, всегда при
мне,
Днем и ночью и во сне.
На прощанье, друг мой
мнимый —
Угощайся, только
вымой! —
С ветки он что было сил
Сгнившим манго
запустил,
Что едва не угодило
В глаз печальный
крокодила.

Рисунок Рави Шанкара

Никита Данилов

Жена Ганса

Рассказ

Перевод с румынского Светланы Негру

ЖЕНА Ганса (одни называли его Гансом, другие — Францем, третьи — Кранцем, а остальные — никак) была выше его на голову и имела поистине лошадиное лицо. Ноги длинные и тонкие, только что не заканчивались копытами. Но есть еще время, вырастут и копыта, говорили приятели Ганса.

Шея ее изгибалась длинной и могучей дугой. Ей бы нужен был мужик крепкий, жилистый, пылкий, а не горемычный Ганс. Когда он взял ее в жены, она была не такой. Казалась хрупкой, маленькой девчушкой. Женщина в миниатюре, это-то в ней и понравилось Гансу. Ей было лет восемнадцать, но никто бы ей их не дал. Она еще играла в куклы. И принесла их с собой. Когда Ганс уезжал в город, она вытаскивала кукол из шкафа, купала их, причесывала, одевала в новые платьица и выводила во двор гулять. В доме скакала через веревочку, играла в классы на паркете, даже каталась на самокате. И бегала в парк ловить бабочек. Ганс заботился о ней. Утром, после того как Ганс приносил ей кофе в постель, она ласково прогоняла его, говоря: "Иди-ка ты отсюда!" И Ганс уходил в город. Она пила кофе, а потом усаживалась в кресло-качалку. Или на одной ноге прыгала по дому. От двери к окну и обратно. Зимой кормила воробьев на подоконнике или сама с собой играла в прятки, прячась то в шкафу, то под столом или за занавеской. Сама от себя пряталась то в одной, то в другой комнате. По целому часу смотрелась в зеркало и разговаривала сама с собой. В город ходила очень редко. Больше всего любила нежиться в постели.

© Светлана Негру. Перевод, 2006
Редакция благодарит Никиту Данилова за любезно предоставленное право безвозмездной публикации его рассказа на страницах журнала.

Через два года после свадьбы жена Ганса начала вызывать у мужа беспокойство: с каждым днем она становилась все нервознее и неожиданно стала расти. В первые шесть недель никто не высказывал тревоги, но прошло еще три недели, и поползли слухи, что с женой Ганса происходит что-то поразительное. В самом деле, она так выросла... Ноги ее безмерно удлинились. Гансу нравились длинноногие женщины, но ее ноги были уж чересчур длинны. Они сделались как ходули. И лицо удлинилось. Правда, только нос и подбородок. Лоб остался прежним и теперь казался необычайно узким. Глаза выпучились. Они вращались под веками, мутные и красные. Смотрели отстраненно. Брови сгустились, срослись на переносице. И придавали ей внушительный вид. Когда она бросала на вас взгляд, по спине бегали мурашки.

Волосы из мягких, светлых и шелковистых, какими были прежде, превратились в черные-черные, как смола, жесткие и лохматые, как конская грива. Хоть бы она их как-то подстригала, говорил Ганс, но жена о стрижке и слышать не хотела. Пусть стрижется Ганс, если хочет, пусть бреет голову, она не имеет ничего против, но ее пусть оставит в покое. Сам-то он почему не стрижется? Однажды она взяла его за руку, отвела в парикмахерскую и остригла наголо. Иначе говоря, совсем уже не слушалась Ганса. Становилась все сварливее.

Зубы тоже раздались в ширину. А раньше они были красивые. От ее улыбки дом Ганса, бывало, словно светом наполнялся. А теперь зубы походили на лошадиные — крупные, широкие, почерневшие от табака. Ими можно было жевать сено или грызть кукурузные початки. Стоило жене оскалиться, и Ганс тут же прятался под стол и сидел там, дрожа от страха.

Разонравились ей и платья, и юбки. Носила она только брюки. Брюки плотно обтягивали бедра, чуть не лопаясь по швам. Жена вертелась перед зеркалом. На Ганса и не смотрела.

Прежде, бывало, она сводила мужчин с ума. Те вечно пялились на нее. Вот это женщина, говорили многие из них, но на месте Ганса я бы не волновался, одно дело — улица, другое — дома. А Ганс долго ее ревновал. Но потом ревность прошла. И Ганс успокоился. А жена то и дело говорила ему: “Ох ты, горе луковое! Посмотри на себя, на кого ты похож?”

Ганс и вправду выглядел жалко. Таял на глазах. Весь высох. Стал неузнаваем. Большой, длинный, острый, как клюв, нос. Шея искривилась, голова свешивается набок. Плечи тоже исхудали. Ноги, как две спички. Ветром можно сдуть господина Ганса. Что с ним случилось? Куда девалась его мужская сила? Словно из него высосали все соки! Жалок, ох как жалок был Ганс!

И заняться ничем не мог. Сцепивши руки за спиной, стоял у окна и смотрел на улицу. А там спускались и поднимались в гору трамваи и громыхали так, что стекла в домах дребезжали. Люди, съежившись от холода, бродили у витрин. “И что такое эта жизнь? Придет весна, а там, глядишь, осень. Потом снова лето, зима. Сегодня понедельник, а там опять суббота, и время уходит, неизвестно когда и как. Деревья зеленеют, листья опадают. Прилетают птицы, вьют гнезда, высиживают птенцов, и опять улетают, и снова возвращаются. И опять весна, лето, осень, зима. Карусель! Как странно, вроде бы только вчера Ганс был маленьким и ходил в школу. Он прекрасно помнит уроки математики, свою старую учительницу, которая каждый день вызывала его к доске. Теперь Ганс взрос-

лый мужчина и не должен дрожать у доски, стараясь вспомнить, сколько будет дважды два. Настоящим мужчиной стал теперь Ганс. У него был дом, была жена. Мог бы заиметь и маленького Ганса, который ходил бы в школу с ранцем на спине, прыгал на одной ножке по улице. Маленький Гансик пачкал бы стены, рисуя на них углем человечков, забирался бы на деревья, на крышу, собирал окурки на улицах, а потом затягивался бы как стемнеет, спрятавшись в ванной. Но маленький Гансик еще не появился и даже если бы появился, разве он, Ганс, был бы тогда счастливее? Жена властвовала над всем домом, без ее ведома ничего здесь не делалось. Если ты слабый, а человек рядом с тобой сильный, можешь ли ты стать выше его? По утрам жена вела Ганса к зеркалу, тыкала его в стекло носом, как сделала бы это с котенком или собакой, нагадившими на ковер. Приплюснув его нос к зеркалу, говорила: "Смотри, на кого ты похож?!" И отправляла его в ванную. Ганс раздевался, залезал в ванну и там долго размышлял о своей жизни.

Одевалась жена все ярче, все крикливее. Руки ее были в браслетах и перстнях. На голову она водружала всевозможные шляпы, украшала их цветными перьями и розовыми ленточками. На груди жены висели бусы и ожерелья из старинных монет. Она туго опоясывалась широким ремнем с металлическими бляхами и натягивала красные сапоги с острыми носами и высокими каблуками. (Только каблуков ей и не хватает, говорил Ганс, и так ростом больше двух метров.) На плечо она вешала красную сумку, чтобы соответствовала сапогам, красила красиво изогнутые губы, покрывала лаком ногти, потом закуривала сигарету и такая, расфуфыренная, отправлялась в город. Шаталась по магазинам на большой улице.

Выходила из одного магазина и заходила в другой. Ганса брала с собой. Не хотела оставлять его дома одного. Повсюду за собой таскала. Ганс едва доходил ей до бедер. И раньше-то был хилым, а теперь стал еще тщедушнее. Из-за прилавка не видать. Он блуждал по магазину. Иногда жена окликала его по имени, и Ганс выныривал из-за тюков тканей. Ганс стеснялся ходить с ней по улице. Не выглядел он ее мужем. Мужчины смотрели на него с жалостью. Пожимали плечами: ну и повезло же бедолаге! Она доконает его за несколько месяцев. А может, и месяца не пройдет. Точно, вот-вот Богу душу отдаст! Посмеивались сквозь зубы: держись, Ганс, в хорошую упряжку ты попал! Женщины толкали друг друга локтями. Вот так жена! – говорили они. – Ну и муж, тоже! Хоть в витрину выставляй. Пара – загляденье!

У Ганса часто сдавали нервы, и он принимался плакать. Плакал, идя за ней и хлюпая носом, как ребенок. И не успокаивался, пока не получал подзатыльник. Он держался в двух шагах от нее. Глаза распухли, покраснели. Вытаскивал носовой платок и сморкался. Чуть-чуть успокаивался и снова начинал плакать. Слезы текли ручьями. Лились из глаз, как из бездонного колодца. Он шел за ней и сам себе казался очень маленьким и очень жалким. Лучше б ему оставаться ребенком, хоть бы плакать мог вволю. "Да прекрати ты реветь, – говорила жена, – а то схлопочешь по затылку!"

И Ганс притихал. Вытирал слезы мокрым носовым платком и пытался улыбнуться. Но на душе у него было тяжко. Словно кто-то положил на нее огромный булыжник. Заплаканными глазами смотрел он на витрины и чувствовал себя все несчастнее.

Вечером, дома, когда жена раздевалась, снимая с себя побрякушки, Ганс пытался подглядывать. У жены были формы, очень соблазнявшие

Ганса. Однако она сразу отправляла его спать. И Ганс, опустив глаза, шел в свой угол и ложился на кровать. Перед тем как натянуть на голову одеяло, он бросал на нее последний взгляд. В обтягивающих икры чулках жена ходила туда-сюда по комнате. Выглядела она величественно. Ганс ощущал гордость. Жена доставала головой до потолка. Казалась царевной из сказки — или из сна. Ганс под одеялом закрывал глаза и засыпал. На его покрасневшие от слез веки опускался сон. Он вздрагивал во сне и глубоко вздыхал. Сновидение несло его на крыльях, с букетом цветов, к верхушке колокольни, где была она, его жена, в белом платье и с венцом невесты на голове. Часы уже пробили полдень, и гости бродили по двору церкви, покрытой дранкой. Церковь была высокая, красивая, свежепобеленная. Ганс вскарабкался на стену, его костюм жениха запачкался известкой. Наверху было треугольное оконце с деревянной решеткой. Ганс должен был обязательно проникнуть через него внутрь. Добравшись до оконца, он ухватился руками за края, просунул голову внутрь, затем, повернувшись, протиснул и плечи и удивленно вытаращил глаза на два огромных колокола, которые вдруг ужасно зазвонили. Громадные бронзовые колокола медленно раскачивались с запада на восток, и звуки рокотали, словно исходя из воды. Это жена их раскачивала. Она привязала себя к веревкам, и ее тело в белом платье раскачивалось в колокольне от одного окна к другому. Жена кричала, звала Ганса: "Ганс, Ганс, иди, иди сюда, дорогой мой Ганс, давай раскачивай, раскачивай и ты!" Но Ганс только махал руками, чувствуя, что застрял в оконце, его костюм зацепился за решетку. Он хотел заговорить, но из горла не вырывалось ни звука. Ганс отдал бы все, чтобы проникнуть внутрь. Но не мог, потому что оконце тем временем стало сужаться. Теперь он не мог ни попасть внутрь, ни вылезти наружу. Жена махала платочком и смеялась, смеялась. Ганс болтал своими короткими ножками, забавляя стоящих внизу гостей, которые показывали на него пальцем и тоже хохотали, растягивая рты до ушей. Туфли Ганса соскочили, и он так и висел, болтая голыми ногами. В спешке готовясь к свадьбе, он забыл надеть носки. Ступни были потрескавшиеся и испачканы сажей. Если он будет еще долго так извиваться, свалятся и брюки, и тогда гостям будет на что посмотреть. Вот, брючный ремень уже расстегнулся! Что скажут люди? Ну и жених, вот так вырядился! Подумать только, взлетел на колокольню, чтоб самому бить в колокола на собственной свадьбе! Так ему и надо, нечего задаваться! Они подобрали туфли с травы и стали играть ими во дворе, перебрасывая друг другу. Хоть повеселиться, пока Ганс оттуда не вылезет. Не сидеть же им сложа руки и ждать его. Забавляясь, они бегали вокруг церкви. В результате туфли порвались в клочья, и их оставили на паперти. Вдруг оглушающе зазвенели колокола. Они раскалились, бронза покраснела, будто ее держали на углях. И вместо звуков стали вылетать клубы дыма. Дым всполошил голубей, которые нашли приют на колокольне. Они суматошно метались, ударяясь о колокола. Вся колокольня заполнилась голубиными перьями. А тех голубей, которым удавалось вырваться через окошко, тут же забивали камнями стоявшие внизу гости. Мужчины и женщины — а их была огромная толпа, — без устали собирали камни и швыряли в голубей. Вскоре появились и дети с луками и стрелами и стали целиться в Ганса. В его голые ступни. Две стрелы, дрожа, вонзились одновременно, одна в правую, другая в левую ступню. Дети захлопали в ладоши и вставили в луки новые стрелы.

Ганс проснулся, обливаясь потом, и протянул руку за бутылкой, обычно стоящей у кровати. Его мучила жажда, волосы прилипли к голове. Ганс через дверь заглянул в другую комнату и увидел, что жена только укладывается спать. В изголовье постели горела лампа, и она стояла перед зеркалом, накручивая на бигуди пышные волосы. Почувствовав на себе его взгляд, жена раздраженно повернулась к Гансу.

— Чего ты не спишь? — закричала она. — Чего смотришь? Тебе что, пустышку дать?

Она не могла выносить на себе взгляда его несчастных глаз. И тогда Ганс отправлялся спать. Клал голову на подушку и, вздыхая, засыпал. Спали они отдельно. Она в большой и длинной, как комната, кровати, он — в маленькой, как люлька, постельке. Спал, свернувшись в комок, прижав колени к подбородку, дрожа от холода. Сначала какое-то время они спали вместе, но поскольку Ганс во сне дергал ногами и постоянно ее раскрывал, она переместила его в маленькую кроватку с решеткой, чтобы Ганс во сне не свалился с постели. В ней Ганс мог дергать ногами сколько душе угодно.

Если Ганс долго не засыпал и лежал с открытыми глазами, разглядывая потолок, она совала ему в рот пустышку. И все для того, чтобы его унизить. Словно он не был и так достаточно унижен!

Утром Ганс просыпался рано и шел за покупками. Он же готовил завтрак. Кофе и обжаренный хлеб подавал ей в постель. Завтраку следовало быть очень плотным. Гансу приходилось приносить множество подносов. Настоящее пиршество: и жаркое, и бутылка вина. Ганс доедал, что оставалось. Он любил цыплячьи крылышки. Нельзя было разбазаривать добро. И так много расходовалось на еду. Цены каждый день росли. К счастью, Ганс ел мало. И был непривередлив. Довольствовался чем попало. Поклевывал то здесь, то там. Ему нужно было меньше, чем щенку. Чашечка молока утром — и он сыт до позднего вечера. Покончив с завтраком, Ганс убирал со стола, мыл посуду и подметал пол. Все должно было сверкать. У жены была аллергия на пыль. Если Ганс выказывал усердие и послушание или если была хорошая погода, жена оставляла ему на тарелочке немного кофейной гущи и даже кусочек шоколадки. Но тогда заставляла его испачкать ею нос. Так Ганс выглядел забавнее, как настоящий ребенок. Это ее развлекало. Жена подзывала его к кровати и целовала в губы, потом снова отправляла на муштровку. Где-то ближе к обеду они шли на прогулку. Ему тоже следовало подышать свежим воздухом. Слишком уж он пропах нафталином. Заплесневел от долгого сидения дома. Шли в парк. Погода была что надо, и Ганс бежал за ней, как щенок. Он был счастлив.

Жена велела ему отрастить усы и бакенбарды, и в таком виде, с бакенбардами и усами, повсюду таскала его за собой. Иной раз совала ему в рот соску, чтобы не хныкал по дороге, и так водила гулять. Ганс едва поспевал за ней. Он цеплялся рукой за ее юбку и, топая, бежал по тротуару. Со спины могло показаться, что это мальчишка лет трех-четырех. Она надевала на него короткие штанишки и белую в синюю полосочку футболку. С очками на носу и в коротких штанишках Ганс был очень мил и забавен. Просто хотелось его расцеловать. Многие останавливали его, угощали мороженым, потому что Ганс был им симпатичен. Он казался таким хорошеньким и послушным, прямо на диво!

Часто жена вывозила его в город в коляске, это чтобы он не уставал бежать за ней. В последнее время Ганс быстро уставал. Ноги отказыва-

лись служить, он садился на край тротуара и принимался плакать. Теперь, как только они выходили из дома, жена усаживала его в маленькую колясочку, плотно укутывала одеяльцем, давала ему несколько пластмассовых шариков и везла в парк. Ганс послушно сидел в коляске. Считал пальцы на руках или читал газету. Было тепло, хорошо. Жена очень о нем заботилась. Люди, проходя мимо, качали головами. Жена толкала коляску, она баловала Ганса: останавливалась возле каждого киоска в городе и покупала ему пирожные или конфеты. Ганс любил шоколадные конфеты. Проезжая в коляске мимо табачного или газетного киоска, Ганс махал руками. Но курить она ему запретила, и Ганс страдал целый месяц, пока не привык обходиться без сигарет. Взамен она покупала ему газеты и журналы, и Ганс перелистывал их по дороге. Смотрел больше на снимки. Читать ему не очень-то удавалось, и даже если он дочитывал какую-либо фразу до конца, содержание ее от него ускользало.

Ганс ехал в коляске и что-то лепетал. Играл сам с собой. Радовался, считая на пальцах птичьи гнезда или каменные столбы железной ограды, окружавшей парк. Считать он не разучился. Мог легко досчитать до двенадцати. Цифру тринадцать он каждый раз пропускал. Хоть и знал, что число это существует, где-то далеко, и оно ассоциировалось у него с черным котом, орущим ночью под его окном.

Вообще-то Ганс мог сосчитать до восемнадцати, иногда даже до двадцати. В его голове возникали и обрывки самых разных мелодий, услышанных когда-то, и обрывки стихов, и он мысленно́ их лепетал.

Как тепло было на улице! Как чудесно пели птички! Жена и Ганс останавливались у отдаленной скамейки парка и смотрели на закат. Даже черты лица его жены словно бы смягчались. Глаза грустно улыбались. Глядя на Ганса, жена вздыхала.

Через час возвращались домой. Мимо них торопливо шли люди. Показывали на Ганса пальцем. Жена грозила им кулаком. Ганс послушно сидел в коляске и с удовольствием разглядывал женщин. Женщины торопились, проходили мимо, красиво покачивали бедрами. Ганс прятал усмешку под усами. Иногда протягивал руку, пытаясь ущипнуть красотку за ногу, но та, погрозив ему пальцем, быстро удалялась на своих высоких каблуках. А Ганс все не успокаивался, пока не получал по затылку.

Возвратившись домой, жена осторожно вытаскивала его из коляски, несла на кровать, распеленывала, бросая мокрые тряпки в угол, потом купала в пластмассовой ванночке, снова пеленала и укладывала в постельку.

Очень о нем заботилась жена Ганса. Своим резким голосом она напевала “Баю, баюшки, баю”, пока Ганс не засыпал. Тогда жена осторожно наклонялась над ним и нежно укутывала маленьким одеяльцем. Целовала, укутывала и поглаживала усы. И Ганс успокаивался и, улыбаясь, засыпал. Он видел сон. Во сне он сидел, примостившись в теплом гнезде, на вершине высоченного дерева, и о нем заботилась большая птица с красиво окрашенными перьями. Подобной птицы Ганс не видел никогда в своей жизни и даже не знал, существует ли она на самом деле. Большая, с человеческий дом, птица носила на шее бусы и под крыльями прятала женские груди. Когда она встряхивала крыльями, вокруг пригибались все деревья. Птица приносила еду и кормила его прямо из клюва. Ганс радовался, кричал, открывал клюв и отдавался ее заботам. Птица приносила рыбок и лягушек, кричавших: “ква, ква”! Вместо того

чтобы их съедать, Ганс играл с ними. Гнездо, где находился Ганс, было чистое, застеленное газетами. Птица брала в клюв нечистоты, оставляемые Гансом, и относила их за реку. Река текла недалеко от дерева, на котором проживал Ганс. Она виднелась между листвой. Когда птица улетала, он немножко играл с лягушками, потом, ухватив за задние лапки, бросал их обратно в воду. Птица приносила ему змей и мышек. Ганс не боялся змей. Умел их укрощать. Этому его научил старый Ганс. И теперь Ганс совал их себе под рубашку и кормил лягушками. Мышек учил стоять на задних лапках и смотреть ему в глаза. Славные эти мышки, только очень уж трусливы. Гансу захотелось стать мышонком, сидеть в норке под землей, где никто его не увидит и где у него не будет никаких забот. Но с птицей Гансу повезло, что бы он без нее делал? Кто бы его кормил? Кто согревал бы ночью? Кто уносил бы из гнезда его нечистоты? Но куда исчезла птица? Почему не возвращается в гнездо? Уже ночь, он голоден, и ему холодно. И он боится оставаться один. Очень боится. А какая странная луна повисла над городом! Да это вовсе и не луна. Мяукает, как мартовский кот. А где же дерево? Почему оно растаяло под ним? Почему он на крыше? Кто принес его сюда и, почти голого, оставил на покрытой изморосью черепице? Хорошо хоть, что он схватился за водосточную трубу, а то бы от него и следа не осталось.

Ганс проснулся испуганный, мокрый от пота. Жена, наклонившись над ним, кричала. Почему Ганс не проснулся раньше и не пошел за покупками? Ведь она поставила будильник ему под нос, на тумбочку. Он давно прозвенел. Почему Ганс не проснулся? Оглох он, что ли? И почему, как сумасшедший, вопит во сне? Что с ним такое? Почему до сих пор не оделся, а сидит и пялит на нее глаза? Еще не был на рынке? Не вернулся с рынка?

О чем он думает? Может, Ганс хочет, чтобы вместо него она пошла за покупками? Разве это к лицу мужчине?! Так-то он ее бережет. Надрывается на домашней работе? Как, он все еще здесь? Не взял пакеты? Не вышел из дома? Может, ему нужен хороший пинок? Пусть купит петрушки и зеленого лука. Да не забудет взять кофе и пачку сигарет. Понял Ганс или ему нужно повторять тысячу раз?!

Покончив с рынком, Ганс подметал полы, ополаскивал посуду, вытирал пыль с мебели, стирал белье. Жена заставляла его испражняться в постели, потому что ей так нравилось. Нравилось слушать, как он скулит в собственных нечистотах. Она знала, что Ганс терпеть не может грязного тела. А потом сама же и кричала на него. Что она ему говорила? Давно говорила, что он плохо кончит. Почему он ее не слушал? Жена распеленывала его и несколько раз шлепала по заду. Чтобы приучить Ганса не пачкать постель. Что он себе позволяет? Взрослый мужчина и ходит под себя! Она выйдет на улицу и всем расскажет, что за человек Ганс! Она этого не может больше выносить. Она все бросит. Чем с таким мужем, как Ганс, лучше совсем без мужа. Пусть Ганс сам выпутывается. Взрослый уже. Ее он больше не интересует. И у жены может быть своя собственная жизнь.

Жизнь Ганса стала мукой. Что он ей сделал? Зачем она мучает его каждую минуту? Он уйдет отсюда. Соберет вещи и уйдет из дому. Уйдет куда глаза глядят. Господь его не оставит, не даст умереть с голоду. Друзья приютят его...

К счастью, иногда жена напивалась. И тогда лучше относилась к Гансу. Приходила домой в хорошем настроении и ласкала его, чтобы сде-

лать приятное. А потом жена всерьез пристрастилась к спиртному. Пила денно и нощно, недели напролет. Пила коньяк и курила сигарету за сигаретой. Не беря в рот ни крошки хлеба. Могла свалить под стол десять мужиков, а сама все еще была трезвой. Только глаза необычно стекленели. Возвратившись из города, она бросала на кровать сумку и подходила к кроватке, где спал Ганс. Ласкала его, щекоча под подбородком. Ее охватывала неожиданная любовь к Гансу. Она вынимала его из пеленок, поднимала в воздух и целовала ему пятки. Ей нравилось, как Ганс кричит.

Ганс отбивался руками и ногами, смеялся, хныкал, кричал. До посинения. Он чувствовал, что задыхается, умирает от щекотки. Хохотал, рыдал. Но проворная жена Ганса знала его чувствительные места и играла на них, пока он, обессиленный, не сдавался. Потом переворачивала его и давала несколько шлепков по попке. Почему Ганс такой непослушный? Почему занимается глупостями? И снова его ласкала. Почему Ганс рассердился? Что она ему сделала? Почему Ганс не понимает шуток? Он же видит, как она о нем заботится? Потом опять брала его на руки, собираясь кормить грудью. Груди были огромные, белые, с большими, как свеклины, сосками. Она совала их ему в рот. Почему Ганс не хочет сосать? Почему не ест? Хочет уснуть голодным? Ганс все время отворачивался, отказываясь брать грудь. Но она насильно совала ее, щекоча ему нос соском. Если бы в ней хоть было молоко. Но жена его была бесплодна. Груди большие и бесполезные. Мучила его понапрасну. Лучше бы налила в бутылочку коньяку!

Когда кто-то приходил в гости, жена жаловалась, что Ганс ее не слушается. Ганс отказывается сосать, хотя и голоден. Жена просто не знает, что с ним делать. Ганс упрям. Ужасно упрям.

Вывезя его в коляске на улицу, она заставляла Ганса идти ножками впереди нее. Так как Ганс слегка пошатывался, она ловила его за воротник, поддерживая, чтобы не упал. Ей нравилось, чтобы Ганс шел ножками. Он так смешно ковылял, так интересно. Женщины по нему помирали.

Ганс быстро состарился. В тридцать лет он выглядел на шестьдесят. Все лицо было в морщинах. Нос навис над подбородком. Губы сморщились. Безвольно повисли. Глаза стали жадными, хитрыми. Совсем пропащим выглядел Ганс.

Жена не могла больше терпеть его коварства. У Ганса стали нехорошие глаза. Очень нехорошие. Когда Ганс смотрел на нее, она чувствовала, что покрывается потом. С пышными бакенбардами и в армейской фуражке сидел он в коляске, которую жена катила по улицам. Она каждый день вывозила его в город. Люди смотрели на Ганса с жалостью, качали головами. Плохи дела у бедняги! Так ему и надо, раз такой дуралей, да еще поторопился. Сколько ему говорили, чтобы не женился? Но Ганс никого не слушал. Втемяшится что в голову, будет стоять на своем. Теперь вот локти кусает. Сам все сделал, своими руками.

В двадцать лет Ганс был чистенький, щегольски одетый юноша. Никогда не выходил из дома в неглаженых брюках. Гладил их по два-три раза на день. Если случалось, что складка на брюках не получалась, снова включал утюг и переглаживал. Если получались две складки, приходилось надевать другие брюки. Гладить брюки лучше всего, когда они чуть-чуть влажные. Если будут слишком сухие, складка не получится. Рубашки он тоже сам стирал. Соседи удивлялись: какой благоразумный

мальчик. Как аккуратно носит одежду. Как красиво развешивает ее в шифоньере, возвратившись из города. На брюках Ганс не мог терпеть даже самой маленькой пушинки. И сидеть они должны были безукоризненно. Туфли чистил в ванной. Вечером, перед сном, мазал их кремом и аккуратно расставлял в прихожей. Туфли выстраивались, как вымуштрованные солдатики. Старые — у двери. Новые — ближе к середине. Из каждой туфли выглядывал чистый носок. Туфли не терпели грязи. Она их раздражала. Если попадался, случайно, грязный носок, туфли строили из шнурков недовольную гримасу. Они не выносили запаха нестиранных носков. И соседства других туфель. Чужие они обходили стороной.

Костюмы Ганса были такими же безупречными. Ганс имел привычку чистить их щеткой по нескольку раз в день. Воротничок рубашки гладил каждое утро через мокрую тряпку. В каждом кармане носил тщательно отглаженный носовой платок. Родственники говорили: Ганс слишком аккуратен. Слишком заботится о своей персоне. Как бы чего не вышло. Уж очень он утонченный. И родственники были правы, вот до чего докатился!

Наконец жена набралась смелости и привела в дом любовника. Не сидеть же все время сложа руки да глазеть на стены. Что ей делать с таким мужем, как Ганс? Она еще молода. Ей чуть больше сорока. Говорят, что в сорок лет женщина в самом соку. Только тогда она и становится женщиной. А в пятьдесят кто на нее посмотрит? Он приходил к ним каждый день. Высокий, чернявый мужчина с коротко остриженной бородой и волосатыми руками. Ганса они укладывали в кроватку, накрывали одеялом, а сами развлекались. Вечерами мужчина играл на трубе, а по утрам писал картины на балконе. В воскресенье продавал их в парке. Писал он пейзажи и натюрморты с лежащими в постели голыми женщинами.

Раскинувшись на диване, они бросали в Ганса пирожными и конфетами. Не стеснялись. Как будто его и не видели. Просто не замечали. Это было уже слишком!

Хоть и совсем крошечным стал Ганс, а все равно сходил с ума от ревности. Если бы она не пеленала его так туго, он бы им показал! Разбил бы им головы и выбросил на улицу. Ганс плакал, кричал, вопил в своих пеленках. Но они его не замечали. На его глазах удовлетворяли свои желания. Хоть бы спрятались куда-нибудь, черт бы их побрал. Наверное, думали, что Ганс впал в детство и ничего не понимает. Разве может он что-либо понять из их шалостей?

Заправляя в брюки рубашку, художник подходил поиграть с Гансом. Ему нравилось его дразнить. Он щекотал его под подбородком или дергал за усы, после чего швырял в постель монетку, чтобы Ганс мог купить себе конфет или сигарет. Не нужны были Гансу ни его конфеты, ни сигареты, которые художник, по доброте душевной, насильно пихал ему в рот. Хотя ему и хотелось разок затянуться. Но Гансу запрещалось и курить, и пить кофе. Это было вредно для печени. Жена не собиралась отвечать за него. Довольно он накурился и выпил на своем веку. У Ганса курение уже превратилось в дурную привычку. Теперь пусть другие курят.

Ганс плакал, кричал, бился в кроватке. Жена и художник спрашивали, что с ним, чего ему не хватает, чем недоволен?! Почему не говорит, почему притворяется немым?! Но Ганс продолжал извиваться. Говорить он разучился. Не знал ни единого слова. Орал и вопил целый день, чув-

ствуя, как мокрые пеленки прилипают к коже. Даже ночью не давал им отдохнуть. Бился, сучил ногами, синел от ярости, на губах выступала пена, но он не мог сказать ни слова. Только кусал их за пальцы, плевался да орал, как сумасшедший.

Жена больше не могла выносить его истерик. Не из дерева же она была, не из железа. Он так в могилу ее сведет. Несколько дней жена советовалась о чем-то с художником. Ганс слышал, как они до утра шептались в постели. Слышал свое имя, произносимое обоими. Художник колебался. Он был не совсем согласен с ее планом. Старался даже привести свои доводы. Ему не хотелось, чтобы все это вышло ему боком. Утром, вылезая из постельки, Ганс чувствовал на себе его внимательный взгляд. Казалось даже, что художник отчасти понимает страдания Ганса: однажды он принес ему банку пива и спрятал ее в кроватке под подушкой. Но жена оставалась непреклонной. Ганс чувствовал, что ее ненависть к нему растет с каждым днем.

Однажды вечером жена с художником много выпили, уединившись на кухне, где было теплее. Они то и дело принимались ссориться, кричали друг на друга, но каждый раз быстро мирились. Ганс услышал, как снова заскрипели пружины дивана, находящегося на кухне. А в этот вечер они уже скрипели не меньше семи раз. Наконец художник вышел из кухни, и Ганс увидел, что он идет к его кровати, широко улыбаясь, с бутылкой коньяка в руке. Жена хлопотала около раковины, отмывая стаканы и чашки от кофейной гущи. Когда жена вошла в комнату, Ганс заметил, что она принарядилась, надела новые брюки и другие сапоги. Тоже улыбаясь, она подошла к его постельке. На пальцах у нее поблескивали перстни, а на запястьях сверкали браслеты. Она подошла к кроватке Ганса и погладила его по макушке.

Художник зажег сигарету и насильно пихнул ее ему в рот, потом налил Гансу стаканчик коньяку. В результате они его напоили. Много ли надо было Гансу, чтобы напиться?! Он захмелел уже после двух стаканов. К нему вернулся голос. И он заговорил сам с собой. Ворковал так, что они не могли его остановить. Болтал невесть что. Художник с женой распеленали его, позволили вытворять все, что ему заблагорассудится. Ганс пел, топал по комнате. Ноги заплетались, он падал на пол. Но был в очень хорошем настроении.

Он не чувствовал вражды к художнику. Забрался к нему на колени. Играл пуговицами на пиджаке. Дергал за галстук. Залезал в пиджак и вылезал из него через рукав. Лазал по карманам, разыскивая мелочь. Потом, играя, расстегнул молнию на его брюках. Жене это не понравилось.

Всему есть мера. Ганс становился непристойным. В заключение, в кармане жилета Ганс наткнулся на часы. Часы тикали громко. Оглушающе. Ганс играл ими, вертя в руках, пока не уснул. Художник с женой допили бутылку и, когда часы на башне Митрополитского собора пробили одиннадцать, вытащили Ганса из-под стола и забрали с собой. Художник раздобыл машину, и теперь они мчались по улице. Ехали час или два в полном молчании. Выехав из города, они остановились перед огромным белым зданием, окруженным высоким каменным забором — что-то вроде дома умалишенных или монастыря. Вышли из машины, вытащили Ганса из багажника и прислонили его к воротам. Жена и художник торопились вернуться домой. Дул резкий ветер. Было холодно. Художник оставил Гансу полбутылки коньяку. Чтобы согрелся, бедняга,

когда проснется. Потом машина быстро отъехала, исчезнув в ночи. Жена оглянулась еще раз, в душе ее — ни тени сожаления. Художник закурил сигарету и всю дорогу до дома молчал.

Прислоненный к дубовым воротам, Ганс крепко спал. К одеялу, в которое он был закутан, была прикреплена бумажка, на ней было написано: "Его зовут Ганс. Делайте с ним, что хотите. Нам он надоел".

Ганс беззаботно спал, уронив голову на грудь. И видел сон. Во сне он бегал по снегу, и снег загорался под его ступнями. Бегал босиком. Все быстрее и быстрее. Голубые и зеленые языки пламени вырывались из-под его больших, растрескавшихся подошв. Дома, один за другим, мелькали и загорались за его спиной. Люди спали. Сгорят все до единого! Огонь гудел на улицах, как в печи. На рамах окон трескалась краска. Стекло таяло и стекало на тротуары, шипя на грязном снегу. Люди высовывались из окон, кричали, звали Ганса. Пусть придет и спасет их от огня! Только он мог их спасти. Его огонь не касался. Он мог плавать в пламени. Кони ржали в конюшнях. Пешки пылали на шахматной доске. Слоны бросались к воде. Но вода была сплошное пламя. Ганс, голый, плыл, ритмично двигая руками, в огне, как в воде реки. Брызгал на себя пламенем и нырял с открытыми глазами. Здесь дома горели вовсю. Ну и пусть себе горят. Он и пальцем не пошевелит. Люди махали руками: на них горело мясо. Срывали с себя одежду, кожу. Их глаза лопались и стекали на тротуар. Там было много глаз. Они ползли, как улитки, вылезшие из раковин. Взбирались на столбы. На стены. Карабкались по водосточным трубам, надеясь спастись от огня. Но наверху огонь горел сильнее. Таяли кирпичи, падала черепица. Лава клокотала на стенах. Глаза снова скатывались на землю. Корчились и обращались в пепел. Ганс плыл. Он умел плавать разными стилями. Плыл по этой красной воде. Через окна или двери проникал в дома. Никто его не останавливал. Ни художник, ни жена. Он избавился от них, он своими глазами видел, как они сгорели. Слишком долго они его мучили. Слишком долго издевались над ним. Они заслужили свою участь. Даже черти в аду, и те не подвергли бы его таким пыткам. Долго горели. Кожа трещала, лопалась. А они все продолжали мучиться. Не могли отдать Богу душу, пока не простит их Ганс. "Если Господь вас простит, я тоже прощу", — сказал Ганс. Он пожалел жену, которая горела как живой факел, корчась на земле и стараясь сорвать с себя покрывшие ее языки пламени. Вместо них срывала горящее мясо. "Я ничего против вас не имею, прощаю вас за все, что вытерпел", — подумал Ганс. И жена тотчас же отдала Богу душу. А вместе с ней погиб и художник. На постели остались от них только две кучки пепла. Кроватка Ганса не сгорела. Осталась целехонька. Его кроватка, где он так настрадался! Она должна сохраниться до скончания веков. Чтобы все увидели, что они сделали с Гансом. Как покинули его, как бездушно бросили в незнакомом месте, далеко от дома. Как они не подумали, что Ганс мог замерзнуть?

Свернувшись калачиком, Ганс спал на тротуаре, в фуражке, надвинутой на глаза, и с коленками, прижатыми к груди. Руки его одеревенели от холода. Пальцы не шевелились. Он чувствовал, что еще немного — и замерзнет. Если бы дотянуться до бутылки, тогда можно хоть чуть-чуть отогреться. Но это выше его сил. Руки стали как деревянные. Лежат на снегу обрубками. На шоссе не видно ни одной машины. Ему не дожить до утра. Отдаст концы, как пить дать.

Было действительно очень холодно, и Ганс снова уснул. Во сне небо сделалось маленьким-маленьким, как раковина улитки. Пожар кончился, потому что языки пламени окаменели. Всякое движение замерло. Один Ганс тащился по улице. Ему было холодно. И он чувствовал себя улиткой, выползшей из скорлупы. Куда шел Ганс? Куда хотел прийти? Два слепых ангела сопровождали его по городу. Один — справа, другой — слева. Ангел слева от Ганса, с закрученными вверх усами, был высок и бледен. Справа от Ганса — сильный мужчина с широкой грудью и с бородой цвета меди. Он ободрял Ганса, держа руку на его плече.

— Смелей, Ганс, — говорил он. — Ты успешно прошел через то, что тебе было дано. Теперь ты свободен.

Витрины мелькали одна за другой. Телеграфные столбы, трамваи оставались позади. Манекены стояли на перекрестках, скрестив на груди руки. Одетые тепло, по-зимнему. Ангел справа сказал ему:

— Ганс, ты много страдал. Но больше страдать не будешь.

Тот, что слева, согласился с ним:

— Да, да, ты не будешь больше страдать.

А ангел справа продолжал:

— Потому что там, куда мы идем, страдания не существует.

Город остался позади. Они вышли в степь. Прошли через поле колосящейся пшеницы. На каждом шагу в небо взлетали жаворонки. Воздух был чист и ароматен.

— Дыши, Ганс, — сказал ему ангел, что был справа. — Хороший воздух.

— Это самый лучший воздух, которым можно дышать, — уверил его и второй ангел.

Воздух был действительно хорош. Ганс дышал полной грудью. Ангел слева поднял крыло и накрыл им Ганса.

— Теперь мы будем тебя защищать, — сказал он.

— Мы берем тебя под свое крыло, и тебе некого больше бояться. Всякие пешки не смогут больше причинить тебе зла.

Ангел справа вытащил из кармана большие часы и, протянув их ему, сказал:

— Когда часы остановятся, ты перестанешь страдать.

— Зачем Гансу страдать? Разве он уже не настрадался? — спросил второй ангел.

— Настрадался, но может еще пострадать. Затем его и послали в мир, чтобы страдать, — сказал ангел. — Правду тебе говорю, Ганс, — мягко добавил он, — жизнь — это страдание.

И ангелы отводят Ганса обратно и укладывают в его постельку. Укутывают старым рваным одеялом, оставляют его там ворковать и, склонив головы, тихонько, на цыпочках, уходят через дверь, появившуюся в центре пшеничного поля. Бесконечного поля пшеницы, на которое как раз опускается вечер.

Петер Себерг

Крошка песик

Рассказ

Перевод с датского Е. Суриц

КАК-ТО вечером в четверг один господин зашел в одну небольшую гостиницу в одном городе, в котором в ту пору насчитывалось примерно 47 ооо жителей. Как видно, добрался он туда на своих двоих, потому что никто не слышал, чтоб у входа затормозил его автомобиль или, скажем, захлопнулась дверца такси.

Он, однако же, ничуть не запыхался, вид имел холеный и, в черной бородке, фетровой зеленой шляпе и сапогах на резиновом ходу, был похож то ли на инспектора, то ли на инженера.

Он спросил себе комнату и поинтересовался, можно ли ему тотчас чего-нибудь перекусить, ибо он проголодался.

Хозяин сидел и пил пиво с членом муниципалитета, а потому осведомился, с ванной ли ему угодно номер или без, и сказал, что ужин подадут после восьми часов. На том и порешили, и вскоре незнакомец уже сидел за угловым столиком, ел венский шницель с жареной картошкой, пил пльзенское пиво, а все прочие глядели на него и гадали, кто бы это такой мог быть.

Съев половину шницеля и всю картошку, приезжий разрезал остатки мяса на мелкие-мелкие кусочки и тогда вынул из-за пазухи крошечную собачонку, поставил на стол перед тарелкой и стал этими кусочками кормить.

— А-а, так у вас собака, — сказали хозяин и член муниципалитета, и они подошли к столику, за которым сидел приезжий. — Ей придется освободить помещение. Собакам сюда вход запрещен.

— Все так говорят, — сказал незнакомец. — Но она же такая маленькая, в кармане у меня умещается и совсем не гадит. Смотрите, какие чистенькие лапки.

© Peter Seeberg, 1974
© Е. Суриц. Перевод, 2006

— Она, однако же, собака, и ведомством здравоохранения ее присутствие запрещено, — сказал хозяин.

— Но, — сказал приезжий, — такой маленький песик, который умещается в нагрудном кармане, может присутствовать везде.

И тут песик встал на задние лапки, помахал передними, слегка улыбнулся, и хозяин и член муниципалитета сдались.

— Ну хорошо, — сказал хозяин, — пусть живет, пока такая крошка.

После ужина приезжий сунул песика к себе в карман, взял пальто, портфель, поднялся в номер и спал там до утра, а хозяин и член муниципалитета меж тем пили себе и разговаривали.

На другой день приезжий появился только к вечеру, и так бывало каждый вечер в течение двух недель. Хозяин всегда подходил к столику и смотрел, как крошечный песик ест, как он стоит на задних лапках, но вот как-то вечером он сказал:

— Собачка, однако ж, подросла.

— Отчего бы ей не подрасти, — отвечал незнакомец. — Но все равно она еще маленькая.

— Ничего-ничего, — сказал хозяин. — Мы тут все в гостинице к ней привязались, а многие заходят только, чтоб поглядеть, как она ест, и я их пускаю.

А через две недели приезжий заказал уже две порции. Одну поставил на пол и вытащил песика.

— Пусть приучается на полу стоять, — сказал он.

— Как бы это нашим делам не повредило, — сказал хозяин. — Еще вырастет, придется вам съехать.

Песик еще вырос, но приезжий никуда не съехал, остался с ним в гостинице, и он по-прежнему вставал на задние лапки и улыбался, но уже не умещался в кармане. Он теперь гулял на поводке.

— Ну, как идут ваши дела? — спросил однажды приезжий господин. — Собака-то моя выросла.

— Дела идут как по маслу, — сказал хозяин. — Но меня смущают предписания ведомства здравоохранения.

— А-а, — сказал незнакомец. — Делать им там, что ли, нечего, в их ведомстве? Не станут они шпионить за миленьким маленьким песиком.

— И то правда, — сказал хозяин. — Что ж, будем надеяться.

Шли месяцы, и песик рос, рос и скоро стал ростом со стул, на котором сидел приезжий, потом со стол, за которым тот ел. Посетители бросали ему лакомые кусочки и дивились, как такой крошечный песик стал такой большой и все растет и растет.

Дела шли в гору, и ведомство здравоохранения выдало хозяину особое удостоверение в том, что песик теперь, собственно, уже не является собакой. Где это виданы такие большие собаки, сказал председатель.

Хозяин, потирая руки, подошел к столику, где приезжий ел свой венский шницель, а песик где-то под потолком обгладывал говяжью голень, которую по случаю воскресного дня преподнесло ему местное общество защиты животных.

— Надо поднять потолок, — сказал хозяин. — Давно уж мы не видали, как он сидит на задних лапках и улыбается.

Так и сделали, и песик снова мог сидеть и улыбаться так, чтобы все им любовались. К стенам пристроили ложи, балконы, и публика теперь сидела там и ела и бросала лакомые кусочки в рот своему любимцу.

– Мы всем обязаны нашему песику, – говорил хозяин, сам не свой от счастья.

Прошло еще несколько месяцев, и приезжий все больше водил песика взад-вперед по улицам. Правда, тот грыз трамвайные провода, так что пришлось перевязать ему лапы изоляционной лентой. Он заглядывал в фабричные окна, смотрел на стройки поверх заборов, и рабочие ему подмигивали и улыбались.

– Какой же он милый, наш песик, – сказал кто-то однажды, глядя, как его большая скромная морда проходит мимо, пока все они завтракают у себя на четвертом этаже.

– Подружку ему надо, – вздохнул другой, специалист по случкам. – Как-никак он у нас кобель.

– Всякое начало трудно, – сказала молодая дама. – Но существуют ли суки такого размера! О, мы еще посмотрим, мы еще увидим! Я слышала, в Южной Америке кое-что можно подыскать.

И друзья стали копить и собирать деньги, чтоб импортировать такую суку. "За расу, за породу", – писали они на лацканах пиджаков, по краю декольте, на сумочках и папках.

– Да-да, – сказали в городском совете. – Поддерживаем. – И выделили тысячу-другую крон. Ведь песика так полюбили все жители города.

Песик меж тем съедал теперь десятки говяжьих отбивных в один присест, и несколько избранных мясников были весьма довольны. Потом их круг пришлось расширить, развилась конкуренция, но песик начал привередничать.

– Он перестал расти, – сказал хозяин гостиницы, почесав в затылке. – А мы-то туристов заверяли, что к лету он еще вырастет.

Были приняты меры. Весь край обрыскали и нашли самых лучших мясников, и те скупали самый лучший скот, поили его бочковым пивом самых отборных марок, так что мясо делалось нежное, сочное и само отделялось от костей. Да, друзья мои хорошие, восхищался народ, он знает толк в говядине. И знает, чего хочет.

А он все равно не рос, хоть ел все больше и больше.

– Ему человечинки хочется, – сказал один аптекарь, – помнится, в старину что-то такое рассказывали.

– Не говорите этого вслух, – сказал хозяин гостиницы. – Хотя вы, очень даже может быть, и правы. Мы выясним.

Приезжий господин тем временем ел себе свой в меру прожаренный венский шницель, пил свое пльзенское пиво и ходил себе гулять. Он гулял со своим песиком, и все на них смотрели, хвалили его и говорили, что он самый изящный и красивый господин.

Для начала доставили двух старичков, которые отказались идти в дом для престарелых – по зрелом размышлении и возбужденные той новостью, что экспедиция, отправленная в Южную Америку для приобретения суки, вернулась ни с чем. Песик, по южноамериканским понятиям, оказывается, – всего-навсего щенок. Производительная сила у него появится только, когда он подрастет еще на несколько этажей.

В течение последовавших месяцев численность местного населения заметно снизилась, и кое-кто подался в сторону границы в нескольких сотнях километров от города. Гражданам приходилось организовывать бригады и вылавливать сперва припозднившихся гуляк, а потом и слишком рано спешащих на работу велосипедистов. Песику надо было расти.

— Все тишком, — говорил аптекарь, — все ладком.

Приезжий только кивал.

А песик опять стал привередничать. Что ни дадут ему — все не по нем. И скоро хозяин гостиницы догадался, в чем тут дело.

— Песик так полюбил наших городских детей, — сказал он. — Надо уж ему позволить вдоволь ими полакомиться.

Так и порешили, и рабочие и дамы-разведенки за сорок тихо-мирно обо всем договорились. Дела шли хорошо, и скоро песик стал совсем большой.

Многие проблемы в городе решались сами собой. Пешеходы и велосипедисты теперь не ругались друг с другом, и все прямо-таки забыли про безработицу. Установилось спокойствие среди населения. К тому же и смерть теперь стала быстрой и легкой. Ам-ам — и готово.

— Вообразите, что будет, когда доставят суку, — говорил приезжему хозяин гостиницы. — Миллионы понаедут смотреть. Магистрат построит стадион.

Стадион построили, и песик еще подрос, и в свой срок привезли ему суку, и обоих привели на стадион, и приезжий господин поздоровался с другим приезжим господином, который вел суку.

Собаки обнюхались, публика аплодировала, и песику кинули двух-трех гимназистиков, чтобы он подкрепился перед столь важным свершением. Песик справился великолепно, будто в жизни своей ничем другим и не занимался. Потом они походили вместе, потом улеглись рядком, а потом их фотографировали с вертолета.

Да, и песик встал в позу, улыбался публике и поворачивался, чтобы все могли его видеть. Такой песик, с такими способностями!

— Надо прямо сказать, — говорили люди друг другу в трамваях, — ему нет замены.

Теперь надо было уже кормить двоих, и граждане очень старались, но вот однажды в дело вмешался бургомистр.

— Так дальше не пойдет, — сказал он. Его тотчас сместили.

Потом все члены магистрата тоже что-то такое сказали, и тех тоже сместили. Вслед за тем граждане увидели, как один социал-демократ и один консерватор были тоже съедены в один присест.

— Не нужны нам такие политики, — говорил народ. — И точка.

А песик и его избранница процветали.

— Семь щенков, не меньше, — объявил со стремянки ветеринар. — У нас же народу не хватит их всех прокормить.

Он тотчас был скормлен за такие слова. Люди, конечно, шли добровольно, когда собачки в них терпели нужду. Шли принаряженные, во фраках и шляпах и радовались, что их усваивают.

А приезжий прекрасно питался в гостинице вместе с южноамериканцем.

Но вот однажды спустились они к столу, а еды на столе не оказалось, и они переглянулись.

— Не пора ли нам уезжать? — сказал приезжий господин.

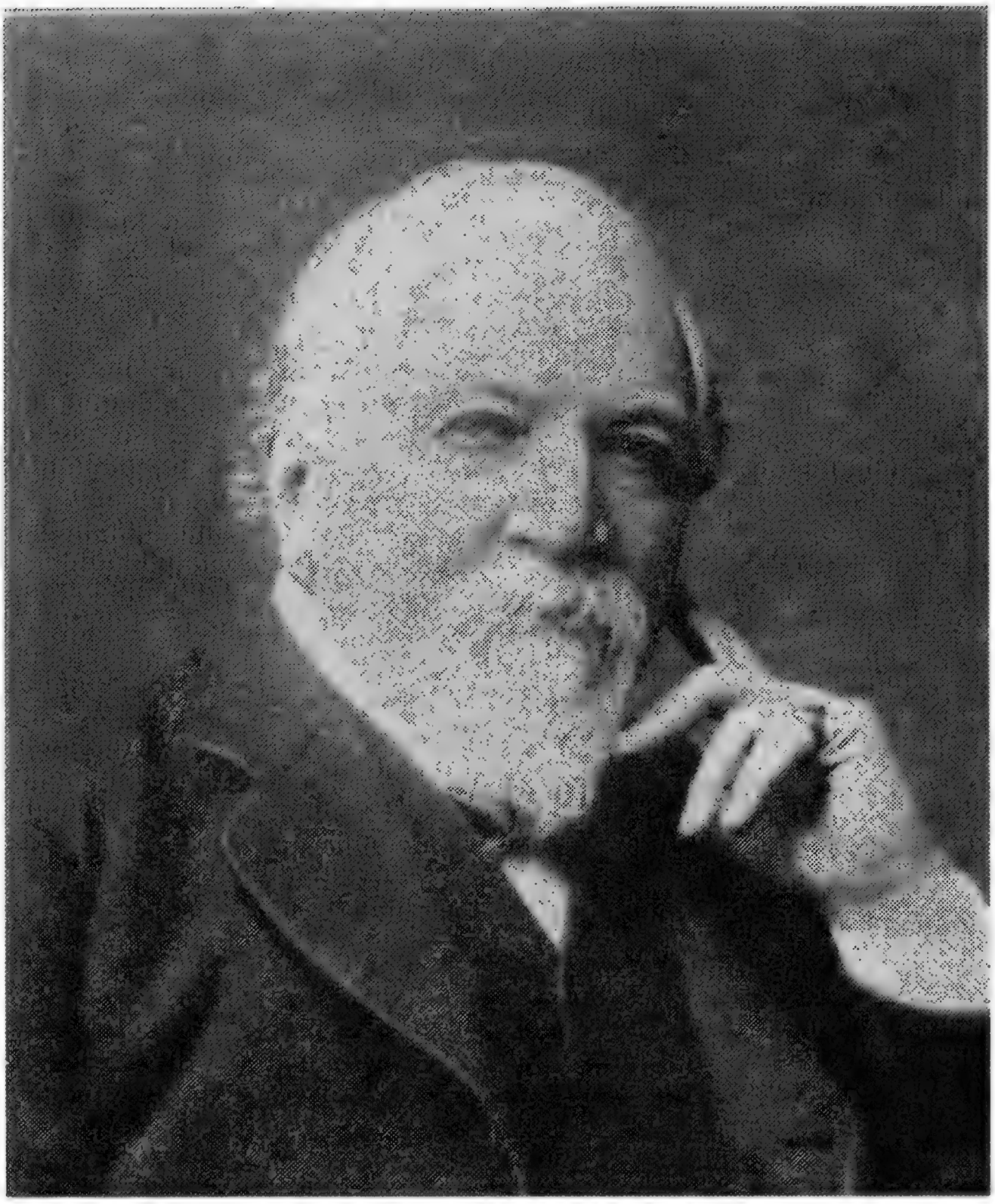
И они уехали, за границу, наверно. С тех пор о них не было ни слуху ни духу, а песик с подругой и милыми детками живет себе поживает в окрестностях города. Несколько раз на неделе к ним отправляется поезд-экспресс с пассажирами, а так все идет себе тихо-мирно.

Роберт Браунинг

Пестрый дудочник

Баллада

Перевод с английского Марины Бородицкой



Случилось это в Гамельне
Пять сотен лет назад.
Там Везер, славная река,
Течет, светла и глубока, –
Милей не сыщешь городка,
Но хроники гласят,
Что полчища ужасных крыс
В тот год в округе развелись –
Не жизнь, а сущий ад.

© Марина Бородицкая. Перевод, 2006
Иллюстрации Артура Рэкэма.

Да-да!
От крыс не скрыться никуда:
Они всех кошек одолели,
Взбирались к детям в колыбели,
Еду таскали без стыда.
Они кишели на поварнях,
Во всех пекарнях,
сыроварнях,
В карманах, шляпах, здесь и там,
Грозя селедкам и сосискам,
И громким, но нестройным писком
Вторгаясь в разговоры дам.

Вот горожане наконец
Явились в ратушу и завопили хором:
— Наш мэр — бездельник и глупец,
Наш городской совет покрыл себя позором!

Кого мы в бархат одеваем,
Подбитый ценным горностаем?
Им даже недосуг, лентяям,
Умом раскинуть лишний раз,
Чтобы от крыс избавить нас!
Коль этим старцам, впавшим в детство,
От грызунов не вспомнить средства —
Разгоним их за дармоедство! —
Совет затрясся. Бедный мэр
И вовсе стал от страха сер.

Умом раскинуть — штука непростая.
Совет кряхтит, пыхтит; уж скоро ночь...
— Я б мантию свою из горностая
За гульден продал и сбежал бы прочь! —
Воскликнул мэр. — Вот задали задачу!
Дыру проскреб в затылке, чуть не плачу:
Какое средство выбрать наудачу —
Ловушки? Яд крысиный? Сколько мук! —
Едва он это вымолвил, как вдруг
Послышался у двери легкий стук.
Мэр подскочил. — Что там такое?
Кто в наши ломится покои? —
И съежился от страха вдвое,
Хотя и был весьма пузат
(Его давно потухший взгляд
Чуть оживлялся лишь над чашей,
Где суп дымился черепаший).

– Что там за странное *тук-тук?*
Не крысы ль? Ах! Малейший звук –
И мной уж овладел испуг!

Все ж расхрабрился мэр. – Войдите! – бросил хмуро,
И в зал вступила странная фигура.
Двухцветный плащ ее скрывал:
Он был наполовину ал,
Наполовину – как желток;
Сам гость был тонок и высок,
Светловолос, но смуглолиц,
А взгляд – как сталь из-под ресниц!
И ни бородки, ни усов,
И непонятно, кто таков.
Советники застыли, глядя
На пришлеца в чудном наряде.
– Да он хоть спереди, хоть сзади
Точь-в-точь мой прадед, – кто-то прошептал, –
Уж не из гроба ль нынче он восстал?

Тут незнакомец им поклон отвесил
И молвил: – Господа, ваш вид невесел.
Однако перед вами тот,
Кто силой за собой влечет
Всех тварей скачущих, летучих,
Плавучих или же ползучих.
Я в ход пускаю свой секрет,
Когда наносят людям вред
Кроты, гадюки, саранча ли...
Я – Пестрый Дудочник, уж так меня прозвали.

(И впрямь, на шее чужака
На пестром шарфе желто-алом
Висела дудочка легка.
Ее рассеянно ласкал он:
То прятал, опуская взгляд,
Под старомодный свой наряд,
То к ней тянулся в нетерпенье,
Спеша ладов услышать пенье.)
— Меня, — так он им говорил, —
Татарский хан благодарил
За избавленье от москитов.
Двух азиатских я царей
От диких спас нетопырей
И от домашних паразитов.
А ваших крыс и прочих
грызунов
Из города я увести готов,
Коль мне заплатят тысячу монет.
— Да хоть сто тысяч! — завопил
совет.

И вот по мостовой булыжной
С улыбкой легкой он идет,
А в дудочке, пока недвижной,
Таинственная сила ждет.
И нежно округливши рот,
Он дунул — и глаза сверкнули чудным
Огнем, лиловым, изумрудным,
Как свечи, если соль в их пламя попадет.
Лишь только дудка заиграла —
Как будто гул далекого обвала,
Как будто тысячеголосый ропот,
Как будто мощных армий грозный топот
Послышался, и зданья затряслись,
И хлынули наружу толпы крыс:
Крупных, мелких, серых, черных,
Неуклюжих и проворных,
Рыжих, пегих, юных, старых,
Толстобоких и поджарых.
Крыса-бабка с крысой-дедом
Шли-брели за дудкой следом,
Братья, сестры, тетки, дяди
Напирали дружно сзади...
И так по городу шагал он,
А крысы вслед валили валом,
Приплясывая в лад, пока
Не поглотила всех река.
И лишь один могучий голохвост
Вплавь перебрался через Везер
(Как с древним свитком Юлий Цезарь)
И весть в Крысландию принес.

— О други, — он вещал, — сколь сладостные звуки
Мне чудились! Какие скрипы, стуки —
Как будто яблоки кладут под пресс,
На окороке делают надрез,
В коптильню двери открывают,
С бочонков обручи сбивают,
В поварне, прямо на весу,
Шпигуют салом колбасу...
И голос ангельский разнесся над долиной
(Он слаще был, чем свежая морковка):
“Возрадуйся, народ крысиный!
Весь мир для вас — открытая кладовка.
А ну-ка живо, налетай,
Грызи, кусай, хрусти, глотай,
Кто проглотил — еще хватай!”
И предо мною, как награда,
Возник бочонок рафинада:
Уже расклепан — весь, мол, твой!
Я прыг — и в воду с головой.

Так шумно горожане ликовали,
Что чуть колокола не оборвали.
А мэр командовал: — Скорей
Несите кольев и гвоздей!
Разворошить, забить все норы,
Чтоб от крысиной жадной своры
Впредь не осталось и следа!
— Сперва, коль вы блюдете уговоры,
Мою мне тысячу отдайте, господа.

— Как! Снова дудочник? Да что он, в самом деле!
Советники с досады пожелтели.
Ведь на пирах в управе городской
Кларет и мозельвейн текли рекой.
Пора им было рейнского запасы
Пополнить, как же можно взять из кассы
Такую сумму и отдать за труд
Бродяге, разодетому как шут?!

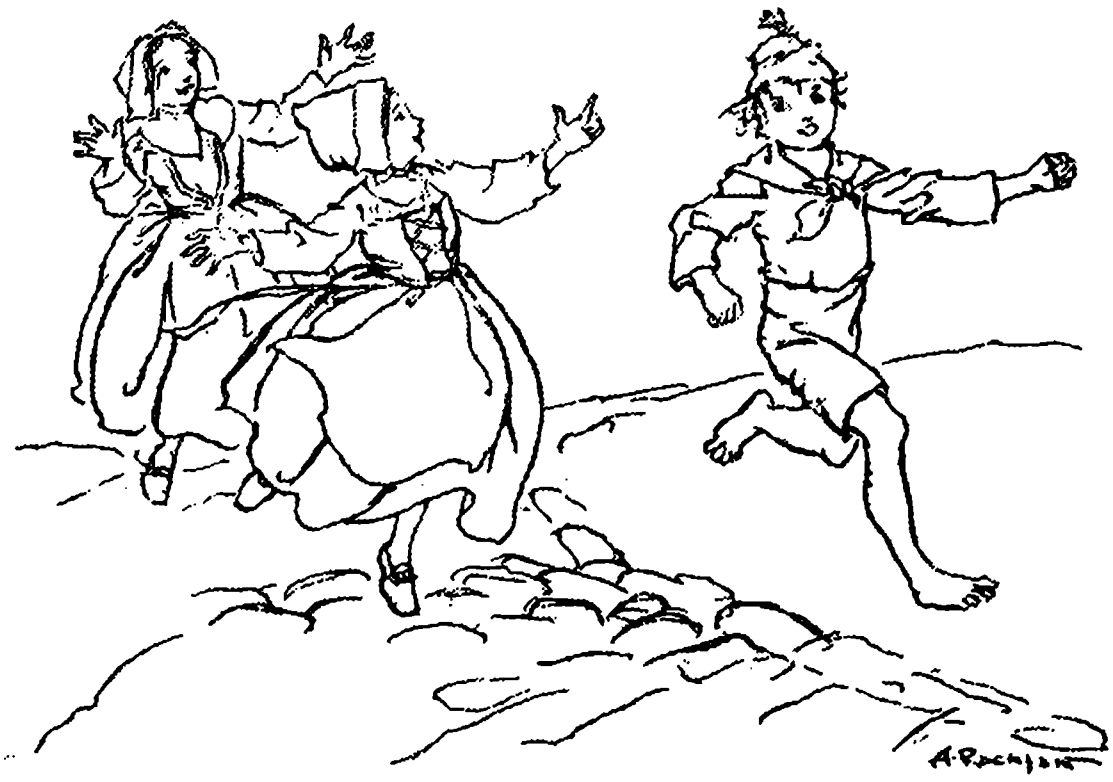
Тут мэр сказал с усмешкою лукавой:
— Мы все стояли там, над переправой,
И видели, как крысы шли ко дну.
Теперь уж никакому колдуну
Их не вернуть! Так не взыщи, дружище,
Ведь мы разорены и сами нищи,
Мы только в шутку речь вели о тыще.
Куда тебе такие-то деньжищи?
Чтоб не остаться без питья и пищи,
И пятьдесят — хорошая цена.
Ты дело сделал, получи сполна!

Но дудочник вскричал: — Нельзя ли без обману?
Где гульдены мои? Я ждать не стану!
Я должен к ужину поспеть в Багдад,
Где с поваром халифа буду рад
Его похлебку разделить в награду
За то, что скорпионов, полных яду,
Из кухни выкурил. Для бедняка
За труд мой плата впрямь невелика,
Но вам не уступлю и медяка!
Вы ж до греха меня не доводите —
Иль музыки иной отныне ждите.

— Как! — возмутился толстый мэр. —
Какой-то повар мне пример?
А сам ты кто? Цыган беспутный,
Циркач, одетый в плащ лоскутный!
Ступай дуди, пугай ворон,
Пока весь дух не выйдет вон!

И вновь по улице мощеной
Шагает он: стопа легка,
И дудочку из тростника
Ко рту он держит поднесенной.

И первый, самый нежный звук
Над городом разнесся вдруг...
И тотчас послышался шорох и шепот,
И смех приглушенный, и радостный топот,
Возня, болтовня, толкотня и хлопки,
Цок-цок! – деревянные башмачки,
И словно цыплята на голос хозяйки,
Детей повалили веселые стайки.
Все девчонки, все мальчишки,
Белокурые трусишки,
Ясноглазые плутишки,
В пляс пошли гурьбою тесной
Вслед за музыкой чудесной!



Совет на миг окаменел.
Не в силах вымолвить ни слова,
Отцы взирали, побелев как мел,
На тех, что догоняли крысолова:
Кто провожал глазами дочь,
Кто сыновей, спешивших прочь.
Но что за ужас обуял их,
Когда чужак в одеждах желто-алых,
Маячивший невдалеке
С поющей дудочкой в руке,
Вдруг снова повернул к реке!
Но нет, он выбрал, слава богу,
Другую, к западу, дорогу –
Туда, где высится гора,
Могучий Коппельберг. – Ура!
Не сможет дудочник упорный,
Играя, лезть к вершине горной –
Опустит дудку он, а тут
С детишек чары и спадут! –
Но в этот миг, назло погоне,
Проход открылся в горном склоне
И музыкант вошел туда,

За ним — детишек череда,
И вновь гора сомкнулась, как вода.
В тот день лишь одного мальчишку,
Хромого, что не мог бежать вприпрыжку,
Дождались дома, и потом
Всю жизнь он сожалел о том.
— Друзья ушли, — он повторял в печали, —
И в городе так одиноко мне!
Зачем меня не подождали?
Зачем мне только обещали
Иную жизнь в неведомой стране?
Ах, в том краю — не то что в этом!
Там весело зимой и летом,
Там всюду фрукты и цветы
Необычайной красоты,
Там воробьи — пестрей павлинов,
Там, крылья мощные раскинув,
Летает конь быстрей орла,
И не кусается пчела.
Там исцеляются калеки,
О хромоте забыв навеки;
Туда совсем не долог путь,
Уже осталось мне чуть-чуть,
Но в этот миг умолкла дудка,
Закрылся вход — ни промежутка!
И стало пусто вдруг и жутко.

О, бедный Гамельн! Право, нелегко
В рай бюргеру войти, скорей верблюда
Протиснешь сквозь игольное ушко...
Напрасны все молитвы. Дело худо.
На север, запад, юг, восток,

Вдоль всех тропинок и дорог
Мэр шлет гонцов: — Сыщите крысолова!
Пусть просит выкупа любого,
Пусть забирает все добро,
Все золото и серебро,
И лишь детей вернет нам снова!
Когда ж последний к ним гонец
Ни с чем вернулся наконец,
То каждый стряпчий и писец
Поклялся исполнять приказ совета
И, выводя под грамотой число,
О чем бы дело там ни шло,
Писать: “Сие произошло
В такой-то год от памятного лета
Тысяча триста семьдесят шестого”.
И улицею Крысолова
Зовется с давней той поры
Последний путь пропавшей детворы.
На этой улице не смейте
Бить в барабан, играть на флейте,
Трактиры строить, пить вино —
Все это здесь запрещено.
Под Коппельбергом, у подножья,
Прочтите надпись на скале
И рассмотрите в церкви Божьей
Детей фигурки на стекле.
Еще скажу вам, что в чужой земле,
В гористой Трансильвании, есть племя,
Что нравом и обычаями всеми
Своим соседям явно не сродни:
Их предки здесь не жили искони,
Но в этот край пришли из подземелья,
Куда их силой чар, а может, зелья
Коварно заманили в оны дни
Из города в долине плодородной,
Где протекает Везер полноводный,
Но кто, зачем и как — не ведают они.

Беатрикс Поттер

Нина Демурова

Ускользающее своеобразие Беатрикс Поттер

У каждого народа есть — и непременно! — свои любимые авторы, которых читают и перечитывают, что называется, с младых ногтей. Не будет преувеличением сказать, что у англичан к их числу принадлежит Беатрикс Поттер — недаром У. Х. Оден ставит ее первой в троице "Поттер, Кэрролл, Лир". Подобно тому, как у нас двух- или трехлетний малыш с упоением слушает "У лукоморья дуб зеленый...", а сделаешь небольшую паузу, так и торопится вставить слово или даже строку, а не то так и читает целыми кусками наизусть, английские дети слушают и повторяют небольшие сказочки Беатрикс Поттер. Оно и понятно — в этих сказках есть все, что может увлечь маленьких читателей: занимательные приключения и чудесные картинки, которые можно рассматривать часами. Но вот что, пожалуй, понять труднее: выросшие малыши не только не забывают свою детскую любимицу с необычным именем Беатрикс (старинная форма теперешней Беатрис), но снова и снова на протяжении своей уже взрослой жизни вспоминают, перечитывают ее и размышляют о ней. Об этом у нас имеются свидетельства самых взыскательных читателей, таких, как Грэм Грин. Об этом же свидетельствует активная деятельность Британского общества Беатрикс Поттер (основанного в 1980 году), посвятившего себя поиску и сбору материалов о жизни и творчестве писательницы, серьезному их изучению, публикации книг и статей, проведению национальных и международных конференций, на которые съезжаются исследователи из Европы, Америки и Азии.

Увы, в России Беатрикс Поттер почти не известна. На то есть две серьезные причины. Во-первых, ее сказки чрезвычайно трудны для перевода, несмотря на кажущуюся легкость и простоту. Вернее, именно из-за кажущейся легкости и простоты. Переводчики хорошо знают, что перевести отличающийся глубинной простотой текст мастера — а Беатрикс Поттер несомненно из их числа — испытание не из легких. В подобных случаях обычно предпочитают путь "свободного" пересказа, в котором, как правило, заглушая голос автора, победно звучит голос переводчика. Две известные у нас сказки Беатрикс Поттер: "Ухти-Тухти" и "Питер Кролик" — принадлежат именно к таким пересказам; в них, если не ошибаюсь, даже имя автора не указано. Радиопостановка по первой из них пользовалась в советское время даже некоторым успехом, только, скажем прямо, это — не Поттер. Позже появились и некоторые переводы, но, по ряду причин, они не обратили на себя серьезного внимания. Словом, Беатрикс Поттер все еще ждет своего переводчика на русский язык. Своего переводчика и издателя. В данном случае одно неразрывно связано с другим.

Дело в том, что Беатрикс Поттер в своих маленьких книжках — они вышли впервые и с тех пор уже более века продолжают выходить в лондонском издательстве "Фредерик Уорн" (Frederick Warne and Co. Ltd.) — выступает и как автор, и как художник-иллюстратор. Ее тонкие акварели составляют единое целое с текстом, по-своему дополняя и освещая его. Всякие попытки разорвать это единство или "улучшить" иллюстрации, сделав их "поярче", "побольше" (чего обычно требуют отечественные маркетологи), обречены на провал. Я не сомневаюсь, что всякий, кто хоть раз держал в руках изданные Уорном белые книжечки, согласится со мной. Остальных прошу поверить мне на слово.

© Нина Демурова, 2006

Когда-то Джейн Остин, повторив в частном письме слова Вальтера Скотта, сравнившего ее романы с миниатюрами на слоновой кости, не без горечи уточнила: "[Они] не более двух дюймов в ширину, и я пишу на них такой тонкой кистью, что, как ни огромен этот труд, он дает мало эффекта. Впрочем, — спешит она прибавить, — художник ничего не может делать неряшливо". Беатрикс Поттер могла бы с полным правом отнести эти слова к своим произведениям, правда, в ее случае они касались бы и текстов, и иллюстраций. И дело здесь конечно не только в количестве, объеме и формате книжек. (Их всего 23, формат 5,6 × 4,4 дюйма, то есть 14 × 11 см, и текста в каждой, как правило, не больше нескольких страничек.) Так они были изданы впервые — и по сей день чаще всего издаются именно так. Имя Джейн Остин неслучайно всплывает в связи с творчеством Беатрикс Поттер: многое роднит ее маленькие шедевры с романами прославленной писательницы. Глубина понимания человеческой природы (это в сказках-то о животных!), отсутствие назидания и сентиментальности (это в сказках-то для детей!), ирония, склонность к understatement[1], совершенство языка и стиля. Не буду вдаваться в подробности — об этом превосходно написали авторы, чьи статьи приводятся ниже. Скажу только, что Грэм Грин, о котором я прибавлю чуть позже еще несколько слов, как-то назвал Беатрикс Поттер "Джейн Остин детской"; в своем блестящем эссе он решительно, хотя и не без улыбки, выводит ее за пределы детской комнаты.

Говоря о книжках Беатрикс Поттер, мы обычно употребляем русский термин "сказки". Однако, как ни странно это может нам показаться, сама Поттер никогда их так не называла. Дело в том, что термин "сказка" отсутствует в английском языке. Есть "волшебная сказка" — fairy-tale, есть "народная сказка" — folktale, есть различные "сказки о животных", стихотворные и прозаические (они обозначаются по-разному: beast epic, antropomorphic story и так далее), есть фэнтези, а вот родовое понятие сказки отсутствует. Беатрикс Поттер не писала сказок — она писала tales. А слово "tale", хотя и входит в различные видовые обозначения сказок, само по себе означает "повесть", "повествование", "рассказ". Маленькие книжечки Беатрикс Поттер названы просто: "A Tale of Peter Rabbit", "A Tale of Tom Kitten" и так далее, то есть, строго говоря, "Повесть о Питере Кролике", "Повесть о Котике Томе"... Тем самым писательница следует традиции XVIII—XIX веков, противопоставлявшей правдивую, реалистичную tale — сентиментальной или романтической "выдумке", будь то story или даже novel[2]. Взятая сама по себе tale подчеркивала подлинность, невыдуманность повествования. (Вспомним в этой связи роман "Повесть о двух городах" — "A Tale of Two Cities" — Диккенса.) Назвав так свои истории, Беатрикс Поттер подчеркивала их правдивость, реальность. Ее животные ведут себя как люди, и описываемые ею сцены и ситуации вызывают у читателя реальные, жизненные ассоциации. Хамфри Карпентер, большой поклонник таланта Поттер, не может, однако, сдержать удивления, когда поэт Блейк Моррисон сравнивает пьянчужек в пабе с ее героями, укрывшимися от жен в глубоком дупле, однако сцена, в которой жены загулявших зверьков умоляют их вернуться домой, а потом, бесшабашных и веселых, ведут под дождем, поражает именно реальностью поступков, характеров, интонаций. Прибавим к этому, что Беатрикс Поттер обладает даром несколькими словами передавать характер во всех его оттенках и особенностях — даром, который заставляет снова вспомнить об Остин.

Джуди Тейлор, которой принадлежит первая из печатаемых ниже статей, известна как автор биографии Беатрикс Поттер и публикатор ряда ее писем и дневников. Вступив в Общество Беатрикс Поттер вскоре после его основания, она в

1. Преуменьшение, сдержанное высказывание (*англ.*); также см. ниже статью Х. Карпентера.
2. Story — рассказ, история, повесть; novel — роман *(англ.)*.

течение десяти лет была его председателем. Публикуемая статья — краткий очерк жизни и творчества Поттер.

Его во многом дополняет известный критик и историк детской литературы Хамфри Карпентер, к глубокому сожалению, скончавшийся в начале 2005 года. Карпентер поставил своей целью проследить случаи прямых и косвенных заимствований или упоминаний о Поттер. Среди тех, кто открыто признает свой долг перед ней, такие известные писатели и поэты, как Т. С. Элиот, У. Х. Оден, Кристофер Ишервуд... Имен этих, признает Карпентер, не так уж много. Оно и понятно: ведь чаще всего мы не отдаем себе отчета в том, что входит в наше сознание с детства. Безотчетно в нем укореняется. В нашем распоряжении нет статистики таких влияний, однако я не сомневаюсь: они достаточно обширны и значимы. Если, начиная с 1901 года, года появления "Питера Кролика", детская популяция страны, поколение за поколением, читает маленькие книжечки Беатрикс Поттер, это не может не наложить на нацию своего отпечатка. И речь здесь идет о влияниях не только литературных.

Эссе Грэма Грина, которым завершается наша небольшая подборка материалов о Б. Поттер, требует очень внимательного прочтения. На первый взгляд, это пародия или, пожалуй, травестия (воспользуемся старинным словом, оживленным Ю. Н. Тыняновым) на ученые статьи. Недаром она называется: "Беатрикс Поттер: Очерк творчества". Грин пишет о "великой саге" Беатрикс Поттер, о ее "величайших комедиях", о романтизме и историзме, называет двух ее крольчат "эпическими героями", прибавляя при этом: "Великие персонажи часто ходят парами: Дон Кихот и Санчо, Пантагрюэль и Панург, Пиквик и Уэллер, Бенджамин и Питер". Все это звучит едва ли не издевкой, если принять во внимание непритязательность и миниатюрность историй Поттер. Однако прислушайтесь к тому, что еще утверждает Грин. Он говорит об "избирательном реализме" Поттер, "который не снисходит до описания эмоций и скользит мимо любви и смерти"; о "драматичности действия" — действия, на которое "смотрит со стороны проницательный и неромантичный наблюдатель"; о ее "тончайшей иронии", "афористичности", о "неподражаемом поттеровском стиле", отмеченном "ускользающим своеобразием", которое так трудно анализировать, и восхищается "острым диалогом, точной деталью, уютом повседневной жизни", описанной в ее повестях.

Нет, это не пародия, а признание в любви под плащом травестии. Двадцативосьмилетний Грин признается в восхищении и любви шестидесятишестилетней писательнице, маленькие книжечки которой начали выходить еще до его рождения, — разрыва поколений словно не существует. И неслучайно он сравнивает Беатрикс Поттер с Генри Джеймсом, которому вскоре посвятит несколько замечательных эссе и который останется его кумиром до конца дней. Но тут молодой писатель допускает невольную бестактность. Он высказывает предположение, что между 1907 и 1909 годами писательница перенесла некое душевное потрясение, повлиявшее на ее характер и творчество, и сравнивает это с поворотом в судьбе Генри Джеймса. Грин лишь немного ошибся в хронологии: мы знаем теперь, что Норман Уорн, за которого Беатрикс собиралась выйти замуж, скоропостижно скончался в августе 1905 года. О глубине чувства, которое она питала к Норману, говорит тот факт, что до конца жизни она не снимала подаренное им в день помолвки кольцо.

Беатрикс Поттер, верно, читала эссе Грэма Грина со смешанными чувствами. Однако вторжения в пространство своей личной жизни она не собиралась сносить молча — и дала молодому писателю резкую отповедь (много лет спустя Грин признался, что получил довольно "язвительное послание от мисс Поттер"). Генри Джеймс, который жил в Англии, скорее всего тоже читал эссе Грина, но промолчал.

Беатрикс Поттер

Четыре сказки

Переводы с английского

Глостерский портной

Что ж, зеркало придется покупать
Да завести десятка два портных.

У. Шекспир *Ричард III*[1]

Милая Фрида!
Так как ты болеешь и любишь сказки, я сочинила сказочку специально для тебя — она совершенно новая, еще никем не читанная.
А самое удивительное, что я слышала ее в Глостершире и что в ней все — чистая правда, по крайней мере портной, и камзол, и вот это:
"Лап не прикладывать!
Без приклада!"[2]

Во времена шпаг, и париков, и кафтанов с пышными фалдами и расшитыми лацканами — когда джентльмены носили плоеные кружева и атласные да парчовые камзолы — жил в Глостере портной.

С утра и до темноты сидел он, скрестив ноги, на столе у окна в своей маленькой мастерской на Уэстгейт-стрит.

И целый божий день, сколько хватало свету, шил, и кроил, и сметывал атлас, и жаккард, и люстрин — удивительно назывались ткани во времена Глостерского портного. И ужасно дорого стоили.

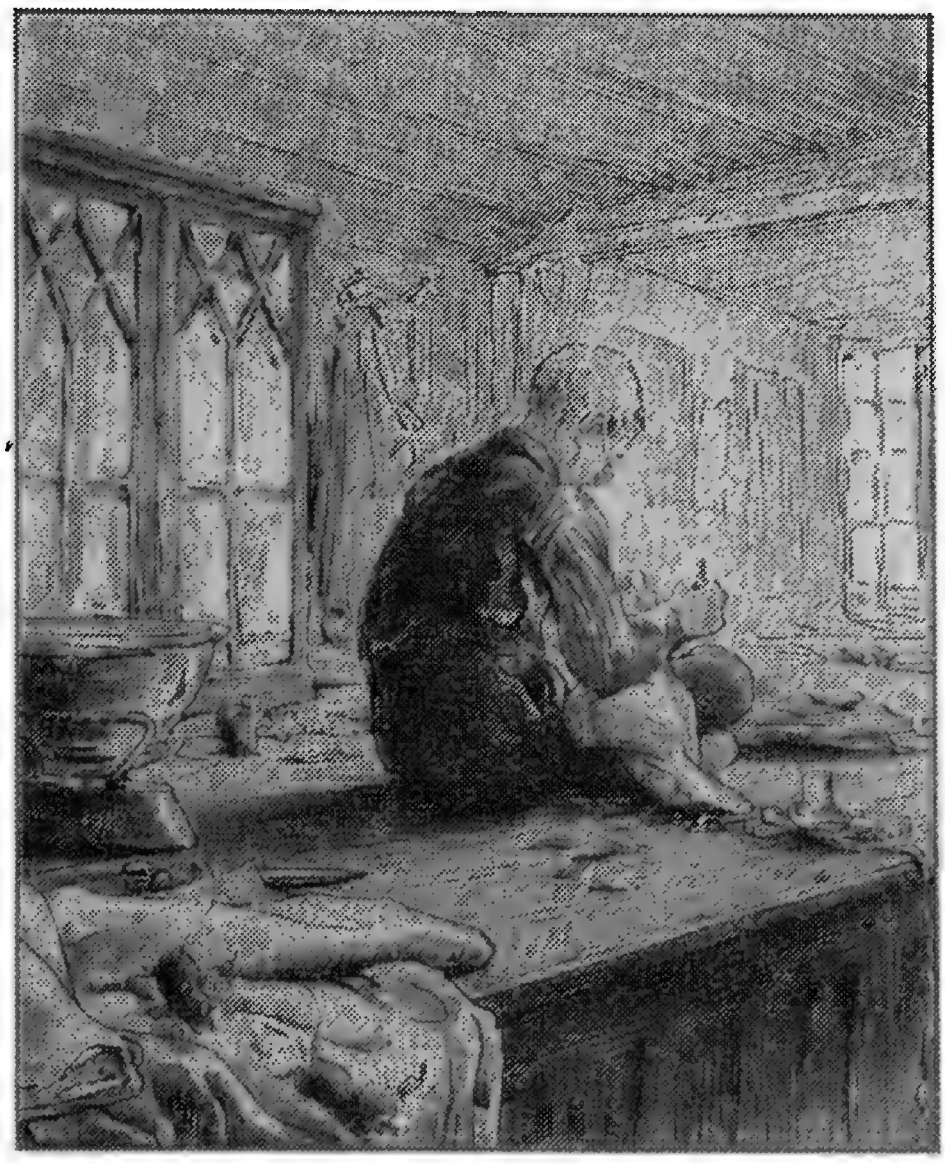
Он хотя и шил для других платье из шелка, но сам был бедный-пребедный; эдакий старичок, личико — с кулачок, на носу — очки, пальцы-крючки и поношенная одежка.

Кроил он экономно, подгоняя по узору; обрезки и лоскутки оставались у него на столе совсем узенькие.

— Такие остатки ни на что уже не сгодятся, только мышам на жилетки, — говаривал портной.

Однажды морозным утром, незадолго до Рождества, портной уселся шить кафтан мэру Глостера из темно-вишневого рубчатого шелка, расшитого розами и анютиными глазками, а к нему — кремовый камзол, отделанный шелком и зеленой синелью.

© И. Бернштейн. Перевод, 2006
© Н. Демурова. Перевод, 2006
1. Перевод А. Радловой.
2. Из письма Беатрикс Поттер к Фриде Мур.



Сел он за работу, отмеряет шелк, то так, то этак поворачивает, кроит, подрезает портняжными ножницами, весь стол завалил вишневыми обрезками. И под нос себе бормочет:

— Совсем узенькие лоскутки, и срезаны по косой. Ни на что уже не годятся, только мышам на капюшончики да на ленточки к чепцам. Все это — мышам! — так приговаривал Глостерский портной.

Когда с неба полетели снежные хлопья и залепили стекла маленького оконца, стало совсем темно, и Глостерский портной кончил работу: весь шелк и атлас уже лежали на столе раскроенные.

Двенадцать кусков на кафтан и четыре — на камзол; и клапаны над карманами, и отвороты обшлагов; и пуговицы — в ряд на своих местах. На подкладку — тонкая желтая тафта. И темно-вишневая шелковая тесьма — обшивать петли на камзоле. Все было готово. Теперь утром только бери иголку и сшивай, все вымерено, все подогнано, всего в самый раз — единственно только недоставало одного моточка темно-вишневой тесьмы.

В сумерках вышел портной из мастерской — он ночевал не там, а у себя дома. Заложил перекладиной оконце, запер дверь на замок. А ключ унес с собой. Ночью ведь в мастерскую никто не заглядывал, кроме серых мышек, а им всюду и без ключей вход свободный.

Потому что в стенах всех старых домов Глостера есть мышиные лестнички и потайные дверцы, и мыши свободно перебегают из дома в дом по длинным узким ходам; они могут весь город обежать, ни разу не высунувшись наружу.

А вот портному пришлось выйти на улицу, и он побрел к себе сквозь снегопад. Жил он неподалеку, на подворье Колледж-корт, что рядом со школьной лужайкой для игр. Дом, где жил портной, был невелик, но по крайней своей бедности он снимал в нем одну лишь кухню.

В ней он и жил бобылем, без семьи, только и было у него домочадцев что кот по имени Симпкин.

Весь день, пока портной был занят работой, Симпкин самостоятельно вел хозяйство; мышей он тоже любил, хотя не в том смысле, чтобы дарить им шелк на платье.

— Мяу! — сказал кот, когда портной отворил даерь. — Мяу?

Портной ответил:

— Симпкин, теперь мы разбогатеем. Но сейчас я слаб, как гнилая нитка. Вот тебе монетка — это наш последний четырехпенсовик. Да возьми с собой, Симпкин, фарфоровый горшочек. И ступай купи на один пенни хлеба, на второй пенни — молока и на третий — колбасы. И вот еще что, Симпкин: на последний пенни купи темно-вишневой шел-

ковой тесьмы. Да смотри не потеряй этот последний пенни, Симпкин, иначе я — человек пропащий и голый, как шпулька, ведь я остался без приклада!

Симпкин опять сказал: "Мяу!" — взял четырехпенсовик и горшочек и ушел в темноту.

А портной сидел совсем без сил — тяжко ему, похоже, что он занемог. Сидит он на стуле у очага и разговаривает сам с собой, все больше о чудесном кафтане, который у него в работе:

— Я теперь разбогатею, тут двух выкроек быть не может, ведь мэр Глостера справляет свадьбу на Рождество, и к свадьбе он заказал кафтан и шитый камзол на желтой подкладке, желтой тафты мне хватило в самый раз, в обрезках осталось всего-то ничего, мышам на капюшончики...

Тут портной вздрогнул и замолчал: с буфета на другом конце кухни до него вдруг донесся странный тихонький стук-постук:

— Туп-туп-тик! Тик-тик-туп!

— Что это за звуки? — удивился Глостерский портной и поднялся со стула. Буфет был заставлен посудой — перевернутыми чашками, блюдцами, тарелками с картинкой, мисками и горшочками.

Портной прошаркал через кухню и, надев очки, замер и прислушался.

Из-под чашки, которая стояла донышком кверху, снова тихонько и странно раздалось:

— Туп-туп-тик! Тик-тик-туп!

— Вот чудно-то! — сказал себе Глостерский портной. И с этими словами перевернул чашку донышком вниз.

Под чашкой оказалась маленькая дама-мышка, она выступила вперед и сделала реверанс. А потом соскочила с буфета и мгновенно исчезла за плинтусом у стены.

Портной снова сел к огню и стал греть свои старые руки, бормоча себе под нос:

— Камзол я скроил из кремового атласа, по атласу шелковой нитью вышиты тамбурным швом прекрасные розовые бутоны. Разумно ли я поступил, что доверил Симпкину последний четырехпенсовик? И двадцать одна темно-вишневая петелька, обшитая шелковой тесьмой...

Внезапно с кухонного буфета снова тихонько раздалось:

— Туп-туп-тик! Тик-тик-туп!

— Поразительно! — воскликнул Глостерский портной и перевернул еще одну чашку, стоявшую вверх донышком.

Там оказалась мышка-господин, он выступил вперед и отвесил поклон!

И тут по всему буфету тихонько затикало то хором, то вперекличку — так тикают жучки-древоточцы в старом, изъеденном оконном ставне:

— Тик-тик-туп! Туп-туп-тик!

Из-под чашек, мисок, кружек и блюдец выходили все новые и новые мышки, соскакивали с буфета и исчезали под плинтусами.

Снова уселся Глостерский портной у огня и забормотал:

— Двадцать одна шелковая петля! И все должно быть готово в субботу к обеду. А сегодня у нас вторник. Правильно ли было выпускать мышей, несомненно принадлежавших Симпкину? Увы, я погиб, ведь я остался без приклада!

Мышки же вышли из норок и слушали все, что бормочет портной. Они поняли, какого фасона задуман чудесный наряд, и шептались между собой про желтую тафту на подкладку и про мышиные капюшончики.

Внезапно их всех как ветром сдуло — они побежали по своим мышиным коридорам из дома в дом, попискивая и переговариваясь на бегу; а в кухне у портного не осталось ни одной, потому что в этот миг возвратился домой Симпкин с горшочком молока.

Он распахнул дверь и — скок в кухню!

— Кххь-мьяаауу! — сердито взвыл он, как завывают коты, когда им что-то сильно не по нраву.

Дело в том, что Симпкин терпеть не мог снег, а сейчас снег набился ему в уши и под ошейник на загривке. Он положил на буфет хлеб и колбасу и принюхался.

— Симпкин! — позвал его портной. — Где мой приклад?

Симпкин поставил на буфет горшочек с молоком и сердито посмотрел на перевернутые чашки. Ведь ему нужна была жирная, гладкая мышка на ужин!

— Симпкин! — повторил портной. — Где мой приклад?

Но Симпкин украдкой запрятал моток тесьмы в заварочный чайник и зафыркал, зашипел на портного. Умей он разговаривать, он спросил бы портного:

— А где моя мышка?

— Увы, я пропал! — вздохнул Глостерский портной и понуро поплелся в кровать.

Всю ночь Симпкин рыскал и шарил по кухне, заглядывал в шкапчики и под плинтусы, и в заварочный чайник, где лежала купленная им тесьма; но нигде не нашел ни одной мышки.

А портной то и дело что-то бормотал во сне, и Симпкин отвечал ему: "Мьяаауу-кххь-щщь!" — и издавал другие жуткие ночные звуки, как это в обычае у котов.

Бедный старый Глостерский портной и вправду захворал, он всю ночь горел в жару и ворочался в своей кровати под балдахином, но все равно сквозь беспокойный сон продолжал горестно твердить:

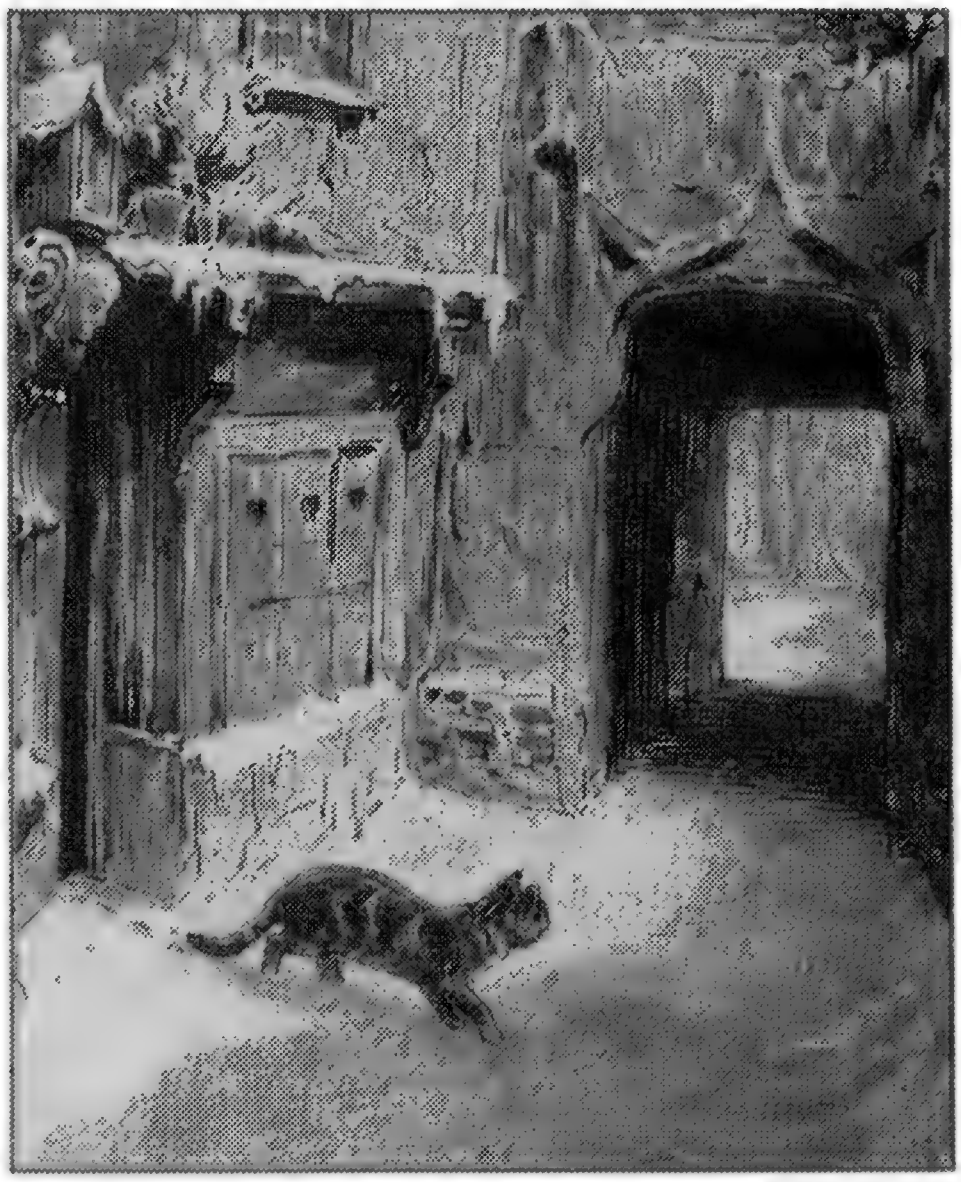
— Без приклада! Я остался без приклада!

Он пролежал больной весь следующий день, и еще один день, и еще. А как же темно-вишневый кафтан? В мастерской у портного на Уэстгейт-стрит раскроенный шелк и атлас ждали на столе — и двадцать одна прорезь под петли! — да кто же все это сошьет, когда окно заложено на перекладину, а дверь заперта на замок?

Однако для кого-для кого, а для серых мышек это не преграда; они ведь без ключей бегали по всему старому Глостеру.

По улицам пробирался по снегу народ покупать себе рождественского гуся или индейку и все, что нужно для рождественского пирога; только Симпкина с бедным старым портным не ждал на Рождество праздничный ужин.

Глостерский портной пролежал больной три дня и три ночи, и вот наступил Сочельник. Час был уже поздний. В небо над крышами и трубами взобралась луна и заглянула сверху на подворье Колледж-корт. Ни огонька в окнах, ни звука в домах, весь город Глостер, засыпанный снегом, спал крепким сном.



А Симпкину подавай мышку, и все. Он стоял у кровати хозяина на задних лапах и мяукал.

Но в старых сказках рассказывается, что в Рождественскую ночь, от Сочельника до Рождественского утра, все животные могут говорить (правда мало кому доводится их услышать, а кто и услышит, едва ли поймет).

Лишь только соборные куранты пробили двенадцать, как тут же раздалось им в ответ как бы эхо — и его услышал Симпкин. Он вышел из портновского дома и побрел по глубокому снегу.

Со всех крыш и из всех чердачных окошек старых деревянных домов города Глостера неслись веселые голоса, они распевали старинные рождественские песенки, какие я знаю, и еще другие, совсем незнакомые и неожиданные, вроде той, что пели когда-то колокола Дику Виттингтону.

Первыми и всех громче прокричали петухи:

— Вставай, хозяйка, пироги затевай-ка!

— Дили-дили-дили-бом! — со вздохом подхватил Симпкин.

На одном чердаке засветилось оконце — там танцевали, и на бал со всех сторон через улицу спешили кошки.

Хей-дидл и хей-дикл,
На скрипке кот пиликал.
И все коты и кошки пустились дружно в пляс!

— Кроме меня, — добавил от себя Симпкин.

Скворцы и воробьи из-под крыш зачирикали про рождественский пирог; на соборном шпиле проснулись и встрепенулись городские галки; и хотя стояла глубокая ночь, запели дрозды и малиновки. Воздух дрожал от веселых бойких распевов.

Но бедного голодного Симпкина только досада разбирала.

Особенно его злил пронзительный свист из-под одного карниза. Я думаю, это были летучие мыши, они всегда пищат очень тоненько, тем более такой черной морозной ночью, когда они спят и, как Глостерский портной, сквозь сон что-то приговаривают.

То, что они говорили, звучало загадочно, примерно вот так:

“Зззу!” — гудит зеленая муха,
“Жжжу!” — отвечает ей пчела.
Кто “Зззу”, кто “Жжжу”, мы все гудим,
Потому что у всех дела.

Понятно, что от такого зздящего пения Симпкин пустился прочь со всех ног, точно ужжаленный.

Из оконца портняжной мастерской на Уэстгейт-стрит лился свет. Симпкин подкрался, заглянул и увидел, что вся мастерская освещена горящими свечами. Щелкали ножницы, вились нитки; и мышиные высокие голоса громко и весело пели:

Однажды двадцать пять портных
Вступили в бой с улиткой.
В руках у каждого из них
Была иголка с ниткой!
Но еле ноги унесли,
Спасаясь от врага,
Когда заметили вдали
Улиткины рога[1].

И сразу, не переводя дыхания, мыши затянули другую песню:

Мы овес просеяли,
Мы муку смололи,
В скорлупе поставили,
Чтоб тесто подошло...

— Мяу! Мяу! — перебил певцов Симпкин и стал скрестись в дверь.

Но ключ от двери лежал под подушкой у портного, и войти кот не мог.

Мышки только посмеялись и запели на новый мотив:

Мышки рукодельницы
Сели у окошка.
Вдруг откуда ни возьмись,
заглянула кошка.
— Что у вас за занятье?
— Мы шьем джентльменам платье.
— Давайте я вам помогу,
Я нитку перегрызть могу.
— Нет уж, спасибо, тетя,
Вы нас перегрызете.

— Мяу, мяу! — звал Симпкин.
— Хей дидл? — отвечали мышки.

Хей дидл данни!
В Лондоне купцы —
Почтенные дельцы,
Ходят в красном кафтане,
Золотом шитом,
Шелком подбитом,
И собой на подбор молодцы!

1. Перевод С. Я. Маршака.

Они пели и отбивали такт крохотными наперсточками, но ни одна их песенка Симпкину не нравилась, он знай себе мяукал и сопел под дверью мастерской.

Купил я чашку, кружку,
И мисочку, и блюдце,
Кувшинчик и горшочек,
и все — за медный грош...

— Донышками кверху на кухонном буфете, — добавили невежливые мыши.

— Мьяааy-кххь-чщщь! — выл и плевался Симпкин.

Он влез на подоконник и стал царапаться в оконце. Тут все мыши вскочили и закричали хором в один голос:

— Лапы не прикладывать! Чур без приклада!

Они закрыли ставни и заложили на перекладину и так заперлись от Симпкина.

Но через щелки в ставнях он все равно слышал, как — тюк-тюк-тюк! — щелкают по столу крохотные наперсточки и поют-приговаривают мышиные голоса:

— Без приклада! Чур без приклада!

Симпкин побрел прочь от мастерской, крепко задумавшись. Он возвратился домой, и оказалось, что жар у бедного портного прошел. Старичок спал мирным сном.

Симпкин на цыпочках подошел к кухонному буфету, достал из чайника пакетик с шелковой тесьмой и, глядя на нее при лунном свете, устыдился своего бездушия. То ли дело добрые мышки!

Утром, только проснувшись, портной увидел перед собой на лоскутном одеяле моток темно-вишневой шелковой тесьмы, а у кровати стоял Симпкин, который раскаялся!

— Жаль, я слаб, как гнилая нитка, — сказал Глостерский портной. — Но зато у меня есть теперь весь приклад!

Сияло солнце, искрился снег, когда портной встал и, одевшись, вышел на улицу. А Симпкин бежал впереди него.

На крышах и трубах чирикали скворцы, распевали дрозды и малиновки — но теперь они все насвистывали свои, птичьи попевки, а не песенки со словами, как накануне.

— Как жаль, — сказал портной, — у меня теперь есть весь приклад, но сил и времени хватит разве на то, чтобы обшить одну петлю из двадцати одной, ведь сегодня уже Рождество! Венчание Глостерского мэра состоится еще до обеда, а где его темно-вишневый кафтан?

Отпер он дверь своей маленькой мастерской на Уэстгейт-стрит, и кот Симпкин первым вбежал внутрь, ожидая увидеть удивительное зрелище.

Но в мастерской не оказалось никогошеньки-никого! Ни единой серой мышки!

Пол был чисто выметен, все обрывки ниток и обрезки шелка собраны и вынесены вон.

А на столе — о радость! — портной даже вскрикнул — там, где он оставил раскроенные куски ткани, лежали самый-пресамый ослепительно

нарядный кафтан и камзол из вышитого атласа — ни один мэр Глостера никогда еще не надевал такой красоты!

На лацканах кафтана красовались вышитые розы и анютины глазки; а камзол был расшит маками и васильками.

Весь наряд был готов, за исключением одной петли, которая пока еще осталась не обшитой темно-вишневой тесьмой. На ее месте была приколота булавкой бумажка, и на ней малюсенькими-крохотусенькими буковками было написано: “Без приклада”.

С этого случая пришла к Глостерскому портному удача; он растолстел и стал богатым.

Он шил зажиточным купцам Глостера и всем благородным джентльменам в округе кафтаны дивной красоты. Какие на них были изумительные кружевные манжеты, фалды и лацканы!

Но главным предметом его гордости стали обшитые тесьмой петли.

Так аккуратно они были обметаны, стежок к стежочку, ниточка в ниточку, трудно даже представить себе, что это сделано руками старого портного, у которого на носу очки, старческие пальцы скрючены и на безымянном надет толстый портновский наперсток.

Все стежочки были такие маленькие — ну такие маленькие! — как будто бы это рукодельничали совсем маленькие мышки!

Сказка про Иеремию Фишера, отчаянного рыболова

ЖИЛ да был мистер Иеремия Фишер, лягушка. Он проживал в маленьком сыром домишке, что стоял среди лютиков на берегу пруда.

Вода плескалась у него прямо в кладовке и в черных сенях.

Но мистеру Фишеру нравилось ходить с мокрыми ногами — никто его за это не бранил, и потому у него никогда не бывало насморка.

Раз выглянул он за порог и обрадовался: по водной глади шлепали крупные дождевые капли!

— Пойду наковей и паю черлюсь на отправ- Налов- рыбалку. на ужин лю себе мальков, рыбьих — сказал мистер Иеремия Фишер. — Если попадется больше пяти штук, приглашу своих друзей: старейшину мистера Птолемея-Черепаху и сэра Исаака Ньютона-Тритона. Впрочем, старейшина питается салатом.

Надел мистер Иеремия макинтош и блестящие новые калоши, взял удочку и корзинку через плечо и длинными прыжками понесся туда, где стояла его лодка.

Она была круглая и зеленая и очень походила на остальные листья кувшинок. Она была привязана к стеблю, торчащему из воды среди водной глади.

Мистер Иеремия взял в руки камышинку и, отталкиваясь ею, как шестом, вывел лодку на открытую воду.

— Я знаю место, где хорошо ловятся мальки, — сказал себе мистер Иеремия Фишер, любитель рыбной ловли.

Он воткнул шест в илистое дно и привязал к нему лодку.

А потом уселся, скрестив ноги, и разобрал рыболовные снасти. У него был хорошенький красный поплавок, удилище из упругой травинки, а леской служил длинный и тонкий белый конский волос. К концу его он привязал вертлявого червяка.

По спине мистера Иеремии Фишера стекали струйки дождя. Он как сел, так почти целый час и просидел над удочкой, не сводя глаз с поплавка.

— Что-то я притомился, — подумал он, наконец. — Надо бы перекусить.

Взялся он за шест и отвел лодку обратно на то место, где росли водяные растения, и там достал из корзинки завтрак.

— Съем-ка я бутерброд с мотыльками и пережду, пока не уймется немного дождик, — сказал мистер Иеремия Фишер.

Между тем из воды по стеблю кувшиночного листа выполз большой жук-плавунец и стал теребить усами носок его калоши.

Мистер Фишер-рыболов подобрал ноги повыше, чтобы жуку не достать калоши, и сидел себе жевал бутерброд.

А у берега в камышах время от времени кто-то поднимал плеск и шорох.

— Надеюсь, это не крыса, — сказал мистер Иеремия Фишер. — Однако лучше мне отсюда убраться подобру-поздорову.

Он опять вытолкнул лодку на открытое место и закинул удочку с наживкой. Почти тотчас же у него клюнуло. Поплавок перекувырнулся и нырнул!

— Пескарик-плутишка, попался за носишко! — воскликнул мистер Иеремия Фишер и вздернул удилище.

Но что за ужасная неожиданность! Вместо гладкого жирного пескаря мистер Фишер выудил игловатого Джека-Ерша, от носа до хвоста в колючках!

В лодке Ерш принялся бить хвостом, колоться колючками и щелкать пастью, покуда совсем не запыхался. А тогда взял и — шасть! — спрыгнул обратно в пруд.

Тут из воды выставила головы стайка мальков. Они смотрели на мистера Иеремию Фишера и смеялись.

Огорченный мистер Фишер сидел на краю лодки и сосал исколотые пальцы, как вдруг случилась неприятность еще похлеще — можно бы даже сказать: беда, но, к счастью, на мистере Фишере был макинтош!

Из глубины вынырнула громадная рыбища форель, взбила фонтан брызг, хап-цап мистера Фишера в пасть — ой-ей-ей! — и, перекувырнувшись через голову, ушла обратно на дно пруда!

Однако вкус прорезиненного макинтоша ей до того не понравился, что она немедленно выплюнула мистера Иеремию Фишера и всего-то проглотила его новые калоши. Мистер Фишер сразу всплыл на поверхность, как пробка или как всплывают пузырьки в газированной воде, и что было силы поплыл к твердой земле.

Выкарабкался на берег, не разбирая места, и — плюх-плюх! — зашлепал через болото домой в своем изодранном макинтоше.

— Счастье еще, что это была не щука, — сказал мистер Иеремия Фишер. — Я остался без удочки и корзинки, но бог с ними, могу твердо сказать, что я бы все равно больше никогда в жизни не рискнул отправиться на рыбалку.

Он залепил пальцы пластырем, а тут и оба его друга явились к обеду. Рыбкой он их не попотчевал, но у него нашлось кое-что в кладовке.

Брюшко сэра Исаака Ньютона, как всегда, прикрывала золотисто-черная жилетка. А старейшина мистер Птолемей-Черепаха принес с собой салат в авоське.

Вместо рыбьих мальков они ели жареного кузнечика под божье-коровьей подливкой, что считается у лягушек изысканным угощением; но я лично полагаю, что это, должно быть, страшная гадость!

Сказка про утку Джемайму Кряк

До чего же смешно смотреть на курицу с выводком утят!

Послушайте, я расскажу вам историю об утке Джемайме Кряк, которая обижалась, потому что ей не давали самой высиживать яйца.

Ее золовка миссис Ребекка Кряк была вовсе не против того, чтобы за нее высиживал яйца кто-то другой.

— У меня никогда бы не хватило терпения сидеть на гнезде целых двадцать восемь дней кряду. И у тебя, Джемайма, можешь мне поверить, тоже не хватит. Ты бы их застудила, и не спорь, пожалуйста.

— Нет, я хочу сама высиживать свои яйца, и как хочу, так и будет! — прокрякала в ответ утка Джемайма.

Она пробовала прятать снесенные яйца, но их находили и забирали. Джемайма Кряк ужасно расстраивалась. И приняла решение устроить гнездо где-нибудь на воле.

Однажды погожим весенним днем она отправилась по проселочной дороге, что ведет через гребень холма.

На ней была шаль и модный чепец с козырьком.

За холмом она увидела лес. И подумала: “Вот, кажется, тихое, безопасное местечко”.

Джемайма Кряк летать была не приучена. Она разбежалась под гору, хлопая концами шали, а потом подскочила в воздух.

Вообще-то она прекрасно летала, ей надо было только получше разогнаться.

И вот, летит она над самыми верхушками деревьев и видит: посреди леса прогалина, расчищенная от подлеска и кустарника.

Села Джемайма, точнее плюхнулась, на землю и принялась расхаживать вперевалку, высматривая подходящее сухое место для гнезда. Ей

приглянулся один пенек в высоких зарослях рыжей наперстянки.

Однако неожиданно оказалось, что на пеньке сидит весьма элегантный джентльмен и читает газету. У него были черные уши и рыжие баки.

– Кря? – проговорила Джемайма, склонив на бок чепец и голову. – Кря?

Элегантный джентльмен оторвал взгляд от газеты и посмотрел поверх газетного листа на Джемайму.

– Вы заблудились, мадам? – спросил он.

У него был длинный пышный хвост, и он сидел, подложив хвост под себя, так как пенек все же был сыроват.

Джемайма нашла, что он страсть какой любезный и видный из себя. Она объяснила, что не заблудилась, а просто ищет подходящее место для гнезда.

– О! Вот как? В самом деле? – произнес джентльмен с рыжими баками, искоса поглядывая на Джемайму. Он свернул газету и сунул в задний карман.

Джемайма пожаловалась ему на курицу с ее непрошеными услугами.

– Да? Интересно, интересно, – сказал джентльмен. – Хотел бы я близко познакомиться с этой домашней птицей. Уж я бы научил ее не соваться не в свое дело. Что же до гнезда, то с ним ни малейших затруднений: у меня в дровяном сарае есть запас перьев. Нет-нет, мадам, вы никому не помешаете. Можете сидеть там, сколько вашей душе угодно, – заверил пышнодлиннохвостый джентльмен.

Он отвел Джемайму к маленькой невидной избушке, скрытой в зарослях рыжей наперстянки. Она была сложена из прутьев и дерна, а трубой на крыше служили два худых ведра, поставленные одно на другое.

– Это моя летняя резиденция; в моей норе... то есть в моем зимнем доме вам было бы не так удобно, – сказал радушный хозяин.

А сзади дома была пристройка из старых ящиков. Джентльмен открыл дверь и пропустил туда Джемайму.

Там чуть не доверху было набито перьев, прямо задохнуться можно, зато уютно и очень мягко. Такое изобилие перьев слегка удивило Джемайму. Но перья создавали уют, и она преспокойно свила себе в пристройке гнездо.

Когда она снова вышла наружу, рыжий джентльмен сидел поблизости на бревне и читал газету – по крайней мере, держал перед собой в развернутом виде, но сам выглядывал сверху.

Он был так галантен, он даже с неохотой отпустил Джемайму домой на ночь. И обещал завтра до ее прихода заботливо смотреть за ее гнездом.

Он сказал, что очень любит яйца и утят; и будет горд иметь у себя в сарае такое превосходное гнездо.

Джемайма Кряк появлялась в лесу каждый день; у нее в гнезде уже лежали девять яиц, крупных, зеленовато-белых. Рыжий джентльмен на них налюбоваться не мог. В отсутствие Джемаймы он приходил их переворачивать и пересчитывать.

Наконец, Джемайма объявила, что с завтрашнего дня садится на гнездо.

— Я принесу с собой мешочек зерна, чтобы не вставать, пока не проклюнутся яйца. А то как бы они не простыли, — сказала заботливая Джемайма.

— Умоляю, сударыня, не надо никаких мешочков, я обеспечу вас овсом. Но перед тем как начнется ваше утомительное сидение, я хочу угостить вас обедом. Мы устроим праздничный обед на двоих! Могу ли я попросить вас захватить с огорода немного зелени для приправы, гм, к омлету? Шалфея, тмина, мяты, пару луковиц, пучочек петрушки. А я принесу сальца, чтобы нашпиговать... то есть, поджарить омлет, — говорил любезный джентльмен с рыжими баками.

Джемайма Кряк была простовата: даже упоминание шалфея и лука не вызвало у нее подозрений. Она пошла в огород и нащипала различных травок, которыми перед жаркой начиняют утку. Потом она приковыляла в кухню и достала из корзины две луковички. А когда выходила, ей навстречу попался пес колли по кличке Хват.

— Зачем тебе понадобились луковицы? И куда это ты каждый день бегаешь одна, Джемайма Кряк?

Джемайма побаивалась пса; и выложила ему все как есть.

Пес слушал, свесив на бок умную голову. Он только усмехнулся, когда услышал про любезного джентльмена с рыжими баками.

Хват задал ей несколько вопросов насчет леса и насчет точного местоположения дома и сарая.

А потом вышел за порог и пробежался рысцой через всю деревню — он искал двух молодых гончих, которые ходили повсюду по пятам за тележкой мясника.

Джемайма Кряк в последний раз потащилась в гору по проселочной дороге. У нее была тяжелая ноша: пучки зелени и две луковицы в пакете.

Она пролетела над лесом и спустилась перед домом пышнодлинноxвостого джентльмена. Он сидел на пеньке, принюхивался и тревожно озирался по сторонам. При появлении Джемаймы он прямо подпрыгнул.

— Взгляните на яйца и скорее в дом, слышите? Давайте сюда приправы для омлета, да поживее!

Джемайма еще никогда не слышала, чтобы он разговаривал таким резким тоном.

Она ощутила удивление и некоторое беспокойство.

Только она вошла в сарай, как слышит, кто-то тихо пробежал снаружи под стеной. Чей-то черный нос шмыгнул в щели под дверью, и замок защелкнулся.

Джемайма сильно встревожилась.

Но тут поднялся невообразимый шум — лай, рык, вой, визг и стон.

С той поры рыжего джентльмена в тех местах больше не видели.

А Хват отпер дверь и выпустил Джемайму Кряк. Да вот незадача: в сарай сразу же ворвались молодые гончие и в два счета сожрали все яйца. Хват не успел их отогнать.

У него было прокушено ухо, а обе гончие прихрамывали.

Из-за яиц Джемайму проводили домой всю в слезах.

Но в июне она отложила новые, и ей позволили оставить их себе. Однако она высидела только четырех утят. Джемайма Кряк говорила, что это у нее на нервной почве; но на самом деле она никогда не отличалась усидчивостью.

Перевод И. Бернштейн

Сказка о двух нехороших мышках

Посвящается У. М. Л. У.,
девочке, у которой был
кукольный домик

У одной девочки был прелестный кукольный домик — из красного кирпича, с трубой и парадной дверью; окна — белые, а на них настоящие кисейные занавески.

Принадлежал домик двум куклам, Люсинде и Джейн; вернее, хозяйкой была Люсинда, хотя она никогда и не распоряжалась насчет обеда.

Джейн была кухаркой, но никогда не стряпала, ведь обед купили готовым в коробке с опилками.

В коробке лежали два красных рака и окорок, рыба, пудинг и несколько груш и апельсинов.

Они были очень красивы, хотя взять их с тарелок было невозможно.

Однажды утром Люсинда и Джейн отправились в кукольной коляске на прогулку. В детской никого не осталось; стояла тишина. Немного погодя в углу возле камина раздался какой-то шорох; кто-то тихонько скребся там, где под плинтусом была дыра.

Том-с-пальчик высунулся из нее на миг, а потом снова скрылся.

Том-с-пальчик был из мышиного племени.

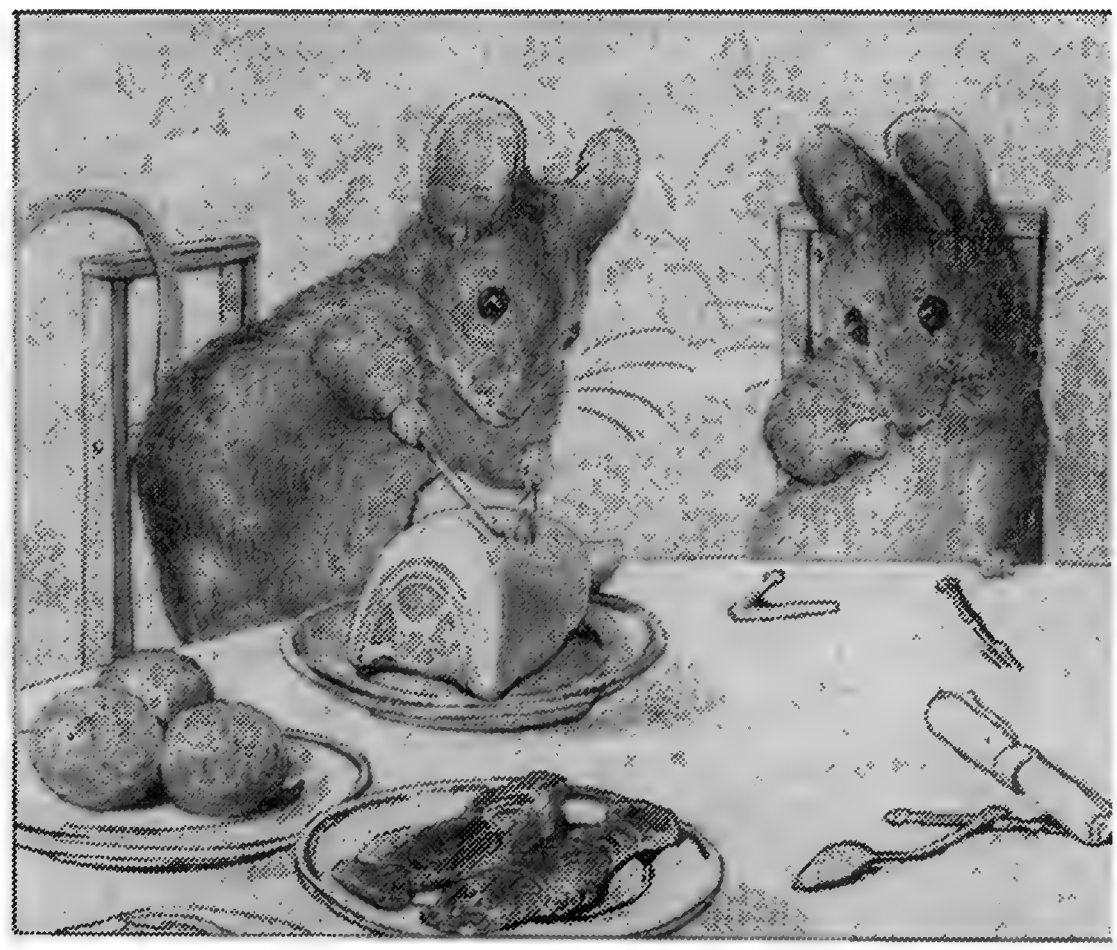
Через минуту из норки высунулась Ханка-Манка, его жена; увидав, что в детской никого нет, она вылезла на клеенку, постеленную под ящик с углем.

Кукольный домик стоял по другую сторону от камина. Том-с-пальчик и Ханка-Манка осторожно перебежали по каминному коврику. Толкнули парадную дверь — она оказалась не заперта.

Том-с-пальчик и Ханка-Манка поднялись на второй этаж и заглянули в столовую. И запищали от радости!

На столе стоял дивный обед! Тут же лежали жестяные ложки и оловянные вилки с ножами, а к столу были придвинуты два стульчика — до чего удобно!

Том-с-пальчик тут же стал резать окорок. Окорок был такой аппетитный — желтый с красными прослойками, так и блестел!



Но нож сломался у Тома в руках и уколол его; он сунул палец в рот.

– Окорок жесткий; не проварился. Попробуй ты, Ханка-Манка!

Ханка-Манка встала на стульчик и, взяв другой оловянный нож, принялась изо всех сил резать окорок.

– Жесткий, как у нас в лавке, – сказала Ханка-Манка.

Окорок вдруг откололся от тарелки, подпрыгнул и закатился под стол.

– Пусть его! – сказал Том-с-пальчик. – Дай-ка мне рыбки, Ханка-Манка.

Ханка-Манка пробовала подцепить рыбку и той ложкой, и этой; но рыба была прочно приклеена к блюду.

Том-с-пальчик вышел из себя. Втащил окорок на середину пола и стал колотить по нему каминным совком и щипцами.

Хрясть! хрясть! дрызг! дрызг!

Окорок разлетелся на мелкие кусочки – ведь под блестящим слоем краски был просто гипс!

Какое разочарование! Том-с-пальчик и Ханка-Манка пришли в ярость. Они разбили на куски и пудинг, и раков, и груши с апельсинами.

Рыбу они никак не смогли оторвать от блюда и потому сунули ее вместе с блюдом в красный бумажный огонь в камине; однако ее и огонь не брал.

Том-с-пальчик полез по дымоходу вверх и выглянул из трубы – в дымоходе совсем не было сажи.

Пока Том-с-пальчик там лазал по трубе, Ханку-Манку постигло еще одно разочарование. На полке она нашла маленькие банки с надписями – РИС, КОФЕ, САГО, – но, когда она перевернула банки вверх дном, из них посыпались лишь красные и синие бусинки.

Тогда мыши стали крушить все вокруг – особенно старался Том-с-пальчик! Он вытащил из комода, что стоял в спальной Джейн, все ее платья и вышвырнул из верхнего окна.

Впрочем Ханка-Манка была экономной хозяйкой. Выпустив половину перьев из валика, что лежал у Люсинды под подушкой, она вспомнила, что ей нужна перинка.

С помощью Тома она стащила валик вниз и проволокла по каминному коврику. Втиснуть валик в мышиную норку было нелегко; но в конце концов им это все же удалось.

Потом Ханка-Манка вернулась в домик и притащила к норке стульчик, книжный шкаф, птичью клетку и еще всякую всячину. Однако, как она ни старалась, шкаф и клетка никак не лезли в норку.

Ханка-Манка бросила их за ящиком с углем и отправилась за колыбелью.

Она уже возвращалась со вторым стульчиком к норке, как вдруг за дверью на площадке послышались голоса. Мыши кинулись в норку — а куклы въехали в детскую.

Что за зрелище предстало глазам Джейн и Люсинды! Люсинда уселась на опрокинутую плиту и смотрела-смотрела, не отводя взгляда, а Джейн улыбалась, прислонившись к кухонному шкафу для посуды, — но ни та ни другая не проронили ни слова.

Книжный шкаф и птичью клетку вытащили из-за ящика с углем — но колыбель и кое-что из платьев Люсинды остались у Ханки-Манки.

И еще кастрюльки и сковородки, очень нужные в хозяйстве, и кое-что другое в придачу.

Девчушка, которой принадлежал кукольный домик, сказала:

— Я достану куклу-полицейского!

А няня сказала:

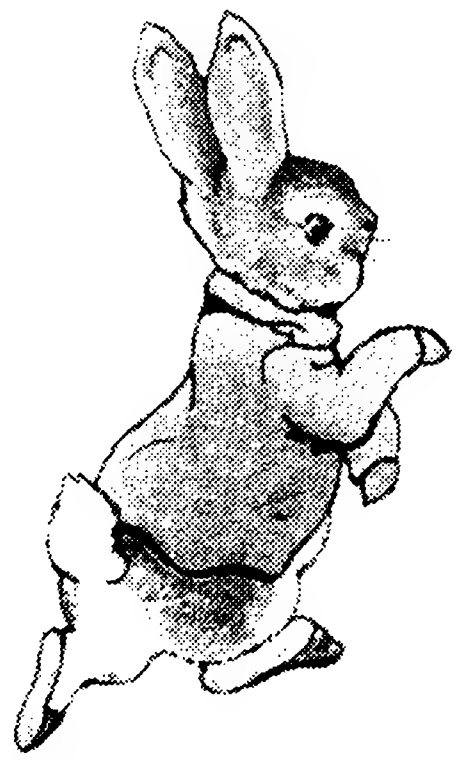
— Ну, а я поставлю мышеловку!

Вот вам история о двух нехороших мышках — впрочем, они были не такими уж злыми, потому что Том-с-пальчик заплатил за все, что они разбили.

Под ковриком у камина он нашел кривой шестипенсовик; и в ночь под Рождество они с Ханкой-Манкой сунули его в чулок с подарками для Люсинды и Джейн.

И каждое утро, рано-рано, пока все еще спят, Ханка-Манка приходит с совком и щеткой и подметает пол в домике у куколок.

Перевод Н. Демуровой



Джуди Тейлор
Жизнь Беатрикс Поттер

Перевод с английского В. Кулагиной-Ярцевой

Беатрикс Поттер в пятнадцать лет

Беатрикс Поттер, которая в основном известна как автор историй о Питере Кролике, была не только иллюстратором своих сказок, но и талантливым живописцем, микологом и заслуженным фермером-овцеводом. Для женщины — причем женщины из богатой викторианской семьи — это достижения небывалые.

Она была дочерью Руперта и Хелен Поттер, чьи семьи разбогатели на хлопке: семья Хелен на покупке и продаже сырья, семья Руперта — на коленкоре, производившемся на крупнейшей в мире ткацкой фабрике неподалеку от Манчестера.

В 1854-м Руперт Поттер оставил семейный бизнес и поступил в лондонскую Линколнс-инн, где получил диплом юриста. Но работать по специальности у него необходимости не было — средства позволяли ему вести жизнь светского человека: он проводил время в клубах, посещал галереи, собирал картины, занимался фотографией — относительно новым тогда искусством — и стал отличным фотографом-любителем, водил знакомство с известными людьми (такими, как художники Миллес и Лейтон, Гаскелл — муж писательницы Элизабет Гаскелл, и многими другими). В 1863-м он женился на Хелен Лич, дочери давнего друга семьи. Первый ребенок — девочка — родилась 28 июля 1866-го, ее поручили заботам няни и поселили в детской на верхнем этаже дома. Имя Хелен Беатрикс ей дали в честь матери, которая, кстати сказать, поразительно походила на королеву Викторию внешне (чему беспрестанно удивлялись окружающие), но может быть, не только внешне.

© Judy Taylor, 2006
© В. Кулагина-Ярцева. Перевод, 2006

У Беатрикс было одинокое детство, почти все время девочка проводила в стенах родного дома. Ее брат Бертрам появился на свет, когда ей исполнилось шесть лет, и прошли годы, прежде чем он подрос и стал для сестры товарищем. Сменявшие друг друга гувернантки выучили Беатрикс читать и писать, но бóльшую часть времени ей приходилось занимать себя самой. С малых лет у нее обнаружился настоящий талант к рисованию, она очень любила делать наброски с животных, зарисовки растений, да и вообще всего, что поражало воображение (теперь ее самый ранний детский альбом хранится в Лондонском музее Виктории и Альберта). Родители, каждый из которых немного занимался живописью, поощряли художественные увлечения дочери.

Поттеры вели размеренный образ жизни. Довольно много времени они проводили за городом. На уик-энд навещали родителей Руперта, живших недалеко от Лондона, а каждую весну на две недели уезжали на побережье — на время большой весенней уборки, производившейся в их отсутствие. На три чудесных летних месяца и господа, и слуги — повара, горничные, кучер, грум — уезжали в Шотландию, куда отправлялись на поезде. С 1871 года семья снимала большой загородный дом Делгайс-хаус на берегу реки Тей.

Здесь дети наблюдали за жизнью животных и птиц, собирали камни, мхи, цветы, а потом приносили домой и зарисовывали, Беатрикс вела дневник (с 1881-го по 1897-й). Этот удивительный документ сохранился до наших дней. Она шифровала записи (что было не такой уж редкостью в XIX веке — так, детские дневники Шарлотты Бронте тоже зашифрованы); несложный код, придуманный ею, основан на замене одних букв другими, правда, писала она так мелко, что в зрелом возрасте сама уже не могла расшифровать свои записи. Возможно, она прибегала к коду, чтобы не бояться, что дневник попадется на глаза матери, с которой она не была близка. В 1958 году, через пятнадцать лет после смерти писательницы, Лесли Линдер, коллекционер и исследователь ее книжек, разгадал код и расшифровал дневник. На это ушло пять лет, еще три года — на подготовку текста к печати. Зато теперь мы многое знаем и о самой Беатрикс Поттер, и о повседневной жизни семьи, принадлежавшей к верхушке среднего класса, и о социальных и политических условиях конца викторианской эпохи.

Надо сказать, что брат и сестра и в Лондоне сохраняли близость к природе: не только в саду, но и в детской постоянно жили животные. Одно время в доме были две ящерицы, Тоби и Джуди, ужиха по имени Салли, четыре тритона, зеленая лягушка, а в клетке для попугая обитали две летучие мыши, которых кормили живыми мухами и сырым мясом. Беатрикс не удовлетворялась тем, что постоянно изображала всю эту живность карандашом или красками, она дрессировала зверьков, изучала их повадки и строение тела, так как была прирожденным натуралистом. Спустя много лет, когда ей довелось иллюстрировать собственные сказки, альбомы с рисунками оказались бесценным подспорьем.

Когда Беатрикс исполнилось шестнадцать лет, Поттеры переменили место отдыха и поехали не в Пертшир, а в другую часть Британии, во многом напоминавшую Шотландию, там тоже были горы и озера, овцеводческие фермы. Так она впервые увидела местность, с которой впоследствии связала жизнь, — Озерный край. Тогда же она познакомилась с каноником Хардвиком Ронсли, уже в те годы боровшимся за сохране-

ние ландшафта и ставшим впоследствии одним из основателей Национального общества по охране природы и памятников. Своим желанием сохранить нетронутой красоту этой земли он заразил и юную Беатрикс.

Когда ее младшему брату Бертраму исполнилось одиннадцать, его послали в закрытую школу; такой привилегией обладали только мальчики: считалось, что для девочек достаточно домашнего образования. Именно такое домашнее воспитание и получила Беатрикс, но впоследствии она была этому рада: считала, что это помогло ей сохранить своеобразие собственной личности. К ней пригласили очередную гувернантку для занятий немецким языком, мисс Анни Картер, которая была всего на два года старше своей ученицы; как потом выяснилось, то был счастливый выбор. Пригласили и учительницу для занятий изобразительным искусством. В дневнике Беатрикс осталась запись: "Не знаю, что и сказать. Кажется, мне не по душе занятия, пожалуй, даже вызывают разочарование. Скучно, когда не нравится, как тебя учат. Буду рисовать, как мне хочется, без нее". Разумеется, эти занятия долго не продлились, а вот Анни Картер прожила в доме почти два года, пока не вышла замуж. Анни и Беатрикс остались подругами на всю жизнь, и эта дружба сыграла решающую роль в том, что Беатрикс, до поры до времени и не помышлявшая о писательстве, стала сочинять сказочные истории и рисовать к ним картинки.

С уходом Анни все уроки закончились, и у Беатрикс появилось свободное время, а значит, и возможность познакомиться с Лондоном — вкусить пищу, которую он предлагал ее пытливому уму. Беатрикс Поттер во многом следует считать продуктом викторианского самообразования. Вместе с отцом она посещала художественные галереи, часами зарисовывала экспонаты находившегося неподалеку от ее дома Музея естественной истории, о чем писала в дневнике: "Никогда не видела ничего ужаснее, чем чучела животных. Но все равно: рисовать, писать красками, лепить — меня не оставляет желание воспроизвести любой прекрасный предмет, который притягивает взгляд. Почему бы не удовлетвориться только рассматриванием? Но не могу не рисовать, даже если получается неважно". Беспрестанно изображала она и своих домашних питомцев. Ее любимцем был Кролик Бенджамин Прыгун, которого она "потихоньку принесла домой в бумажном пакете из лондонской лавки". Она изображала его в разных ракурсах, редко с ним расставалась и даже брала с собой за город. Кроме того, она купила микроскоп, в который рассматривала бабочек и делала тончайшие зарисовки чешуек на их крыльях, а также срезов ножек грибов. Но дело этим не ограничивалось — грибы ее интересовали как исследователя: она изучала условия их размножения и существования, строение спор.

В 1889 году она нарисовала для знакомых серию рождественских открыток, на которых был изображен Кролик Бенджамин. По совету своего дяди Генри Роско, она послала их фирме "Хилдшеймер энд Фолкнер", выпускавшей поздравительные открытки, те в ответ прислали ей чек и заказали новые рисунки. Часть ее работ была напечатана в виде открыток, часть — использована как иллюстрации к сборнику стихотворений Фредерика Э. Уэдерли "Веселая парочка". Беатрикс записала в дневнике: "Первое, что я сделала, это дала Прыгуну (каким он оказался удачным вложением капитала!) полную чашку конопляного семени, а, значит, завтра утром, когда я сяду его рисовать, он будет возбужден и со-

вершенно неуправляем". Ей исполнилось двадцать четыре года, но она продолжала жить дома с родителями и, в соответствии с царившими тогда представлениями, как единственная дочь должна была оставаться с ними до конца их дней. В ту пору она сделала еще одну запись: "Я получаю все большую радость от того, что могу распоряжаться деньгами по собственному усмотрению. Замечательно иметь немного денег, тратить их на книги или на что-нибудь еще такое и быть независимой, пусть даже одинокой".

В 1897 году Беатрикс изложила результаты своих микологических исследований в докладе, который послала в Линнеевское общество, но читала его не она, а ее родственник — женщин тогда не принимали в научные общества и уж конечно не допускали в залы заседаний. В 1997-м, ровно сто лет спустя, в том же Линнеевском обществе состоялась публичная лекция известного биолога Роя Уотлинга "Беатрикс Поттер как миколог", в которой он высоко оценил ее вклад в изучение грибов и ее ботанические рисунки (специалисты пользуются ими до сих пор).

Когда Беатрикс уезжала на лето из Лондона, она посылала письма с картинками своим племянникам и племянницам, семейству Анни Картер (теперь миссис Мур), в котором было восемь человек детей, а также другим знакомым детям. На смену Бенджамину пришел другой любимец — Кролик Питер, и теперь ее письма пестрели его изображениями. Как-то раз в сентябре 1893 года пятилетний Ноэль Мур заболел, и, чтобы его развлечь, Беатрикс написала ему письмо, начинавшееся так: "Мой дорогой Ноэль, не знаю, что бы тебе такое рассказать. Пожалуй, расскажу тебе историю про четырех крольчат, которых звали Флопси, Мопси, Белохвостик и Питер. Они жили со своей мамой под корнями огромной могучей ели..."[1] Нарисовала она и героев этого рассказа. Анни Мур первой пришло в голову, что эту историю легко превратить в детскую книжку. И в самом деле, когда Беатрикс переписала письмо к Ноэлю, кое-что туда добавив и подправив рисунки, получилась "Сказка про то, как Питер Кролик побывал в огороде у мистера Мак-Грегора". Но найти издателя оказалось делом нелегким: Беатрикс считала, что иллюстрации, вопреки обыкновению, должны быть черно-белыми ("Я не хотела, чтобы книжка была в цвете по двум причинам: из-за дороговизны хорошей цветной печати и из-за малоинтересной окраски моих героев, большая часть которых — кролики, значит, одно только коричневое на зеленом"), а книжечка — совсем маленькой, "такой маленькой, чтобы ее мог удержать крольчонок". В конце концов, Поттер пришлось издать книжку за свой счет (пригодились деньги за рождественские открытки). 6 декабря 1901 года "Сказка про Питера Кролика" (Беатрикс сократила название) вышла из печати. Все было сделано так, как хотелось автору: крохотного размера, на каждой странице одна-две фразы, на обороте — черно-белая иллюстрация, а на фронтисписе цветная картинка (хорошо знакомая теперь очень и очень многим): миссис Кролик наливает сыну настой ромашки.

Поначалу было заказано 250 экземпляров, но они так быстро разошлись, что через два месяца пришлось заказать еще 200.

Тем временем Хардвик Ронсли, желая помочь Беатрикс опубликоваться по-настоящему, переложил "Питера Кролика" стихами (доволь-

1. Перевод Н. Демуровой. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Беатрикс Поттер с отцом и братом

но слабыми) и отправил издателю Фредерику Уорну. Тот ответил, что, по некотором размышлении, решил издать сказку, но предпочитает, чтобы она была – в прозе! И чтобы иллюстрации были цветными. Беатрикс не сразу дала переубедить себя, потом все же сдалась, но увидев результат заполнения рисунков цветом, осталась недовольна и заново сделала все иллюстрации акварелью и с тех пор так и работала. Тогда-то Питер и обрел свою синюю курточку, которую теперь помнят миллионы читателей во всем мире. В издательстве "Фредерик Уорн" "Сказка про Питера Кролика" вышла в октябре 1902 года тиражом 8000 экземпляров, который был целиком распродан по предварительным заказам. До конца года было напечатано 28 000 экземпляров этой книжечки.

Почти одновременно с публикацией "Питера Кролика" Беатрикс за свой счет издала другую историю – "Глостерский портной". Любопытно, что в старинном Глостере, куда, с трудом преодолев сопротивление родителей, она поехала отдохнуть в обществе кузины, она не только зарисовывала и фотографировала отцовским аппаратом старые коттеджи, лавки, конюшни, пресс для производства яблочного и грушевого сидра, детей кучера, играющих с кроликами, и многое другое, но как-то раз, приметив портновскую лавку, нарочно оторвала от пальто пуговицу и зашла внутрь. Пока мастер, сидевший скрестив ноги на широком низком прилавке, пришивал эту самую пуговицу, она старалась запомнить комнатку, и прилавок, и все, что там находилось: утюг, кусочек воска, сантиметр, ножницы, обрезки ткани... Все это и сегодня можно увидеть на ее иллюстрациях к "Глостерскому портному". Таков был метод ее работы – рисовать то, что она знает и видит. На многих иллюстрациях изображен ее собственный деревенский дом (который ей впоследствии удалось купить в Озерном крае на доходы от книжек и небольшое наследство): спальня, кухня, лестница, виды, которые открываются со двора ее фермы Хилл-Топ, и те, кто сегодня бывают там и в деревне Сорей, сразу узнают виденное на картинках.

Одновременно с "Глостерским портным" Поттер пишет для издательства Уорна "Сказку о бельчонке по имени Орешек" – историю, ко-

торая впервые тоже была рассказана в письме, на этот раз не к Ноэлю, а к его сестре Норе.

С 1902-го по 1913-й издательство "Фредерик Уорн" опубликовало девятнадцать книжечек Беатрикс Поттер. Иногда выходило по 2–3 сказки в год, и очень многие были вдохновлены питомцами Беатрикс: Бенджамином Прыгуном, Кроликом Питером, Мышкой Ханкой-Манкой, Ежихой Ухти-Тухти – все они запечатлены на ее иллюстрациях.

Работая над своими историями, Беатрикс почти ежедневно общалась с Норманом Уорном, младшим из троих сыновей издателя, который восхищался этой талантливой застенчивой женщиной, поддерживал ее и помогал ей, чем только мог. Так, изготовив кукольный домик в подарок для племянницы, он специально сделал в нем стеклянную стенку, сфотографировал внутренние помещения и послал снимки Беатрикс, когда та писала сказку "О двух нехороших мышках", действие которой как раз происходит в кукольном доме; он также сделал миниатюрную утварь и снедь и послал художнице – ведь она любила работать с натуры. Понемногу их дружба окрепла, но отношения оставались достаточно формальными, они никогда не встречались наедине – это не было принято. Летом 1905 года Норман все же сделал ей предложение – правда, в письме. Беатрикс знала, что родители, которые не желали отпускать ее из дома, скорее всего, не согласятся, к тому же, по их мнению, Норман был неподходящей партией: не джентльмен, а торговец, да к тому же издатель, то есть ремесленник (и это притом, что их собственное состояние было нажито торговлей!). Но она не собиралась сдаваться и, хотя родители запретили ей сообщать о помолвке кому-либо, кроме ближайших родственников, носила подаренное женихом кольцо. К несчастью, свадьбе не суждено было состояться. 25 августа 1905 года, всего через несколько недель после помолвки, тридцатисемилетний Норман умер от заболевания крови. Он ни разу не пожаловался Беатрикс на недомогание – этого не допускала викторианская сдержанность. Удар был неожиданным, и потому особенно тяжелым.

С разбитым сердцем уехала Беатрикс к себе в Сорей, где понемногу увлеклась фермерством. Теперь все книги, которые она писала, были проникнуты любовью к Озерному краю. Он стал ее вторым домом, хотя она по-прежнему вынуждена была порой подолгу оставаться в Лондоне.

На возраставшие от книг доходы она покупала все новые земли для овец и скота, а в 1909-м купила вторую ферму – Кастл-фарм. В операциях с недвижимостью она полагалась на советы местного юриста, Уильяма Хилиса, который в 1912 году предложил ей руку и сердце. Беатрикс шел 47-й год, постаревшие родители еще меньше, чем раньше, готовы были с ней расстаться, и опять же, Уильям Хилис был всего лишь деревенский стряпчий. Потребовалось около года, чтобы преодолеть их сопротивление, в чем ей очень помог брат, объявивший изумленным старикам, что уже десять лет как тайно женат на девушке, которую встретил в Шотландии. Терпение и решимость Беатрикс были в конце концов вознаграждены, и 15 октября 1913 года она вышла замуж за Хилиса.

После замужества она писала немного, но по-прежнему много издавалась. Супруги поселились в Кастл-коттедже, и сорокасемилетняя Беатрикс Поттер, автор детских книг, начала новую жизнь как Беатрикс Хилис, фермер и борец за природу родного края. Она трудилась не покладая рук. Во время Первой, а потом и Второй мировой войн, когда все

молодые люди ушли в армию, сама работала в поле. Могла разыскать и притащить на плечах домой потерявшуюся овцу, чтобы спасти ее от непогоды. С годами Беатрикс — в тяжелом твидовом костюме, в деревянных сабо, защищающих ноги от сырости и грязи, — стала одним из самых уважаемых в Озерном крае людей. Она председательствовала в жюри на местных сельскохозяйственных выставках, в 1930-м ее избрали президентом Ассоциации овцеводов.

Навсегда проникнувшись идеями Хардвика Ронсли, Беатрикс неустанно пеклась о сохранности уникального пейзажа Озерного края. Отчасти для этого она и скупала фермы и землю, тесно сотрудничала с Обществом по охране природы. Сберечь в первозданной красе местный ландшафт было одним из главных дел ее жизни.

В 1943-м в Озерном крае выдалась ранняя бесснежная зима, Беатрикс простудилась, простуда перешла в бронхит, дала осложнение на сердце, и 22 декабря 1943 года Поттер умерла. Незадолго до смерти она писала своему кузену: "Если семидесятисемилетняя старуха продолжает играть в такие игры — это может случиться в любую минуту. У меня множество дел вне дома..."

Национальному обществу по охране природы и памятников Озерного края Беатрикс Поттер оставила более 4000 акров земельных угодий, где, в соответствии с ее завещанием, разводят овец чистой хердвикской породы. Детям всего мира Беатрикс Поттер оставила двадцать три книжечки своих сказок.

Джуди Тейлор. Жизнь Беатрикс Поттер

Хамфри Карпентер

"Джейн Остин детской": Беатрикс Поттер как мастер стиля[1]

Перевод с английского А. Борисенко и В. Сонькина

Они затаились в каком-то баре, в дыре, где стол прожжен
Сигаретой, где-нибудь в Детфорде, под шум дискотеки
Заслоняют лицо стаканом, грызут орехи, как Чиппи-Хэкки
И шустрый Тимми-Типтоуз, прячась от своих жен.

Это строки из сонета Блейка Моррисона[2], напечатанного в "Таймс литерари саплмент" в апреле 1987 года. Поклонникам Беатрикс Поттер можно не объяснять, что автор сравнивает здесь двух мужчин, увиденных им в Детфордском пабе, с героями "Повести о Тимми-Типтоузе", где бельчонок и бурундучок прячутся от жен в дупле старого дерева и объедаются орехами.

Упоминание персонажей Беатрикс Поттер в таком контексте кажется неожиданным. Мы бы ничуть не удивились аллюзии на "Алису в Стране чудес", поскольку писатели, поэты и ораторы давно растащили эту сказку на цитаты, затертые от постоянного употребления. Кэрролл считается уважаемой и влиятельной литературной фигурой – даже Т. С. Элиот как-то прочел о нем лекцию, и кэрролловское влияние легко прослеживается в его творчестве. Но едва ли возможно представить себе, что покойная леди Хелен Гарднер в своем исследовании "Искусство Т. С. Элиота" стала цитировать поттеровскую "Повесть о Питере Кролике". Как правило летописцы, прослеживающие источники вдохновения поэтов и прозаиков XX века, почти не вспоминают писательницу. И тем не менее один современный романист пишет:

И конечно же там была Беатрикс Поттер. Я никогда не переставал восхищаться ее книгами и часто их перечитывал, так что я ничуть не удивляюсь, обнаруживая в своем собственном рассказе "Под садом" далекий отголосок "Котика Тома", где герой, оказавшись на чердаке, попадает в плен к крысам, и зловещая Анна-Мария закатывает его в тесто... А в "Брайтонском леденце"

© Humphrey Carpenter, 1989.
© А. Борисенко, В. Сонькин. Перевод, 2006

1. Печатается с некоторыми сокращениями.
Эссе, озаглавленное "Неслыханно дерзкие кролики: подрывной элемент у Беатрикс Поттер", было создано на основе лекции, которую Х. Карпентер прочитал в Оксфорде в начале мая 1988 года в рамках Акции Оупи – сбора средств на покупку Бодлеанской библиотекой собрания детской литературы супругов Оупи. Позже в том же месяце Х. Карпентер использовал тезисы этой лекции для выступления на ежегодных чтениях Общества Беатрикс Поттер в Лондоне, назвав свою речь "'Джейн Остин детской': Беатрикс Поттер как мастер стиля". Полный вариант "Неслыханно дерзких кроликов" был опубликован в сборнике "Дети и их книги" (O. U. P., 1989). *(Прим. издателя.)*
2. Блейк Моррисон (р. 1950) – английский поэт и эссеист. *(Здесь и далее – прим. перев.)*

мошенник стряпчий голодным эхом вторит другому персонажу мисс Поттер, наблюдая, как молоденькие секретарши несут мимо маленькие пишущие машинки.

Это отрывок из автобиографии Грэма Грина. Его рассказ "Под садом" — отнюдь не "далекий отголосок" "Повести о Сэмюэле Вискерсе"[1], а скрупулезный комментарий к ней, к чему я еще вернусь позже. Что касается "Брайтонского леденца", речь идет вот о чем:

— Брак мой был неравным, — начал Пруитт. — Он был трагической ошибкой. Я был молод. Любовная связь как результат необузданной страсти. Я был страстным мужчиной, — сказал он, корчась от боли в желудке. — Вы ведь видели ее сейчас, — продолжал он. — Боже мой! — Он наклонился вперед и произнес шепотом: — Я слежу за маленькими машинистками, когда они проходят мимо со своими чемоданчиками. Какие они аккуратненькие и нарядные!.. — Он вдруг замолчал; пальцы его задрожали на ручке кресла[2].

Первоисточник этого монолога можно найти в сказочной повести писательницы "Джинджер и Пиклс", герои которой — кошка и собака — держат деревенскую лавку:

Мыши были постоянными покупателями — только они побаивались Джинджера [кота].

Джинджер обычно просил Пиклса обслужить мышей, поскольку у него самого начинали течь слюнки.

— Не могу видеть, — говорил он, — как они выходят из лавки с этими маленькими сверточками.

— У меня с крысами то же самое, — отвечал Пиклс, — но не годится есть собственных клиентов; а то они перебегут от нас к Табите Скок.

— Наоборот, тогда они уже ни к кому не перебегут, -- мрачно отвечал Джинджер.

Признание Грина, что он многим обязан Беатрикс Поттер и "часто ее перечитывал", навело меня на мысль порыться в именных указателях, которыми обыкновенно снабжены литературные биографии. Улов был небогатый. Уистен Хью Оден сохранил на всю жизнь любовь к ее книгам, в "Письме к лорду Байрону" он пишет:

...Спроси, чьи имена
Мне дороги...
И я умолкну, чтоб звучала лира
Фербанка, Поттер, Кэрролла и Лира.

Из биографии Кристофера Ишервуда можно узнать, что "Повесть о Сэмюэле Вискерсе" была одной из первых книг, которые на него "произвели глубокое впечатление", и что жутковатые подробности сказок Поттер нашли отражение в "Мортмире" — макабрических фантазиях, которые Ишервуд и его друг Эдвард Апворд сочиняли в студенческие го-

1. Первоначально повесть называлась "Мясной рулет".
2. Г. Грин. Брайтонский леденец. Т. 1 / Перев. Е. Петрова, А. Тетеревникова. — М.: Худож. лит., 1993.

ды, а фантазии эти, в свою очередь, повлияли на творчество всего "поколения Одена".

Однако сведения о том, что Беатрикс Поттер воздействовала на детское воображение будущих писателей, сравнительно редки. Даже если Ивлин Во, Вирджиния Вулф, Роберт Грейвс и Стивен Спендер и впрямь читали ее, любили ее сказки и находились под их влиянием, ни они сами, ни их исследователи ничего об этом не сообщают. (Правда, биограф Джорджа Оруэлла Бернард Крик пишет, что Оруэлл продолжал читать Поттер, в особенности "История о Поросенке Бланде", когда уже учился в школе и, по словам сестры, "давно перерос эти книжки", однако, как ни удивительно, Крик никак не связывает их со "Скотным двором".) Для Беатрикс Поттер не нашлось места в энциклопедии "Создатели современной культуры" (1981), и хотя она бегло упомянута в "Биографическом справочнике современной мысли", выпущенном в 1983 году издательством "Фонтана", из посвященной ей статьи никак нельзя уяснить, почему ее книжки были так важны для Одена и Грэма Грина. Нам всего лишь сообщают, что Поттер писала "иллюстрированные сказки о кроликах, котятах, мышках и прочих зверюшках" в рамках "установившейся традиции антропоморфической сказки о животных, часто имеющей моралистический характер". Мы также узнаем, что ее оригинальность "проявлялась в иллюстрациях, рисованных с натуры, и в их точном соответствии тексту. Редко изображая людей, Беатрикс Поттер прекрасно передавала основные черты животных, а в более позднем творчестве — своеобразие природы Озерного края. Слово и рисунок составляют единое целое".

Да, несомненно, каждый, кто хоть однажды открывал книжку Беатрикс Поттер, помнит ее рисунки. Энтони Пауэлл, писатель поколения Грэма Грина, говорит в автобиографии, что рисунки Обри Бердслея показались ему не менее знакомыми, чем тенниэлловская Алиса или поттеровский Котик Том. Но не за изображения Котика Тома и Озерного края восхищались ею Грэм Грин, Кристофер Ишервуд, Уистен Хью Оден и Блейк Моррисон, и вовсе не рисунки оказали влияние на их творчество. Грин "читал и перечитывал" ее, Оден хотел *писать*, а не рисовать, как она, Ишервуд почерпнул из ее книг не интерес к "кроликам, котятам, мышкам и прочим зверюшкам" и не моралистические установки "антропоморфической сказки о животных", а ощущение того, что за уютным фасадом — и особенно за фасадом респектабельным — может скрываться нечто гротескное, тайное, непроизносимое.

Подобный же урок усвоил и Грэм Грин, о чем свидетельствует рассказ, который автор скромно называет "далеким отголоском" "Повести о Сэмюэле Вискерсе". Герой этого рассказа, впервые появившегося в сборнике "Чувство реальности", — пожилой человек, умирающий от рака. Он возвращается в деревенский дом, где родился и вырос, чтобы понять, соответствует ли действительности яркое воспоминание детства о том, как однажды ночью, пытаясь спрятаться от близких, он попал в таинственные дебри сада, пересек озеро, оказался на острове, обнаружил там между корнями дерева лаз, ведущий под землю, спустился в какое-то темное, зловещее место. И услышал хриплый голос, зовущий: "Мария, Мария!" Дальше так:

Из-за угла внезапно и бесшумно появилась старуха. На ней было старое синее платье до щиколоток... Она удивилась не меньше моего — так и застыла, уставившись на меня, а потом открыла рот и заскрежетала. Потом я узнал, что у

нее не было неба, так что, возможно, она просто спрашивала: "Кто ты?" ...Хриплый голос из темноты сказал: "Приведи его сюда, Мария".

И без признания Грина понятно, что́ именно напоминает этот рассказ; даже женское имя то же, что у Беатрикс Поттер:

Когда Котик Том поднялся и огляделся вокруг, он обнаружил, что находится в каком-то месте, где никогда раньше не был, хотя и прожил в этом доме всю жизнь.

Напротив него — в дальнем конце помещения — сидел огромный крыс.

— Анна-Мария! Анна-Мария! — проскрипел крыс. Раздалось шарканье, и старая крыса выглянула из-за балки.

В ту же минуту она бросилась на Тома...

На поттеровской картинке Анна-Мария тоже одета в длинное синее платье, достающее до щиколоток.

В версии Грэма Грина Сэмюэл Вискерс, старый крыс из повести Поттер, превращается в древнего старца, постоянно восседающего на унитазе, — "огромного старика с белой бородой", у которого только одна нога, вместо второй — зашитая брючина, напоминающая валик. Этот кошмарный призрак велит мальчику называть его Джавитт, добавив, что это не настоящее его имя, и объясняет, что будет держать пленника у себя, чтобы тот читал вслух ветхие газеты, сложенные стопкой. Ситуация напоминает пленение Тони Ласта мистером Тоддом в "Горсти праха" Ивлина Во, что приводит нас обратно к Беатрикс Поттер, поскольку "мистер Тод" — имя главного героя чуть ли не самой жуткой ее истории[1]. (Оба — Тод и Тодд — живут в мрачных домах посреди леса, вдали от людей.)

Рассказ "Под садом" не отнесешь к удачам автора. Ему не дается лаконичная манера Беатрикс Поттер, и Джавитт не производит такого впечатления, как Сэмюэл Вискерс. Однако самим фактом создания этого рассказа Грэм Грин отдает дань силе воображения Беатрикс Поттер, ее способности создавать архетипы, которые остаются с читателем до конца жизни...

В произведениях Поттер нет ничего от "моралистической истории". Скорее уж можно сказать, что истории у нее аморальные, и голос, который мы вновь и вновь слышим в ее произведениях, — вовсе не голос викторианской старой девы, наставляющей своих племянниц и их подруг по части добродетели и хороших манер, а голос бунтаря, хоть и неявного, который демонстрирует преимущества нонконформизма и побуждает своих юных читателей подвергать сомнению социальную систему, в которой им довелось родиться...

Правда, при первом знакомстве голос Поттер кажется вполне викторианским. Если вы спросите у знакомых, что им больше всего запомнилось из ее историй, не считая картинок, они, скорее всего, скажут: "Книжные слова". "Я негодую", — изрекает миссис Табита Скок, когда котята разбрасывают свою одежду; в этой же повести говорится, что поведение котят "нарушило благопристойность и мирное течение чаепития". Джемайма Кряк возмущается, что у нее отняли яйца и отдали насиживать ка-

1. Имеется в виду "История мистера Тода".

кой-то "неведомой курице". Томми Брок в "Истории мистера Тода" "неистово пытается протиснуться" в кроличью нору. В этой же повести один из кроликов жалуется: "Мой дядюшка Вышибала долгие годы славился плачевным отсутствием такта". Поведение барсука Томми Брока описывается как "праздное", а его храп назван "апоплексическим". Словом, викторианская лексика бьет ключом. Современному родителю, пытающемуся объяснить детям трудные слова, смутно представляется, что в начале XIX века, когда впервые выходили книжки Поттер, маленькие читатели воспринимали все это не моргнув глазом.

Но так ли это? Первую книгу Беатрикс Поттер ("Повесть о Питере Кролике") отделяет от последнего ее заметного произведения ("История Поросенка Бланда") промежуток в двенадцать лет — с 1901-го по 1913-й, когда для детей писали Кеннет Грэм, Джеймс Барри и Эдит Несбит, делавшие это по-разному, но уж никак не по-викториански, и когда — если взглянуть на дело шире — Джойс, Элиот и Паунд начинали свои модернистские эксперименты. В других книжках с картинками для маленьких детей начала века — таких, как "Сад Джонни Кроу" Л. Лесли Брука или серия историй Флоренс Антон про Голливога — совершенно нет подобных оборотов. В чем тут дело? Что, Беатрикс Поттер была реликтом XIX века и не могла отринуть словарь эпохи своих родителей или же она сознательно имитировала манеру более раннего периода — а если так, то зачем?

Стоит приглядеться, и станет понятно, что в этих ее так называемых "викторианизмах" нет на самом деле ничего викторианского. Викторианцы так не писали — ни для взрослых, ни — тем более — для детей. Язык их поры обычно весьма многословен, тогда как архаизмы Поттер (и то, что можно назвать ее "антикварным стилем") — удивительно лаконичны. Одним словом: "негодую", "такт", "неистово" — выражается то, о чем истинный викторианец рассуждал бы на протяжении целого абзаца. Вот, к примеру:

Это счастье было почти непосильно. Оливер был ошеломлен и оглушен неожиданной вестью. Он не мог плакать, разговаривать, отдыхать. Он с трудом понимал происходившее, долго бродил, вдыхая вечерний воздух, и наконец хлынувшие слезы принесли ему облегчение, и он словно очнулся вдруг и осознал вполне ту радостную перемену, которая произошла, и то, как безгранично тяжело было бремя тревоги, которое сняли с его плеч[1].

Этот пассаж выбран почти наугад из "Оливера Твиста". Сравните, как Беатрикс Поттер описывает возвращение домой маленьких детей, которых чуть не сварили на ужин:

Велики были облегчение мистера Боунсера и радость Флопси, когда Питер и Бенджамин триумфально возвратились вместе с детишками. Крольчата казались довольно взъерошенными и страшно хотели есть. Их накормили и уложили в постель. Вскоре они пришли в себя.

Если Беатрикс Поттер и оглядывается на прошлое в поисках стилистического образца, когда пишет свою повесть (а дело происходит в

1. Перевод А. В. Кривцовой.

1912 году), то смотрит она на более давнюю эпоху, на времена, когда письменный английский язык был более точным и экономным орудием.

Причины этого становятся понятны благодаря ее дневнику. В юности одним из немногих доступных ей развлечений были беседы с бабушкой по отцу. Старая миссис Поттер, урожденная Джесси Кромптон, родилась в 1801 году — пусть и не совсем "во времена шпаг, париков, сюртуков с пышными фалдами и цветочным узором на лацканах", как пишет мисс Поттер в начале "Глостерского портного", но все же в эпоху, которая казалась поздним викторианцам такой же далекой, какими кажутся нам сейчас времена самой Беатрикс. Маргарет Лейн[1] рассказывает, как в раннем детстве девочка любила прятаться под столом в бабушкином доме и подслушивать ее разговоры. Позже она стала методично заносить их в свой дневник — как исследователь, регистрирующий устную историю ушедшего века. Вот записанная ею в двадцать один год "сцена за обедом":

Бабушка с благородным и яростным негодованием, вопреки мнению всех остальных домочадцев, осудила ту осторожность, с которой кучер погоняет кобыл: "Да, деточка, я-то знаю, я-то поездила с — отцом — на двуколках — да что там — нас однажды — всех выбросило — всех выбросило прочь из двуколки — разом" (заливается смехом).

А вот наружность старой леди (запись сделана тремя годами раньше):

Какой она кажется благообразной с этими своими седыми кудрями под муслиновым чепцом, отороченным черным кружевом. На ней простое креповое платье с широким серым льняным воротником и завернутыми манжетами. Она такая прямая, всегда в движении, у нее доброе лицо и сияющие глаза. Она одна такая. Мне всегда казалось, что она так близка к совершенству, как это только возможно на земле...

Совершенство отождествляется с эпохой Регентства, на которую пришлось взросление бабушки; обратите внимание, как Поттер имитирует стиль того времени: "благородное и яростное негодование", "живые, сияющие глаза". Что же касается описаний одежды... — в старости Поттер и сама стала так одеваться: муслиновый чепчик можно увидеть на многих поздних ее фотографиях, и, сдается, за образец тоже была взята бабушка. Примечательно еще и то, что почти сразу после смерти бабушки, скончавшейся в 1893 году, Беатрикс начала писать знакомым детям письма с картинками, которые и положили начало ее творчеству. Это был акт воссоздания бабушкиного мира.

Из всех персонажей Поттер больше всего напоминает ее бабушку Ухти-Тухти, ежиха-прачка, которой достались и упомянутый муслиновый чепчик, и яркие глаза старой миссис Поттер. Но влияние старой леди на внучку было гораздо более глубоким. Вторая книга, которую Беатрикс написала в 1902-м, сразу после того, как "Повесть о Питере Кролике" принесла ей некоторую известность, называлась "Глостерский порт-

1. M. Lane. The Tale of Beatrix Potter. — London—New York: Frederick Warne & C, 1946.

ной". Сама Беатрикс любила ее больше всех остальных своих произведений, что может показаться несколько странным, потому что "Портной" совершенно не похож — ни темой, ни стилем — на остальные ее истории. Возможно, дело в том, что "Глостерский портной" воссоздает ритм речи бабушкиных времен — времен, в которые, видимо, хотелось бы жить и самой писательнице:

Кроил он экономно, подгоняя по узору; обрезки и лоскутки оставались у него на столе совсем узенькие.

— Такие остатки ни на что уже не сгодятся, только мышам на жилетки, — говаривал портной...

— Совсем узенькие лоскутки, и срезаны по косой. Ни на что уже не годятся, только мышам на капюшончики да на ленточки к чепцам. Все это — мышам! — так приговаривал Глостерский портной[1].

На самом деле это, конечно, не ритм английской прозы конца XVIII — начала XIX века, совсем нет. Но часто, когда писатель решает имитировать старинный стиль ушедшей эпохи, получается нечто совершенно новое...

Нельзя сказать, что Беатрикс Поттер воссоздает те давние времена с одним лишь безоглядным восхищением. В самой бабушке ее восхищала выразительность речи и независимость ума — составлявшие такой контраст нервозности и нерешительности ее собственных родителей. Но писательница не могла не сознавать, что мир, в котором выросла ее бабушка, был чрезвычайно нетерпим по отношению к детям. А может быть, ей вспоминалось и собственное детское чтение и царствовавшее там морализаторство; так было почти до конца XIX века — пока Льюис Кэрролл не совершил переворот своими книгами об Алисе, в которых Беатрикс несомненно находила отдохновение. Как и кэрролловскую Алису, рассказчика в "Питере Кролике" и других поттеровских произведениях отличает дух независимости и отсутствие дидактики. Насмешку писательницы над моралистической сказкой хочется сравнить с издевкой Кэролла над поучительными виршами Исаака Уотса, которые пародируются в "Алисе"...

Беатрикс Поттер, вероятно, была поклонницей Сэмюэла Джонсона; она, безусловно, запоем читала Джейн Остин; и влияние этих писателей проявляется в ее произведениях. К моменту публикации ее предпоследней значительной книги, "Истории мистера Тода", она обращается к темам, которые веку Джонсона, Остин и ее собственной бабушки показались бы совершенно чуждыми. "Тод" — не просто английское диалектное слово, обозначающее лису, но и "смерть" по-немецки; в этой повести сразу же без лишних слов объясняется, что речь пойдет о "неприятных" особах — по сути, это этюд об убийстве. Барсук Томми Брок намеревается убить и съесть крольчат; лис мистер Тод, обнаружив Брока, неподвижно лежащего в его постели, ликует, решив, что прикончил врага; а под конец Тод и Брок сходятся в жестокой схватке, исход которой — неминуемую гибель обоих — предлагается домыслить читателю.

1. Перевод И. Бернштейн.

Хотя "История мистера Тода" — самая мрачная из книг Беатрикс Поттер, она одновременно и самая смешная. Не только в детской, но и во "взрослой" литературе нелегко отыскать что-либо, хоть отдаленно приближающееся по комизму к той макабрической сцене, когда мистер Тод, обнаружив барсука в своей кровати, начинает самым изощренным способом готовиться к мести за это нарушение прав частной собственности: он осторожно привязывает ведро над изголовьем, закрепляет веревку на дереве во дворе и затем наполняет ведро холодной водой, кувшин за кувшином, а тем временем Томми Брок, притворяясь, что крепко спит, и не переставая старательно храпеть, следит одним глазом за вражескими приготовлениями: "Храп был почти апоплексическим..." Пытаясь найти параллель этому пассажу, вспоминаешь прежде всего не литературные произведения, а ранние кинокомедии с участием таких мастеров гротеска, как Мак Сеннетт. В повести Поттер, конечно, множество картинок (в основном черно-белых, вопреки ее обычаю), но даже и без них на ум приходят отмеченные жестокостью эксцентрические комедии немого черно-белого кино — такие как раз снимались в пору появления "Мистера Тода".

Последняя история Поттер, в которую она вложила все свои силы и как писатель и как иллюстратор, "История Поросенка Бланда", — так же кинематографична. Она разворачивается в определенном хронологическом промежутке: действие длится два с половиной дня, и автор с большой точностью отмечает ход времени и перемену освещения.

Он тоскливо оглянулся на холмы и покорно двинулся в противоположном направлении, застегивая верхнюю пуговицу и ежась под дождем.

И немного позже:

После целого часа блужданий он выбрался из леса; луна светила сквозь облака, и Поросенок Бланд увидел совершенно новый пейзаж.

Дорога шла через пустошь, вдали виднелась широкая долина, река мерцала в лунном свете, и дальше, в туманной дымке, высились холмы.

А в развязке истории, когда Поросенок Бланд и Свинка Пиг-Виг, которую он встретил в мрачном доме-тюрьме Томаса Пайперсона, бегут через вересковые поля, уповая найти спасение в соседнем графстве, есть и отзвуки "Тэсс из рода д'Эрбервиллей"[1], и предзнаменование бесчисленных стихотворений и романов 30-х годов о пересечении границы, причем мы видим происходящее словно через объектив кинокамеры:

Он тихонько отворил дверь и закрыл ее за собой и Пиг-Виг. Сада не было; двор мистера Пайперсона был весь изрыт курами. Держась за руки, они бесшумно выскользнули на неухоженное поле, а после на дорогу.

Когда они пересекали пустырь, взошло солнце: снопы света лились на вершины холмов. Солнечный свет спускался на склоны, на зеленые долины, на белые домики, затаившиеся среди садов и огородов.

— Это Уэстморленд, — сказала Пиг-Виг.

1. Роман Томаса Харди (1840—1928) — английского прозаика и поэта.

Мы далеко ушли от детской "Повести про Питера Кролика".

"История Поросенка Бланда" — это "Доводы рассудка" Беатрикс Поттер, книга, в которой выразился ее восторг по случаю собственного освобождения из темницы отчего дома. В год публикации этой книжки она вышла замуж и обрела наконец свободу. (Как и героине романа Остин Энн Эллиот, писательнице довелось в более ранние годы узнать горечь обманутых надежд: ее первый жених Норман Уорн скончался скоропостижно.) Она прожила после этого еще тридцать лет, однако уже ничего значительного не опубликовала. Но хотя ее произведения появлялись только на протяжении первых тринадцати лет XX столетия[1], она больше принадлежит современности, чем викторианству. В ряде случаев ее тексты даже напоминают модернистов: использование архаизмов в целях пародирования и в социальной сатире заставляют вспомнить Элиота и Джойса. И уж во всяком случае нельзя не признать, что именно благодаря ей в книгах для очень маленьких детей появился энергичный стиль и точный эпитет, что, несомненно, сыграло огромную роль. Рискну сказать, что этот намеренно ровный, бесстрастный голос повествователя, этот приглушающий эмоции характерный поттеровский тон повлиял на язык целого литературного поколения — поколения Грэма Грина и Ивлина Во. Вот этот абзац например, с некоторыми оговорками, могла бы написать сама Беатрикс Поттер:

Мистер Снигс (заместитель декана) и мистер Побалдей (казначей) расположились в комнате мистера Снигса, окна которой выходили на четырехугольный двор Скон-колледжа. Из апартаментов сэра Аластера Дигби-Вейн-Трампингтона доносились гогот и звон стекла. В этот вечер — вечер традиционного обеда членов Боллинджер-клуба — только Снигс с Побалдеем остались нести дозор. Прочие преподаватели Скон-колледжа разбрелись кто куда: одни шумными спорящими стайками бродили по Борс-хиллу и Северному Оксфорду, другие отправились в гости к коллегам из других колледжей, третьи поспешили на заседания всевозможных ученых обществ — и правильно сделали и те, и другие, и третьи: ежегодные праздники боллинджеровцев — трудное время для университетских наставников[2].

"Спорящими стайками", "трудное время" — эти сухие эпитеты казались новшеством в 1928 году, когда вышел роман "Упадок и разрушение". Будет ли предположение, что истоки этого романа лежат в маленьких детских книжках, которые ежегодно появлялись в печати, когда Ивлин Во был еще ребенком, слишком большой смелостью с моей стороны?

1. Если не считать написанного в те же годы, но опубликованного в 1930-м "Поросенка Робинзона".
2. Так начинается роман Ивлина Во "Упадок и разрушение" (1928). Перевод С. Белова, В. Орла.

Грэм Грин

Беатрикс Поттер: критический очерк[1]

Перевод с английского А. Борисенко

"Говорят, что салат, если его много съесть, оказывает снотворное действие"[2]. Именно такой точной, емкой фразы и ожидаешь, приступая к чтению великой саги Беатрикс Поттер, поскольку для стиля этой писательницы в высшей степени характерен избирательный реализм, который не снисходит до изображения эмоций и "скользит" мимо любви и смерти с безучастностью, заставляющей вспомнить Э. М. Форстера. Хотя произведения Поттер исполнены драматизма, происходящие события всегда описываются со стороны – проницательным и далеко не романтичным наблюдателем, который никогда не пожертвует истиной ради внешнего эффекта. Особенно ярко этот эмпиризм мисс Поттер, эта стойкая приверженность жизненным фактам проявляется в кульминации ее сочинения "Мясной рулет" – шедевра, впоследствии переименованного в "Повесть о Сэмюэле Вискерсе", где Котик Том попадает в плен к крысам на чердаке:

– Анна-Мария, – сказал старый крыс (которого звали Сэмюэль Вискерс), – Анна-Мария, приготовь мне на ужин пудинг с начинкой из кошатины.

– Для этого нужно тесто, и кусок масла, и скалка, – отвечала Анна-Мария, пристально разглядывая Котика Тома.

– Нет, – сказал Сэмюэль Вискерс, – приготовь как следует, Анна-Мария, с хлебными крошками.

В 1908 году, когда "Мясной рулет" вышел в свет, мисс Поттер находилась в расцвете своего таланта, однако в начале своего пути она отнюдь не была реалистом: первое ее произведение "Глостерский портной"[3] можно отнести к сочинениям не только романтическим, но и историческим. Вот как оно начинается:

Во времена шпаг, париков, сюртуков с пышными фалдами и цветочным узором на лацканах – когда джентльмены носили плоеные кружевные манжеты и атласные камзолы, расшитые золотом, – жил в Глостере портной.

© Gr. Greene, 1969
© А. Борисенко. Перевод, 2006

1. В своей автобиографии "Попытка биографии" (1971) Грэм Грин вспоминает книги, которые казались ему особенно интересными в детстве: "Я никогда не переставал восхищаться ее [Беатрикс Поттер] книгами и часто их перечитывал". В 1933 году ежемесячное издание "Лондон меркюри" опубликовало эссе Грина о Беатрикс Поттер; писателю в то время было 28 лет. *(Прим. издателя.)*

2. Так начинается "Повесть о Питере Кролике" Б. Поттер. При переводе некоторых цитат, названий и имен героев использовались переводы Н. Демуровой, И. Бернштейн, О. Образцовой. *(Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. перев.)*

3. На самом деле это вторая из опубликованных Б. Поттер сказок. *(Прим. издателя.)*

В точности этого описания, в цветочном узоре на лацканах сюртука уже есть намек на будущую Поттер, но в первой ее книге еще ощущается некоторая скованность, вызванная не только историческими декорациями, но и выбором человека в качестве главного героя. Мисс Поттер не слишком удаются человеческие существа (так, единственный недостаток "Мясного рулета" — появление на последних страницах автора собственной персоной). Впрочем, один двуногий у нее все же получился, и еще как! Я имею в виду, конечно, мистера Мак-Грегора, который маячит неясной угрозой в "Повести о Кролике Бенджамине" (1904), тяжелой поступью проходит через "Повесть о Питере Кролике" и наконец терпит позорное поражение в "Крольчатах Флопси" (1909). Но Глостерского портного не сравнить с Мак-Грегором: он чересчур беспомощен и добродетелен, а атмосфера повествования — снег, бедность, рождественские колокола — слишком отдает Диккенсом. Между прочим, Симпкин — единственный нелестный кошачий портрет, когда-либо нарисованный мисс Поттер. Предки Тома-с-пальчик и Ханки-Манки[1] выступают здесь в роли благодетелей. Их безграничная доброта, правда, несколько утомляет.

В том же, 1903 году писательница опубликовала "Историю о бельчонке по имени Орешек". Это не слишком удачное творение, весьма уступающее дебюту мисс Поттер "Глостерскому портному", хотя он и написан в чуждом ей жанре. Но уже в следующем, 1904 году выходит в свет повесть "О двух нехоро́ших мышках", которыми открывается серия ее великих комедий. В этом произведении, где мыши Том-с-пальчик и Ханка-Манка учиняют грандиозный разгром в кукольном доме, впервые складывается неподражаемый поттеровский стиль. Стиль этот отмечен ускользающим своеобразием и плохо поддается анализу. Пожалуй, не последнюю роль играет тут аллитерация:

> Ханка-Манка встала на стульчик и, взяв другой оловянный нож, принялась изо всех сил резать окорок.
>
> — Каменный, как колбаса у нас в бакалее, — сказала Ханка-Манка.

Свою лепту вносят и короткие абзацы, задуманные писательницей с тончайшей иронией: прерывая рассказ, автор на миг задерживает действие, чтобы обвести мизансцену испытующим взором. Чуть заметная пауза позволяет и читателю полнее охватить картину: разъяренные мыши на мгновение застывают, перед тем как сокрушить все в доме.

> Не было конца гневу и разочарованию Тома-с-пальчик и Ханки-Манки. Они расколотили пудинг, и омаров, и груши, и апельсины.
>
> А рыба не желала отдираться от тарелки, и они засунули ее в ярко-красный бумажный огонь в камине, но и он не помог.

Любопытно, что никто не подражал манере Беатрикс Поттер делить текст на короткие абзацы.

В последнем примере хорошо видна еще одна особенность "поздней" Беатрикс Поттер: любовь к точному перечислению предметов, к

1. Герои повести "О двух нехороших мышках".

натюрморту, с помощью которого создается нужная атмосфера. Вспомним мусорную кучу Мак-Грегора:

Там были банки из-под варенья и бумажные пакеты, горы скошенной травы из газонокосилки (трава получалась маслянистой на вкус), гнилые кабачки и один-другой старый башмак.

Единственное, что в повести "О двух нехороших мышках" выдает руку новичка, – это некоторая аморфность диалога. Позже персонажи мисс Поттер стали изъясняться краткими многозначительными фразами, проникающими, словно пословицы, в повседневную речь. В первых ее книгах еще нет перлов, подобных скороговорке мистера Джексона: "Нет зубов, нет зубов, нет зубов!"[1]

В 1904 году вышла вторая великая комедия писательницы – "Повесть о Питере Кролике"[2], за которой вскоре последовало продолжение – "Кролик Бенджамин". Питер и его кузен Бенджамин – два эпических персонажа, вышедших из-под пера мисс Поттер. Надо сказать, что великие литературные герои часто ходят парами: Дон Кихот и Санчо Панса, Пантагрюэль и Панург, Пиквик и Уэллер, Бенджамин и Питер. Питер – невротик, Бенджамин – невозмутимый реалист. Мама предупреждает Питера: "Не ходи к мистеру Мак-Грегору в огород. С твоим папой там произошел несчастный случай: миссис Мак-Грегор запекла его в пирог". И все же Питер отправляется именно туда, причем скорее по глупости, чем из любви к приключениям. В результате он чудом уворачивается от мистера Мак-Грегора, выскочив из курточки и заодно потеряв башмаки. Но ему удается возвратить потерянное, о чем мы узнаем из второй части истории. Тут мы и знакомимся с Бенджамином, чье хладнокровие и рассудительность резко контрастируют с неловкостью и нервозностью его кузена. Именно Бенджамин указывает дорогу в огород: "Лезть под ворота – только одежду портить. Самый верный путь – спуститься по старой груше". И Питер тут же падает с груши вниз головой.

Время с 1904 по 1908 год – период классического комедийного творчества писательницы. В эти годы появляются "Пирог и противень", "Котик Том", "Ухти-Тухти", а также "Мистер Иеремия Фишер", ставший единственной неудачей автора. Мисс Поттер находит и верную интонацию, и подходящую сценическую площадку. Теперь действие происходит в Камбрии; фоном ее рисунков и рассказов становятся фермы, деревенские лавки, каменные ограды, зеленые холмы. Ее персонажи переселяются в деревню. Диалог приобретает афористичность, легко запоминается:

Я не одобряю жестяных предметов в пирогах и пудингах. Это крайне нежелательно – особенно если откусывать большие куски.

Она может нарисовать портрет одной фразой:

1. Лягушонок мистер Джексон, персонаж "Повести о маленькой мышке" (1910), таким образом отказывается от угощения.
2. "Повесть о Питере Кролике" была на самом деле напечатана в 1902 году. *(Прим. издателя.)*

Если позволите, сударыня... меня зовут миссис Ухти-Тухти; я прекрасно крахмалю и глажу, сударыня!

И так же неподражаемо экономно, всего несколькими штрихами изображает первого в ее галерее обаятельного негодяя. Вот сидящий на заборе Котик Том роняет свои одежки, а мимо проходит семейство Кряк:

– Ах, мистер Селезень Кряк, – сказала Пушинка. – Помогите-ка нам одеть Тома! Помогите нам его застегнуть!

Мистер Селезень Кряк медленно приблизился и поднял Томовы одежки.

Только надел он их на себя! На нем они сидели еще хуже, чем на Котике Томе.

– Какое сегодня прекрасное утро! – сказал мистер Селезень Кряк.

Если окинуть взором тридцать лет литературной деятельности мисс Поттер, нельзя не увидеть, что с появлением образа Селезня Кряка в ее творчестве намечается перелом. В какой-то момент между 1907 и 1909 годами мисс Поттер, должно быть, пережила некое душевное потрясение, повлиявшее на ее характер и писательскую манеру. Было бы неуместно задаваться здесь вопросом о том, какова природа этого потрясения, однако все это странным образом напоминает судьбу Генри Джеймса. Случилось нечто такое, после чего они оба перестали доверять внешним впечатлениям. Начиная с "Женского портрета", темой лучших произведений Джеймса становится обманутая невинность и вероломство друзей. Мадам Мерль, Кэт Крой, Мадам де Вионет, Шарлотте Стант – всем этим фальшивым, лживым героиням Джеймса мы находим параллели среди персонажей Беатрикс Поттер, созданных ею, так сказать, в годы мрака. "Можно сколько угодно улыбаться и при этом быть негодяем" – эту мысль в самых разных ее вариантах автор постоянно пытается донести до нас, и с этой целью выводит целую галерею злодеев: тут и мистер Селезень Кряк, первый и самый из них незначительный, тут и сравнительно безобидный любитель меда мистер Джексон, бормочущий "Нет зубов, нет зубов, нет зубов", и грубый и жестокий Сэмюэль Вискерс, и, наконец, "джентльмен с рыжими баками", в котором мы узнаем уже известного нам мистера Тода[1]. В 1912 году, как свидетельствует о том "Повесть о мистере Тоде", пессимизм автора достигает своего пика. Если бы не особая впечатлительность читательской аудитории мисс Поттер, мистер Тод, надо думать, кончил бы трагически. Мы помним, что в "Джемайме Кряк" джентльмен с рыжими баками при всей своей наглости был, по крайней мере, обходителен со своей жертвой:

Но перед тем как начнется ваше утомительное сидение, я хочу угостить вас обедом. Мы устроим праздничный обед на двоих! Могу ли я попросить вас захватить с огорода немного зелени для приправы, гм, к омлету? Шалфея, тмина, мяты, пару луковиц, пучок петрушки. А я принесу сальца, чтобы нашпиговать... то есть, поджарить омлет, – говорил любезный джентльмен с рыжими баками...

1. См. повесть "О Джемайме Кряк" (1908).

В своих комедиях мисс Поттер весьма находчиво избегает эмоций, связанных с любовью и смертью: мера ее таланта такова, что, когда в "Повести о мистере Тоде" она переходит эту опасную черту, интонация книги, иронический стиль письма остаются неизменными. Если нельзя оставить смерть за скобками, остается одно — органично вписать ее в свой художественный мир, расширив его границы. Бенджамин и Питер вырастают, обзаводятся семьями, но случается так, что Барсук Томми Брок похищает детей Бенджамина, и бессмертная пара (в которой один герой по-прежнему невротик, а другой — все тот же невозмутимый прагматик) отправляется им на выручку. Спасательная операция, которую кролики проводят в полной темноте, осаждая дом, представляющий собой "нечто среднее между пещерой, тюрьмой и свинарником", производит гнетущее впечатление, особенно если вспомнить давнишнее бегство Питера с залитого солнцем огорода Мак-Грегора:

Солнце село; из леса раздавалось уханье совы. Вокруг было разбросано множество неприятных предметов, которые не мешало бы закопать: черепа и кости кроликов, цыплячьи ножки и прочие ужасы. Это было очень страшное место, и очень темное.

Впрочем, несмотря на леденящую кровь атмосферу, "Мистер Тод" неподражаем. В мировой литературе нелегко найти такое же волнующее описание поединка, как схватка мистера Тода с Томми Броком (отголоски которой слышатся в "Мистере Полли" Герберта Уэллса[1]):

Все было перевернуто, кроме кухонного стола.

И все было сломано, кроме каминной доски и каминной решетки. Посуда разлетелась на тысячи кусков.

Стулья развалились, окно раскололось, часы упали с треском, и повсюду валялись клочки рыжих баков мистера Тода. Вазы попадали с каминной полки, банки вывалились из буфета, и чайник сорвался с плиты. Томми Брок попал ногой в земляничное варенье.

В "Мистере Тоде" ясно видно, какой долгий путь, начинавшийся с наивно-романтического "Глостерского портного", прошла писательница. Появлением в следующем, 1913 году "Истории о Поросенке по имени Бланд" кончается период, так сказать, великих трагедий мисс Поттер. В этом рассказе еще есть кое-что от прежнего невеселого антуража, и очередной злодей, мистер Питер Томас Пайерсон, ничуть не менее ужасен, чем мистер Тод, но книжка кончается на лирической ноте, и Поросенку Бланду удается спастись вместе со Свинкой Пиг-Виг:

Они бежали и бежали вниз по склону, срезая путь по мягкому зеленому дерну, меж тростников и клумб, обложенных камешками.

Они подбежали к реке, достигли моста, пересекли его, держась за руки...

Здесь мисс Поттер как никогда близко подходит к традиционной любовной истории. Последняя фраза позволяет надеяться, что облака

1. Роман Герберта Уэллса "История мистера Полли" был опубликован в 1910 году.

рассеются и писательница еще вернется к стилю своих ранних комедий. Однако с 1913 года, когда в свет вышел "Поросенок Бланд", она хранит молчание, которого не прерывает ни в годы войны, ни после нее. Из печати вышло лишь несколько стихотворных книжек, ясно свидетельствующих о том, что мисс Поттер нимало не утратила своего таланта, однако вопрос, как будет дальше развиваться ее гений, остается без ответа. По прошествии семнадцати лет, в 1930 году, был опубликован "Поросенок Робинзон".

Теперь действие разворачивается уже не в Камбрии, а в Девоншире и на берегу моря. Эта история вдвое длиннее, чем "Мистер Тод", однако ей недостает стройности и драматического напряжения последнего. Лощеный обаятельный злодей исчез, прихватив с собой и острый диалог, и точную деталь, и уют повседневной жизни. Писательница не вернулась к комедиям, а пошла дальше — после трагедий написала собственную "Бурю". Но остров Просперо с его чарующей музыкой, цветочными ароматами и воздушными замками не место для страдающего Лира и напыщенного Антония. Мисс Поттер тоже достигла своего острова, тоже нашла для себя убежище от жизненных трагедий, и ее причудливое воображение уступило место непритязательной и безмятежной выдумке:

...Поток бурлящей воды струился по серебристому берегу.

Песок был усыпан устрицами. С веток свисали лимонные леденцы и сладости. Батат — это такой сладкий картофель — рос уже сваренным. Хлебное дерево приносило урожай пирожных и пончиков...

Все это, конечно, весьма отрадно для Поросенка Робинзона, но — увы! — в разреженном воздухе этой повести не станет прятаться за кустами злонамеренный Томми Брок, не выйдет на разведку Кролик Бенджамин и не будет выискивать подходящее местечко для высиживания яиц наивная Джемайма Кряк.

Примечание.

После публикации этого эссе[1] я получил довольно язвительное послание от мисс Поттер, проясняющее некоторые детали. "Поросенок Робинзон", опубликованный позднее других ее книг, был на самом деле написан раньше всех остальных сказок. Кроме того, она отрицает, что пережила какое-либо эмоциональное потрясение в период написания "Мистера Тода", если не считать затяжного гриппа. В заключение мисс Поттер нелицеприятно высказывается по поводу "фрейдистской" критической школы.

1. Настоящее эссе было напечатано в сборнике Грэма Грина "Избранные эссе" (1969), там же было помещено приводимое примечание.

Л. Петрушевская

Тили-Бом, или Сказка о сказке

Жила-была тетрадка в клеточку.

Она болталась в сумке закрытая и никому не показывала то, что в ней хранилось. Она спала, сомкнув странички, и ей снились чудесные края, горы и леса, принцессы и балы, а иногда слезы и кровь, крапива и страдания. Цветы должны увять, тили-бом!

Когда ее доставали из сумки, то ей приходилось открывать свои тайны, свои страницы. Чьи-то светлые глаза читали их, чье-то перо строчило продолжение или начинало с новой страницы. Тетрадке приходилось видеть другие, следующие сны. Что делать! Она была существо преданное, готовое всегда служить этим светлым глазам и этой руке, которая выписывала (если в дороге) невозможные кренделя, и то же самое ночью, без света — когда тетрадку раскрывали и калякали наугад несколько слов, прямо посреди страницы, крупно и криво.

Ясное дело, без тетрадки то, что приходило, то и уходило бесследно и навсегда. Только в ней заключалась вечность.

Цветы должны увять, тили-бом. Но тетрадка не увянет, будьте спокойны.

И надо знать, что мысль приходит только однажды. Если ее не оставить в тетрадке, она опустит глазки, пожмет плечами и исчезнет навсегда, запомните! Мысли — существа строгие, их посылают не напрасно.

А в тетрадке мысль на месте, дома. Притом (говорила себе умная тетрадь) то, что окажется тут у нас, оно потом, возможно, окажется далеко-далеко, в иных краях, и будет гулять по всему свету, и останется жить во многих головах.

Тетрадка надеялась на это "потом".

Единственно чего она боялась — это огня. Приходилось иметь с этим дело постоянно (ведь без света получаются, как известно, каракули, поэтому, когда наступает вечер, нужен огонь, а то ничего не напишешь! А мысли странные существа, они часто слетаются на огонь).

Долгие-долгие были вечера и ночи вокруг тетрадки, когда она работала. Огонь горел.

Тут прилетела важная мысль: нужна толстая длинная веревка. И где бы ни находилась тетрадка (в случае беды, если огонь вдруг разъярится), на веревке всегда можно спуститься вместе с ней. Даже с самого верхнего, третьего этажа.

Веревку принесли и уложили в дорожный сундук.

Теперь они путешествовали вместе — тетрадка в сумке, спасение ее — в сундуке.

А потом — что случилось потом: цветы увяли. Цветы увяли, тили-бом. Их положили прямо на землю и там оставили. Шли дожди, холм земли оседал. Некоторое время спустя на него водрузили камень.

Тетрадку больше не открывали. Где-то она лежала далеко от тех увядших цветов, очень далеко, среди других бумаг, в тесноте. Они знакомились: "Я роман", "Я поэма", "Я пьеса". Но эта тетрадка — она знала, что самое главное в ней.

© Л. Петрушевская, 2006

Там жила маленькая безногая девочка с любящим сердцем. Она одно умела — плавать и любить.

Протекли десятки, сотни лет.

В домах стало много этажей.

Все, что было в тетрадке, все мысли, все истории, все слова — давным-давно гуляли по свету.

Безногой девочке поставили памятник прямо на берегу моря.

И вдруг тетрадку открыли!

Возник волшебный свет. Он не мигал, он был высоко-высоко, как солнце.

И многие лица — детские, взрослые, старческие — приближались к тетрадке, глаза торопливо пробегали то, что было написано много лет назад и, останавливаясь на последней строчке, что-то искали: как будто бы хотели прочесть, что там будет дальше.

Но тетрадь была вечно открыта на одной и той же странице, за стеклом, и листать ее было нельзя. Она стояла как тот камень — там, где когда-то завяли цветы, тили-бом.

***

Я ехала по Дании в первый раз в жизни. Мне надо было добраться до города Орхуса из Копенгагена.

Что я искала в Копенгагене — конечно, музей Андерсена.

Долго бродила среди каналов. Был ветреный солнечный денек.

Музей был закрыт, разумеется.

Я бродила вокруг, села на камень над взъерошенным, сверкающим каналом. Морской ветер крепко пах селедкой и вскрытым арбузом. Я чуть не плакала. Возвращаться не хотелось. Жизнь меня опять обидела, не пустила. Назавтра надо было уезжать.

И тут надо мной нависла сказка про девочку, которая все время лила слезы.

Я пришла туда же утром в день отъезда. Был сильный дождь. Мне удалось успеть вовремя, слава тебе Господи.

Среди экспонатов зиял раскрытый сундучок, в нем лежала толстая веревка.

— Андерсен боялся пожара. Он всюду возил с собой веревку, — сказали мне.

(Я подивилась: надо же!)

Затем я села в поезд и поехала в Орхус.

В дороге я — делать было нечего — продолжала сочинять ту самую историю. Это была сказочка, тайно посвященная другой сказке, — на первый взгляд, о капризной девочке-подростке, которая все плакала и плакала от обиды.

(В пятнадцать лет кто не плакал!)

И только я добралась до середины сказки, как объявили:

— Оденсе.

Здесь мне надо было выходить. Я специально попросила своих хозяев насчет остановки в Оденсе. Они даже сказали, что меня там встретят.

На платформе стояла милая женщина, фея из сказки. Славистка из университета.

Мы пошли с ней бодрым шагом, она знала куда.

Стояла прохладная, солнечная морская погодка, веяло селедкой атлантической.

Фея привела меня на улицу, все дома которой были с нас ростом. Сказочные пряничные датские домики.

— Сюда, — сказала она.

Он тут родился, оказывается.

Историки сочинили сказку о том, что Андерсен был незаконнорожденным сыном короля. Иначе почему перед ним открывались буквально все двери, почему ему помогал каждый? Он был человеком как все, даже чем-то и хуже, нежели все, вообще висел на ком попало, повиснет — и требует. Почему-то он считал, что имеет на это право. Он как бы провозгласил себя национальным сокровищем (многие тогда резко возражали).

Какие низкие потолки. Какие маленькие комнатки!

Потом моя фея потащила меня куда-то еще.

Оказалось, там огромный сверкающий, как какой-нибудь Дворец

съездов, музей (так мне показалось после тех домиков).

Мы шли прямо, мы вошли в зал.

Прямо, прямо.

А там была витрина.

В витрине стояла тетрадка в клеточку, раскрытая на середине.

Это была "Русалочка".

Я засмеялась и вытащила свою тетрадку в клеточку, раскрыла ее на середине.

Там была та самая половина сказки "Принцесса-белоножка".

Подошел директор музея Андерсена. Я совала ему тетрадку под нос и заливалась смехом. Про себя я, конечно, плакала.

Он ничего не понял, разумеется.

Русская женщина трясет тетрадкой, ну и что.

Потом я попросила отвести меня обратно в тот домик.

Но цветы увяли, тили-бом, скоро я сидела в поезде и строчила в своей тетрадке продолжение сказки про принцессу, у которой были такие нежные ручки и ножки, что ей было больно ходить (если ее никто не любил).

Ведь кто любит, носит на руках, тили-бом.

***

В Орхусе меня ждала моя дорогая подружка Хелле Дальгорд, которая за много лет до того стажировалась в России как молодой ученый (стипендия Академии наук!) и была звездой Москвы в брежневские годы, бегала по морозу с косичками, в больших дымчатых очках и в сопровождении русской свиты, настоящая датская принцесса.

Она занималась тем, что в России тогда еще не существовало: женской прозой. Как предупредил стажерку приставленный к ней московский руководитель, это гнилое дело, антисоветские течения! У нас есть только дамская литература, все.

Кстати, с Хелле на прощание произошла интересная история! Когда наша принцесса уезжала, ее провожало пол-Москвы, и кто-то сунул ей икону, которую она положила в рюкзак, понимая, что это запрещено. Но что было делать? И на самой границе, в Бресте, ее ждала другая свита, тили-бом: в погонах. Хелле задержали, поскольку, видимо, кое-кто кое-что подозревал. Полезли в рюкзак, нашли что хотели, а именно икону – и тут же вдруг спросили: "Вы что, везете чьи-то рукописи?" И она так и поступила, а как бы вы думали, тили-бом! Хелле очень хотела помочь своим русским друзьям.

Она везла за границу мои рассказы.

Ее спрашивали, с кем она встречалась, что читала.

И тут начинается сказка!

Хелле немедленно забыла русский язык: так бывает с бедными красавицами, они теряют речь (это описано у Андерсена). Она отвечала "нет, нет, нет" даже на вопрос, как ее зовут. Ей говорили, что советский гражданин не может решать сам, где ему печататься. Она отвечала "нет, нет, нет".

После многочасовых бесплодных бесед бедную принцессу посадили в какой-то пустой запертый вагон, и она оказалась в Варшаве. Она вышла на перрон в русской зеленой телогрейке (подарок друзей). Мамино кожаное пальто у нее украли. Билета не было. И тут явился волшебник, по виду простой подметальщик, и отвел ее к проводнику поезда, отправлявшегося в Данию. Хелле отдала ему последние двадцать долларов и свои туфли. Так поступила бы каждая Золушка, чтобы оказаться дома!

А в СССР нашу датскую принцессу объявили персоной нон-грата.

И должна была пройти целая эпоха, смениться форма правления и даже название страны, чтобы я поехала за границу – и мы с Хелле смогли бы встретиться после стольких лет.

Все-таки сказки обязаны иметь хороший конец, тили-бом.

Хелле за это время, делать нечего, занялась другой литературой и выучила болгарский (и теперь говорит по-русски с болгарским акцентом).

Но тут же она кинулась мне помогать и со свойственной ей скоростью перевела на датский язык мою только что, в поезде, написанную сказку "Принцесса-белоножка". И у нас был литературный вечер, и наша прекрасная подружка Хелле читала по-датски то, что я написала в честь Андерсена!

Правда, в местном издательстве ей сказали, что русские сказки им неинтересны. И датская принцесса-белоножка осталась жить у Хелле в тетрадке. Спит, закрыв странички, и ждет своего часа: тили-бом.

***

Потом я вернулась домой, в Москву.

Я раздала подарки, мы съели праздничный борщ.

Вечером я, как всегда, рассказала детям коротенькую сказку на ночь.

Мы хором прокричали наш стишок "Спокойной вам ночи, приятного сна".

Я включила им Маленькую ночную серенаду Моцарта.

Потом я приоткрыла дверцу шкафа, чтобы проверить.

Все было на месте.

Наверху, занимая всю полку, лежала толстая веревка длиной двадцать метров, которую я купила давным-давно у строителей. На всякий случай я держала ее в детской, тилибом.

Андерсен форева[1].

Принцесса-белоножка, или Кто любит, носит на руках

ЖИЛА-БЫЛА младшая принцесса, и все ее любили. У нее были ручки как из лепестков роз, а ножки белые, словно лепестки лилии. С одной стороны, это было красиво, но, с другой стороны, уж очень младшая принцесса была нежная и чувствительная, чуть что – она плакала. За это ее не ругали, но такого поведения в семье не одобряли. "Нельзя так распускаться, – говорили мама, папа, бабушка и дедушка-король. – Надо держать себя в руках. Ты уже большая".

Но от этих слов младшая принцесса обижалась еще больше и опять принималась плакать.

Однако пришло время, и к младшей принцессе, как это и полагается, приехал принц.

Принц был высокий, красивый и ласковый. "Прекрасная пара!" – восклицали все вокруг.

Принц и принцесса много гуляли, даже танцевали, и принцесса – чего с ней никогда не случалось – плела на лужайке венки для принца и для себя, венки из васильков, которые были такие же синие, как глаза принца.

Принца и принцессу, как и полагается, обручили, то есть объявили женихом и невестой. На этом принц уехал в свое королевство.

А младшая принцесса осталась и принялась плакать. Все ее осуждали за такое поведение, даже вызвали врача. Врач побеседовал с принцессой и неожиданно назначил ей не успокоительные капли, как полагается в таких случаях, а таблетки от боли, потому что оказалось, что младшая принцесса надорвалась на этих танцах и прогулках и стерла свои нежные ручки и ножки до крови.

Время шло, приближалась свадьба, а невеста все плакала и баюкала свои забинтованные руки и ноги, сидя в кровати. Она не могла ни ходить, ни держать в руках чашку с чаем, ее кормила и поила старая нянька.

Однако врач бодро говорил, что все до свадьбы заживет, что просто младшая принцесса слишком нежная и чувствительная, плаксивая и несдержанная, а это, в свою очередь, является плодом неправильного воспитания в семье, а вот когда приедет принц – она вскочит и будет так же танцевать и шевелить руками, как и

1. От forever – навсегда (*англ.*).

раньше. "Все это психологическое", — говорил врач и кормил принцессу таблетками от боли.

Но старая нянька взяла фотографии младшей принцессы и отправилась к колдуну. Оттуда она привезла загадочную фразу: "Кто любит, носит на руках".

Фраза эта скоро стала известной всем, всем, кто так любил принцессу с ее младенческого возраста, когда она радостно улыбалась, показывая свои первые четыре зубика и две ямочки на щеках, а кудряшки у нее были как золотой шелк, а глазки — как незабудки.

Кто же не любил принцессу! Все ее любили: и папа, и мама, и дед с бабкой — король с королевой. И они все время вспоминали, какая она была чудесная малышка, какая приветливая, хорошенькая, с четырьмя зубиками. Когда пошли остальные зубы, картина немного попортилась, начался плач и капризы, и дело доехало до того, что теперь на вопрос: "Ну, мы уже перестали дуться на весь мир?" — принцесса вообще не отвечала, что было по меньшей мере невежливо, особенно если спрашивали король с королевой, да еще и по внутреннему телефону. По телефону надо отвечать!

Тем не менее, руководимые старухой-нянькой, к принцессе стали приходить и брать ее на руки все по очереди. Что, конечно, было просто подвигом, особенно если учесть, что, например, бабушка-королева была дамой неопытной и ничего никогда не поднимала тяжелей бокала с вином. А мама-принцесса вообще не знала, с какого боку подойти к своей уже довольно тяжелой дочери — хрупкая-то хрупкая, но все-таки принцесса уже вышла из младенческого возраста, пятнадцать лет, шутка ли!

Но все, поднатужившись, приподнимали младшую принцессу, которая ничего не понимала сначала и даже капризничала, не хотела, чтобы ее трогали, пока ей все не объяснила старуха-няня. Но и тогда младшая принцесса продолжала лить слезы и совершенно не оценила рекорда папы-принца, который поднял ее на двадцать два сантиметра от постели! "Сюда бы слетелись все газетчики мира, — заявил папа-принц, — если бы мы не держали в тайне, что у нас дочь плакса вакса гуталин, на носу горячий блин".

После чего старая няня носила младшую принцессу на руках по спальне целых десять минут, как в детстве, чтобы утихомирить ее, но при этом няня вспоминала и о своих обидах: что повар на кухне оставил ей не куриную ножку, а какой-то волосатый куриный локоть и что внуки одни бегают в деревне без присмотра, а тут живешь, выкладываешься, как потный индюк, безо всякой благодарности.

— Но ты меня ведь любишь? — спросила младшая принцесса, когда няня, набегавшись со своей ношей, положила свою принцессочку обратно на кровать.

— А как же тебя мне не любить? — ворчливо отвечала няня. — Если бы я тебя не любила, я бы за такое жалованье давно бы здесь не жила!

Стало быть, все носили младшую принцессу на руках, но она так и не вылечилась.

Тогда стали говорить, что колдун оказался плохим пророком и что, может быть, няня неправильно пересказала фразу. "И что это такое? — возмущался доктор. — Кто любит, носит на руках! Не будем говорить об отдельных случаях, но меня, например, никто не носит на руках! Даже королеву не носят!"

И все были согласны с таким мнением и начали говорить, что эту фразу надо понимать в том смысле, что сама младшая принцесса никого не любит, и намек был на это.

А принцесса сидела в своей спальне, и няня все время подбивала ее позвонить принцу, но принцесса не соглашалась, а только плакала, почему принц сам не звонит.

Наконец принц позвонил, и трубку держала сердитая няня, а сердилась она потому, что разговор продолжался два часа и няня проворонила обед, и еще она сердилась

потому, что младшая принцесса в течение всего разговора умудрилась ни разу не заплакать и даже много смеялась.

— Значит, ты придуряешься, — сказала, положив трубку через два часа, няня, — ты можешь же не плакать!

И няня отправилась пить чай и сообщила всему дворцу, что у младшей принцессы не все так плохо, что она уже смеется. Все поздравляли доктора, ему немедленно увеличили жалованье, и у младшей принцессы без передышки звонил телефон, няня брала трубку и подносила ее к уху своей капризницы, но та в ответ на все вопросы типа: "Ну что, мы уже улыбаемся?" — только лила слезы, не отвечая ни "спасибо", ни "начхать", как выразилась потом няня на кухне.

Разумеется, когда была назначена свадьба и приехал жених, все бинты были сняты, ни слова не было сказано ни принцу, ни младшей принцессе, и на вечер, как и полагается, был назначен бал.

Только для принцессы приготовили особо плотные перчатки и сапожки. И когда принцессу одели, она, разумеется, тут же перестала плакать и позволила себя причесать и вплести в косу белые розы.

— Ну, что я говорила? — вопрошала няня по всем коридорам дворца, и повар отвалил ей большой кусок торта на радостях.

Все улыбались, и только врач срочно уволился с работы и уехал со своими новыми семьюдесятью чемоданами.

— Уехал и уехал, — говорила няня после трех досрочных рюмочек, — теперь он нам ни на что не нужен, тьфу! Это был врач? Любой санитар даст таблетку после еды три раза в день, и я не хуже могла бы за такие деньги.

Принц тем не менее пригласил принцессу на прогулку. Все понимали, что после гулянья младшей принцессе уже не удастся выстоять целую свадебную церемонию, и поэтому принцу сообщили, что принцесса предпочитает конную экскурсию. Принц понял это буквально и прислал младшей принцессе свою арабскую кобылку, удалось только сменить поводья на шелковые. Выйдя во двор, принцесса попросила принца взять ее на руки и посадить в седло.

— Для этого есть слуги, — улыбаясь, сказал принц.

— Я прошу только вас, — сказала младшая принцесса.

— Что за капризы? — спросил, улыбаясь, принц и позвал слуг, которые вознесли младшую принцессу в седло, как пушинку, и дали ей в ручку шелковые поводья.

И они поехали.

Принц был мужественный и спортивный юноша, презиравший всякие слюни, вздохи и сантименты. Кроме того, он уже отдаленно был наслышан, что младшая принцесса слишком избалована и вообще неженка, и он решил начать ее воспитывать с нуля, еще до свадьбы.

Младшая принцесса по дороге в лес рассказала ему как самому близкому другу всю свою историю болезни вплоть до слов колдуна. Что это не капризы, а просто способ лечения — взять на руки.

Принц не поверил ни единому слову.

— Все это бабские глупости! — сказал он. Тогда принцесса остановила кобылку и с большим трудом стянула со своей маленькой руки перчатку. Принц увидел, отшатнулся и громко спросил:

— А почему? Почему меня не предупредили, что ты больная? У тебя, возможно, и дети будут больные! Больные наследники — это невозможно! Судьба государства, судьба королевства, нации, наконец!

И он, испуганный и взволнованный, так дернул поводья, что его конь взвился, сбросил с себя принца, а сам ускакал.

Принц лежал на лесной дороге без сознания, белый как мел, и изо рта его вытекала струйка крови.

Младшая принцесса слезла с лошадки, уговорами и лаской заставила ее прилечь на дорогу, а затем как могла приподняла принца и взвали-

ла его на спину умной кобылки. После этого лошадь встала, неся на спине безжизненного принца, а принцесса взяла в руки поводья и повела лошадь обратно в замок.

У ворот замка часовые унесли принца и унесли младшую принцессу, а служанки сбегали подмели лесную дорогу, на которой принцесса оставила кровавые следы своих сапожек.

Принц вскоре выздоровел и собрался уже в обратную дорогу вон из замка, где его обманули, подсунув негодную невесту.

Выводя своего буйного коня из конюшни, он встретил знакомого священника, который шел к воротам с чемоданчиком в руке. Священник поздравил принца с выздоровлением и сказал:

— А вы не остаетесь на похороны?

— Кто-то умер? — спросил принц.

— Наша младшая принцесса, — отвечал священник. — Я уже причастил ее, там остаются какие-то минуты.

— Она была совершенно больная, — со вздохом произнес принц, — даже врач от них, как говорят, отказался. Уехал.

— Вы тоже тяжело болели сейчас, — сказал священник. — Если бы она вас не подняла на руки и не взвалила бы на лошадь, сегодня отпевали бы вас.

— Да, каково мне было узнать, что я могу остаться калекой! Принцесса, конечно, спасла мне жизнь. Но она меня обманывала. Когда мы говорили с ней по телефону, она должна была плакать от боли, а она смеялась! Как вспомню эти ее руки, так вздрогну.

— Да, возможно, она бы уже давно умерла, если бы не любила вас. Только из-за вас она оставалась на белом свете.

— Да, надо бы проститься, — смущенно пробормотал принц, отвел коня в конюшню и поднялся в покои младшей принцессы.

Он вошел в спальню своей бывшей невесты, увидел ее, и сердце его дрогнуло от жалости. Принцесса лежала совсем маленькая, как спящий ребенок, и рядом с ней сидела багровая от слез нянька.

Принц сделал вид, что ничего не знает, решительно подошел к ложу принцессы и сказал:

— Привет! Вот я и выздоровел! А ты что валяешься притворяешься? А ну вставай, тебя тут держат как больную... А надо на солнце, на воздух, нужен спорт, движение!

Он отодвинул вскочившую злую няньку, схватил принцессу на руки, она оказалась легкая и тоненькая, и он понес ее как можно быстрее к окну, а сзади бежала и дергала его за куртку нянька:

— Она умерла, ты что, глухой?

Держа принцессу на одной руке, принц отодвинул тяжелую портьеру, быстро открыл окно и тут увидел, что младшая принцесса смотрит на него, широко открыв глаза.

— Что ты ее трясешь, ей уже глаза закрыли, — шипела нянька, добираясь до принцессы, но принц загородил спиной свою ношу и быстро поцеловал принцессу в губы — он где-то читал, что так можно оживлять принцесс.

— Поздно, поздно, — причитала нянька, — раньше надо было, дурак, упустил свое счастье, девочка была ласковая, послушная.

А принцесса внимательно смотрела на принца, широко открыв глаза, а потом моргнула и засмеялась.

А нянька за спиной принца ахнула и зашептала:

— Кто любит, носит на руках, кто любит, носит на руках.

Разумеется, вечером сыграли свадьбу, на балу принцесса танцевала, а за столом ела сама, как полагается, ножом и вилкой, и безо всяких перчаток.

А колдуну послали огромный торт, бочку вина и цветную фотографию принцессы, как она надевает принцу на палец обручальное кольцо.

Антония С. Байетт

Два эссе

Переводы с английского

Величайшая из всех когда-либо рассказанных историй, или Сказка сказок

Величайшая из всех когда-либо рассказанных историй? Как знать, может, это история о двух братьях-царях, которые, узнав о неверности жен, учинили над ними кровавую расправу и решили странствовать по белу свету, покуда не найдут кого-нибудь несчастнее себя. Встретился им джинн, который держал в стеклянном ларце под четырьмя замками женщину, но стоило ему заснуть, как она выбралась из ларца и потребовала от братьев любви. Каждый из них должен был познать ее и отдать ей свой перстень, потому что таких случайных возлюбленных у нее уже было девяносто восемь и для ровного счета не хватало только двоих. Тогда братья решили, что джинн куда несчастнее их, и поворотили домой. Старший, Шахрияр, завел в своем царстве ужасные порядки: каждое утро брал в жены девственницу, а на рассвете следующего дня велел своему визирю казнить ее. Дочь великого визиря, Шехерезада, дева мудрая и ученая, умолила отца отдать ее правителю в жены. В брачную ночь молодая царица спросила своего господина, не может ли ее младшая сестра, Дуньязада, поспать под их ложем, а когда Шахрияр "сделал свое", девочка предложила Шехерезаде рассказать сказку, чтобы скоротать время до́ рассвета[1]. Забрезжил новый день, а сказка не закончилась, и заинтригованный царь отложил казнь на одну ночь. Но герои этой сказки Шехерезады, в свою очередь, рассказывали сказки, которые к рассвету следующего дня тоже не кончались, и каждый новый рассвет вел за собой новую историю. День за днем интерес правителя к сказкам продлевал царице жизнь. Она "выговорила" себе отсрочку казни, успев за это время родить троих сыновей, и в конце концов Шахрияр отменил смертный приговор, так что с той поры жили они долго и счастливо.

В этой истории есть все, чему полагается быть в сказке: любовь, смерть, предательство, месть, волшебство, юмор, сердечность, остроумие, неожиданные повороты и счастливый конец. На первый взгляд, она "антиженская", но именно ей мы обязаны появлением в мировой литературе одной из самых сильных и умных героинь, которая

© A. S. Byatt, 2000
© Ольга Новицкая. Перевод, 2006
© О. Исаева. Перевод, 2006

1. Между русским и английским переводами "Тысячи и одной ночи" существуют некоторые разночтения, так как оригиналами служили разные тексты – персидские и индийские, поэтому в пересказе А. С. Байетт некоторые детали не совпадают со ставшим каноническим русским переводом М. А. Салье, выполненным с калькуттского списка. (Книга тысячи и одной ночи. – М.: Academia, 1929–1939). *(Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, – прим. переводчиков.)*

одерживает победу благодаря своей неистощимой изобретательности и умению не сдаваться. "Тысяча и одна ночь" – прежде всего, повествование о повествовании, но заодно речь в нем идет о любви, жизни, смерти, а также о деньгах, еде и прочих человеческих надобностях. Потребность рассказывать и слушать истории – такая же неотъемлемая часть человеческой природы, как дыхание или кровообращение. Модернистская литература считала повествование пошлостью, посему стремилась от него отказаться, прибегая ко всякого рода ретроспекциям, "прозрениям" и "потоку сознания". Однако в биологическом времени, от которого отказаться невозможно, повествование присутствует неизменно. Паскаль как-то заметил, что жизнь – это тюрьма, где каждый день сокамерников уводят на казнь. Все мы, подобно Шехерезаде, приговорены к смерти, все мы воспринимаем свою жизнь как историю, где есть начало, середина и конец. Повествование в принципе и "Тысяча и одна ночь" как частный случай примиряют нас с мыслью о конце, суля бессчетное количество новых начал. Краткий пересказ сюжета, обрамляющего "Тысячу и одну ночь", я завершила типичной для европейской сказки концовкой: "И с той поры жили они долго и счастливо", – где звучит обманчивое обещание утешительной вечности, но в жизни так не бывает, а бывает только в бесчисленных сказочных рефренах. Истории подобны генам: благодаря им какая-то часть тебя остается живой даже после того, как твоя сказка уже кончилась. Есть что-то поразительно трогательное в том, что для Шехерезады долгая и счастливая жизнь началась не после свадьбы, а только после тысячи и одной рассказанной ею сказки и рождения троих детей.

Замечательные истории и собрания замечательных историй многократно меняли форму. В Европе "Тысяча и одна ночь" впервые появилась между 1704 и 1717 годами во французском переводе Антуана Галлана. Он пользовался сирийскими текстами XIV века, которые сокращал, переписывал и дописывал на французский манер, и очень может быть, что истории про Аладдина и Али-Бабу в том виде, в каком мы их знаем, имеют французское авторство. Эти сюжеты, по мнению Хусейна Хаддави, в той или иной форме существовали с IX века и пришли из Индии или Персии. Свои недавно опубликованные изящные переводы некоторых из них Хаддави делал, опираясь на подготовленное Мухсином Махди[1] полное издание рукописи XIV века, хранящейся в Парижской Национальной библиотеке. Впоследствии переводчики либо обращались с оригиналом достаточно вольно, либо и вовсе отдавались собственному воображению. В стиле Ричарда Бертона[2], например, прихотливо переплелись особенности средневековой и викторианской прозы. Если верить Роберту Ирвину, автору потрясающего "Комментария" к "Тысяче и одной ночи", мимо которого не может пройти ни один исследователь, Джозеф Чарльз Мардрюс[3] в 1899-м "видоизменил сказки настолько, что они, казалось, вышли из-под пера

1. Мухсин Махди – профессор Гарвардского университета, исследующий рукописи "Тысячи и одной ночи" с целью восстановления подлинных текстов, очищенных от трехсотлетних наслоений, возникших в европейских переводах.
2. Ричард Фрэнсис Бертон (1821–1890) был не только знаменитым путешественником, но и переводчиком, открывшим английскому читателю "Кама Сутру" и "Тысячу и одну ночь". Правда, его перевод, по словам М. А. Салье, "не свободен от ошибок и... написан совершенно невозможным языком, представляющим собою неудобочитаемую смесь архаизмов, жаргонных выражений и иностранных слов". (Книга тысячи и одной ночи. Т. 1. – М.: Academia, 1929, с. LIV.)
3. Джозеф Чарльз Мардрюс (1868–1949) – переводчик шестнадцати томов "Тысячи и одной ночи", выходивших во Франции с 1899 года в издательстве "Ревю бланш". Как и Антуан Галлан, с оригиналом он обошелся вольно, изменив его до неузнаваемости, хотя текст написан великолепным, сочным языком, мастерски передающим атмосферу грубовато-наивного эротизма подлинника.

Оскара Уайльда или Стефана Малларме". Восточная и западная культуры знают и другие собрания историй, существующие как единое целое: это и "Катха Сарит Сагара", переведенная в 1928 году как "Океан историй", и "Метаморфозы" Овидия, и "Кентерберийские рассказы" Чосера, и "Декамерон" Боккаччо, герои которого, дамы и господа, не желая сдаваться черной смерти, бегут из зачумленного города в имение близ Флоренции и там развлекают друг друга забавными историями. Непосредственно от "Тысячи и одной ночи" ведет свое происхождение "Рукопись, найденная в Сарагоссе"[1], написанная в 1797–1815 годах поляком Яном Потоцким, рыцарем Мальтийского ордена, лингвистом и знатоком оккультных наук. Композиционно это произведение, действие которого происходит в 1739 году в Испании, – пример головокружительных сюжетных переплетений: тут тебе и вурдалаки, и политика, и рационализм, и привидения, и некромантия; одна история вставлена в другую, вставленную в третью. Ян Потоцкий долго и тщетно разыскивал в Марокко список "Тысячи и одной ночи". Вернувшись в Польшу, он пустил себе в лоб серебряную пулю, кстати сказать, перелитую из крышечки серебряного чайника. Подобные книги породили готические романы XIX века и причудливые параноидальные, словно привидевшиеся в кошмарном сне, сюжетные хитросплетения нашего времени – как в романе Томаса Пинчона "Объявляется лот 49" или в "Словаре Ламприера" Лоуренса Норфолка. Все эти истории как сообщающиеся сосуды: сюжеты перетекают из одной культуры в другую, из одного века в другой. В основе любого повествования лежит способность человека вспоминать прошлое, размышлять о том, с чего все началось, и представлять себе, чем же все закончится, но это отнюдь не означает, что поиск некоего прямого, неоспоримого "родства по материнской или отцовской линии" непременно увенчается успехом.

Сказки Шехерезады, словно зародышевые клетки, присутствуют в литературе разных стран. Для английских романтиков "Тысяча и одна ночь" стала воплощением чуда в противовес обыденности, миром грез в противовес прозаическому, приземленному рационализму. Кольридж писал, что его разум "был приучен к шири" благодаря прочитанным в юном возрасте историям о великанах, магах и джиннах. Сказка о злом и мстительном джинне, невидимый сын которого был убит брошенным надвратным камнем, навсегда запомнилась ему как символ случайности и рока. Уильям Вордсворт в книге пятой автобиографической поэмы "Прелюдия" вспоминает сокровища своего детства: "В холщовом желтом переплете книга, / Арабских сказок тонкий томик" и четыре обнаруженных им полновесных тома "Тысячи и одной ночи", которые сулили "...неземное блаженство". Мечтатели и плуты, герои не ведавших закона сказок, являлись его взору. В той же книге пятой Вордсворт чуть раньше пишет о пригрезившемся ему всаднике, в котором равно проступали черты и Дон Кихота, и "бедуина – араба на дромадере". В руках у всадника – камень и раковина; "И то, и другое суть книги": камень – эвклидовы "Начала", раковина – поэтическое пророчество; бедуин выхватил эти бесценные жемчужины из "водной быстрины", в которую "погружается мир": Всемирный потоп не за горами. В сознании Вордсворта две великие истории сливаются воедино и рождается Рыцарь Печального Образа в бедуинском плаще, который спасает из вод геометрию и поэзию. Тем самым арабские сказки восстают против смерти. Чарльз Диккенс, ставший признанным мастером "многосерийных" повествований и затянутых экспозиций, в свои детские годы – годы нищеты и одиночества – тоже искал утешения на

1. Первое издание "Рукописи, найденной в Сарагоссе", вышло в 1804 г. (*Прим. ред.*)

страницах "Тысячи и одной ночи"; убегая в мир сказок, он получал и первые уроки ремесла.

Сколько западных авторов поддались искушению написать "Ночь тысяча вторую"! Среди них и американец Эдгар Аллан По, и уроженец Вены Йозеф Рот[1], в чьем романе, разворачивающемся на фоне упадка Австрийской империи (где смыкались Восток и Запад) и наполненном сокровенным сладострастием, есть и скрупулезный политический анализ, и подмена женщин, и тайна пропавших драгоценностей. У По Шехерезада рассказывает своему престарелому супругу о новейших достижениях прогресса, таких, как пароходы, радио и телеграф, но все это кажется ему настолько неправдоподобным, что, решив, будто запас историй у сказительницы иссяк, он приказывает ее удавить. По в этом рассказе предстаёт перед нами как задиристый невежа, янки при дворе царя Шахрияра. А вот Джон Барт появляется на страницах своей "Дуньязадиады" собственной персоной, в обличье лысоватого джинна в толстых очках. Это он нашептывает перепуганной Шехерезаде сказки, которые ей предстоит рассказывать, потому что там у себя, в будущем, он уже прочел их, а она — лишь персонаж придуманной им истории. Таким образом, вновь возникает обманчивая вечность, временна́я лента Мёбиуса, когда из уст одного повествователя течет рассказ другого — про третьего и так далее.

Мы знаем также имена двух современных восточных авторов — Нагиба Махфуза[2] и Салмана Рушди, причем оба за свои писания получили смертный приговор и оказались под угрозой приведения его в исполнение. "Тысяча и один день и ночь" Махфуза — сборник волшебных сказок, где есть и политическая заостренность, и духовная глубина. Классические сюжеты обретают у него новую жизнь: Шахрияр постепенно познает, что такое справедливость и милосердие, Ангел смерти оказывается старьевщиком, джинны готовы сыграть шутку с роком. Произведения Рушди тоже насквозь пронизаны мотивами "Тысячи и одной ночи". В "Гаруне и море сказок" находчивый малый Гарун схлестывается со злым Хаттам-Шудом, который хочет осушить океан, куда впадают живые реки сказок, чтобы заменить их молчанием и тьмой. У Рушди, так же как у сказочной Шехерезады, пока продолжается история, продолжается жизнь, но его юмор, его герои возникли не только из древних восточных текстов "Океана историй" и "Тысячи и одной ночи", но и из художественной литературы Запада, например, из книг Льюиса Кэрролла и Фрэнка Баума. Еще один пример перекрестного опыления, еще один пример диалога.

Рушдиевское "Море сказок" — это "величайшая во Вселенной библиотека". В "Саду расходящихся тропок" Хорхе Луиса Борхеса, для которого библиотеки, лабиринты и книги суть символы бесконечности, говорится о "...ночи в середине "Тысячи и одной ночи", когда Шехерезада, по чудесной оплошности переписчика, принимается дословно пересказывать-рассказывать историю "Тысячи и одной ночи", рискуя вновь дойти до той ночи, когда она ее пересказывает, и так до бесконечности"[1]. Эта закольцованная сказка настолько поразила воображение Итало Кальвино (которому не удалось найти данный эпизод ни в одном из переводов "Ночей"), что он решил придумать собственную — "Если однажды зимней ночью путник" — бесконечную историю о заплутавшем Читателе, который, открывая книгу за книгой, читает, читает... и обнаруживает, что окон-

1. Йозеф Рот (1894—1939) — австрийский писатель. А. С. Байетт имеет в виду его роман "Марш Радецкого" (1932), где речь идет о крушении империи Габсбургов.
2. Нагиб Махфуз (р. 1911) — египетский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1988 г.

1. Перевод с исп. Б. Дубина.

чания нет, а каждая следующая книжка вновь оказывается началом без конца. Как в рассказе Борхеса есть Шехерезада, так и у Кальвино в романе есть романист, который мечтает создать произведение, где не будет ничего, кроме наслаждения от предвкушения начала, "книгу, которая вся – incipit[1]", наподобие "Тысячи и одной ночи".

Марсель Пруст считал, что, когда речь заходит о смерти и сексе, он уподобляется Шехерезаде. Уловки, к которым прибегает его герой, чтобы не сопровождать Альбертину и не участвовать в ее вылазках, по своему хитроумию превосходят уловки Шехерезады. Однако у Пруста именно Альбертина отличается ненасытной жаждой движения и жизни. Герой мрачно констатирует, что, если персидская сказительница разными изощренными способами стремилась всячески оттянуть собственную кончину, он с не меньшей изощренностью стремится ее приблизить. И свой практически бесконечный роман Пруст завершает блистательными размышлениями о любви к смерти, об ощущении присутствия смерти, что и подвигает его на создание этой великой, всеобъемлющей книги, книги его жизни. В какой-то момент смерть обретает у него черты царя Шахрияра, ибо в ее власти положить или не положить конец его ночным писаниям, которым никогда не стать "Тысяча и одной ночью", а это, между прочим, любимая детская книга героя: детская "суеверная привязанность к любимым книгам, как к возлюбленным, не давала возможности даже представить себе хоть что-нибудь иное"[2]. Но с возрастом герой понимает, что воссоздать то, что любишь, можно лишь через отречение. "Это будет книга столь же длинная, как, 'Тысяча и одна ночь', но совсем иная". Малколм Боуи в своей выдающейся работе "Пруст средь звезд" отмечает, что "длинная книга попирающих смерть историй", с которой сравнивает свой роман Пруст, – отнюдь не "Декамерон" Боккаччо, где смерть оказывается "чудовищным спусковым механизмом для повествования", а именно "Тысяча и одна ночь", где "истории – это сама жизнь". "Рассказывай или умри" – именно так звучит категорический императив и для Шехерезады, и для героя Пруста. Слова, цепляющиеся одно за другое, дают возможность оттянуть последнее слово приговоренного и отсрочить приведение смертного приговора в исполнение.

Хронологическая последовательность событий – краеугольный камень иудейско-христианской культуры, которая развивается от первого дня творения через века истории до Страшного суда и искупления у христиан, после чего должен наступить обещанный конец, где не будет ни смерти, ни времени. Великие книги западной цивилизации, от "Дон Кихота" до "Войны и мира", от "Моби Дика" до "Доктора Фаустуса", создавались под сенью Книги книг и ее истории. События многотысячелетней давности завораживают умы, потому что в них проступают образы начала и конца. Безусловно, существует огромная разница между неспешностью этой судьбоносной истории и хитросплетениями коротких сюжетов, которые люди передают друг другу в дар как восхитительные безделицы (и в то же время – пищу для ума). Герой "Сада расходящихся тропок" узнает о своем прадеде, китайском философе, который, бросив все, замыслил написать книгу и построить лабиринт, что в конечном итоге оказывается одним и тем же. Его более всего "занимает и мучает неисчерпаемая проблема времени", но в своей книге само это слово он не употребляет ни разу, поскольку именно время и является ключом к созданной им "грандиозной шараде". Внутри этого "недоконченного, но и неискаженного образа мира" сосуществуют все возможные времена, и выбор одной из тропок отнюдь не исключает возможность выбора другой. Можно

1. Начало (*лат.*).
2. Перевод с франц. Н. Любимова.

предложить читателю или слушателю бесконечные начала, чтобы создать у него иллюзию неиссякаемости, как это делали Кальвино или Шехерезада. Герой романа Кальвино разглядывает комикс, в котором песик Снуппи сидит за пишущей машинкой, и читает внизу под картинкой подпись: "Однажды темной холодной ночью..." — очевидно, так начинается очередной виток какой-нибудь "кудлатой" собачьей истории. На самом деле и комиксы, и телесериалы — это все разновидности сказок Шехерезады; и то и другое — миры, где смерть и старение, как в случае Чарли Брауна[1] (и других героев комиксов), откладываются на неопределенный срок. Высокий модернизм уходил от временно́го начала, подменяя его одномоментными озарениями "вне времени", воображаемыми бесконечностями, в которых всегда было что-то надуманное, потому что так не возникает противодействия страху и смерти. А вот уловки изящных, мастерски закрученных историй и банальное желание узнать, что же будет дальше, в самом деле способны победить смерть. У Джоржет Хейер[2], автора любовных романов, хранилось множество писем от поклонников ее творчества. Два таких письма мне довелось прочитать. Одно пришло от мужчины, который до слез хохотал над одним из ее фатоватых денди на больничной каталке по дороге в операционную, где ему предстояла серьезнейшая операция. Другое письмо было от женщины из Польши. В войну она помогла выжить своим сокамерницам, потому что по ночам главу за главой пересказывала им роман Хейер, который знала почти наизусть.

В 1994 году во время бомбардировок Сараева группа театральных деятелей из Амстердама заказала европейским писателям истории и сказки, которые впоследствии в течение всего периода военных действий читали каждую пятницу в одно и то же время в театрах Сараево и по всей Европе. В этом театральном замысле слово должно было противостоять разрушению, вымышленная жизнь — реальности смерти. И пусть даже человеческие жизни таким образом было не спасти, проект стал способом сохранения жизненной энергии. Он вырос из "Тысячи и одной ночи" и "смотрел" в новое тысячелетие. Назвали его "Шехерезада—2001".

Перевод Ольги Новицкой

1. Чарли Браун — забавный недотепа, персонаж американских комиксов и мультфильмов.
2. Джоржет Хейер (1903—1974) — английская писательница, автор многочисленных иронических любовных романов, действие которых происходит в эпоху Регентства.

Лед, снег, стекло[1]

Когда северяне впервые увидали стекло, то, должно быть, немало подивились его сходству и в то же время несхожести со льдом. Стекло — это расплавленный песок, лед — вода, то твердеющая, то обретающая текучесть со сменой времен года. Как я теперь понимаю, многие тайные образы моего детства возникли из северных легенд, где фигурируют лед, стекло и зеркала, — там они часто бывают неразлучны. Так, "Снежная королева" Андерсена начинается с того, что огромное зеркало разлетается на куски; в "Белоснежке" есть и снег, и волшебное зеркало, которым зачарована злая мачеха, и стеклянный гроб, который, можно сказать, "плавится" от поцелуя. А в одной норвежской сказке (версии мифа об Аталанте) принцесса сидит высоко-высоко на вершине стеклянной горы, бросает вниз золотые яблоки, а женихи пытаются подняться

1. Печатается с незначительными сокращениями.

к ней наверх. Девочкой я была довольно равнодушна к этому гигантскому, стеклянно-ледяному пику — он виделся мне холодным, твердым, мерцающим. Но став взрослой и найдя у братьев Гримм сказку "Стеклянный гроб", я рассказала ее по-своему, в романе "Обладать"[1]. Я начну с разбора всех этих историй, а потом расскажу о том, что мне удалось извлечь из них — о своих находках и выводах, подчас парадоксальных и очень личных.

У братьев Гримм все начинается со снегопада:

> Это было зимой. Падали снежинки, точно пух, с неба, и сидела королева у окна с черной рамой и шила. Загляделась она на снег и уколола иглою палец, — и упало три капли крови на снег. Красные капли на белом снегу выглядели так красиво, что королева подумала про себя: "Вот если б родился у меня ребенок, белый, как этот снег, и румяный, как кровь, с волосами черными, как дерево на оконной раме!"[2]

Рождается Белоснежка, и в ту же минуту королева умирает. Год спустя король играет новую свадьбу. Появляется мачеха, и мы сразу узнаем, что она красива и горда и что у нее есть волшебное зеркало, которое говорит лишь чистую правду и величает ее прекраснейшей в королевстве.

Время идет, Белоснежка подрастает, и теперь во всем свете не найти девушки милей ее. Мачеха приказывает ее убить, но она спасается и попадает к гномам. Королева находит ее и там. Сперва она пытается задушить падчерицу пестрым корсетным шнурком, потом подсовывает ей ядовитый гребень и, наконец, дает отравленное яблоко, белое с алым бочком, отведав которого, Белоснежка падает замертво. Но гномы не решаются опустить ее в холодную, черную землю, ведь щечки у нее румяные, как у живой. Они мастерят для нее стеклянный гроб и относят его на вершину высокой горы.

Проходит много дней, а она все лежит и лежит — "белая, как снег, и румяная, как кровь, с волосами черными, как дерево на оконной раме". Но вот наконец появляется королевич. Он клянется, что умрет без Белоснежки, и гномы, сжалившись, разрешают ему забрать гроб. В дороге от резкого толчка у героини выпадает изо рта кусок отравленного яблока, она оживает и становится женой королевича. А правдивое зеркало говорит мачехе, что молодая королевна в тысячу раз краше ее. В наказание за козни мачехе предстоит плясать в докрасна раскаленных железных туфлях, пока она не свалится замертво. Еще в детстве меня завораживала эта сказка: рисунок сюжета, игра красного, белого и черного цветов, лица двух женщин, юной и стареющей, глядевшие на меня из колдовского стекла.

Что касается "Снежной королевы", то это сказка литературная, и, как сказал в свое время Китс о дидактической поэзии, у нее есть "собственные намерения относительно читателя". Она уходит корнями в истории о Белоснежке и Розочке[1], но система образов здесь иная: к первобытному страху примешивается страх личностный. Не все помнят, что в самом начале истории злой тролль смастерил зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось донельзя, а все уродливое и бесполезное сильно раздувалось и становилось еще безобразней. Отражаясь в нем, самые красивые пейзажи выглядели как вареный шпинат. Ученики тролля подняли зеркало до самых небес, да ненароком уронили. По земле разлетелись миллионы осколков: одни попали прохожим в глаза, другие, побольше, стали стеклами для очков и даже окон, и тем, кто глядел в них, мир казался гадким и злым; а не-

1. Антония С. Байетт. Обладать / Перев. с англ. В. Ланчикова и Д. Псурцева. — М.: Гелеос, 2004.
2. Перевод Г. Петникова.

1. Читателю эти героини известны также, как Беляночка и Розочка из одноименной сказки братьев Гримм.

которые засели в людских сердцах, "и это было страшнее всего: сердце превращалось в кусок льда"[1].

Кай и Герда были счастливы в своем розовом садике, пока не появилась Повелительница "белых пчелок", Снежная королева, чье ледяное дыхание застывает на стеклах странными, причудливыми узорами из цветов и деревьев. Кай видит ее в окошке, но она сразу исчезает, не причинив ему вреда:

> На другой день был славный морозец, но затем сделалась оттепель, а там пришла и весна. Солнышко светило, цветочные ящики опять были все в зелени, ласточки вили под крышей гнезда, окна растворили, и детям опять можно было сидеть в своем маленьком садике на крыше.

Но по свету все еще летают осколки зеркала, и вот как-то раз — с пятым ударом башенных часов — один их них попадает Каю в глаз, а другой — в сердце. Он становится сам на себя не похож: обрывает розы, портит книжки с картинками, дразнит Герду. Его завораживает зрелище геометрически правильных, безупречных снежинок, которые он рассматривает сквозь зажигательное стекло. И когда Снежная королева возвращается, он привязывает свои санки к ее саням и улетает вместе с нею:

> ...она была так хороша! Более умного, прелестного лица он не мог себе и представить. Теперь она не казалась ему ледяною, как в тот раз, когда сидела за окном; теперь она казалась ему совершенством.

Они уносятся в самое сердце вьюги, и с этой минуты Кай становится одержим красотой цифр, формул и головоломок.

Герда отправляется его искать и сначала попадает к доброй колдунье. Та решает оставить девочку у себя, в чудесном саду, в доме с окошками "из разноцветных — красных, голубых и желтых — стеклышек", от которых вся комната "освещена каким-то удивительным ярким, радужным светом". Герда живет в зачарованном мире: на столе — полная корзинка румяных вишен, в спаленке перинки из алого шелка. Только вот роз в саду нет: колдунья дотронулась клюкой до кустов, и они ушли под землю, чтобы не напоминать Герде о Кае. Но старушка позабыла о цветке на собственной шляпе: увидав его, девочка плачет, и там, куда падают ее слезы, розы вырастают вновь. "Кая нет среди мертвых, — говорят они, — он нам не встретился под землей". Герда опять отправляется в путь и после долгих, не без юмора описанных странствий, в которых ей помогают ворон, юная разбойница, лапландка, финка и северный олень, добирается до чертогов Снежной королевы. Там, по завершении типично викторианской битвы между полчищами снежных хлопьев, похожих на "больших безобразных ежей", "стоголовых змей", "толстых медвежат с взъерошенной шерстью", и армией "светлых ангелочков", рожденных дыханием молящейся Герды, она и находит Кая. Он занят, по выражению Андерсена, "ледяной игрой разума": складывает и все не может сложить из осколков льда слово "Вечность". Но Герда поет псалом про младенца Христа, и льдины складываются сами собой. Теперь герои могут вернуться в мир роз и лета. Важно, что не распятый бог, а младенец Христос вводит детей в извечный человеческий круг рождения—смерти. Возвращает из холодной абстрактной вечности в земную, в мир вечной весны и воскрешения.

История принцессы, восседающей на стеклянной горе, не требует столь сложного толкования. Это одна из сказок про младшего сына, Аскеладдена[1], которому достаются три волшебных скакуна и три кольчуги. Он трижды появляется на состязаниях женихов, и каждый раз подни-

1. Здесь и далее "Снежная королева" цитируется в переводе А. Ганзен.

1. Askeladden (*норв.*) — "мужской" вариант Золушки.

мается выше, пока наконец не побеждает всех соперников, включая собственных нерадивых братьев. А принцесса тем временем сидит на вершине высокой, гладкой, как лед, стеклянной горы, и на коленях у нее покоятся три золотых яблока. Едва завидев Аскеладдена, она решает, что победить должен именно он, и каждый раз бросает ему по яблоку. Аскеладден выдает себя почти так же, как Золушка, вынувшая из кармана хрустальную туфельку: сквозь его черные от сажи лохмотья проглядывает золотая кольчуга, и, заметив это, король провозглашает, что юноша достоин и принцессы, и половины королевства.

"Стеклянный гроб" — гриммовская сказка о неунывающем портняжке, который попадает в подземелье, где находит не один, а целых два стеклянных ящика. В одном из них оказывается крохотный дворец с конюшнями и флигелями, весьма изящно сработанный, а в другом — златокудрая красавица, закутанная в богатую мантию. Портняжка освобождает девушку, и та, наградив его "дружеским поцелуем в губы", провозглашает своим суженым. Оказывается, всему виной злой маг — Schwarzkünstler. Это он превратил ее брата в оленя, а слуг — в голубой дым, который потом заключил в стеклянные сосуды. После чудесного освобождения олень превращается в человека, а портняжка берет красавицу в жены.

Во всех этих сказках легко заметить символические противопоставления, о которых я и хотела бы поговорить в первую очередь. Красное и белое, лед и огонь, снег и кровь, жизнь и смерть. В каждой сказке "ледяной" сон девушки или ее пребывание-между-жизнью-и-смертью — это отъединение от мира, герметичная стадия невинности, из которой ее выводит поцелуй рыцаря на коне, юноши, отпирающего замок. Игла, кровь и снег в "Белоснежке" перекликаются с заколдованным веретеном, уколовшись которым, Спящая красавица погружается в долгий сон за изгородью из роз и терний. Принцу предстоит пробиться сквозь заросли, чтобы разбудить девушку поцелуем. Мать Белоснежки роняет на снег капли крови и умирает, дав жизнь желанной дочери, белой, румяной и чернокудрой. Принцесса восседает на стеклянной горе, замкнутая в своей гордыне и красоте, отделенная от мира холодом и блеском стекла, а на коленях у нее лежат золотые яблоки. Она бросает их прекрасному юноше, а затем и спускается к нему.

Герда — воплощенное человеческое тепло. Ее мир — это розы в цвету, вишни, биение сердца любимого. Снежная королева уносит Кая в свой ледяной дворец, где он пребывает вне привычного круга жизни и любви, но Герда спасает его, возвращает в царство тепла, румяных лиц, круговерти времен года. Ледяные чертоги — обманная вечность, губительное бытие вне времени. Красавица, которую спасает портняжка, заточена в стеклянный гроб за то, что боялась супружества и мечтала о вечном счастье в веселом замке, рука об руку с возлюбленным братом. Злой маг погружает ее в сон, который подобен сну Белоснежки и Спящей красавицы и который, по словам Беттельхейма[1], возможно, символизирует сонливость и апатию девочек в пубертатный период. И спасает ее не брат, а супруг, которому она дарит поцелуй жизни.

Но в детские годы я ощущала все это совсем не так или не совсем так, хотя, наверное, могла бы объяснить "сакраментальное значение" поцелуя как вызволения из ледяных оков, за которым следует свадьба и то, что обозначается словами "жили долго и счастливо". Видимо, я уже тогда знала, что есть тайная доблесть, запретное наслаждение в том, чтобы обитать на ледяной горе или укрываться за стеклянными стенами. Мать Белоснежки умирает, но о ней, кажется, никто и не печалится. Ее смерть естественна, ведь она обычная женщина

1. Бруно Беттельхейм (1903—1990) — американский психоаналитик и специалист по детской психологии.

с обычной женской судьбой. Куда интереснее восседать в сиянии собственной красоты высоко-высоко над миром, держа на коленях золотые плоды. В этом было что-то волшебное, что-то особое, несовместимое с земной любовью, нисхождением и поцелуем, после которого девушку выдают замуж. Снежная королева не просто прекрасна, она умна и могущественна, она открывает Каю тайны красоты и чистой гармонии, а спасающая его, с благословения автора, Герда возвращает его в мир повседневного и обыденного. Андерсен изображает давно известный конфликт холодного разума и любящего сердца и целиком принимает сторону последнего, не забывая настойчиво проповедовать христианство. Вечность дивных ледяных кристаллов — не настоящее бессмертие. Только в молитве младенцу Иисусу, творимой Гердой, мы видим проблеск истинной вечности. Здесь Андерсен даже плутует: превращает прекрасные, геометрически совершенные снежинки в мерзких карликов и демонов, змей, ежей и злых медвежат — в колдовские твари вроде тех, что преследуют ленивую дочку в сказке про матушку Метелицу. Все это хорошо знакомо: наука и разум — зло, доброта — благо. Но разве обязательно противопоставлять их друг другу? В этом антагонизме, в опасном одиночестве девы, сидящей на сияющей скользкой вершине, я еще в детстве видела символ тревожившего меня конфликта между женской судьбой (поцелуем, супружеством, материнством и смертью) — и пугающим одиночеством мудрости, холодом искусства, стремящегося заключить в раму саму жизнь.

Помимо символов дефлорации, жизни и смерти, образ искусства присутствует во всех вышеупомянутых сказках. Залюбовавшись черной оконной рамой, королева выводит по белому алый узор — теплой кровью по холодному снегу. Белоснежка — плод эстетического восприятия мира — и сама становится эстетическим объектом, помещенным в стеклянный ларец и столь прекрасным, что королевич решает никогда с ним не расставаться[1]. Красотой одержима и злая мачеха — но красотой собственной, отраженной в зеркале. Между рамой черного дерева и снегом, на который упали капли крови, как будто нет стекла: королева умирает, ибо ничто не ограждает ее от мира. Мачеха гибнет, ступив в раскаленные туфли, потому что для нее весь мир — зеркало. Белоснежка, возможно, лишь промежуточная фигура: живая, но застывшая, она остается невредимой благодаря прозрачному стеклянному барьеру между ней и миром. Сердце Кая превращается в лед из-за засевшего в нем осколка зеркала, но вот повелительница холода Снежная королева знает истину: ее пытливый взгляд, пугавший Андерсена, обращен не на самое себя, а вовне. Даже в раннем детстве я не могла понять, что плохого видел автор в красоте снежинок и чем виноват разум. Грэм Грин писал, что у каждого художника в сердце — осколок льда. Я думаю, что лед и стекло, отъединяющие художников от мира, они воспринимают как двойственную материю, холодящую и животворную, спасающую и губительную. Когда я впервые — уже зрелым человеком — прочла "Стеклянный гроб", меня заворожило описание миниатюрного дворца, заключенного в прозрачный ларчик, — совершенного творения черных сил, образа "жизни-пребывающей-в-смерти". Рукотворный мирок за стеклом вызывает восторг, какого не испытаешь, глядя

1. На наше представление о Белоснежке неизбежно повлиял конфетный образ диснеевской героини. Элисон Лури заметила как-то, что американские дети уже не могут представить себе сказочных героев вне рамок мультипликационной эстетики. У европейского же ребенка еще пока есть или, по крайней мере, недавно был шанс вообразить настоящую красоту — губительную, но совершенную. Диснеевская мачеха — воплощение кипучей и недоброй энергии, зеркало тоже наделено демонической властью, но вместо главной героини на экране появляется писклявая, бесцветная девчонка, и даже при помощи слащавых зверушек авторам не дано перекинуть мостик от сказки к мифу. *(Прим. автора.)*

на настоящий замок. В моей версии этой истории, изложенной в романе "Обладать", – портной убивает колдуна осколком льда (чего у Гриммов не было) и позже, уже будучи мужем знатной дамы, тоскует об оставленном ремесле. Эту сказку рассказывает моя героиня Кристабель Ла Мотт – женщина и поэт, которую преследует страх, что за человеческое счастье ей придется заплатить своим искусством и что потому ей, возможно, предстоит навсегда остаться одинокой златовласой ледяной девой на стеклянной скале...

Ни Кай, ни Белоснежка не умерли, они стали частью растительного мифа и ждут прихода весны. В этом смысле они схожи еще с одной загадочной литературной фигурой – королевой Гермионой из "Зимней сказки" Шекспира. Она умирает после рождения дочери, но в то же время – продолжает жить. Нам говорят, что она мертва, однако в конце пьесы она чудесным образом воскресает: оживает спрятанное в нише каменное изваяние. Почему-то оно видится мне беломраморным, хотя этого не может быть – в пьесе говорится, что статуя раскрашена. Это образ умершей женщины, сохраненный в произведении искусства, но в финале обретающий плоть. Когда король Леонт говорит о горячей крови, пульсирующей в холодном камне, читателю делается не по себе.

Леонт

Смотри:
Она ведь дышит! Разве в этих
жилах
Не бьется кровь?

Поликсен

Прекрасное творенье!
Мне чудится улыбка на губах.

Леонт

Глаза блестят, какая мощь
искусства![1]

1. Все цитаты из "Зимней сказки" – в переводе В. Левика.

Когда Леонт хочет поцеловать статую – оживить, согласно символике мифа, – Паулина останавливает его, ведь румянец на каменных губах – всего лишь краска, искусная подделка:

Да что вы, государь!
Остановитесь!
Ведь краска на губах ее свежа.
Вы можете гармонию нарушить.

Мамиллий, сын Гермионы (которому принадлежит мысль, что зиме подходит грустная сказка), умирает от горя после мнимой смерти матери, разрешившейся дочерью – Утратой. Той самой Утратой, что тоскует о скороспелках[1],

что в безбрачье вянут,
Не испытав лобзаний жарких
Феба,
Подобно многим девушкам...

и о цветах, оброненных Прозерпиной с колесницы Дия, мчавшего ее в Аид. Утрата – часть утешающего мифа возрождения. Мамиллий умирает от скорби подлинной, необратимой смертью. Гермиона же остается загадкой. Отъединившись от жизни и ее опасностей, она сохраняет самое себя – ценой потери сына и подвергнув опасности дочь. В моей системе образов (вполне традиционной, ибо личные мифы рождаются из общих верований) окаменелый стан и алые уста Гермионы связаны с самым волнующим из известных нам бледных ликов: ликом Монеты из китсовского "Падения Гипериона". Монета олицетворяет Мнемозину, богиню памяти:

Я увидел бледный лик,
Не бренною заботой
иссушенный,
Но выбеленный роковым недугом
Бессмертным – тот недуг
не убивает,
Но вечно искажает естество.
Целительнице-смерти не под силу

1. Скороспелка – еще одно название примулы.

Прервать его: всечасно
приближаясь
К больному, все ж достичь его не
может.
Белей снегов и лилий был тот
лик —
Того белей, о чем я и помыслить
Не в силах. О, когда б я мог
бежать!

Монета, "слепая сумма" всего "внешнего", обращается к творческой натуре поэта. Как и Снежная королева, она неизменна, ибо существует вне привычного хода времени; ее недуг дает ей силу и мудрость.

Есть еще два взаимосвязанных женских образа, ассоциирующихся у меня с мудрыми девами из "Белоснежки" и "Снежной королевы", — это Доротея и Розамонда из романа "Миддлмарч"[1]. В начале повествования эти две девушки на выданье в каком-то смысле выступают как Белоснежка и Розочка. Доротея — воплощенная белизна, в ней есть что-то монашеское, в первой главе автор сравнивает ее (правда, иронически) с Пресвятой Девой. Она умна, интересуется новыми идеями, увлекается искусством. Розамонда — это Rosa Mundi, Роза Мира, еще одно имя Мадонны. Обратимся к сцене из 28-й главы — как ни парадоксально, одной из самых памятных, связанных с Доротеей. На дворе январь, только что окончилось ее несчастное свадебное путешествие в Рим. Дом мужа превратился для нее в тюрьму. Она стоит у окна, все вокруг бело от снега. Я приведу здесь большую цитату, чтобы показать, как изящно Элиот сплетает контрасты: красное и белое, огонь и лед, кровь и снег:

Мистер и миссис Кейсобон вернулись в Лоуик-Мэнор из свадебного путешествия в середине января. Когда они подъехали к крыльцу, шел легкий снег, и утром Доротея, пройдя из своей туалетной в зелено-голубой, уже известный нам будуар, взглянула в окно и увидела длинную аллею лип — их стволы на фоне белой земли казались совсем черными, а опушенные снегом ветви тянулись к свинцовому безжизненному небу. Дальняя равнина съежилась в белое однообразие под серым однообразием низко нависших неподвижных туч. Даже мебель в комнате как будто съежилась с тех пор, как она видела ее в последний раз: олень на гобелене казался призраком в призрачном зелено-голубом мире, а томики изящной словесности в книжном шкафу — имитациями, которые невозможно снять с полки. Сухие дубовые поленья, ярко пылавшие в камине, выглядели неуместным вторжением жизни и тепла — как и сама Доротея, которая вошла, держа в руках красные сафьяновые футляры с камеями для Селии.

После утреннего умывания она вся словно сияла, как может сиять только юность. В уложенных узлом волосах и карих глазах прятался блеск, точно в глубине драгоценных камней, губы таили алый жар жизни, теплая белизна горла выделялась на иной белизне меха, который льнул к ее шее и опушал серо-голубую пелерину с нежностью, заимствованной у нее же, и эта одушевленная чистота соперничала в прелести с кристальной чистотой снега снаружи. Доротея положила футляры на столик у окна, но бессознательно продолжала их касаться, поглощенная созерцанием застывшей белизны, которая составляла весь ее видимый мир.

Домашние зовут Розамонду Рози[1], то есть Розочка. В 46-й главе она появляется в "вишневом платье, отделанном у выреза лебяжьим пухом". Она румяна, но в румянце нет тепла: Розамонда — лишь пародия на уютную, домашнюю Герду. Из сказочных образов она, наверное, чаще всего ассоциируется с русалкой, Мелюзиной или Лорелеей, — жестокой, лишенной души феей, утягивающей мужчин на дно. Согласно символизму "Белоснежки", она не Розочка, а злая мачеха, один из самых ярких "зеркальных" женских образов, с которым и сравнивает ее

1. "Миддлмарч" (1872) — роман английской писательницы Джордж Элиот (1819–1880); цитируется далее в переводе И. Гуровой и Е. Коротковой.

1. "Rosy" (*англ.*) — розовый.

автор в начале 27-й главы. Этот отрывок я тоже процитирую целиком:

Один из моих друзей, философ, который способен облагородить даже вашу безобразную мебель, озарив ее ясным светом науки, как-то сообщил мне следующий факт – не слишком значительный и в то же время говорящий о многом. Ваша горничная, протирая трюмо или поднос из полированной стали, оставляет на их поверхности множество крохотных царапин, причем совершенно беспорядочных, но стоит поднести к ним свечу, и царапинки словно располагаются правильными концентрическими кругами с этим миниатюрным солнцем в центре. Разумеется, на самом деле царапины разбросаны на зеркале без всякой системы, и приятное впечатление правильных кругов создает свет вашей свечи, порождающей оптическую иллюзию. Все это аллегория. Царапины – события, а свеча – чей-нибудь эгоизм, например, эгоизм мисс Винси. У Розамонды имелось собственное провидение, которое любезно создало ее более очаровательной, чем другие девушки...

У румяной Розамонды сердце холодное, как стекло, а у Доротеи бледный лик, но пылкая душа. Моя знакомая, психоаналитик Инес Сордр, в таком же ключе трактует одну из дальнейших сцен романа, в которой Доротея, овдовевшая, но все еще не освободившаяся от тирании мужа, стоит у окна после бессонной ночи, принесшей ей непростое решение. Мимо идут мужчина "с узлом на плече", женщина с грудным ребенком, и ей хочется выйти из своего убежища, стать частью этой "трепещущей" жизни. Что она в конце концов и делает – разжав наконец хватку мертвого мужа, шагает навстречу Уиллу Ладиславу. И наконец обретает простое человеческое счастье: поцелуй принца, супружество, ребенка. Прощаясь со своей героиней, Элиот отзывается о ней неоднозначно: два важнейших поступка в жизни Доротеи[1] "не блистали благоразумием.... но ее восприимчивая ко всему высокому натура не раз проявлялась в высоких порывах, хотя многие их не заметили". Она счастлива, добра и полна жизни – читатель, наверное, отнес бы ее к "алым" девам, но автор судил иначе: наделив ее страстной и открытой натурой, изобразил девой "белой".

Потрясающий контраст между белым и алым мы находим в описании ее мучительного путешествия в Рим, где душа героини изнемогает от обилия впечатлений. Наивная провинциальная девочка знакома с историей "только в ее худосочном протестантском истолковании, а в искусстве не пошла дальше расписывания вееров" (в этом месте читатель явственно видит меж строк едкую усмешку Элиот). Перед взором Доротеи предстает белый, обескровленный мир:

Развалины и базилики, дворцы и каменные колоссы, ввергнутые в убогость настоящего, где все живое и дышащее словно погружено в трясину суеверий, отторгнутых от истинного благочестия, неясная, но жадная титаническая жизнь, глядящая и рвущаяся со стен и потолков, бесконечные ряды белых фигур, чьи мраморные глаза словно хранят смутный свет чуждого мира... Образы, неясные и в то же время исполненные жаркой силы, властно вторглись в ее юное восприятие и оставались живыми в ее памяти, даже когда она о них не думала, воскресая в странных ассоциациях на протяжении всей ее дальнейшей жизни.

Доротея глядит на эту чуждую, чудовищную белизну сквозь тревожную алую пелену "вывешенных к рождеству занавесей, алеющих повсюду, словно глаза были неспособны различать другие цвета". Желая ввести красный цвет, автор даже путает время года, ибо красный – цвет Пасхи, цвет Страстей Господних и Воскрешения. Великолепие описаний – свидетельство тому, что Элиот не разделяет чувств героини. Мощь европейской культуры и истории, в отличие от "веерного" дамского рукоделия героини, потрясает

1. Имеются в виду два замужества Доротеи.

ее, восхищает, вдохновляет к познанию, даже к подражанию.

Упомянутые в романе "белые фигуры, чьи мраморные глаза словно хранят смутный свет чуждого мира", ассоциируются у меня с Монетой Китса и с застывшими танцорами из его "Оды греческой вазе". Юношам и девушкам, пребывающим под темными сводами неизменного леса, в вечно девственном мраморе вазы — "нетронутой невесты тишины", суждено вечно любить друг друга, не целуя:

Ты упраздняешь нашу мысль как
мысль,
О, вечности холодная эклога!
Когда других страданий полоса
Придет терзать другие поколенья,
Ты род людской не бросишь
утешать...[1]

Девочкой я находила тайное ободрение (и предостережение от холодности) в "ледяных" сказках. В студенческие годы я все пыталась разгадать сказанное Йейтсом:

Кто счастлив — тот в труде
несовершен.
Одно лишь можно выбрать на
земле.
Кто труд избрал, тот
не войдет уже
В чертог блаженств, ликующий
во мгле.

Образы ледяных, окаменевших дев стали для меня символами совершенства в труде и отказа от насилия биологического цикла — крови, "поцелуя", роз, рождения, смерти и вечно голодного потомства. По крайней мере, так мне тогда казалось, хотя сама я, спустившись с горы, не спешила расставаться с яблоком. В этих сказках скрыта загадка, и каждый, кто пытается ее разгадать, вносит что-то свое, а они и принимают, и отторгают эти изменения.

Перевод О. Исаевой

1. Перевод И. Лихачева.

Урсула К. Ле Гуин
Ребенок и Тень

Перевод с английского О. Исаевой

Однажды, как поведал нам Андерсен, некий северянин, юноша добрый, скромный и начитанный, захотел повидать жаркие страны, где солнце светит нещадно и тени очень черны. Туда он и отправился.

И вот в один прекрасный день на балконе противоположного дома герой замечает прекрасную девушку, заботливо склонившуюся над чудными цветами. Он страстно желает заговорить с ней, но ему мешает робость. Как-то вечером сидит он у окна в освещенной комнате, а его длинная тень лежит на том самом балконе. Герой шутя велит ей войти в дом девушки, тень повинуется — оставляет хозяина и скрывается там. Молодой человек, конечно, удивлен, но ничего не предпринимает, чтобы вернуть беглянку. А вскоре у него отрастает новая тень, да и путешествие подходит к концу — он возвращается на родину.

Время идет, он стал старше, прочел много книг, но не знает счастья. Он славит добро и красоту, но никто ему не внемлет.

И вот однажды к нему, немолодому уже человеку, приходит его тень в виде тощего, черноватого, изящно одетого господина.

— Ты был в ее доме? — спрашивает герой.

— О да, конечно, я все там рассмотрел, — отвечает странный гость, но герой знает, как вывести его на чистую воду:

— И что же — комнаты там похожи на звездное небо, когда глядишь на него с самой вершины горы?

— Да-да, именно так, — только и может сказать странный господин. Ведь он всего лишь тень, а тени заказан путь дальше передней — войди она внутрь, ее бы уничтожил поток света.

Вскоре выясняется, что темный двойник героя в совершенстве владеет приемами шантажа и тому подобными уловками. Сильный и наглый, он полностью подчиняет себе человека. Вдвоем они отправляются в путешествие, и вот уже тень ведет себя как хозяин, а человек — как слуга. В своих странствиях они встречают принцессу, страдающую от великой остроты зрения. Заметив, что странный господин не отбрасывает тени, принцесса несколько настораживается, но тот объясняет, что его тени — а это, как мы знаем, вовсе не тень, а наш герой — позволено ходить, куда ей вздумается. Объяснение хоть и странное, но логичное, и принцесса им удовлетворяется. Все идет по-старому, и лишь когда принцесса и тень решают обвенчаться, ученый наконец восстает и пытается рассказать все девушке, но тень опережает его:

— Несчастный помешался, возомнил себя человеком, а меня — своей тенью!

— Как ужасно! — восклицает принцесса.

Что ж, из сострадания беднягу, разумеется, следует умертвить. И пока принцесса и тень празднуют свадьбу, героя казнят.

Какая, однако же, невероятно жестокая история! История безумия, в конце которой — унижение и смерть.

Неужели это сказка для детей? Да, для детей, как и для каждого, кто готов ее слушать.

Что же в ней можно услышать, если вслушаться?

© Ursula LeGuin, 2003
© О. Исаева. Перевод, 2006

Дом прекрасной девушки — Чертог Красоты, а сама она — Муза Поэзии. Тень прямо говорит об этом. Слишком зоркая принцесса олицетворяет холодный и чистый разум — об этом тоже догадаться нетрудно. Но кто в таком случае человек и его тень? Ответ не столь очевиден, ибо это фигуры не аллегорические, а символические или архетипические, сродни тем, что встречаешь во сне. Их смысл многогранен, неисчерпаем. Я могу лишь намекнуть на то немногое, что мне удалось разгадать.

Герой — эталон цивилизованного человека: он начитан, добр, порядочен, верит в идеалы. Тень — символ всего того, что мы подавляем в себе, стараясь повзрослеть и стать нормальными людьми: нашего эгоизма, желаний, в которых мы себе не признаемся, ругательств, что не сорвались у нас с языка, убийств, что мы не совершили. Тень — темная сторона души, нечто непризнанное и непризнаваемое. Но Андерсен хочет сказать нам, что это чудовище — неотделимая часть человеческой натуры и отрекаться от него нельзя, особенно если хочешь войти в Чертог Поэзии.

Ошибка героя состоит в том, что он не следует за своей тенью. Она удаляется, а он — как бы в шутку оторвав ее от себя — продолжает спокойно сидеть у окна. Повинуясь приказу, она входит в Чертог Поэзии — источник любого творчества, а сам он остается снаружи, извне.

Столь добродетельный и просвещенный, он не способен творить добро, не способен действовать, потому что отсек свои корни. Но и тень не менее беспомощна, чем он, — ей не выйти к свету из темной передней. Ни один из них не может приблизиться к истине без другого.

Когда тень возвращается к герою, достигшему среднего возраста, ему дается второй шанс, но он упускает его. Он, правда, решается наконец взглянуть в лицо своей тени, но вместо того, чтобы держаться с ней на равных, а то и подчинить себе, он позволяет ей одержать победу. Сдается. И воистину становится тенью тени, теперь гибель его неизбежна. Отдавая приказ о казни, Принцесса-Разум жестока, но справедлива.

Жестокость Андерсена — это отчасти жестокость разума, психологического реализма, бескомпромиссной честности, а значит, и готовность осознать и принять все последствия действия или бездействия. Как автору ему не чужды некоторый садизм и депрессивность. Такова его собственная тень. Это реально существовавшая часть его самого, но не поглотившая и не подчинившая себе целое. Сила и гений Андерсена, изящество его писательской манеры — не что иное, как плод осознания им темной стороны собственной души, сотрудничества с ней. Потому-то сказочник Андерсен и входит в число великих реалистов мировой литературы.

Что ж, все это очень хорошо, приятно чувствовать себя кем-то вроде невероятно зоркой принцессы и разгадывать смысл сказки про тень. Но ведь делаю я это сегодня, в свои сорок пять. А что она значила для меня лет в десять-одиннадцать, когда я прочла ее впервые? Что она значит для ребенка? "Понимает" ли он ее? "На пользу" ли ему эта горькая и непростая история о нравственном крахе человека?

Не знаю. В детстве я ее ненавидела. Я ненавидела все андерсеновские сказки с грустным концом. Что, правда, не мешало мне зачитывать его книжки до дыр... и запоминать на всю жизнь — недаром ведь тридцать лет спустя, когда я обдумывала эту работу, мне словно кто-то на ушко шепнул: "Слушай, а откопай-ка ты ту сказку... Ну помнишь, которая про тень".

В десять лет я, конечно, не стала бы разглагольствовать о разуме, подавлении темных желаний и тому подобном. У меня не было ни критического багажа, ни нынешней отстраненности взгляда, а подолгу концентрироваться на одной мысли мне было, пожалуй, еще труднее, чем сегодня. Да и сферы сознательного у меня была уже.

Зато сфера бессознательного была такой же или даже шире, и, возможно, в те годы я с ней больше дружила. Именно к неведомым глубинам моего существа обращалась сказка, именно в них она находила отклик, именно там, на невербальном, иррациональном уровне воспринимались и усваивались ее уроки.

Воистину мифы, сказки и великие книги фэнтези схожи со снами. Это послание бессознательному от бессознательного на языке бессознательного, состоящем из символов и архетипов. Они сплетены из слов, но действуют подобно музыке — обходя стороной вербальное мышление, напрямую обращаются к чему-то залегающему слишком глубоко для прямого словесного выражения. Да, их нельзя полностью перевести на язык разума. Но лишь логический позитивист, который и "Девятую симфонию" готов назвать бессмысленной, осмелится утверждать, что они лишены смысла. Значение их неисчерпаемо, да и в практическом смысле они небесполезны: способствуют развитию интуиции и нравственному росту личности.

В переводе (очень сокращенном) на "дневной" язык наша сказка гласит, что человек, отказавшийся посмотреть в глаза собственной тени и признать ее существование, — погибшая душа. Заодно притча объясняет себя самое и бросает некоторый свет на природу искусства: желающий попасть в Чертог Поэзии может войти в него лишь во плоти — в громоздкой, несовершенной оболочке собственного тела, страдающего от мозолей и простуд, знающего страсти и похоть. Тела, отбрасывающего тень. Сказка учит, что художнику, не видящему зла, никогда не войти в Чертог Света.

Вот что поведал мне о тенях великий сказочник. Теперь я передвину свечку, тени переметнутся в другой угол, и мы послушаем, что думает обо всем этом великий психолог. Искусство сказало свое слово, теперь пусть говорит наука. И коль скоро речь пойдет как раз об искусстве, дадим слово психологу, чьи идеи наиболее важны для большинства художников, — Карлу Густаву Юнгу.

Общеизвестно, что термины Юнга сложны, ибо он постоянно менял их значения, как живое дерево меняет листья. Я попытаюсь определить несколько ключевых понятий — по-любительски, но все же, по возможности, не слишком их искажая. Итак, в самых общих чертах, Юнг считал, что "эго", как мы обычно называем свою сущность, — лишь часть "самости", та часть, которую мы осознаем. "'Эго' вращается вокруг 'самости', как Земля вращается вокруг Солнца", — говорит он.

"Самость" трансцендентна, ее границы много шире границ "эго". Ей присущ коллективный характер: она едина для всех людей, а возможно, и для всех живых существ вообще. Вероятно, такова наша связь с тем, что мы называем Богом. Картина получается довольно мистическая, и мистики тут действительно хватает, но есть и вполне конкретный, практический аспект. На самом деле Юнг лишь хочет сказать, что по сути своей все мы похожи. Основные тенденции и свойства "психе" у нас одинаковые — как легкие и кости скелета. Внешне люди более-менее подобны друг другу. Точно так же схожи их мысли и чувства. И все мы — часть Вселенной.

"Эго" — наше собственное, маленькое индивидуальное сознание — знает об этом. И понимает: чтобы не увязнуть в безнадежной тишине аутизма, нужно отождествить себя с чем-то внешним, с чем-то бóльшим, чем оно само. Если "эго" слабое или по какой-либо причине лишено индивидуального выбора, оно ассоциирует себя с "коллективным сознанием". Этим термином Юнг обозначает простейший общий знаменатель всех маленьких "эго", а именно массовое сознание, складывающееся из культов, убеждений, минутных фетишей, мод, честолюбивых мечтаний, условностей, унаследованных верований, рекламы, поп-культуры, всевозможных "измов", идеологий, выхолощенных форм общения и "псев-

доблизости" — всего того, в чем нет ни подлинного единения, ни подлинной отдачи. Принимая такие формы-пустышки, "эго" вливается в "одинокую толпу", где каждый одинок. Чтобы избежать этого и достичь подлинной общности с другими, оно должно обратить взор внутрь, отождествить себя с собственными потаенными глубинами, с великими неисследованными пространствами "самости". В этих-то краях мы все и встречаемся — Юнг зовет их "коллективным бессознательным", истоком подлинного единения, живой веры, искусства, красоты, непосредственности и любви.

Но как туда попасть? Как отыскать свою собственную дверь в коллективное бессознательное? Первый шаг обычно самый важный, и для начала, говорит Юнг, нужно повернуть вспять и последовать за своей "тенью". По его мнению, "психе" населена целым семейством весьма привлекательных фигур (гораздо более колоритных, чем мрачная фрейдова троица: 'ид', 'эго' и 'супер-эго'). С каждой из них стоит познакомиться поближе, но нас с вами интересует "тень".

"Тень" — оборотная сторона "психе", темный брат сознательной личности. Это Каин, Калибан, монстр Франкенштейна, мистер Хайд. Вергилий, ведущий Данте сквозь ад; Энкиду, товарищ Гильгамеша; Горлум, враг Фродо. Это Двойник. Серый брат Маугли. Оборотень: волк, медведь, тигр из тысячи народных сказок; змей, Люцифер. "Тень" стоит на пороге между сознательным и бессознательным, мы встречаемся с нею в снах, где она является нам в образе сестры, брата, товарища, зверя, монстра, врага, проводника. В образе всего того, что мы не хотим и не можем принять как часть нашей сознательной личности, — тех качеств и склонностей, что были подавлены, отвергнуты или не реализованы. Юнгианка Иоланда Якоби говорит: "Развитие 'тени' идет параллельно развитию 'эго'. Качества, не нужные 'эго' или не применимые в той или иной конкретной ситуации, отодвигаются на задний план или подавляются и потому в сознательной жизни индивида практически не могут проявиться. Соответственно, у ребенка 'тень' фактически отсутствует, но по мере того, как его 'эго' развивается и обретает устойчивость, она становится все четче". Сам Юнг сказал об этом так: "'Тень' есть у каждого, и чем меньше она реализуется в сознательной жизни индивида, тем она гуще и чернее". Иными словами, чем больше вы отворачиваетесь от нее, тем она становится сильнее, пока в конце концов не превращается в неподъемную ношу, во внутреннюю угрозу для вашей души.

Не допущенная в сферу сознательного, "тень" проецируется на внешний мир и его обитателей: *Я-то хороший, это все они. Я-то не чудовище, это они все чудовища. Иностранцы – гады. Коммунисты – гады. Капиталисты – гады. Мам, это не я: он сам напросился.* Но, если человек хочет жить в реальном мире, он должен отказаться от своих проекций и признать, что постыдное и злое — внутри него самого. Это нелегко. Очень трудно не перекладывать вину на других. Но, возможно, дело того стоит. Юнг говорит: "Если вы просто научитесь сосуществовать с собственной 'тенью', то уже этим принесете миру реальную пользу, ибо возьмете на себя хоть малую толику гигантского груза нерешенных социальных проблем сегодняшнего дня".

Более того, вам откроется путь к подлинному единению с людьми, к самопознанию, к созидательности. "Тень" стоит на границе двух миров. И от нас зависит, позволим ли мы ей закрыть доступ к безграничному творческому потенциалу бессознательного или превратим в своего проводника. Ибо "тень" — не банальное воплощение зла. Это низшая часть нашего существа. Примитивная, нелепая, животная, ребячливая, но в то же время мощная, непосредственная, жизненно нам необходимая. Да, она не похожа на робкого, благопристойного, образованного юношу-северянина из сказки Андер-

сена. Она темнолица, волосата и неприглядна, но без нее человек превращается в пустышку. Что это за тело, если у него нет тени? Бесформенное Нечто, фигурка из комикса. Тот, кто отрицает свою глубинную связь со злом, отрицает собственное существование. Он не способен творить, он может только разрушать.

Как ученого, Юнга особенно интересовали проблемы среднего возраста, когда сознательная конфронтация с "тенью", разраставшейся у человека лет тридцать или сорок, может стать для него чем-то совершенно необходимым — как это и случилось с несчастным героем Андерсена. Юнг утверждает, что у ребенка и "эго", и "тень" развиты слабо. Ребенок готов увидеть свое "эго" в божьей коровке, а "тень" — в непонятном чудище, притаившемся под кроватью. Но думаю, что, когда в период полового созревания у подростка возникает осознанное, ошеломляющее чувство "самости", "тень" его становится черней. Нормальный подросток отказывается от детской модели проецирования — он понимает, что нельзя во всем винить злого дядю, и начинает брать на себя ответственность за свои поступки и чувства. А заодно нередко взваливает на свои плечи непосильный груз вины. Собственная "тень" кажется ему гораздо более мрачной и постыдной, чем она есть на самом деле. Единственный способ избежать на этой стадии парализующего душу самобичевания и отвращения к себе — это посмотреть на "тень" в упор. Увидеть ее во всем ее безобразии — со всеми бородавками, прыщами, клыками, когтями и тому подобным. Принять ее как часть себя, своей натуры — самую уродливую, но далеко не самую слабую. Потому что "тень" — это проводник, который заставит вас упасть и подняться снова, покажет дорогу "туда и обратно", как говаривал дядюшка Бильбо. Проводник, указующий путь к самопознанию, к взрослению, к свету.

Ведь Люцифер означает "несущий свет".

Мне кажется, что, говоря все это, Юнг описывает то самое духовное странствие, на которое не отважился герой сказки Андерсена.

Мне также кажется, что великие романы фэнтези и предшествовавшие им фантастические произведения XIX века зачастую повествуют о том же, и жанр фэнтези — лучшее средство для изображения подобного путешествия и связанных с ним опасностей и обретений. О погружении в область бессознательного невозможно рассказать на языке рационального и повседневного. Только символический язык глубинных слоев нашей психической сущности может передать пережитое, не сводя его до уровня банальности.

Более того, как мне представляется, здесь есть не только психический, но и моральный аспект. Великие книги фэнтези в большинстве своем основаны на мощной моральной диалектике, которая выражается в виде борьбы Света и Тьмы. У читателя может возникнуть обманчивое впечатление простоты такого противопоставления, но этика бессознательного — сна, фэнтези, сказки — далеко не проста. Надо сказать, это очень странная этика.

Возьмем, к примеру, сказки, где роль "тени" нередко играют животные: конь, волк, медведь, змея, ворон, рыба. В статье "Проблема зла и сказки" Мари Луиза фон Франц так комментирует странную природу морали в фольклорных текстах: для героя не существует *правильного* образа действий. Нет никакого кодекса, никаких правил поведения для прекрасных принцев и хороших девочек. Я хочу сказать, что обычно хорошие девочки не заталкивают старушек в печку и, уж конечно, не получают награду за эдакие проделки. В рамках того, что мы называем "реальной жизнью", ничего подобного не наблюдается. А вот в снах и в сказках — сколько угодно. И судить Гретель по стандартам сознательной, "дневной" морали было бы просто смехотворно.

В сказке нет понятий "хорошо" и "плохо", здесь живут по иному стандарту, который, пожалуй, сводится к словам *так нужно*. С точки

зрения морали и этики заталкивать старушку в печку — поступок безусловно предосудительный. Но на языке сказочной условности, на языке архетипов, мы можем сказать: иногда *так нужно*. Потому что здесь и ведьма — не старуха, и Гретель — не девочка. Обе они олицетворяют психологические факторы, составные части сложной души. Гретель — архаическая детская душа, безвинная, беззащитная. Ведьма — архаическая старуха, собственница и разрушительница, мать, которая кормит тебя сластями и которую надо убить, пока она сама не сожрала тебя, как пирожок, — потому что только так можно вырасти и, в свою очередь, стать матерью. И так далее и тому подобное. Любое толкование пристрастно и неполно, ибо архетип неисчерпаем. Ребенок его, несомненно, понимает. Понимает не хуже взрослого, а часто и лучше, потому что разум его еще не забит одномерными, лишенными "тени" полуправдами и расхожими моральными истинами коллективного сознания.

Получается, что зло предстает в сказке не как антипод добра, а как нечто неразрывно с ним связанное — так черное свито с белым в символе 'инь-ян'. Чаши уравновешены. И человеческому разуму, а заодно и морали, не отделить добро от зла, не сделать выбор в пользу одного, отринув другое. Герой потому и герой, что знает, как *нужно* поступить, ибо ему открыто *целое*, которое больше, чем добро и зло. Его секрет — в его уверенности. Он не следует правилам, он просто *знает*, что надо делать.

В этом лабиринте, где доверяют лишь слепому инстинкту, считает Мари Луиза фон Франц, действует один-единственный, но постоянный этический закон: "Если герой заслужил благодарность животных или они помогают ему, в конце концов он обязательно победит. Это единственное непреложное правило, которое мне удалось вывести".

Иными словами, инстинкт не слеп. Животное не рассуждает и не сомневается, оно видит и поступает *хорошо* — так, как надо. Поэтому все звери красивы. Именно зверь знает дорогу домой. Именно зверь внутри человека — примитивная сущность, темный брат, теневая сторона души — становится нашим проводником.

В народных сказках часто встречается странный мотив 'последней тайны'. Зверь-спутник, часто это конь или волк, говорит герою: "Когда я помогу тебе сделать то-то и то-то, убей меня... отрежь мне голову". Герой обязан ему повиноваться. Очевидно, это значит, что после того, как довольно долго повиновались своим инстинктам, нам придется пожертвовать ими в конце концов, чтобы из "тела животного" возникла, переродившись, подлинная "самость", цельная человеческая личность. Таково мнение фон Франц, на мой взгляд, вполне убедительное. Меня радует, что нашлось хоть какое-то объяснение странному эпизоду, повторяющемуся во многих сказках и неизменно меня поражающему, но сомневаюсь, что объяснение это исчерпывающее, да и вряд ли юнгианцы сочли бы его таковым. Ни рациональное мышление, ни рациональная этика не могут "истолковать" диковинное содержимое глубин человеческого воображения. Даже для того чтобы просто прочесть сказку — обыкновенную сказку, нам необходимо отрешиться от "дневных" представлений и молча следовать за темными поводырями, а когда мы вернемся назад, нам, возможно, будет очень непросто описать места, где мы побывали.

В фантастической литературе XIX столетия, да и в современных романах фэнтези противостояние добра и зла, света и тьмы зачастую выписано предельно четко в виде борьбы "хороших" и "плохих", сыщиков и бандитов, христиан и язычников, героев и негодяев. Мне думается, авторы подобных книг пытаются заставить разум отвести их туда, куда он не вхож, ибо не желают идти за преданным и пугающим поводырем-тенью. Это рационализированная фэнтези. Пустышка. Позвольте мне

представить вам настоящую книгу (такие всегда много интересней подделок!) и заодно немного поговорить о "Властелине Колец".

Толкиену здорово досталось от критиков за "упрощенчество", за то, что жители Средиземья поголовно поделены на "злых" и "добрых". Это и в самом деле так. Его хорошие герои, как правило, хороши целиком и полностью, и милые слабости их только украшают. Орки же и другие злодеи все как один исключительно мерзки. Но все это — согласно "дневной" этике и общепринятым нормам добродетели и порока. Если же мы посмотрим на рассказанную историю как на духовное путешествие, то увидим нечто совсем иное и очень странное. Мы увидим группу светлых фигур, у каждой из которых есть черная тень. У эльфов — орки. У Арагорна — Черный Рыцарь. У Гендальфа — Саруман. И главное: против Фродо стоит Горлум. Против него — и вместе с ним.

Отношения действительно сложные, потому что обе фигуры изначально имеют двойников. Сэм отчасти тень Фродо, его низшая сущность. В Горлуме уживаются все личности, но уже в более прямом, шизофреническом, смысле слова. Он постоянно разговаривает сам с собой: Липучка говорит с Вонючкой, по выражению Сэма. Сэм-то его отлично понимает, хоть и не сознается в этом. Ибо не верит Горлуму, в отличие от Фродо, который берет того в проводники. Фродо и Горлум не просто два хоббита, а одно существо, и Фродо это знает. Фродо и Сэм — светлая сторона, Горлум — Смеагорл — темная. Позднее Сэм и Смеагорл как менее значительные фигуры отходят на второй план, и в конце долгого пути остаются лишь Фродо и Горлум. Но "хороший" Фродо не выдерживает — в последний момент хочет оставить Кольцо себе, а "плохой" Горлум достигает главной цели — уничтожает Кольцо и самое себя вместе с ним. Творящее и разрушающее Кольцо Всевластия (архетип "интеграции") возвращается в жерло вулкана — вечный источник творения и разрушения, изначальный огонь. И если взглянуть на книгу с этой точки зрения — кто обвинит Толкиена в упрощении? Думаю, никто. "Царь Эдип" — тоже довольно простая история. Но не примитивная. Такое может рассказать лишь тот, кто смотрел в лицо своей "тени" и видел тьму.

Язык фэнтези Толкиен выбрал не случайно, не потому, что был эскапистом или же писал для детей. Просто фэнтези — самая естественная, самая подходящая форма для описания духовных странствий и противоборства добра и зла в человеческой душе.

Об этом много говорилось, в том числе и самим Толкиеном, но, видимо, недостаточно. Эту истину приходится повторять снова и снова, потому что в нашей стране до сих пор существует глубокое пуританское недоверие к фэнтези. Причем зачастую им заражены люди серьезные и искренне озабоченные нравственным воспитанием детей. Для таких моралистов фэнтези — синоним эскапизма. Они не видят разницы между бэтменами, супермена-ми и прочей коммерческой жвачкой для мозгов и бессмертными архетипами коллективного бессознательного. Они смешивают воображение — необходимую и универсальную функцию человеческого сознания — с инфантилизмом и регрессией личности. По всей видимости, они убеждены, что от "теней" можно избавиться, ввернув лампочку поярче. Поэтому, сталкиваясь с иррациональностью, жестокостью, странной аморальностью сказки, они заявляют: "Помилуйте, детям такое вредно. Чтобы научиться отличать добро от зла, им нужны реалистические книги, где все как в жизни!"

Я согласна, что детей нужно учить отличать добро от зла (и часто они сами к этому очень стремятся). Но я также убеждена, что реалистическая литература — совсем не лучшее средство для достижения этой цели: слишком велика опасность увязнуть в благоглупостях коллективного сознания, в примитивном мора-

лизме, во всевозможных проекциях. В таких книгах либо герои снова оказываются поделены на "хороших" и "плохих", либо писатели заводят старую песню: "даже в самом хорошем человеке есть что-то плохое, а в самом плохом — что-то хорошее" (а это опасное упрощение истины, гласящей, что в каждом скрыт огромный потенциал добра и зла). Бывает, что авторы, уступив внешнему нажиму, начинают "давить на чувства" и доводят маленького читателя до слез, тогда как сами остаются равнодушны к изображаемому ими злу, — это постыдный путь. Или порой выходит очередная книга "о проблеме": проблеме наркотиков, развода, расовых предрассудков, внебрачной беременности и так далее. Словно зло — нечто вроде задачки для третьего класса. Загляни в конец учебника и найдешь ответ.

Вот это действительно эскапизм, попытка представить зло как частную проблему, а не как боль, страдание и бесполезную растрату души. Как неизбежные потери и несправедливости, на которые надо смотреть открытым взором, чтобы перебарывать их вновь и вновь; которые нужно признавать и жить с ними дальше — если хочешь жить так, как пристало человеку.

Но что же тогда делать писателю-реалисту? Изображать зло как нечто совершенно неразрешимое, такое, перед чем бессильны и старый, и малый? Показать ребенку газовые камеры Дахау, голодающих в Индии, сумасшедших родителей, истязающих своих детей, чтобы потом заявить: "Вот, деточка, такова жизнь. Ну что, какие планы?" Безусловно, это было бы аморально. Сказать, что для этих ужасов существует "решение", значит солгать ребенку. А сказать, что решения нет, значит взвалить на него чудовищный, неподъемный груз.

Это верно, что юной душе нужна защита и прибежище. Но ей необходима и правда. По-моему, говорить с ребенком о добре и зле абсолютно честно и конкретно можно, но только если речь пойдет о нем самом. О его внутреннем "я", о его скрытой сущности — глубочайшей "самости". Это ему посильно, ведь пока он растет, главная его задача — стать самим собой. Но ребенку с этим не справиться, если он уверится, что надежды нет, или взрослые уверят его, что никакой задачи и не существует. Если вы ввергнете его в отчаяние или внушите ему ложную надежду, если запугаете его или, наоборот, будете обкладывать ватой, его развитие замедлится или пойдет по неправильному пути. Чтобы повзрослеть, ему необходима правда, понимание *целого* как чего-то большего, чем все наши добродетели и пороки вместе взятые. Необходимо знание. Необходимо самопознание. Ребенок должен видеть самое себя и свою "тень". Он способен посмотреть ей в глаза, научиться контролировать ее и следовать за ней. Возможно, тогда, став взрослым членом общества, обретя силу и ответственность, он меньше будет склонен опускать руки и закрывать глаза при неизбежной встрече с творящимся в мире злом, с вечной несправедливостью, с горем и страданием, с последней "тенью" в конце пути.

Язык фэнтези — язык нашей глубинной сущности, и я хочу сказать лишь одно: мне нравится сочинять фэнтези для детей, и не только для них. Я говорю это с немалой долей уверенности — вслед за поистине великим поэтом, выразившимся гораздо смелее. "Воображение, — сказал Шелли, — есть великое орудие нравственного блага".

Джон Апдайк

Оз – это о нас

Перевод с английского Ю. Жуковой

Сто лет назад чикагское издательство "Джордж М. Хилл" опубликовало сказку Лаймена Фрэнка Баума "Волшебник Страны Оз" (и вскоре после этого прекратило свое существование). Сейчас проходит организованная Библиотекой Конгресса выставка в честь столетнего юбилея "Волшебника", а издательство "Нортон" подготовило юбилейное издание книги с примечаниями Майкла Патрика Герна. Как мы узнаем из предисловия Мартина Гарднера, Герн стал серьезным знатоком Баума, еще учась в Бард-колледже, где специализировался по английскому языку и литературе; в двадцатилетнем возрасте он составил комментарии к "Волшебнику". Энциклопедически образованному Гарднеру, который в 1960 году выпустил "Аннотированную 'Алису'", а в 1990-м – "Дополнения" к ней, предложили проделать ту же работу со сказками Баума, однако он не пожелал конкурировать с юным баумоведом из Бард-колледжа и рекомендовал его Кларксону Н. Поттеру, который в 1973 году и напечатал труд Герна. Впоследствии Герн откомментировал "Рождественскую сказку" Чарльза Диккенса и "Гекльберри Финна" Марка Твена, а также дополнил и без того обширную область баумоведения, став одним из авторов биографии У. У. Денслоу – первого иллюстратора "Волшебника"; сейчас он продолжает работать над полным жизнеописанием Фрэнка Баума. Такое впечатление, будто авторы специально копили всю эту массу свежих сведений и рисунков, дожидаясь столетнего юбилея (кстати, в

этом году исполняется сто лет и со дня выхода "Сестры Кэрри" Драйзера, "Лорда Джима" Конрада, первого романа Колетт о Клодине и "Толкования сновидений" Фрейда).

Нетрудно понять, почему Гарднер уклонился от сделанного ему предложения. Два томика "Алисы" – литература куда более изощренная, интеллектуальная и модернистская, чем "Волшебник" Баума; Гарднеру, с его складом ума, ближе мир, сотворенный Льюисом Кэрроллом из математических задач, шахматных ходов и словесных головоломок. Однако и Баум, как явствует из предисловия Герна, тоже был фигурой далеко не однозначной – он и теософией увлекался, и кур разводил, с увлечением играл на сцене и пел, был замечательный фотограф-любитель, искусный жестянщик, коммивояжер и лишь в последнюю очередь – детский писатель. Когда

© New Yorker, 2000
© Ю. Жукова. Перевод, 2006

вышел в свет "Волшебник Страны Оз", ему было сорок четыре года. В число его предыдущих сочинений входит адресный справочник торговцев почтовыми марками, руководство по разведению гамбургских кур-несушек, объемистый опус под названием "Искусство оформления витрин и внутренних помещений галантерейных лавок" (он также нынче празднует столетний юбилей), несколько тоненьких детских книжек. Жизнь Баума (1856 – 1919) отражает дух авантюрности, который царил и в экономике тогдашней Америки, и в умах людей. От Герна мы узнаем, что отец писателя, Бенджамин Уорд Баум, переменил не меньше родов занятий, чем его сын Лаймен Фрэнк. Когда тот родился, он строил бондарную мастерскую в Читтенанго (Нью-Йорк), а всего несколько лет спустя нажил состояние в Пенсильвании на только что найденной там нефти. Лаймен Фрэнк, один из девяти детей Баумов (лишь пятеро из них дожили до зрелого возраста), вырос в роскошном поместье в Сиракьюсе и образование получил домашнее – с ним занимались специально нанятые учителя-англичане. Мечтательного мальчика было не оторвать от книг. В Пикскиллском военном училище он продержался всего два года, вернулся в классическую гимназию в Сиракьюсе, однако, насколько известно, так ее и не окончил. Двадцати шести лет от роду во время гастролей музыкальной мелодрамы "Арранская дева" (в которой он не только играл главную роль, но которую сам же и сочинил от начала до конца: и либретто, и диалоги, и тексты арий, и музыку) Фрэнк Баум, тощий, долговязый, с длинными усами, женился на двадцатилетней Мод Гейдж. Его теща, Матильда Джослин Гейдж, известная феминистка, страстно увлекавшаяся теософией, решительно не желала, чтобы ее дочь бросала Корнеллский университет и выходила замуж за актера, однако Мод ее не послушалась, и, когда она забеременела, Фрэнк ушел из театра. Вместе со своим дядей, Адамом Баумом, он основал компанию "Смазочные масла Баума" и стал продавать колесную мазь, изобретенную его братом Бенджаменом, – ее производят и по сей день в нашем не склонном к постоянству мире.

Все сестры и братья Мод жили на Территории Дакота; Фрэнк в 1888 году переехал со своей семьей в Абердин (Южная Дакота) и открыл галантерейный магазинчик "Базар Баума". Из-за засухи, приведшей к экономическому спаду, магазинчик прогорел; в 1890 году Баум взялся издавать еженедельную газету, которая называлась "Субботний вестник", но через год и газета разорилась. Он нашел работу в Чикаго, сначала был репортером, потом разъездным агентом фирмы "Питкин энд Брукс, оптовая торговля фарфоровой и стеклянной посудой". И все же два с половиной года в Дакоте помогли ему понять, что такое жизнь в прериях, без этого знания ему бы никогда не создать мир Дороти и Волшебника. Пепельные, безжизненные краски и выматывающий сельский труд стали негативом, с которого Баум напечатал яркую, радостную Страну Оз. В Канзасе, где он жил, "было не найти ни единой зеленой былинки, солнце сжигало высокую траву, пока она не делалась такой же пепельной, как все вокруг". Феерический Белый город из алебастра и бетона, построенный в 1893 году в Чикаго на болотистых берегах озера Мичиган для Всемирной колумбовой выставки[1], дал и Бауму, и его будущему иллюстратору Денслоу представление о пышности и великолепии Изумрудного города в Стране Оз – но не о его цвете. Современница Баума, английская писательница Фрэнсис Ходжсон Бернетт, сравнивала Белый город с Прекрасным городом из "Путешествия пилигрима" Джона Беньяна:

1. Белый город – выставочный павильон Всемирной колумбовой выставки (1 мая – 30 октября 1893), устроенной в честь 400-летия открытия Америки Х. Колумбом (с опозданием на 1 год). *(Здесь и далее – прим. перев.)*

Кажется, он весь опутан и увит нескончаемыми ожерельями из драгоценных камней. Дворец Цветов увенчан огромным кристаллом света, он ослепительно сияет в темно-синем небе, на башнях и куполах сверкают короны и диадемы, тысячи драгоценностей украшают густую листву, они отражаются, мерцая, в темных водах озера, струи расплавленных драгоценностей взлетают в воздух, ярко вспыхивают и переливаются.

Белый город — иллюзия, сотворенная электрическим светом (спасибо Волшебнику из Менло-Парка[1] — такое стало возможно лишь совсем недавно), — очень скоро превратился в позабытые всеми руины, отчего в сказке Баума появилось грустное ощущение эфемерности всего, что нас окружает. В 1903 году в предваряющей выход книги рекламной публикации издательство "Боббса–Меррилла" писало, что "Оз" это буквы на ящике картотеки автора "O – Z", но это неправда, разгадка названия страны в сонете Шелли, который хорошо знали и любили в викторианскую эпоху:

1. Имеется в виду изобретение электрической лампочки накаливания Томасом Алвой Эдисоном, чья лаборатория находилась в Менло-Парке (Нью-Йорк).

И письмена взывают с пьедестала:
"Я Озимандия. Я царь царей.
Моей державе места в мире мало.
Все рушится". Нет ничего
быстрей
Песков, которым не пристало
Вокруг развалин медлить в беге
дней[1].

В первой из книг о Стране Оз Волшебник вызывает недоверие, даже подозрение, что под его маской прячется шарлатан, эдакий начинающий актеришка, обожающий дешевые театральные эффекты, и лишь потом сотворенные им чудеса превращают его в настоящего чародея. В фильме, снятом на студии "Метро–Голдвин–Майер", путники, шагающие по мощенной желтым камнем дороге, восторженно распевают: "Он волшебник, он кудесник, он любое чудо сотворит!" Потом оказывается, что прославленные чудеса — простенькие трюки, после которых Оз улетает на неуправляемом воздушном шаре.

Зато сам Баум, обратившийся к сочинительству лишь для того, чтобы уделять больше времени своим четверым сыновьям, оказался истинным волшебником в роли детского писателя. Он познакомился с Уильямом Уоллесом Денслоу — ху-

1. Перевод В. Микушевича.

дожником из Филадельфии, который приехал в Чикаго на выставку; их смелые и хорошо продуманные идеи о том, какими должны быть книги для детей, совпали. За цветную печать в их первой совместной работе — сборнике стихотворений Баума "Стихи Папаши Гуся" — они уплатили сами. Об этом сборнике с похвалой отозвались Марк Твен, Уильям Дин Хауэллс и адмирал Джордж Дьюи[1]; книжка, как утверждает Герн, стала самым раскупаемым иллюстрированным изданием 1900 года. В том же году вышло не меньше пяти сказок Баума, последней был "Волшебник". Издательство Хилла буквально завалили заказами, книга выдержала четыре издания, общий тираж составил девяносто тысяч экземпляров. В ноябрьском номере миннеаполисского "Джорнела" "Волшебник" был назван лучшей детской книжкой столетия — высокая оценка, если речь идет о столетии XIX, и достаточно скромная, если о едва начавшемся XX.

В 1902 году издательство "Джордж М. Хилл" разорилось, несмотря на успех сказки Баума, и права на "Волшебника" перешли в более жесткие руки "Боббса–Мерилла"; сотрудничество Баума и Денслоу прекратилось, однако с героями Страны Оз ни один, ни другой не расстался, потому что согласно заключенному ими договору права на текст принадлежали писателю, а на иллюстрации — художнику. В том же году в Чикагском оперном театре состоялась премьера музыкальной феерии "Волшебник Страны Оз", ее поставил Джулиан Митчелл, впоследствии ставший режиссером ревью "Шалуньи Зигфелда"[2]. Митчелл не оставил живого места от либретто пятиактной оперетты, которое Баум написал в полном соответствии с текстом своей сказки, он перекроил все по-своему и состряпал водевиль, который имел шумный успех в Чикаго и еще более шумный — на Бродвее, где шел полтора года, после чего труппа гастролировала с ним по стране до 1911 года. Водевиль принес Бауму хорошие деньги и еще больше разжег его страсть к театру. На основе своей следующей сказки — "Волшебной Страны Оз" — он написал текст еще для одного представления-буфф, героями которого стали знаменитые эстрадные комики Дэвид К. Монтгомери и Фред А. Стоун, игравшие в митчелловском водевиле Железного Дровосека и Воронье Пугало. Сочинение, которое было им и посвящено, изобиловало каламбурами и репризами в духе их обычных шуточек. Книга раскупалась хорошо, а вот музыкальная комедия под названием "Жук Кувыркун" (Баум написал для нее вокальное либретто) была в конце концов поставлена без участия Монтгомери и Стоуна и успеха не имела. Опередив Уолта Диснея, который довел до виртуозности искусство втискивать свою рекламу куда можно и куда нельзя, Баум пытался стимулировать интерес к своему неудачному творению с помощью комиксов в воскресной газете: "Жук Кувыркун принимает гостей из Волшебной Страны Оз", художником серии был Уолт Макдугалл.

Несмотря на слабое здоровье (бесконечные ангины, камни в печени, хронический аппендицит), Баум до самой смерти — а умер он в возрасте шестидесяти двух лет — был просто вулкан энергии. Кроме тринадцати сказок о Волшебной Стране Оз, он написал (под псевдонимом Эдит Ван Дайн) повесть для подростков "Племянницы тетушки Джейн" со множеством продолжений, несколько книг для молодежи еще под четырьмя разными псевдонимами, роман для взрослых, опубликованный анонимно, и довольно много пьес, оставшихся ненапеча-

1. Уильям Дин Хауэллс (1837–1920) — американский писатель и критик; Джордж Дьюи (1837–1917) — первый американский адмирал флота (звание было создано специально для него), национальный герой США.
2. Флоренс Зигфелд (1869–1932) — продюсер и постановщик красочных музыкальных шоу на Бродвее; наибольшую музыкальную славу ему принесли ежегодные музыкальные шоу-ревью "Шалуньи Зигфелда".

танными. В элегантном белом фраке с шелковыми лацканами он разъезжал по стране и показывал публике свои фильмы и слайды, представление называлось "В мире сказок и радиопьес". Обозреватель чикагской "Трибьюн" писал, что Баум продемонстрировал блестящую способность удерживать на протяжении двух часов живой интерес большой аудитории к малоинтересному зрелищу. Однако эти первые изделия века кино стоили слишком дорого, и к 1911 году Баум был вынужден свернуть такого рода деятельность. Из соображений экономии он перенес свою зимнюю калифорнийскую резиденцию из отеля "Дель Коронадо" в Голливуд, в очаровательное бунгало, которому дал название "Озкот". Здесь он оказался в центре бурно развивающейся молодой киноиндустрии, но сколько-нибудь серьезных доходов это ему не принесло. Кинокомпания "Оз Филм", которую он сам и возглавил, сняла несколько немых лент – первой стала "Лоскутная девочка из Страны Оз" (1914), но все его фильмы проходили по категории детских и потому кассового успеха не имели. В 1925 году, через шесть лет после смерти писателя, на экраны вышел "Волшебник Страны Оз"; по мнению Герна, чьим оценкам порой свойственна известная суровость, в фильме нет и тени очарования, каким полна книга Баума (хотя Железного Дровосека играл Оливер Харди, правда, без Стэна Лорела[1]), "а сценарий, написанный в соавторстве с сыном писателя, Фрэнком Дж. Баумом, иначе как ужасным не назовешь". Зато создатели ленты, снятой в 1939 году на студии "Метро–Голдвин–Майер", попали в самое яблочко. На ее производство ушло три миллиона долларов, и в начале проката казалось, что затраты едва окупятся, зато после войны она буквально не сходила с экранов телевизоров. Сегодня, через сто лет после написания "Волшебника", этот фильм – главные ворота в Страну Оз.

А ее мгновенно оккупировали дельцы от искусства. Хроника того, как ее рвали на части, наводит тоску; в хронике есть краткое примечание, в котором Герн сообщает, что в 1975 году "Волшебника" поставила негритянская труппа, в 1978 году по этой постановке был снят фильм, а в 1985 году появилось мертворожденное диснеевское "Возвращение в Страну Оз". Но это еще не все: скоро публика увидит снятый Тимом Бертоном телевизионный сериал "Заблудившиеся в Стране Оз". Читая последние сказки Баума о Стране Оз, невольно чувствуешь, что автор и сам все больше эксплуатирует свою идею, не сознавая, что вначале создал шедевр. После его смерти золотую жилу продолжали разрабатывать Рут Пламли Томпсон, которая за восемнадцать лет (1921–1939) сочинила девятнадцать опусов; Джон Р. Нилл, проиллюстрировавший своим вялым пером все сказки Баума, кроме первой; Джек Сноу – малоизвестный писатель-фантаст; Рейчел Косгроув; Элоиза Джарвис Магро, Лорин Магро Вагнер и даже сын Баума, который судился с матерью за право владеть столь высоко ценимым товарным знаком, как "Оз". Далее неистощимый Герн рассказывает нам, что в последние годы в литературе возник особый жанр романов для взрослых, использующих образную систему Страны Оз: например, "У Оза" Джеффа Раймена (1992), "Жизнь и время Злой заклинательницы Запада" Грегори Магуайра (1995) – сколько можно судить, их написали очарованные с детства "Страной Оз" нынешние постмодернисты, которых освободили от страха наказания за нарушение авторских прав.

Пленительные герои "Волшебника" и впрямь требуют более глубокой и детальной проработки. Фильм "Метро–Голдвин–Майер" во многих отношениях удачнее книги. В нем, например, отсутствует сцена, в которой Королева Мышей вместе со своими подданными спасает заснувшего в маковом поле Льва. Эпизод

1. Оливер Харди (1892–1957), Стэн Лорел (1890–1965) – американские киноактеры комедийного жанра.

этот, чуть ли не полностью повторяющий басню Эзопа, был бы, кстати сказать, не по зубам докомпьютерному кинематографу; никаких спасителей-мышей, над полем вдруг начинает падать густой снег, как в популярном мюзикле 1902 года, и дурманные маковые чары рассеиваются. Режиссер отказался от некоторых особенно экзотических персонажей, выпустил совершенно чужеродную главку о Стране Фарфоровых человечков, которая вдруг, по странной прихоти автора, возникла на пути героев, направляющихся в царство злой колдуньи. В сценарии фильма Злой заклинательнице Запада отведена более значительная роль, чем в сказке, это она громоздит препятствия на пути наших пилигримов, за которыми следит, глядя на экран своего персонального телевизора — в хрустальный шар. В книге это не такая уж могущественная нечисть, расправиться с ней ничего не стоит ("Кто бы мог подумать, какая-то малявка уничтожила меня и положила конец моим козням! Глядите — я таю!"), то ли дело роскошная зеленоликая красавица-злодейка Маргарет Хэмилтон, как горько она рыдает, умирая, оттого что не сможет больше творить свои "изумительные злодейства". После ее смерти интрига фильма вырывается на финишную прямую: Дороти разоблачает Волшебника, он незапланированно улетает, и более или менее все, конец, тогда как в сказке Баума герои переживают еще несколько приключений, одолевают разнообразные препятствия на пути к Доброй волшебнице Юга, перед ними ни с того ни с сего возникает царство механических гуманоидов — Деревьев-Драчунов и безруких Молотоглавов, потом сюжет попадает в чисто техническую зависимость от Золотой Шляпки и трех желаний, которые могут выполнить Крылатые Обезьяны, если она прикажет. Баум-писатель редко умел остановиться вовремя, он разворачивал перед читателями чудо за чудом, а тем временем главное, то, что обращено к человеку и существует за пределами волшебства, ускользало прочь. Он сам не вполне понял, что его "Волшебник" рассказывает о нашей способности пережить разочарование: ведь чудеса всего лишь обман.

Действие голливудского фильма начинается в реальном, выжженном солнцем Канзасе, и эта серая, унылая страна населена, в отличие от книги, персонажами, которые станут главными героями Страны Оз: тут три батрака с фермы, злюка Almира Гелч на своем вечном велосипеде, профессор Марвел, путешествующий в ветхом фургончике. Они канзасцы, и именно к ним и возвращается Дороти. Герн негодует, что в фильме "Метро—Голдвин—Майер" Страна Оз представлена как сон, однако Дороти, проснувшись, восклицает: "Нет, никакой это не сон!" И верно, это иная реальность — наша внутренняя жизнь, во время которой совершается душевный рост. О том же говорит Джером Чарин в интереснейшем исследовании "Мир кино: Голливуд и культура, созданная Великой Американской Мечтой" (1989): "Это фильм о превращениях, весь от начала до конца". Шестнадцатилетняя Джуди Гарланд, явно слишком пышногрудая для Дороти из сказки, где она еще совсем ребенок, — "прелестная девушка, в которую превратилась маленькая деревенская девчушка". Взросление всегда метаморфоза, так же как самоосознание — плод взросления. У Вороньего Пугала с самого начала есть мозги, Железный Дровосек чувствителен сверх всякой меры, Лев храбр, как и положено льву, однако все они чувствуют себя ущербными, пока Волшебник не совершает над ними чисто внешние манипуляции (кстати, в фильме это сделано более остроумно, чем в сказке). Умненькой и здравомыслящей Дороти нужно лишь признать, что нет ничего красивее серого цвета, в который окрашен ее родной край, и так же страстно пожелать вернуться домой, как раньше ей хотелось убежать "За радугу" (это музыкальная тема фильма и знаменитая песня, которую чуть

было не вырезали при окончательном монтаже).

Я, как и Чарин и Салма́н Рушди (а он считает "Волшебника" замечательной аллегорией эмигрантской жизни), принадлежу к поколению, на которое фильм произвел более сильное впечатление, чем книга. Но если вы хотите узнать мнение того, кто с детской доверчивостью и восхищением прочел все, что написал Баум о Стране Оз, рекомендую вам острую и темпераментную статью Гора Видала, помещенную в двух номерах "Нью-Йорк ревью оф букс" за 1977 год. Видалу слышится у Баума протест против жестокости Америки, ставшей одной из сильнейших держав мира, и против "железного пуританского порядка". И в самом деле, некое подспудное инакомыслие, которое есть в этих сказках, восстановило против них библиотекарей и литературных критиков; в 1957 году директор библиотечной сети Детройта Ралф Алвелинг обвинил Баума в неприятии действительности и назвал жизненную позицию автора малодушной. Во вступлении к "Волшебнику" Баум делится с читателем собственными, отличными от общепринятых, взглядами на сказку: он сожалеет, что старые классические сказки изобилуют страшными сценами, от которых кровь стынет в жилах, и предлагает читателям сказку современную, из которой изгнаны ужасы и кошмары, а все веселое и увлекательное осталось. Американская разновидность теософии, к которой Баума приобщила его властная теща, представляла собой смесь спиритуализма и буддизма, индуизма и учения об усовершенствовании мира, которое не признает, в отличие от христианства, существования темных сил и отрицает Дьявола. "Бог — это Природа, а Природа — Бог", говорил Баум; однако и он разделял взгляды приверженцев анимистической теории, согласно которой

> ...любая ничножно малая частица дерева и камня, каждая капля воды, каждая песчинка населены мириадами жизней... Эти сущности прозрачны и невидимы, их называют первоэлементами... У них нет души, но они бессмертны... иные обладают выдающимся интеллектом, иные столь же поразительно глупы.

В книге "Разоблаченная Изида" (1878) основательница Теософского общества мадам Е. Блаватская объясняла, что такие первоэлементы выявляют себя в четырех священных мирах Каббалы — Земле, Воздухе, Огне и Воде, их называют гномами, сильфами, саламандрами и ундинами. Сонмы этих духов, которые по численности могут соперничать разве что с бактериями, явно напоминали о себе Бауму, когда он писал продолжения "Волшебника", прибавляя к Стране Оз все новые и новые территории и населяя их удивительными сказочными созданиями, а ведь мир его самой первой сказки ничем не засорен, и палитру его составляют яркие открытые цвета. Согласно теософическим выкладкам наши астральные тела окрашены по-разному — так же Баум поступил и с царствами Страны Оз и их обитателями. Гор Видал обращает наше внимание на то, что Страна Оз аккуратно разделена на участки, точно огромный сад из детства писателя, который он потом воспроизвел в геометрически правильных посадках своей виллы "Озкот".

В его альтернативном мире отсутствуют пороки капитализма, блага которого, кстати сказать, казались ему неубедительными. Противники социализма могут найти в "Изумрудном городе" столь часто цитируемый пассаж:

> Бедных в городе не было... потому что не существовала такая вещь, как деньги, а все имущество до мельчайшей мелочи принадлежало правительнице. Жители города были ее дети, и она [принцесса Озма] о них заботилась. Все щедро делились друг с другом тем, что было людям необходимо, а сверх необходимого никто ничего и не желал.

Однако власть в городе не принадлежит пролетариату, скорее им правят в псевдосредневековом духе

великодушные тираны, в большинстве случаев особы женского пола — вероятно, здесь сказалась феминистская направленность теософии и воинственный суфражизм Матильды Гейдж. Правителям Баума свойствен родительский абсолютизм; его Глинда — идеальная мать, которая всегда выручит своих детей из беды; Волшебник — типичный бестолковый отец из комедии положений, каковую с самого начала и задумал написать Баум о Стране Оз. Что ж, на выборах 1896 и 1900 годов он поддерживал популиста Уильяма Дженнингса Брайана, да и литература конца XIX столетия полна литературных утопий, и все же "Волшебная Страна Оз" — сказка слишком "неземная", чтобы нести в себе политический заряд, о котором стоило бы говорить. Она соткана не из революционных порывов, а из добрых пожеланий. Если что и приземляет "Волшебника", так это грубоватые, почти карикатурные рисунки Денслоу. Как сообщает Герн, Денслоу не всегда следовал тексту сказки: например, там, где у Баума тигр, он рисует медведя; увенчивает короной Льва до того, как это происходит у автора; одевает Дороти в старенькое ситцевое платье, хотя в сказке на ней все еще шелка Изумрудного города; постоянно забывает (как, впрочем, и режиссер фильма) о круглом сияющем знаке, который поставила на лбу девочки своим поцелуем Добрая фея Севера, чтобы он защищал ее от зла.

В столетний юбилей подобает говорить хвалебные речи, однако, думаю, читатель вряд ли согласится с Герном, когда тот заявляет: "Есть все основания утверждать, что в американской литературе существует три великих классических путешествия в глубины человеческой души: это "Моби Дик, или Белый Кит" Германа Мелвилла (1851), "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена (1883) и "Волшебник Страны Оз" Л. Фрэнка Баума (1900)". При всех небрежностях стиля и некоторых художественных просчетах первые две вещи написаны поистине великолепно и ради того, чтобы показать правду — такую, как она есть, включая ужасы и кошмары; "Волшебник" же вполне удачная безделица, язык его скучен и прост, как будто автор диктовал свое сочинение машинистке. Не соглашусь я и с тем, что "дядя Генри и тетя Эм воплощают суровость американских фермеров, какую мы видим на лицах супружеской пары на знаменитой картине Гранта Вуда "Американская элегия" ("American Gothic")". Слишком уж долго смотрел Герн через увеличительное стекло ежеквартальника "Голос Баума", который издает Международный клуб друзей "Волшебника Страны Оз", созданный в 1957 году тринадцатилетним Джастином Г. Шиллером. Чересчур увлекшись составлением ученых комментариев, Герн не замечает, что порой, как это свойственно критикам, впадает в обыкновенную банальность: "Своим очарованием и остроумием "Волшебник Страны Оз" обязан чувству юмора Баума и умению нагромождать забавные несообразности"; или, например, "Трусливый Лев подтверждает справедливость афоризма Эрнеста Хемингуэя, что мужество — это вынужденное благородство". Не раз проводит Герн аналогию, кстати, более обоснованную, и с "Путешествием пилигрима" — еще одним достаточно непростым странствием в поисках себя, — автору которого было за сорок, и у него был, между прочим, большой опыт публичных выступлений[1]. "Волшебник Страны Оз" — это освобожденное от религии "Путешествие пилигрима", хотя в нем порой проскальзывают теософические представления о том, что вселенных бесчисленное множество. Во времена, когда детская литература еще была пропитана тлетворной пуританской моралью воскресных школ, как называет ее Герн, Баум создал пронизанную живым дыханием агностическую фантазию. Колдуньи в ней слишком комичны и не способ-

1. Джон Беньян (1628–1688) — английский писатель и религиозный проповедник, автор "Путешествия пилигрима".

ны творить настоящее зло. Когда Дороти разоблачает Волшебника и говорит, что он очень дурной человек, тот возражает: "Нет, человек-то я как раз хороший, а вот волшебник и вправду никуда не годный". И еще один смелый жест американского рационализма: Баум изобрел эскапизм, не уводящий от действительности. Дороти решает покинуть Страну Оз; серому, иссушенному ветрами Канзасу возвращают статус родного края (правда, не столь торжественно, как в кино), где человек только и может быть счастлив всю жизнь, особенно если он окружен родными и близкими. И в самом деле, нам легче самим окрасить в цвета радости место, где мы живем, чем найти химически яркий кинематографический рай. На последнем рисунке Денслоу возвращение Дороти куда более динамично, чем у Баума. Девочка бежит с такой скоростью, что с ног у нее слетают серебряные башмачки (сравним эту скромную деталь оригинала с туфельками героини в версии "Метро–Голдвин–Майер", где они усыпаны рубинами), – мы мысленно видим, как она разворачивается на финише, оставив позади Воронье Пугало, Железного Дровосека и Трусливого Льва, и опрометью бросается назад, домой.

Дж. Б. Пристли
Заметки о Шалтае-Болтае

Перевод с английского Н. Демуровой

Как мне стало известно, "Алису в Стране чудес" и "Алису в Зазеркалье" собираются издавать по-немецки. Весть об этом важном событии поначалу меня удивила, ибо я считал, что оба эти классических произведения давно уже переведены на языки всех цивилизованных стран[1]. Но по некотором размышлении я понял, что, будь они популярны в Германии, мы бы давно это знали. Ведь заранее можно сказать, что произойдет, когда там прочтут книги об Алисе, – достаточно вспомнить, что произошло с Шекспиром! Интерпретаторов соберется целая куча, и добрая тысяча важных тевтонцев усядется писать толстые тома комментариев и критических исследований; они примутся сопоставлять и сравнивать героев (даже Ящерке Биллу будет отведена целая глава) и давать по сотне противоречивых толкований каждой кэрролловской шутке. Затем на сцену неизбежно явятся Фрейд и Юнг со своими последователями, и на свет родятся чудовищные опусы о Sexualtheorie в "Стране чудес", об Assoziationsfähigkeit и Assoziationsstudien[2] Бармаглота и, уж конечно, о сокровенном смысле конфликта между Труляля и Траляля с психоаналитической и психопатологической точек зрения. Нам наконец разъяснят специфику отвратительного символизма Безумного Чаепития, а мой старый приятель Болванщик окажется прямо-таки букетом всевозможных неврозов! Что касается самой Алисы... нет, нет! Алису они пощадят. Я, во всяком случае, не прибавлю ни слова: не стану разрушать иллюзии задумчивой тени Льюиса Кэрролла – да пребудет он еще какое-то время в неведении о том, что же на самом деле происходило в Алисиной головке, этой, с позволения сказать, особой стране чудес.

Но вот что немецкие критики и комментаторы скажут о Шалтае-Болтае? Интересно будет узнать. Мне всегда казалось, что он смахивает на важного литератора. Я невольно вспомнил о нем несколько дней назад, читая труд одного молодого критика, весьма напыщенного и напрочь лишенного чувства юмора (имя не стану называть). У нас в Англии, да и в Америке, есть некая школка подобных интерпретаторов, в чьих произведениях, претенциозных и в то же время пустых, мне неизменно слышится нечто смутно знакомое, и лишь на днях я понял откуда. Из "Зазеркалья", конечно! Шалтай-Болтай до сих пор не оценен по заслугам – это фигура пророческая. Изображая его, Льюис Кэрролл высмеял племя критиков, еще не появившихся в его время. Но теперь, когда они не только появились, но то и дело подсовывают нам свои опусы, пришла пора по достоинству оценить истинный смысл кэрролловского персонажа – это чудо сатирического предвидения. Я далек от мысли, что сумею исчерпать все значение Шалтая-Болтая; меня нисколько не удивит, если окажется, что возможны и другие, более глубокие и эзотерические трактовки, которые пока еще не поступили от членов Теософского и всяких прочих обществ. Однако меня Шалтай-Болтай интересует как герой литературный, и я ограничусь

© J. B. Priestley, 1921
© Н. Демурова. Перевод, 2006

1. "Приключения Алисы в Зазеркалье" Л. Кэрролла впервые вышли на немецком языке пятьдесят лет спустя после появления немецкого перевода "Алисы в Стране чудес" (1868). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

2. Теория сексуальности... Способность к формированию ассоциаций и их исследование *(нем.)*.

исключительно литературной стороной дела. Давайте вернемся к тексту, пока германские профессоры еще не затемнили его окончательно.

Как вы помните, Алиса, обнаружив, что Шалтай-Болтай (который только что был яйцом и лежал на полке в лавочке) сидит на высокой и очень тонкой стене, принимает его за чучело. Заметьте, так происходит наше с ним знакомство. Обратите внимание на стену — *высокую* и до того тонкую, что Алиса "только диву далась, как это он *не падает*", и не забудьте словечко "*чучело*". Вспомните все это и представьте себе Шалтая-Болтая — этого любимца крошечных литературных кружков, которые возглавляет мистер Имярек, молодой критик, похожий на сову... не буду дальше распространяться. Подобные личности чуть ли не сразу начинают презирать публику, что для них очень характерно, себя же они посвящают немногим избранным — тем, кому доступны Флобер, Стендаль и Чехов. Шалтай-Болтай очень скоро берет тот же тон. "У некоторых людей, — изрекает он в самом начале беседы с Алисой, — здравого смысла не больше, чем у младенца!" И поинтересовавшись затем, что *означает* ее имя, выражает недовольство по поводу того, что она этого не знает, — многозначительная сцена, не требующая с моей стороны никаких разъяснений. Алиса, представляющая здравый смысл, задает ему чрезвычайно важный вопрос:

— А вам не кажется, что внизу вам будет спокойнее? — снова спросила Алиса. Она совсем не собиралась загадывать Шалтаю загадки, просто она волновалась за этого чудака. — Стена ужасно тонкая.

Весь этот отрывок имеет серьезнейшее значение. Ведь Шалтай-Болтай убежден, что любой, даже самый простой, вопрос представляет собой загадку, которую он должен разгадать к своему вящему торжеству; ему и в голову не приходит, что Алиса, которая твердо стоит на земле, может быть умней его и что она просто дает ему совет, а не спешит решать пустяковые головоломки. Сам он, разумеется, предпочитает висеть в воздухе — его привлекает именно тонкость стены. Дальше мы читаем на той же странице, что он очень рассердился, когда Алиса, опередив его, сказала, будто Король "пошлет всю свою конницу, всю свою рать". Оказывается, то, что он считал величайшей тайной, известно Алисе и всем на свете, чего — по причине собственного слепого тщеславия — он уж никак не подозревал. Полагаю, нет никакой необходимости объяснять тут что-либо или указывать на аналогии.

Весьма показательна также педантичность, которую проявляет Шалтай-Болтай, когда далее вступает в спор с Алисой по поводу ее возраста:

— Я думала, вы хотели спросить, сколько мне лет, — пояснила Алиса.

— Если бы я хотел, я бы так и спросил, — сказал Шалтай.

И тут же он снова выдает себя замечанием:

— Если бы ты со мной посоветовалась, я бы тебе сказал: "Остановись на семи!" Но сейчас уже поздно!

Здесь мы видим нечто очень характерное: нежелание считаться с реальной действительностью, приверженность застывшим образцам, косность, заторможенность развития и ту ненависть к изменению и эволюции, которая неизменно отличает такого рода психику.

Стоило бы разобрать всю беседу Алисы с Шалтаем-Болтаем фразу за фразой, ибо в каждом его замечании есть нечто весьма типичное для третьестепенной критики, но нам пора заняться заключительной частью этого эпизода, когда герои переходят на литературные темы. Тут-то и проясняются истинные причины, побудившие Кэрролла написать данную главу. Помните, как после разговора о подарках "на день не-рождения" Шалтай-Болтай восклицает: "Вот тебе и слава!"? Алиса, конечно, не понимает, что он имеет в виду под "славой", и спрашивает об этом; в ответ он бросает, презрительно улыбнувшись: "И не поймешь, пока я тебе не объясню". Кэрролловская сатира, которая с каждым шагом становится все при-

цельней, наивысшей точки достигает в восклицании: "*Световодозвуконепроницаемость*! Вот что я говорю!" Кто не знает, как эти высшие существа, эти якобы литературные критики разглагольствуют о *планах* и *измерениях*, о *статичности* и *динамике*, об *объективном корреляте* и одному богу известно о чем еще! Вот и Шалтай качается на своей высокой, тонкой стене и в упоении кричит: "*Световодозвуконепроницаемость*!" Шалтай-Болтай — типичнейшее воплощение всех этих болтунов и любителей критического жаргона. Алиса, которая, как всегда, представляет здравомыслящую часть человечества, задумчиво спрашивает: "Не слишком ли много для одного слова?" Разумеется, много. Но ведь Шалтай-Болтай и иже с ним докучают нам своей неуклюжей и заумной фразелогией не только для того, чтобы скрыть собственное скудоумие, но и чтобы создать впечатление необычайного глубокомыслия.

В Америке выходит некое предназначающееся для высших существ периодическое издание, битком набитое ужасающими многосложными словами и крайне претенциозными терминами, которые на деле решительно ничего не значат; будь моя воля, я бы самыми черными чернилами и огромнейшими буквами начертал поперек каждой страницы благословенное слово: "С*ветоводозвуконепроницаемость*!" В связи со всем этим нельзя не вспомнить, с какой готовностью Шалтай-Болтай отзывается на просьбу Алисы объяснить ей смысл стихотворения "Бармаглот". Он буквально оживает, становится необычайно бодр, ретив:

— Прочитай-ка его, — ответил Шалтай-Болтай. — Я могу объяснить тебе все стихи, которые когда-либо написали, и многие из тех, которые еще только напишут!

Безусловно, может, как и вся его братия, которая только и делает, что разъясняет смысл стихотворений, чтобы устроить жестокий разнос тем, кто на голову ее выше, а именно — поэтам. Но что же, да позволено будет нам спросить, означают слова о других стихах — тех, "которые еще только напишут"? Я, со своей стороны, полагаю, что это относится к тем виршам, которые кропают его приятели — члены его небольшого кружка, ибо подобную продукцию едва ли можно считать литературой: чтобы внести в нее смысл, нужен очень расположенный к ней критик.

И, уж конечно, нам предстоит узнать, что Шалтай-Болтай и сам сочиняет стихи. Уже одно это убедительно свидетельствует о том, что Льюису Кэрроллу внезапно открылась тревожная картина грядущего и что эпизод с Шалтаем-Болтаем он задумал как сатиру. Правда, шедевры нашего героя, хотя бы с точки зрения техники, все же получше тех, что навязывают нам молодые критики (в них-то и метит Кэрролл!), но писатель, скорее всего, не считал для себя возможным опускаться ниже определенного уровня даже в пародиях. Впрочем, в стихах, с позволения сказать, которые декламирует Шалтай-Болтай, есть целый ряд черт, печально известных всем современным читателям поэзии. Эта отрывистость, эта "легкая" незавершенность, эти намеки и какие-то неясные символы — увы, все это слишком хорошо нам знакомо! Такие строки, например, как:

Вот что они писали мне:
"Мы были б рады, но мы не..."

или:

Стучал я в дверь, стучал в окно
И достучался бы я, но... —

не оставляют у нас сомнений в том, кто же они, эти посмертные жертвы гениального сатирика. Достаточно вспомнить, сколько нам пришлось вытерпеть от подобных личностей, и в частности (говорю без обиняков) от мистера Имярек и мистера Многоточие, чтобы прийти к выводу, что, удаляясь от нелепой фигуры, торчащей на высокой и тонкой стене, Алиса в который раз говорит за всех нас: "В жизни не встречала такого *препротивнейшего*..." К этому, очевидно, нечего добавить: эпизод исчерпан — Шалтай-Болтай и все его позднейшие исследователи уничтожены.

Разговор с идеальным читателем

Исаак Башевис Зингер *Сказки* / Перев. Ольги Мяэотс; Худож. Вадим Меджибовский. — М.: Текст, 2005

Выступая на банкете по случаю вручения ему Нобелевской премии, Исаак Башевис Зингер сформулировал десять причин, по которым он начал писать для детей (в сущности, в этих десяти пунктах — портрет его идеального читателя).

1. Дети читают книги, а не рецензии. Им наплевать на критиков.

2. Они читают не для того, чтобы решить проблему личной самоидентификации.

3. И не для того, чтобы избавиться от ощущения отчужденности, чувства вины или подавить в себе стремление к бунту.

4. Им дела нет до психологии.

5. И до социологии.

6. Они не пытаются понять "Поминки по Финнегану".

7. Они по-прежнему верят в Бога, семью, ангелов, чертей, ведьм, логику, знаки препинания и прочие старомодные вещи.

8. Им нравятся интересные истории, а не комментарии и примечания.

9. Если книга скучна, они зевают не стесняясь.

10. Они не надеются, что их любимый писатель спасет человечество. Несмотря на молодость, они понимают, что ему это не по силам. Подобные "детские" иллюзии бывают только у взрослых...

Несколько сборников рассказов для детей, повесть "Голем", специальная детская версия книги воспоминаний "День удовольствий: рассказы мальчика, выросшего в Варшаве" — большая и важная часть писательского наследия Зингера. Между прочим, свою первую Национальную книжную премию (National Book Award) Зингер получил именно за "День удовольствий".

Зингера "для взрослых" российская читающая публика знает, "для детей" — практически нет. Выпущенные издательством "Текст" "Сказки" — первая в России детская книга писателя. По-моему, она получилась чрезвычайно обаятельной, не в последнюю очередь благодаря прекрасному переводу Ольги Мяэотс и замечательным иллюстрациям Вадима Меджибовского. В книжке есть все, чему положено быть в хороших сказках: *страшное, смешное, трогательное, захватывающее.* Эти истории можно читать на ночь совсем маленьким детям, интересно читать лет в 12-13 и не скучно читать, если ты, как говорится, "уже большой".

Жанр "удивительной истории" вообще — самый "удобный" для Зингера, тяготеющего к нему и в своих "взрослых" книгах. Рассказчик (иногда это сам автор, иногда какой-нибудь персонаж), история как таковая и ее слушатели образуют одно *достоверное и доверительное* пространство, в котором нет и не может быть никакой "книжной" отстраненности, нет места авторскому самокопанию, иначе говоря — тоске и занудству. "Автору" Зингер всегда предпочитает "рассказчика" истории, потому что автора больше всего интересует он сам, а рассказчика — то, о чем он рассказывает.

На своих писательских семинарах Зингер настоятельно призывал студентов "не морализировать!". "Кому нужно наше мора-

лизаторство, — утверждал он, — когда есть Десять заповедей!" Однако жанр детского рассказа иногда все-таки требует чего-то вроде "морального урока" или, по крайней мере, предостережения. По-моему, Зингеру тут просто нет равных. Все его "выводы" замечательно точны и мудры — ни убавить ни прибавить. (См., например, концовки рассказов "Рай для дураков", "Первый Шлемель" и "Ловкач Тоди и Скряга Лейзер".)

Очевидной особенностью зингеровских сказок является их "местечковый" колорит. То есть то, чего больше нет на этом свете. Современным детям, для которых сугубо "еврейское" ассоциируется (если, конечно, ассоциируется с чем-то вообще) скорее с пустыней и Красным морем, наверное, покажутся странными такие привычно русские избы, сани, снежные метели... Но, как пишет Зингер в коротком предисловии: "Для рассказчика вчера по-прежнему рядом... В рассказах время не исчезает..." Хотя большую часть жизни Зингер провел в США, определяющим для него как для художника (и человека) был именно опыт жизни в Польше — сначала в местечке, а затем в доме раввина-отца в еврейском квартале Варшавы. Нисколько не идеализируя и не романтизируя местечко, Зингер — тем сильнее, чем старше становился, — все равно его любил, как любят *настоящее*, как любят родителей и *их жизнь*, понимая, что, как бы там ни было, родители все равно знали и чувствовали больше и лучше, чем мы сегодня.

К названным Зингером десяти причинам, по которым он решил сочинять для детей, я бы, пожалуй, добавил еще одну. Дело в том, что ни мать, ни тем более отец, который, по словам Зингера, был "хасидом 24 часа в сутки", мягко говоря, не одобряли выбранной сыном деятельности. Писательство — часть *взрослого*, часто фальшивого мира. Для Зингера при его постоянной раздвоенности, сомнениях и остром переживании невозможности соединить родительский *закрытый* мир (с его удалением от грехов и неучастием в "некошерных" заботах века) и огромный *открытый* мир новой, "взрослой" жизни (с бесконечными страстями-искушениями) книги для детей были, наверное, еще и допустимым компромиссом. Истории, сказки рассказывали и *о том, праведном* мире... В сказках (и благодаря сказкам) писатель и мы, его слушатели-читатели, оказываемся там, где — по законам жанра — маленький мальчик побеждает дьявола, все страшные приключения оканчиваются хорошо, все люди симпатичные (даже скряги и дураки), там, где весело и интересно, жутко и блаженно, где идет волшебный снег, "как в сказке", как в детстве...

Дмитрий Веденяпин

Чудеса в решете

"Гарри Поттер" для взрослых

Susanna Clarke *Johanatan Strange and Mr. Norrel.* – New York and London: Bloomsbury Publishing, 2004

Сюзанна Кларк *Джонатан Стрэнч и мистер Норрел.* – Нью-Йорк–Лондон: Блумсбери паблишинг, 2004

Я еще не видел писателя, гордившегося званием "реалиста". Авторы попроще говорят, что не хотят копировать действительность, другие понимают, что не могут.

Всякая книга, кроме телефонной, — вымысел уже потому, что ее единственным содержанием является чудо, преображаю-

щее жизнь в буквы, настоящее — в вечное, быль — в сказку. Когда я был маленьким, этот обман назывался "научной фантастикой". Сегодня трудно понять, что научного было в человеке-амфибии, но тогда я и не спрашивал.

Сегодня фантастическое не нуждается в алиби. С тех пор как Гарри Поттер стал главным героем нашего еще незрелого столетия, писатели всех стран и народов вступили в борьбу за его наследство. Мы живем в эпоху, переплавившую магический реализм в обычную сказку, упразднившую критерий правдоподобного для детей любого возраста. Свои первые книги Ролинг выпускала в "слепых" обложках, чтобы взрослые не стеснялись читать их в метро. Сейчас в этом нет нужды. Выдавив другие жанры в нон-фикшн, сказка захватила единоличную власть над словесностью. В том числе и отечественной, что доказывают старые герои новой русской прозы — Сорокин и Пелевин. Первый сочиняет сказки для гностиков, второй — для агностиков. Сорокин выдает быль за сказку, Пелевин опрокидывает сказку в быль. Для одного чудо (тунгусский метеорит) открывает путь к мизантропической истине о человеке как промашке эволюции. Для другого чудеса (проделки оборотней) обнажают изнанку реальности, лишая ее смысла и права на существование. У обоих подлинный смысл истории открывается лишь тем, кто приобщен к ее темным тайнам. Сказка делает мнимую жизнь зловещей и подлинной. В сущности, тут не нужна магия. Но без нее не обойтись другой — еще более широкой — аудитории. С тех пор как истощенная расточительным постмодернистским эпилогом литература, впав в детство, вернулась к своему истоку и стала тем, чем, в сущности, всегда была — рассказом о чудесах. За что мы ее готовы простить и снова полюбить.

Со мной такое произошло, когда я прочел 800-страничный фолиант 50-летней дебютантки из Кембриджа Сюзанны Кларк под обманчиво скучным названием "Джонатан Стрэнч и мистер Норрел". Восторженные критики уже успели назвать ее "Гарри Поттером для взрослых", но, по-моему, это сомнительный комплимент для автора, открывшего новый способ обращаться с чудесами.

Так мог бы выглядеть роман "Мастер и Маргарита", если бы его написал Диккенс.

Дело в том, что книга Кларк — грандиозный анахронизм: она написана так, будто мы еще живем в викторианскую эпоху. Презрев "страх влияния", автор перебралась в XIX век, чтобы медленно и верно выткать подробный гобелен давно умершей эпохи.

Писать сегодня викторианскую книгу — все равно что строить действующую модель кареты в натуральную величину. Самое странное, что она действительно ездит, перенося читателя в бурную наполеоновскую эру, так хорошо нам знакомую по "Войне и миру". Обманчивая убедительность исторического повествования настолько обескураживает читателя, что он принимает главную, и единственную, условность романа — чудеса. Англия Сюзанны Кларк — страна великих магических традиций. Деяния средневековых волшебников, выходцев из смежного, но невидимого мира, — непреложный факт, документированная часть британской истории. Однако, вступив на путь прогресса, Англия утратила древнее магическое искусство, которое и взялся возродить тщеславный мизантроп мистер Норрел со своим добродушным учеником Джонатаном Стрэнчем.

Тут-то и начинается самое интересное. Чудеса в книге изображены с той же неторопливой дотошностью, что и все остальное. Ирония уже давно научила сказку

встречаться с прозой жизни, как это бывало у Гофмана, Андерсена и Шварца. Но, кажется, впервые магия, реанимировав старомодный жанр, сошла на страницы толстого реалистического романа. Отказав сверхъестественному в специальном статусе, Кларк вплетает волшебство в ткань подлинной истории с ее реальными героями, вроде Веллингтона или Байрона. Обретя ауру достоверности, магия становится деловитой и скучноватой служанкой прогресса. В военное время вступившие на государственную службу волшебники помогают армии, строя дороги, в мирные дни они укрепляют мосты и укрощают наводнения. В сущности, маги Кларк больше всего напоминают ученых. Эту аналогию поддерживает ретрофантастика. Так, вместо телевизора они используют серебряный тазик с водой, позволяющий следить за передвижением противника. Лучше всего им удается то же, что и нам, — создание иллюзий. Запугивая противника, Норрел строит миражный флот, состоящий из дождевой воды (пасмурная погода, вскользь напоминает автор, всегда была Англии лучшей защитой).

Как и ученые, маги не все могут, не все умеют и редко способны правильно предсказать последствия своих поступков. Как и наука, волшебство бывает соблазнительным, опасным и скучным. Как и все подвиги прогресса, магические деяния быстро становятся пресными и банальными.

И тут, усыпив бдительность читателя, Кларк раскрывает карты. Чудеса деловитого XIX века оказываются лишь бледной копией той могучей магии, которую творил таинственный народец допотопных времен, населяющий иную — смежную, но невидимую — Англию. Это таинственный и зловещий (для нас) мир живой, нецивилизованной природы. Временами она просвечивает сквозь призрачные достижения нашей хрупкой городской культуры: уличные фонари оборачиваются звездами, лондонские дома — черным лесом, бальный зал — заснеженным полем. Здесь на границе человеческого с нечеловеческим и разворачивается подлинный конфликт романа. Мы приспособили для своих будничных нужд волшебную силу природы, но цивилизаторские усилия никогда не смирят ее неукротимую магию, ибо именно она привела к рождению мира, в том числе и нашего.

Как и положено в добротном романе, автор остается над схваткой: Кларк не осуждает ни мелкую суету нашей цивилизации, ни разрушительную мощь ненашей природы. Отказываясь стать экологической притчей, книга остается сказкой — о добрых и злых чудесах, которые не меняют конечного расклада. Альтернативная, магическая история постепенно сливается с обыкновенной. Волшебство не способно переделать нашу реальность, оно лишь открывает нам глаза на ее истинное устройство.

Александр Генис
Нью-Йорк

Великобритания

Беатрикс Поттер — художник и иллюстратор

В картинной галерее, расположенной в лондонском пригороде Далидже, до конца января проходит ретроспективная выставка работ Беатрикс Поттер, на которой представлено около 250 акварелей, эскизов и набросков, выполненных знаменитой английской сказочницей.

Устроительница выставки Энн Стивенсон Хобб поставила задачу максимально полно рассказать о творческом пути Поттер-художницы, известной в Англии главным образом своими иллюстрациями к детским сказкам. По ее мнению, которое разделяет большинство отозвавшихся на выставку критиков, особенность таланта Поттер состоит в органичном сочетании художественного мастерства с подходом натуралиста, потому даже ее ранние акварели и рисунки отличает удивительная точность. "Не понимаю, почему нельзя воспринимать красоту рационально. По-моему, это значительно здоровее, чем взращивать в себе болезненную сентиментальность", — писала Поттер в дневнике.

На выставке зарисовки домашних животных и акварели с изображением птиц, летучих мышей и различных насекомых, сделанные во время ежегодных поездок в Шотландию и в Озерный край, соседствуют с тщательно исполненными рисунками грибов и лишайников.

Эти работы — дань увлечению будущей писательницы ботаникой и, в частности, микологией — наукой о грибах. На протяжении нескольких лет Поттер описывала и зарисовывала образцы грибов, собирая материал для научной статьи. В 1897 году ее доклад о спорах был зачитан на собрании Линнеевского общества, занимавшегося вопросами систематизации растительного и животного мира (в те времена особы женского пола, вне зависимости от возраста, не допускались на научные собрания).

Среди других экспонатов, которые привлекли внимание обозревателей, — открытки с забавными зверюшками, которые писательница рисовала, когда ей понадобилось собрать деньги, а также ее неопубликованные иллюстрации к "Алисе в Стране чудес".

Гарри Поттер в цифрах. Немного забавной статистики

Знаете ли Вы, что:

1. Если разложить на поверхности Земли все опубликованные книги о Гарри Поттере, включая переводные, то они могли бы покрыть территорию Бразилии.

2. Только 32 % детей, купивших "Гарри Поттера", сделали выбор осознанно, меж тем как 27 % юных покупателей не знали, что они приобретают. Чаще всего роман Дж. Ролинг принимался за упаковку с бумажными салфетками.

3. Если из всех опубликованных книг о Гарри Поттере, включая переводы, выбрать точки с запятой и напечатать их в один ряд, то они дважды опояшут земной шар. При этом следует иметь в виду, что точка с запятой отсутствует в арабском, китайском и японском языках, а также в урду и иврите.

4. Если в Китае в одночасье остановится вся табачная промышленность, а общий тираж "Гарри Поттера" будет поделен между 73 % китайскими курильщиками, то каждый из них сможет делать по 20 самокруток в день в течение 289 лет.

5. Если бы президент США уступил давлению христианской общины и приказал сжечь все экземпляры "Гарри Поттера", то коэффициент глобального потепления увеличился бы на 2,7 %.

6. При попытке турецких математиков перевести доходы Дж. К. Ролинг в турецкие лиры взорвался университетский компьютер, выбив все окна в радиусе 30 метров.

Елена Ужасная

На протяжении веков считалось, что дочь Зевса и Леды Елена славилась такой неземной красотой, что ее похищение троянским цареви-

чем Парисом стало поводом к Троянской войне. Однако по истечении более 3 тысяч лет с момента событий, описанных Гомером в "Илиаде", образ мифологической красавицы был подвергнут решительному пересмотру. По новой версии, изложенной британским историком Беттани Хьюз в биографии "Елена Троянская: богиня, царица, распутница", реальная женщина, стоящая за мифом, была кровожадной воительницей и нимфоманкой, жившей в Спарте примерно в 1250 году до н. э. Хьюз создает портрет Елены, весьма далекий от канонического, утверждая, что спартанская царица брила голову, оставляя лишь несколько прядей волос, которые свивала в тугие жгуты, походившие на змей, грудь у нее была всегда обнажена, тело налито мускулами. Свою теорию Хьюз основывает на данных недавних археологических раскопок, в ходе которых был найден дворец, возможно, принадлежавший Елене Троянской.

Германия

Новое пополнение сокровищницы мировой культуры

По решению ЮНЕСКО, сказки братьев Гримм объявлены культурным достоянием человечества.

Изданный в начале XIX века братьями-филологами Якобом и Вильгельмом Гримм сборник "занял почетное место в одном ряду с Библией Лютера и стал самой знаменитой и читаемой в мире немецкой книгой". В настоящее время сказки переведены более чем на 160 языков.

Сказки братьев Гримм

Первое издание под названием "Детские и семейные сказки", выпущенное в 1812 году, хранится в музее братьев Гримм в Касселе. Книга иллюстрирована гравюрами, выполненными самими авторами, и снабжена их комментариями.

Всего в составленном в 1997 году ЮНЕСКО реестре "Мировая память" насчитывается 120 названий. Среди них — фильм "Волшебник из страны Оз" Виктора Флеминга (1939), ленты братьев Люмьер, партитуры Иоганесса Брамса, призыв Шарля де Голля к французам от 18 июня 1940 года. Внесенные в список памятники ЮНЕСКО обязуется сохранить для потомков.

Испания

По стопам Дон Кихота

Четыре столетия назад Мигель де Сервантес прославил знойные равнины и пыльные деревушки Ла-Манчи — беднейшей области в центральной части Испании.

В связи с юбилеем "Дон Кихота", который с размахом праздновался в Испании весь прошлый год, власти Кастилии-Ла-Манчи объявили о создании "экологического туристического маршрута" по местам, где странствовал Рыцарь Печального Образа вместе со своим верным оруженосцем Санчо Пансой.

По подсчетам исследователей, Дон Кихот в общей сложности преодолел 2,5 тысячи километров — от Толедо до Куэнки. Путешественникам будет предложено на выбор несколько вариантов маршрутов: пеший, велосипедный и конный. Их путь пройдет через холмы, леса и реки по городам и деревням, упомянутым в романе Сервантеса. В частности, они смогут побывать в Эль-Тобосо — на родине Дульсинеи, а также увидеть десяток старинных мельниц рядом с поселком Кампо-де-Криптана, с которыми, согласно преданию, сражался благородный идальго.

Планы властей весьма амбициозны. "Мы надеемся, что со временем наш маршрут приобретет такое же значение, как "Дорога Святого Иакова", ведущая к месту погребения апостола неподалеку от города Сантьяго-де-Компостела", — говорит руководитель проекта Хуан Камара.

При этом, несмотря на огромный резонанс, который вызвал юбилей, "Дон Кихота" читали далеко не все испанцы, не говоря уж об иностранных туристах, часть которых даже не слышала о рыцаре из Ла-Манчи.

По материалам газет "Гардиан", "Индепендент", "Таймс" [Великобритания], "Монд" [Франция].

Паола Каприоло
Paola Capriolo
[р. 1962]. Итальянская писательница, переводчик с немецкого и литературовед. Лауреат многих литературных премий, в том числе Рапалло [1990], Гринцане Кавур [1992], Сен Видаль [1998].

Автор сборника рассказов *Большая Эулалия* [*La grande Eulalia*, 1988], повести *Тысячью моих глаз* [*Con i miei mille occhi*, 1997], романов *Двойное царство* [*Il doppio regno*, 1991], *Зрительница* [*La spettatrice*, 1995], *Человек с характером* [*Un uomo di carattere*, 1996], *Барбара* [*Barbara*, 1998], сборника сказок *Девочка с золотой звезды* [*La ragazza dalla stella d'oro*, 1991], книги *Искусственный абсолют. Нигилизм и мир экспрессии в эссеистике Готфрида Бенна* [*L'assoluto artificiale. Nihilismo e mondo dell'espressione nell'opera saggistica di Gottfried Benn*, 1996] и др.
Роман публикуется по изданию *Il sogno dell'agnello* [Milano: Bompiani, 1999].

Стивен Миллхаузер
Steven Millhauser
[р. 1943]. Американский прозаик. Лауреат многих литературных премий, в том числе Пулицеровской [1997].

Автор романов *Джеффри Картрайт. Эдвин Маллхаус: жизнь и смерть американского писателя, 1943–1954* [*Edwin Mullhouse: The Life and Death of an American Writer, 1943–1954, by Jeffrey Cartwright*, 1972], *Портрет романтика* [*Portrait of a Romantic*, 1977], *Из царства Морфея* [*From the Realm of Morpheus*, 1986], *Мартин Дресслер: Сказка об американском мечтателе* [*Martin Dressler: The Tale of an American Dreamer*, 1996], *Колдовская ночь* [*Enchanted Night*, 1999], *Колдовской вечер* [*Enchanted Evening*, 2000], сборников рассказов *Кунсткамера* [*The Barnum Museum*, 1990], *Метатель ножей* [*The Knife Thrower and Other Stories*, 1998; рус. перев. 2002] и др.
Публикуемая повесть взята из сборника *Король среди ветвей* [*King in the Tree*. New York: Alfred A. Knopf, 2003].

Збигнев Бжозовский
Zbigniew Brzozowski
[1936–1992]. Польский писатель. Воспитатель в детском доме.

Автор сборников рассказов *В городке, который точно сад из сказки Андерсена...* [*W miasteczku, które jak ogród Andersena...* 1975], *Монета с Коперником* [*Dycha z Kopernikiem*, 1977], *Балконы и шляпы* [*Balkony i kapelusze*, 1982], *Золотая карета* [*Złota kareta*, 1988] и др.
На русском языке в Библиотеке журнала *Иностранная литература* опубликован сборник его рассказов из разных книг *Баллада о Чертике* [1988].
Публикуемые сказки взяты из сборника *Несколько волшебных историй* [*Kilka czarodziejskich historii*. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1988].

Карл Херман Рёрихт
Karl Hermann Roehricht
[р. 1928]. Немецкий поэт, прозаик, художник. Лауреат Художественной премии ГДР [1979].

Автор стихотворных сборников *Корона из виноградных листьев. Баллады, кантаты и песни* [*Aus Weinlaub eine Krone. Balladen, Kantaten und Lieder*, 1975], *Виноградная лоза и роза* [*Weinstock und Kletterrose*, 1980], сборников рассказов *Ярмарка* [*Jahrmarkt*, 1976], *Полевые цветы в бидермаеровской вазе* [*Feldblumen in Biedermeiervase*, 1977], *Воспитание вора* [*Erziehung eines Diebes*, 1983], романов *Детство в городском предместье* [*Vorstadtkindheit*, 1980], *Годы лесного лета* [*Waldsommerjahre*, 1981], *Потерянные родители* [*Die verlorenen Eltern*, 1982] и др.
Публикуемые сказки взяты из книги *Недовольные слова и другие сказки* [*Die unzufriedenen Wörter – und andere Märchen*. Berlin: Rütten & Löning, 1980].

Викрам Сет
Vikram Seth
[р. 1952]. Индийский поэт, прозаик.

Автор романов *Подходящий юноша* [*A Suitable Boy*, 1993], *Музыка небесных сфер* [*An Equal Music*, 1999], романа в стихах *Золотые ворота* [*The Golden Gates;* фрагменты печатались в *ИЛ*, 1993, № 9], книги путевых заметок *С берегов Небесного озера: Путешествия по провинции Синкинг и Тибету* [*From Heaven Lake: Travels in Sinking and Tibet*, 1983] и др.
Публикуемая сказка взята из сборника *Зверские сказки* [*Beastly Tales*. London: Phoenix House, 1993].

Никита Данилов
Nichita Danilov
[р. 1952]. Румынский поэт, прозаик, главный редактор двуязычного румынско-русского журнала *Китеж-град*. Лауреат премии Ясской ассоциации румынских писателей [1987], премии Союза писателей Молдавии [1987] и др.

Автор сборников стихотворений *Картезианские колодцы* [*Fintini carteziene*, 1980], *Черное поле* [*Cîmp negru*, 1982], *Арлекины на обочине поля* [*Arlechini la marginea cîmpului*, 1985], *Слепой жених* [*Mirele orb*, 1995], *Девять вариаций для органа* [*Nouă variaţiuni pentru orgă*, 1999], *В пустыне и по водам* [*În deşert şi pe ape*, 2000] и др., а также романов *Стопы* [*Talpi*, 2004], *Маша и инопланетянин* [*Masa şi extraterestru*, 2005] и др. Его произведения переведены на многие языки. На русском языке опубликован сборник стихов *Черный ангел* – двуязычное издание.
Публикуемый рассказ взят из литературного приложения к журналу *Китеж-град*, 2003, № 3.

Петер Себерг
Peter Seeberg
[1925–1999]. Датский писатель.

Автор романов *Второстепенные фигуры* [*Bipersonen*, 1956], *Птичий корм* [*Fugls Fode*, 1957], *Пастыри* [*Hyrder*, 1970; рус. перев. 1971], сборника рассказов *Аргументы в пользу помилования* [*Argumenter for Benading*, 1976].
Публикуемый рассказ взят из сборника *Вечер динозавров* [*Dinosaurens sene eftermiddag*. København: Forlaget, 1974].

Роберт Браунинг
Robert Browning
[1812–1889]. Английский поэт.

Автор поэм *Полина* [*Pauline*, 1831], *Сорделло* [*Sordello*, 1840], *Кольцо и книга* [*The Ring and the Book*, 1868–1869], трагедии *Страффорд* [*Strafford*, 1837], поэтических сборников *Драматическая лирика* [*Dramatic Lyrics*, 1842], *Драматические поэмы* [*Dramatic Romances and Lyrics*, 1845], *Мужчины и женщины* [*Men and Women*, 1855], *Действующие лица* [*Dramatis Personæ*, 1864] и др.
Перевод баллады выполнен по изданию *Антология детской литературы, составленная Джонсоном и Скоттом* [*Anthology of Children's Literature by Johnson and Scott*. Cambridge: The Riverside Press, 1935].

Нина Михайловна Демурова
Переводчик и литературовед, доктор филологических наук.

Автор ряда работ по английской и другим англоязычным литературам. Переводила романы и рассказы Р. К. Нарайана, произведения Л. Кэрролла [*Алиса в Стране чудес и Зазеркалье*], Э. По, Г. К. Честертона, Э. Олби, М. Эджворт, Ш. Делани, Дж. М. Барри, Р. Даля, Б. Поттер и др. Неоднократно печаталась в *ИЛ*.

Джуди Тейлор
Judy Taylor
Председатель общества Беатрикс Поттер [1994–2004]

Автор книги *Беатрикс Поттер: художник, рассказчица и сельская жительница* [*Beatrix Potter: Artist, Storyteller and Countrywoman*, 1996] и др. работ о Б. Поттер.
Эссе печатается по рукописи.

Хамфри Карпентер
Humphrey Carpenter [1946–2005]. Английский писатель и литературовед. Лауреат премии Сомерсета Моэма [1980].

Автор биографий Дж. Толкиена, У. Одена, Э. Паунда, К. С. Льюиса, архиепископа Кентерберийского Роберта Ранси, а также *Оксфордского справочника по детской литературе* [*The Oxford Companion to Children's Literature*, 1984].
Публикуемое эссе взято из книги *Вот что я расскажу вам... Встречи с Беатрикс Поттер* [*So I Shall Tell You a Story... Encounters with Beatrix Potter*. London: Frederick Warne, 1993].

Грэм Грин
Graham Green [1904–1991]. Английский писатель.

На страницах *ИЛ* были напечатаны романы *Тихий американец* [*The Quiet American*, 1956, № 6–7], *Наш человек в Гаване* [*Our Man in Havana*, 1959, № 3–4], *Ценой потери* [*Burnt-Out Case*, 1964, № 9–10], *Комедианты* [*The Comedians*, 1966, № 9–10], *Сила и слава* [*The Power and the Glory*, 1987, № 1–2], *Монсеньор Кихот* [*Monseñor Quijote*, 1989, № 1–2], *Конец одного романа* [*The End of the Affair*, 1992, № 5–6], повести *Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой* [*Doctor Fisher of Geneva or The Bomb Party*, 1982, № 6], *Десятый* [*The Tenth Man*, 1986, № 12], фрагменты книги *Мой Собственный Мир* [*A World of My Own*, 2003, № 12], а также рассказы, очерки, публицистика.
Публикуемое эссе взято из книги *Вот что я расскажу вам... Встречи с Беатрикс Поттер* [*So I Shall Tell You a Story... Encounters with Beatrix Potter*. London: Frederick Warne, 1993].

Людмила Стефановна Петрушевская
Прозаик, драматург, поэт. Лауреат Пушкинской премии [1991].

Автор 40 книг, в том числе 2-х собраний сочинений (в пяти и девяти томах). Переведена в более чем 20 странах. Ее перу принадлежат пьесы *Уроки музыки* [1973], *Чинзано* [1973], *Любовь* [1974], *Лестничная клетка* [1974], *День рождения Смирновой* [1977], *Три девушки в голубом* [1980], *Квартира Коломбины* [1981], *Московский хор* [1984], *Бифем* [2002], романы *Время ночь* [1991], *Номер Один, или В садах других возможностей* [2004], повести *Смотровая площадка* [1981], *Свой круг* [1988], *Маленькая Грозная* [1998] и др., книги сказок *Лечение Василия* [1991], *Жил-был Трр!* [1994], *Настоящие сказки* [1996], *Дикие животные* [1996], *Трилогия о поросенке Петре* [2002], *Волшебные истории* [2005] и др., поэма *Карамзин-деревенский* [2000].

Антония С. Байетт
Antonia S. Byatt [р. 1936]. Английская писательница, литературовед, лауреат Букеровской премии [1990].

Автор романов *Тень солнца* [*The Shadow of the Sun*, 1964], *Игра* [*The Game*, 1967], *Девственница в саду* [*The Virgin in the Garden*, 1978], *Натюрморт* [*Still Life*, 1985], *Обладать* [*Possession*, 1990; рус. перев. 2002] и др., книг о творчестве А. Мердок, У. Вордсворта, С. Т. Колриджа.
В *ИЛ* опубликованы ее рассказы *Розовые чашки* [1992, № 7], *Китайский омар* [2001, № 1], повесть *Джинн в бутылке из стекла* [1995, № 10].
Публикуемые эссе взяты из книги *О рассказах и сказках* [*On Histories & Stories*. London: Vintage, 2001].

Урсула К. Ле Гуин
Ursula K. LeGuin
Американская писательница и критик. Лауреат множества литературных

Автор романов *Мир Роканнона* [*Rocannon's World*, 1966; рус. перев. 1988], *Город иллюзий* [*City of Illusions*, 1967; рус. перев. 1992], *Левая рука тьмы* [*The Left Hand of the Darkness*, 1969; рус. перев. 1991], *Обездоленные* [*The Dispossessed*, 1974; рус. перев. 1994], *Слово для "леса" и "ми-*

премий, в том числе пяти Премий за достижения в научной фантастике [1969, 1973, 1974, 1975, 1988].

pa" — одно[*The Word for World is Forest*, 1976; рус. перев. 1992], философской фэнтези-тетралогии *Земноморье*, включающей романы *Волшебник Земноморья* [*A Wizard of Earthsea*, 1968; рус. перев. 1990], *Могилы Атуана* [*The Tombs of Atuan*, 1971; рус. перев. 1992], *К дальнему брегу* [*The Farthest Shore*, 1972; рус. перев. 1992], *Техану, или Последняя книга Земноморья* [*Tehanu: The Last Book of Earthsea*, 1990; рус. перев. 1993] и др.
Публикуемое эссе взято из книги *Язык ночи* [*The Language of the Night*. New York: NY Berkley Books, 2003].

Джон Апдайк
John Updike

[р. 1932]. Американский писатель, член американской Академии искусства и науки. Лауреат многих литературных премий, в том числе двух Пулицеровских.

Автор романов *Кентавр* [*The Centaur*, 1963; Национальная книжная премия; рус. перев. *ИЛ*, 1965, № 1, 2], *Кролик, беги* [*Rabbit, Run*, 1960; рус. перев. 1979], *Кролик исцеливший* [*Rabbit Redux*, 1971], *Кролик разбогател* [*Rabbit Is Rich*, 1981; рус. перев. 1986], *Кролик на отдыхе* [*Rabbit at Rest*, 1990] и др. В *ИЛ* напечатаны также его романы *Ферма* [*Of the Farm*, 1967, № 4], *Давай поженимся* [*Marry me*, 1979, № 7, 8], рассказы и эссе из книг разных лет [1984, № 5; 1992, № 10; 1995, № 7; 1996, № 10; 1999, № 9; 2003, № 7, 8].
Публикуемое эссе было напечатано в журнале *New Yorker*, 2000, сентябрь.

Джон Бойнтон Пристли
John Boynton Priestley

[1894—1984]. Английский прозаик, драматург, эссеист, критик, театральный режиссер.

Автор романов *Добрые друзья* [*Good Companions*, 1929], *Улица Ангела* [*Angel Pavement*, 1931], *Затемнение в Гретли* [*Blackout in Gretley*, 1942], *Дженни Вильерс* [*Jenny Villiers*, 1947], *Фестиваль в Фарбридже* [*Festival at Fairbridge*, 1953], пьес *Опасный поворот* [*Dangerous Corner*, 1932], *Ракитовая аллея* [*Laburnum Grove*, 1933], *Райский уголок* [*Eden End*, 1934], *Если мы женаты* [*When We are Married*, 1938], *Инспектор пришел* [*An Inspector Calls*, 1946], автобиографической книги *Полночь в пустыне* [*Midnight at the Desert*, 1937], книги рассказов *Другое место* [*The Other Place*, 1953], сборника *Эссе пяти десятилетий* [*Essays of Five Decades*, 1964] и др. Произведения Д. Б. Пристли многократно издавались на русском языке, в частности в 1990 г. вышли его *Избранные произведения* в 2-х томах. В *ИЛ* напечатаны пьесы *Теперь пусть уходит* [*Now Let Him Go*, 1958, № 2], *Роза и корона* [*The Rose & Crown*, 1991, № 2], повесть *31 июня* [*The Thirty First of June*, 1962, № 9], роман *Сэр Майкл и сэр Джордж* [*Sir Michael and Sir George*, 1965, № 8-9].
Публикуемое эссе взято из книги *Раз уж вы спросили* [*I for One*. London: The Bodley Head, 1923].

Переводчики

Фридэнга Михайловна Двин

Переводчик с итальянского. Лауреат премии *ИЛ* [1985], итальянской премии *Гринцане Кавур* [2005].

В ее переводе изданы романы *Татарская пустыня* Д. Буццати, *Исчез перед рассветом* Дж. Понтиджи, *Греческий огонь* и *Змея* Л. Малербы. В *ИЛ* напечатаны книга *Делать фильм* Ф. Феллини [1981, № 9—11], сценарий Ф. Феллини и Т. Гуэрры *И плывет корабль* [1984, № 9], фрагменты книги *Тот кегельбан над Тибром* М. Антониони [1985, № 7, 8], сказки А. Моравиа [1990, № 4], повесть *Собаки Иерусалима* Ф. Карпи [1994, № 4], романы *Итака навсегда* [1998, № 3] и *Гранада-клуб* [2003, № 8] и рассказы [2004, № 1] Л. Малербы, *Джульетта* Ф. Феллини [1995, № 4] и др.

Сергей Борисович Ильин
[р. 1948]. Переводчик с английского, лауреат премии *ИЛлюминатор* [1999].

В его переводе издавались романы и рассказы В. Набокова, произведения Дж. П. Донливи, Т. Уайлдера, Н. Марш, Ф. Рота, Дж. Хеллера, Дж. М. Кутзее и др. Его переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Ксения Яковлевна Старосельская
Переводчик с польского. Лауреат премии *ИЛ* [1986] и премии польского ПЕН-клуба [2004].

В ее переводе издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Хороманьского, Т. Конвицкого, В. Шимборской, Т. Новака, В. Мысливского, Г. Кралль, Е. Анджеевского, М. Хласко, С. Хвина, Е. Пильха, П. Хюлле, О. Токарчук и др. В *ИЛ на*печатаны ее переводы романов Т. Новака *Черти* [1975, № 3—4], В. Мысливского *Камень на камень* [1986, № 7-9], М. Хласко *Красивые, двадцатилетние* [1993, № 12], С. Хвина *Ханеман* [1997, № 12], П. Хюлле *Касторп* [2005, № 6], повесть Е. Анджеевского *Врата рая* [1990, № 1] и др.

Анна Кукес
Переводчик с немецкого, кандидат филологических наук.

В ее переводах вышли романы *Прохладой дышит вечер* и *Натюрморт на ночном столике* И. Нолль. Готовится к публикации роман Д. Дёрри *Синее платье* и эссе Т. Манна *Шопенгауэр*. В *ИЛ* печатается впервые.

Марина Яковлевна Бородицкая
Поэт, переводчик с английского и французского языков.

Автор стихотворных сборников *Одиночное катание* [1999], *Год лошади* [2002], а также книг для детей *Последний день учения* [1989], *Ракушки* [2001] и др. Переводила стихотворения и поэмы Дж. Чосера, Дж. Донна, Дж. Китса, Р. Киплинга, Г. Честертона, Г. Лонгфелло, Р. Бернса, П. Ронсара, П. Верлена, Э. Фарджен, А. Милна и др. В *ИЛ* в ее переводах печатались стихи Г. Честертона, Дж. Чосера, Д. Паркер, В. Набокова, К. Ковича, Р. Фэйнлайт и др.

Светлана Негру
Переводчик с румынского. Переводила рассказы Н. Данилова.

В ИЛ публикуется впервые.

Елена Суриц [Елена Александровна Богатырева]
Переводчик с английского, немецкого, французского и скандинавских языков. Лауреат премии *Инолит* [1994].

В ее переводе издавались романы Дж. Остин, У. Голдинга, Дж. Стейнбека, К. Гамсуна, пьесы А. Стриндберга, Э. Ионеско, сценарии И. Бергмана и др. В *ИЛ* в ее переводе печатались романы *Я в замке король* С. Хилл [1978, № 1—2], *Миссис Дэллоуэй* [1984, № 4], *Орландо. Биография* [1994, № 11], *Волны* [2001, № 10] и *Между актами* [2004, № 6] В. Вулф, *Мастер Джорджи* [2001, № 7] и *Согласно Куини* [2004, № 12] Б. Бейнбридж, *Пир* М. Спарк [2005, № 12] и др.

Инна Максимовна Бернштейн
Переводчик с английского.

В ее переводе изданы романы *Моби Дик* Г. Мелвилла, *Смерть Артура* Т. Мэлори, *Возвращение в Брайдсхед* И. Во, *Черный принц* А. Мёрдок [*ИЛ*, 1974, № 8—11, совместно с А. Поливановой], *Костры амбиций* Тома Вулфа [*ИЛ*, 1991, № 10, 11, совместно с В. Бошняком], *Как все было* Дж. Барнса [*ИЛ*, 2002, № 7,], повесть *Десятый* Грэма Грина [*ИЛ*, 1986, № 12], рассказы Дж. Апдайка, Дж. Сэлинджера, В. Притчетта и др.

Валентина Сергеевна Кулагина-Ярцева
Переводчик с английского, испанского и польского языков.

В ее переводе печатались романы *Фиаско* Ст. Лема [совместно с И. Левшиным], рассказы и эссе Х. Л. Борхеса, Ч. Милоша, Э. Сабато, О. Сакса, У. Коллинза, Э. Дансени, О. Блэквуда и др. В *ИЛ* в ее переводе опубликован роман А. А. Милна *Двое* [1994, № 6], рассказы и эссе Х. Л. Борхеса [1998, № 5] и Дж. Апдайка [1995, № 1], Б. Шульца [1996, № 8].

Александра Леонидовна Борисенко
Переводчик, литературовед, кандидат филологических наук.

Автор ряда эссе и переводов, напечатанных в *ИЛ*: *О Сэлинджере с любовью и всякой мерзостью* [2001, № 10], *Песни невинности и песни опыта* [2002, № 4], *Льюис Кэрролл: мифы и метаморфозы* [в соавторстве с Н. Демуровой; 2003, № 7], *Иэн Макьюен: Фауст и фантаст* [2003, № 10], *Литературные премии США — XXI век* [2004, № 4]; перевод фрагментов книги Э. Хоффман *Искусство потерь: опыт жизни в новом языке* [2003, № 1], эссе А. Картер *Элисон смеется* [2003, № 6], Л. Менанда *«Над пропастью во ржи» 50 лет спустя* [2005, № 10] и др.

Виктор Валентинович Сонькин
[р. 1969]. Журналист, литературовед, переводчик с английского, сербского и словенского языков.

Автор еженедельной рубрики *Салон* в газете *The Moscow Times*. В *ИЛ* [совместно с А. Борисенко] публиковались эссе *Литературные премии США — XXI век* [2004, № 4], переводы публицистических произведений и эссеистики П. Остера [1996, № 10], Дж. Лондона [1992, № 2], У. Стайрона [1997, № 12], Ш. Андерсона [1999, № 7] и др.

Ольга Владимировна Новицкая
Переводчик с английского, преподаватель.

В ее переводах публиковались рассказы Дилана Томаса и Г. Бейтса. В *ИЛ* печатается впервые.

Ольга Николаевна Исаева
Переводчик с английского и японского языков.

В ее переводах публиковались эссе У. Б. Йейтса, публицистическая книга *Падение публичного человека* Р. Сеннета, романы *Сердце ангела* У. Хьертсберга, *Чмоки* Д. Хаггинза и др. В *ИЛ* в ее переводе публиковались рассказ Тамии Торахико [2005, № 5] и отрывок из романа К. Оэ [2005, № 10].

Юлия Ивановна Жукова
Переводчик с английского.

В ее переводах опубликованы произведения П. Г. Вудхауса, Р. Киплинга, Дж. М. Кутзее, С. Моэма, Д. Г. Лоуренса, У. Фолкнера, Ф. С. Фицджеральда и др. В *ИЛ* в ее переводе публиковались рассказы Дж. Апдайка [2005, № 1].

С 30 ноября по 4 декабря 2005 года
в Центральном доме художника на Крымском Валу
с большим успехом прошла
7-я Международная ярмарка интеллектуальной литературы
NON/FICTION, в которой принял участие и журнал
“Иностранная литература”. Почетным гостем ярмарки в этом году
стала Польша; в рамках “польского дня”
1 декабря редакция “ИЛ” совместно с краковским
Институтом книги провела встречу
на тему “Польская литература на страницах ‘ИЛ’”.
А на следующий день мы совместно
с посольством Королевства Норвегии и центром NORLA
представляли читателям специальный номер журнала (№ 11)
под названием “Норвежский ландшафт”.
На протяжении всех пяти дней работы ярмарки
посетители проявляли к стенду “Иностранной литературы”
постоянный и активный интерес.
Мы благодарим ООО “Экспо-Парк. Выставочные проекты”
за сотрудничество и предоставление отдельного стенда
на ярмарке NON/FICTION.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (– В ЦЕНТРЕ ГОРОДА –) В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использована иллюстрация Юлии Гуковой к книге Лаймена Фрэнка Баума "Волшебник Страны Оз" [1995, Штутгарт, Германия].

Художественное оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Надежда Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.12.2005
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 3117.
Тираж 7400 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

Редакция журнала
поздравляет наших постоянных авторов,
ставших в 2005 г. лауреатами премии Гринцане-Кавур
[Италия]:

Асара Эппеля,
награжденного за свои прозаические произведения,

Фридэнгу Двин
и
Наталью Ставровскую,
получивших эту премию за переводы.

---

[2] 2006

РОМАН ФРЕДЕРИКА БЕГБЕДЕРА "РОМАНТИЧЕСКИЙ ЭГОИСТ" / СТИХИ ДЕРЕКА УОЛКОТТА / ФРАГМЕНТЫ НОВОГО РОМАНА МИШЕЛЯ УЭЛЬБЕКА "ВОЗМОЖНОСТЬ ОСТРОВА" / ПОЭЗИЯ НЕМЕЦКОГО БАРОККО В РУБРИКЕ "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" / РАССКАЗЫ СЭМА ШЕПАРДА / МИХАИЛ ШИШКИН В РУБРИКЕ "ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА"

Детские книги
взрослого издательства «Иностранка»
в серии

• ДЕТЯМ ДО ШЕСТНАДЦАТИ •

Шел Силверстайн

Лафкадио

Удивительная история отважного льва,
который победил охотников

эта, и другие книжки на сайте

www.inostranka.ru

По вопросам приобретения книг издательства «Иностранка»
обращаться в Книготорговую компанию «Либри»:
тел.: (095) 951 5678; факс: (095) 959 5543; sale@libri.ru

ИЗДАТЕЛЬСТВО **ИНОСТРАНКА**

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2006, №1, 1-288